

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И
М И Р

3



1983

3

ЖО В Ы И
М И Р

1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛАДИМИР ГОРДЕИЧЕВ — Солнечные хлебы, стихи	3
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — Пробел в календаре, роман	6
МАРТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ — Евгения Славоросова, Ольга Ермолаева, Нина Габриэляи, Зоя Велихова, Лариса Саенко, Галина Синегубко, Светлана Кнопова, Софья Почаповская, Татьяна Бек, Эльмира Блинова, Ирина Голотина, Лорина Дымова, Ирина Антонова, стихи	144
ЮРИЙ НАГИБИН — Болдинский свет, рассказ	154
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Предисловие Е. Р. Симонова	169
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Комбайн косит и молотит...	171
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Н. ЭЙДЕЛЬМАН — «Последний летописец», главы из книги. Окончание	210
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
М. ФЕЛЬДМАН — Встречи. Публикация В. Васильевой	232

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ОВЧАРЕНКО — Жизнь народная. Горьковские традиции в творчестве сибиряков	240
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	259
М. Шаталин. В лаборатории великого художника. Адольф Урбан. Голоса пятнадцати столетий.	
<i>Политика и наука</i>	265
В. Лобачев. История среди нас.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Г. Петрова. — Людмила Гурченко. Мое взрослое детство. ✦	
Ирина Шевелева. — Ободияв Шамхалов. Время говорить. Стихи. ✦	
Д.м. Брудный. — Ю. Дмитриев. Леонид Утесов. ✦	
А. Турков. — Владимир Рудный. Готовность № 1. О Н. Г. Кузнецове	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВЛАДИМИР ГОРДЕИЧЕВ

★

СОЛНЕЧНЫЕ ХЛЕБЫ

Не в закромах, не в элеваторе
я привыкал ценить зерно.
Но лишь мукой в ладонях матери
восторга стоило оно,
когда на выучку пожаловать
меня позвать желала мать:
мукою колобы обваливать,
чтоб в печь не липкими сажать.
Согретый счастьем соприсутствовать
при сотворении хлебов,
что мог еще в ответ я чувствовать
на материнскую любовь
за приобщенье к редкой участи
знать мастерство, как волшебство,
помимо самой кровной жгучести
благодаренья моего?
В заботах жарких хлебопечества
взяв ученичества удел,
как на праматерь человечества
я на родимую глядел.
Казалось мне, хоть был по делу я
и фантазером, может быть,
что только ей планету целую
под силу хлебом накормить.

Мера щедрости

Гремит ли соловей,
лучишь ли сам наружу
для сверстницы своей
ликующую душу,
ты лишь одно поймешь,
когда душе поется:
чем больше отдаешь,
тем больше остается...
Безделья не любя,
в труды дневные канешь,
и с ними у тебя
история такая ж.

Хоть прибыли не ждешь,
но дело удастся:
чем больше отдаешь,
тем больше остается...
В невзгодах нипочем
тебе не сбиться с круга
с подставленным плечом
товарища и друга.
Взаимностью хорош,
как вправду клад найдется:
чем больше отдаешь,
тем больше остается...
Гремят ли соловьи,
гудит ли дел громада,
в работе и любви
держаться так и надо.
За гривенник и грош
душа не продается:
чем больше отдаешь,
тем больше остается...

* * *

Бываю праздным я и узким,
мою поденщину края.
Но осознанием общерусским
ко мне приходит ширь моя.
Тогда решимости бесценной
я от себя не отвожу
и о судьбе планеты целой
по счету главному сужу.
Мне жить надеждою охота,
что чем больше, тем дельней
моя отдельная забота
в заботе скажется твоей,
страна моя.
Ты много шире,
чем просто свет в одной судьбе,—
сегодня, думая о мире,
нельзя не думать о тебе.
И ты, звучащая трибунно
и чутко внемлющая все ж,
по делу явленные думы
верховно примешь и поймешь.
Да служит нам на главный случай
такая действенная связь,
что побеждает тем могучей,
державной волей становясь.

* * *

Духом праведным не обнищав
в постоянстве святом и не косном,
мы привязаны к старым вещам,
старым жителям, старым знакомствам.
Ведь, подумать, во все времена
принимается давность двояко:
для кого-то она — старина,
для кого-то — и молодость чья-то.

Так, седея в заботах семьи,
но и все ж не без розовой дымки
разбирают мужчины свои
молодые солдатские снимки.
Так и я, океанов-зыбей
зная смолоду гул небесследный,
золотою люблюсь своей,
якорями тисненною лентой.
Что ж, наверно, и старому пню
осветлять себя весело грезой:
спит и видит себя на корню
молодой белоствольной березой.
...Кто-то вдруг восклицает: «Старик!..» —
по обычаю прежнего круга,
и восторженно сердце парит,
внемля оклику старого друга.



ИОСИФ ГЕРАСИМОВ



ПРОБЕЛ В КАЛЕНДАРЕ

Роман

Дождь все шел и шел; даже когда солнечные лучи распарывали облака, дождь продолжал поливать крыши автомобилей, цветные зонтики прохожих, пожелтевшую листву деревьев, он гудел в водосточных трубах — и они выбрасывали потоки воды на тротуар, она смывала с него грязь, пенилась у сточных решеток; лохматые, с лиловым отливом тучи двигались над острыми шпилями высотных домов, над золотом церковных куполов, ступенчатыми изломами зданий, сталкивались, переваливали друг через друга, иногда на мгновение расступались, и тогда обнажалась пронзительная синева неба. Гул дождя сливался с шумом машин, торопливым шарканьем шагов, шелестом шин, отдаленно напоминая рокот прибойной волны, да и пахло сейчас в городе морем и распаренным тополиным листом.

Машина остановилась у бровки тротуара, ее черная мокрая дверь нехотя отворилась; ноги, обутые в добротные темно-коричневые полуботинки с толстой подошвой, неуверенно нащупали опору и тут же выпрямились — человек шагнул в толпу, исчез в ней, растворился и вынырнул почти у самого подъезда дома. В это время солнечный луч снова полыхнул над улицей, человек невольно вскинул голову, прищурился от удара яркого света и замер, лицо его с крепким носом, очерченным глубокими складками у крыльев, высоким лбом и короткими лохматыми бровями потеряло озабоченное выражение, сделалось растерянным, даже беспомощным; он снял шляпу, на лысую голову упали капли дождя.

Солнечный луч погас так же стремительно, как и зажегся, человек снова обрел свойственную ему уверенность, торопливо надел шляпу и шагнул к подъезду...

Она успела его разглядеть, стоя у открытого окна, и сначала — едва он отошел от машины и ссутулил плечи, чтобы хоть как-то уберечься от дождевых струй, — подумала: как же он постарел. Но стоило ему снять шляпу, сощуриться, как поняла: он все тот же, в нем ничто не изменилось; и едва он исчез, она увидела на фоне белого песка и моря его сильное, загорелое тело с седыми волосками на груди и капли воды на крепких ногах, увидела и старую рану на правой ляжке — эдакую морщинистую вмятину с твердым узлом посредине, и его раздвинутые в улыбке губы — властно-сластолюбивые, нероновые губы, — так она сама когда-то их определила, а потом обнаружила, что не только губы, но и серые глаза с близоруким прищуром, и одутловатые щеки — тоже нероновые. Дождь стал мелким и нудным, и на улице сделалось сумрачно. Она подумала: может быть, солнечная вспышка только почудилась? — так поразило, что снова его видит, а ведь ждала этой встречи, по-

тому и пришла на кухню и растворила окно. Ей нужно было его разглядеть до того, как он поднимется в квартиру, она не понимала, зачем ей это нужно, не понимала, что так властно привело ее на кухню, но теперь, пережив стремительный приступ злобы и в то же время жажду его ласк, догадалась: именно за этим и шла. И, стыдясь, ненавидя себя, ощутила: как же она устала! В это время и раздался звонок в дверь.

Она вернулась в комнату, где лежал умирающий муж, сказала:

— Это Кордин... Только ты не волнуйся, прошу тебя. — И пошла в прихожую.

Он перешагнул порог и сам закрыл за собой дверь. Свет падал на него сбоку, из кухни, и она невольно отступила — глаза его недобро блеснули, — но тут же поняла, что ошиблась: он был смущен и неуверен. Она удивилась: Кордин вовсе не такой высокий и широкий, каким она мысленно представляла его в последние годы и каким он ей увиделся из кухонного окна. Лицо его было печально, выражало сострадание, он перебирал пальцами поля шляпы, потом, почувствовав, что шляпа мешает ему, небрежно кинул ее на полку и шагнул вперед, протянув обе руки. Но она стояла неподвижно — не потому, что хотела унижить его, отказываясь ответить на приветствие, просто оцепенела и не способна была определить, каким он пришел: тихим и смиренным или же тем коварным, каким привыкла его считать в последнее время, подчиняясь воле мужа. Он понял ее состояние и не отступил, а взял за плечи — сквозь батист кофточки она почувствовала, как горячи его ладони; он ничего не сказал, только заглянул ей в глаза — и она поняла, о чем он спрашивает.

— Врач предупредил... он не протянет более двух дней... Я не хотела... Он сам настоял, чтобы я тебе позвонила. Иди, он ждет.

Кордин уже оторвал руки от ее плеч, а она все еще чувствовала тепло его ладоней и потому с опозданием сообразила: ей надо идти первой, ее присутствие смягчит их встречу, да и нельзя их покидать, пусть говорят при ней, важно, что они скажут друг другу, даже очень важно, — и, кивнув Кордину, направилась в комнату.

За время болезни мужа она привыкла к его худобе, серому цвету щек и желтым подтекам у переносицы, но сейчас все это затмилось необычным блеском глаз — они словно выдвинулись из красных век, сделались выпуклыми и большими, зеленоватая радужка потемнела, стала черной, слилась со зрачком; губы тоже почернели, сомкнулись в одну прямую линию, на лбу выступил пот. Казалось, муж пытается оторвать голову от подушки, подняться навстречу Кордину, но не может. Кордин подошел к нему, прикрыл широкой ладонью его руку — поздоровался — и свободно сел на стул рядом с постелью.

— Здравствуй, Антон, — сказал он; голос у него был будничный, словно говорил он не с умирающим, а забежал по пути, как это бывало давным-давно, чтобы потолковать о разных разностях. — Помираешь?

— Помираю, — кивнул Антон Васильевич так же буднично, в голосе его не было ни жалости к себе, ни сожаления, ни тоски.

— Зря, — сказал Кордин. — Рановато... Мне без тебя неудобно будет.

«Господи, — подумала она, прижимаясь затылком к дверце шкафа, — о чем они говорят?! Или я с ума схожу?..» Ей захотелось закричать, но она только прикусила губу.

— А я тебя не оставлю, — глядя на Кордина раскаленными глазами, ответил Антон Васильевич. — Возьмешь мою книгу... Издашь.

Кордин провел ладонью по темной гладкой коже головы, чуть приметно усмехнулся.

— За этим звал?

— За этим, — кивнул Антон Васильевич.

Сразу же наступила тишина, стало слышно, как бьет дождь по железному карнизу. От этой тишины ей сделалось еще страшнее. «Вот, оказывается, что», — подумала она. Когда муж стал настаивать, чтобы она позвонила Кордину, то решила: они ведь были долгое время друзьями и, наверное, у мужа есть свои причины забыть перед смертью вражду и проститься с тем, с кем связано столь многое в его жизни, но...

Кордин не отвечал, он сидел плотный, крепкий, как идол, положив руки на колени.

Она знала, что означали для него слова Антона Васильевича, — эта книга, двести страниц рукописи, была своеобразным приговором Кордину, мощным ударом по тому, на чем держалось его имя, что давало ему власть и уверенность... Кордин должен был подписать приговор себе, ведь только он один и мог издать эту книгу, только он мог решить: предать ли труд в двести страниц забвению или даровать ему жизнь. Ничего более тяжкого для Кордина нельзя было придумать. Вот почему так полыхали глаза у Антона Васильевича...

Она устала от напряжения, от ожидания ответа — Кордин по-прежнему сидел молча и неподвижно, большая черная муха покружилась над его лысиной и полетела к окну, села на подоконник. Она ненавидела мух и поймала себя на желании схватить со спинки стула полотенце и ударить. Это отвлекло ее, и она как бы заново увидела лицо мужа и поняла: он наслаждается молчанием Кордина, не спускает с него глаз, словно пытается прочесть его мысли. «Да зачем же это все! — в отчаянии подумала она. — Да что же это делается?! Как два борца на ковре, до последней минуты...» И эта мысль странным образом возродила в ней видение: Кордин идет по белому песку, ступая крепкими загорелыми ногами, капли воды скатываются с его плеч, блестят в седых волосках на груди, — и хоть там, на берегу моря, ничего не произошло, все случилось в ее крохотной комнатке, куда он влез через окно ночью, отчаянный и наглый, да и потом они встречались только в этой комнатке, но каждый раз, когда в ней возникали воспоминания об их близости, она видела его идущим по белому песку на фоне моря. Может быть, и в самом деле что-то было еще связано с этим видением, но теперь она не помнила, что же именно... Она вновь почувствовала стыд: «Да о чем же я сейчас-то!» — но тут же и сообразила о чем: «Это я виновата, я, что они такие лютые друг к другу...»

Антон Васильевич ждал, голова его покоилась на подушке, руки вытянулись поверх толстого одеяла вдоль тела, но ей почудилось: он сидит и неотрывно смотрит на Кордина. А у того на лбу собрались морщинки мелкой гармошкой, он почесал их и неожиданно просто, как о незначительном и само собой разумеющемся, сказал:

— Издам... Конечно, издам.

Напряжение не ослабло на лице Антона Васильевича, словно он еще ждал чего-то от Кордина более важного, чем эти слова. А ведь это были не просто слова — она это хорошо понимала, — то было решение, тяжелое, сложное для Кордина, и коль он его принял, то не отступится, сделает так, как обещал, тут никаких сомнений быть не могло. Антон Васильевич втянул воздух длинным носом и сказал:

— Мое место займет твой сын...

Он мог бы назвать его по имени — Зиновий, но сказал «твой сын» и сделал это намеренно. Кордин оторвал руки от колен и сцепил их в замок, сказал глухо:

— Ну, это мы посмотрим...

— Я прошу, — сказал Антон Васильевич.

Она видела, как все сейчас сопротивляется в Кордине; он уны-

ло отвел взгляд к окну, и она взглянула туда же — небо теперь затянуло серой наволочью и оно сочилось мелким дождем.

Она вдруг вспомнила, как он объяснял ей, почему никогда не сможет уйти от семьи, слова его были торжественны, как клятва; воспоминание это соединилось с только что услышанным и увиденным — при слове «сын» отяжелели его щеки. «Отец семейства, вот он кто», — подумала она и сразу почувствовала, что за этим определением стоит не только его отношение к жене и детям, а еще нечто иное...

Глава первая

1

Ночью навалилась гроза, вспышки ударили в окна с такой силой, что добела высветили плотные бордовые шторы; загромыхало железо на крышах, донесся протяжный гул. Семен Петрович прошлепал босиком к окну, раздернул шторы и приоткрыл узкую створку; плеск дождя стал тяжелее, но гул, что давил на уши, исчез — наверное, его вообще не было в природе, звук возник в самом Кордине, может быть, еще во сне и отступил, стоило глотнуть свежего воздуха. Кордин почувствовал, как тяжело и упруго стучит в висках кровь; в это время снова ударила молния, он вздрогнул от фиолетовой вспышки — она озарила парк, а за ним гряду домов, стоящих, как надолбы, пустоту черного асфальта. Сразу же ощутил короткий, как укол, приступ страха, от которого пробежали по телу мурашки. Он много лет спал голый, не признавая ни пижам, ни какой иной ночной одежды, и, сейчас широкими ладонями растерев живот и бедра, поспешно вернулся в постель.

Гроза стала утихать, шум дождя смолк, лишь били по карнизу, срываясь с крыши, тяжелые капли, парной воздух за окном поредел, потянулись рваные клочья тумана, как за иллюминатором самолета; кровь по-прежнему стучала в висках, и опять Кордину сделалось страшно — ничего подобного он еще не испытывал в жизни: ему скоро шестьдесят, но никогда он не страдал ни бессонницей, ни ночными страхами. Он попытался уснуть — ведь наверняка еще нет и пяти часов, — повернулся с боку на бок и понял: сна не будет; и тогда лег на спину и стал думать о том, что случилось нечто необычное в окружающем его мире и произошло это после смерти Антона.

Кордин не был на похоронах Дубцова, да и узнал о его смерти через две недели, когда вернулся из Праги, узнал на работе и, хотя давно был готов к тому, что это вот-вот должно случиться, почувствовал боль и странную пустоту в голове... Когда прошло много дней, а чувство угнетенности не покинуло его, он попытался понять: что же все-таки происходит? — и оказался бессилён. Потом его втянули в свою орбиту неотложные дела, он стал жить, как жил прежде, словно ничего не случилось; и все же прежней жизни не было...

Гулко, с железным звоном били капли по карнизу, между ударами не было одинаковых пауз, и все же ощущалась некая завершенность ритма. Семен Петрович попытался уловить его, но тут же рассердился: «Господи, да куда же меня заносит!» Но звук настойчиво врывается в сознание. «Надо вставать, немедленно вставать», — решил он и поднялся, прошел в ванную. По утрам он всегда принимал холодный душ, крепко растирался жестким полотенцем, брился опасной бритвой, ему нравилось, как тонкое лезвие шведской стали, шурша, проходит по коже. Потом оделся, выпил холодного кефиру, прислушался, не потревожил ли жену, спящую в соседней комнате, и, стараясь не греметь, вышел из квартиры.

Влажная прохлада коснулась лица, и Семен Петрович с удовольствием вдохнул освеженный грозой воздух, не спеша прошел к машине; на крышу ее набросало желтых листьев с березы. Он открыл дверцу, сел, положил ладони на руль, но еще не решил, ехать ли ему, да и куда; подумал: странно нынче начинается день, будто он утратил волю и кто-то сторонний магической силой направляет его действия. Сквозь стекло оглядел двор, мокрый асфальт, набитые мусором железные баки на колесиках; дом за детской площадкой окрасился в густой розовый цвет, темные окна заблестели малиновыми наплывами, но солнца не было видно, оно поднималось за домом, из которого он вышел.

Семен Петрович отыскивал окна квартиры сына — ему показалось, что они отражают солнце ярче, чем остальные, но за стеклами было хмуро и спокойно, там все спят, и где-то на другом конце огромного города спит его другой сын — так они разместились, каждый в своем гнезде, которые для них вил он, расходуя энергию, упорство, деньги; когда-то это вызывало немало волнений, тревог, но теперь забылось, и дети живут в своих домах, устроившись по-своему, словно они и родились в них, словно эти гнезда были дарованы им свыше за то лишь, что они осчастливили мир своим появлением. Они жили от Кордина отдельно, но он всегда чувствовал нити, связывающие его с ними, и знал: нити эти прочны, он способен управлять детьми. Ему подчинялось множество людей, судьбы их зависели от его решений; дети и те, кто породнился с ними, вроде бы и не входили в круг его повседневных забот, но их присутствие рядом с собой он ощущал постоянно, и все, что происходило с ними или должно было произойти, тоже требовало его воли и проницательности — так он решил давно и следовал этому неуклонно.

В конце двора возле одного из баков увидел старуху — длинной палкой она ковырялась в мусоре, потом наклонилась, и в руках ее блеснула бутылка — и вспомнил: эту старуху с красным отекившим лицом встречал несколько раз во дворе пьяной, со страшными пустыми глазами и седыми космами, в ее руках всегда была черная замызганная сумка; ему сделалось неприятно: разрушилась чистота влажного утра.

Он включил зажигание — заурчал мотор, дворники скользнули по стеклу, сгоняя с него матовый налет... Он медленно выжал сцепление и, едва машина тронулась, понял, куда сейчас поедет.

Кордин вел машину не спеша, ему нужно было кое-что обдумать... Прежде всего это странное чувство, что не дало ему уснуть после грозы. Конечно же, тут есть связь со смертью Антона... Он вспомнил, каким увидел его в последний раз... Это не было лицо Антона Дубцова, которое Кордин знал и к которому привык; резкие складки его не скрывали добродушия, даже когда он сердился или был во гневе. Кордин знал: как бы Антон ни бесился, а рано или поздно дело повернется так, как порешил Семен Петрович. Антон Дубцов — странный тип романтика-фанатика, который умел придумливать истины и свято в них верил, но беда-то была не в том, что верил сам, а что умел вербовать союзников, и они, ослепленные, шли гуськом по тропе, которую он им указал и которая чаще всего вела к пропасти. И ничего нельзя было с ним поделать... Конечно же, это было совсем другое лицо, желтое, с обугленными глазами, а главное, непримиримое, и ничего в нем не было, кроме жесткой неуступчивости и еще, пожалуй, скрытого презрения. Вот это-то и было непонятно: кого и за что он презирал? Семена Петровича? Слишком мелким было для него — презирать... Впрочем, потребовал же он, чтобы была опубликована его книга... Как ни романтичен Антон, но не до такой же степени, чтобы верить, будто книга, пусть вся направленная против Кордина, способна что-то изменить. В на-

уже всегда существовали противоположные мнения... Надо сегодня же проверить, отправлена ли рукопись в набор.

Конечно же, книгу надо было издать гораздо раньше, но Антон сам делал все, чтобы затормозить ее выход, накручивая вокруг рукописи бог весть какие проблемы. И ведь находились люди, которые твердо верили, будто эта самая книга сметет все, сделанное Кординым, оставит пустое место от его работ и от его школы. В мифы, заквашенные на надеждах, легко верят. Особенно молодые. Спят и во сне видят грандиозный взрыв, который развалит все теории к чертовой бабушке, и образуется пустота, и тогда они с чистым сердцем и ясной головой кинутся заполнять эту пустоту... Чушь, чушь, все чушь!.. Конечно же, и Алена верила Антону и потому так напряженно ждала, когда он попросил... Да он не просил, а приказывал — вот в чем разница!

Но не в этом дело. Болезнь ударила его жестоко, так бьют из-за угла, хоть и наповал, но не очень точно, чтобы помучался. Дубцов всегда был здоров, носился по жизни, словно заведенный на тысячу лет, а тут он лежал желтый, с выжженными до угольной черноты глазами.

Они редко виделись в последние годы, но сейчас начинает казаться, будто все время только им и было заполнено... Когда Кордин сидел у постели Антона, а Алена стояла, прислонясь к стене, и взгляд ее то блуждал по их лицам, то обращался вверх, Семен Петрович подумал: «А как это будет со мной?»

Прежде, когда приходилось бывать на похоронах, думалось: этот случай не мой; всегда отыскивалось какое-то обнадеживающее несоответствие: или человек все время маялся сердцем или какой-нибудь другой болезнью, или его замучали, замотали несчастьем, а он слишком близко принимал их, или вообще жил с обнаженными нервами. Да мало ли! Когда думаешь о себе, всегда кажется: ты пришел на землю навсегда, а те, что уходят, и созданы были, чтобы прийти и уйти. Огромный людской поток протек по земным дорогам и ушел в землю, движение это нескончаемо, даже представить невозможно, сколько умерло за всю историю и как хватило всем места в глубине земного шара. И ведь поток этот с каждым годом все шире... Но разве можно согласиться, что ты всего лишь крохотная и слабая пылинка в нескончаемом потоке, когда вокруг вращается твой мир и в нем многое зависит от того, как ты подумал и что решил, или даже какое у тебя сегодня настроение. И ведь нельзя, чтобы вдруг, в одно мгновение оборвались все нити, что завывались годами, и множество построек, на которые ты истратил силы, стремительно разрушились. Это противостоит природе, потому что противоречит законам жизни... И вот — шарах, и у тебя желтое лицо, неподвижные руки и ноги.

«Пожалуй, он был некой частью меня самого, вот в чем дело! Я и раньше об этом догадывался, но не считал, что это так важно. А теперь?.. В том вся и штука — не стало какой-то частицы меня самого... А, черт! Зачем я дал себе увязнуть во всех этих мыслях? Они ни к чему хорошему не ведут. Во всяком случае, если меня так же, как Антона, стукнет из-за угла, я бы все-таки хотел иметь время, чтобы распорядиться остающимся и незаконченным, иначе это будет несправедливо...»

Кордин не заметил, как пересек центр города и теперь ехал широким проспектом. С большого щита ухмылялся косолапый медвежонок с пятью кольцами на животе — след недавних Олимпийских игр. Машин стало больше, появились троллейбусы и автобусы, на остановках замаячили пассажиры. Семен Петрович свернул в переулок и въехал в широкий двор, затормозил у подъезда кирпичного дома. Едва он вышел из машины, как почувствовал: здесь пахнет осенью — там, где он жил, не было такого запаха грибов, опавших

листьев. Этот запах слабой грустью отозвался в нем, и он усмехнулся: совсем раскис нынче.

Он взглянул на часы. Пожалуй, у Зиновия встали и ему не придется их будить. Подумав так, он решительно вошел в подъезд, вызвал лифт, нажал на кнопку с цифрой семь... Стенки лифта были все исписаны — в этом доме, видать, много детишек, надписи и рисунки невысоко... Заводской дом. Зиновий небось до сих пор думает: однокомнатная квартира легко досталась. А о том, сколько пришлось Кордину из-за нее помотаться, сын, наверное, и не слышал, а если слышал, то пропустил мимо ушей: мол, ему нужна была квартира — ее дали, иначе и быть не могло, а что за этим стоит — это уж его не касается, мало ли какие могут быть разговоры... Взгляд Семена Петровича остановился на одной из надписей зеленым фломастером. Среди ругательств, каких-то иероглифов и знаков ласковое слово «Люсенька» и в самом деле выглядело трогательно.

На звонок открыла Валя и сразу же замерла от испуга, словно увидела чудовище, а пугаться было нечего — она была одета, в джинсах, тугой белой кофточке, которая очень хорошо очерчивала круглую сильную грудь, пожалуй даже бесстыдно очерчивала, да и вообще во всей ее слишком рельефной фигуре было нечто неуловимо бесстыдное, хотя лицо строгое, учительское... Она смотрела на Кордина испуганными синими глазами, а меж бровей собиралась упругая серьезная складка.

— Доброе утро, — сказал он, но Валя не двинулась, видимо, он и в самом деле ошарашил своим появлением; немного полюбовался ее испугом, спросил с усмешкой: — Не хочешь меня впустить?

— Господи, что случилось? — прошептала она.

Тогда он захохотал:

— Что ж я, навестить вас не могу?

Она сразу вспыхнула от досады на самое себя, прикусила губу и крикнула:

— Зин! Отец...

Сразу же приоткрылась дверь в ванную, и оттуда высунулся в белоснежной майке Зиновий, в руках его гудела электрическая бритва; увидев отца, он не удивился, улыбнулся, кивнул и снова исчез. Кордин втянул в себя запах кофе, поджаренного хлеба и, почувствовав голод, пошел на кухню. Здесь все было накрыто для завтрака. Он знал: Валя — хорошая хозяйка, и с удовольствием оглядел аккуратную сверкающую чистотой кухню. На гренках таяло масло, он не удержался, взял одну, с хрустом откусил.

— Ага, уже жуешь! — воскликнул Зиновий, на ходу застегивая отглаженную синюю рубашку. — Валь, фатер голоден!

— Сейчас. Может быть, я еще успею сделать омлет?

— Успеешь, — успокоил Кордин. — Я вас подвезу...

Он сел к столу, налил себе кофе, с наслаждением сделал несколько глотков. Зиновий устроился напротив и насмешливо смотрел на него коричневыми с зеленой искрой глазами, и по этому взгляду Кордин понял: Зиновий догадался, зачем он примчался в такую рань... Глаза и эти волосы с медным отливом у него Натальины, ни у одной женщины нет таких волос — только у Натальи, это потому, что отец у нее был рыжий, а мать черноволосая. Да не только глаза и волосы, у Зиновия многое от нее, поэтому он и не похож на своего брата Александра, даже трудно сказать, что они братья, когда сидят рядом...

«Конечно же, он сразу понял, зачем я к нему пожаловал. У него быстрый ум, он может все просчитать на несколько ходов вперед... Устоит или отступит? Нужно, чтобы уступил, и очень важно, чтоб он это понял».

Семен Петрович порол сына всего один раз, когда Зиновий час простоял на обледенелом балконном карнизе — он доказывал какой-то девчонке, которая назвала его слюнтяем, что он железный мальчик, это с ними бывает в период полового созревания, их заносит черт знает куда, — он простоял на этом балконе час, и стоило ему шевельнуться, как он свалился бы с седьмого этажа на асфальт, но, слава богу, к нему сзади незаметно подкрались приятели и сумели втащить на балкон, а потом он потерял сознание... Когда Наталья узнала об этом, у нее началась истерика. Вот тогда он его выпорол ремнем по всем правилам, чтобы сын учился думать, а не выставлял напоказ идиотскую гордыню ради того, чтобы выглядеть самцом перед капризной девчонкой... Пожалуй, Валя не знает об этом случае. Правда, однажды она хвасталась, что Зиновий ей все рассказывает, но тот случай скорее всего он сам постарался забыть, — такое чаще помнят родители, а не дети, они вообще стараются забыть, как огорчали близких, но зато хорошо помнят, как огорчали их... Лучший способ — сказать ему все напрямик, с ним нельзя говорить намеками... Впрочем, кто знает, что вбил ему в голову Антон перед смертью. Он ведь был не просто романтик-фанатик, но еще и неистовый проповедник, а таким кажется: они идут за истину на костер, хотя вместо костра давным-давно полыхают бенгальские огни, а истину они сто раз потеряли дорогой... Но Антон всегда умел заряжать других. Чем он зарядил Зиновия?.. Черт возьми, все-таки нельзя было так далеко отпускать сына от себя!

Омлет она готовила прекрасно — пышный, душистый, с тертым сыром, — всего несколько минут, и готово; он ел, обжигая небо, запивал кофе. Зиновий все так же насмешливо поглядывал на отца, а Валя хоть внешне и успокоилась, но чувствовалось, как она напряжена.

— Очень вкусно, спасибо, — сказал Кордин и отодвинул от себя тарелку, полез в карман, достал пачку «Казбека» — он не изменял этим папиросам с послевоенных лет, — неторопливо закурил и посмотрел прямо в глаза Зиновию. — Я слышал, ты хочешь подать документы на конкурс.

— Да, сегодня.

— А ты задумался над тем, что тебе придется бороться со своим братом?

— Почему бороться? Решит совет...

Та-а-ак... Конечно же, Антон был наполовину сумасшедшим, нельзя было допускать, чтобы Зиновий попал под его влияние, теперь вот приходится пожинать плоды.

— Александр старше тебя, и у него семья. Ты еще можешь подождать.

— Это не довод, отец.

— А что довод?

— Дубцов хотел, чтобы я принял его лабораторию. Я ему обещал. И ты и Александр это знаете... Я не ожидал, честно говоря, что Александр подаст. Вроде бы он обещал этого не делать.

— Ты говорил с ним?

— Еще нет. Я только вчера узнал, что он стал моим конкурентом.

— Он и примет лабораторию Дубцова. Ты обождешь. У него это единственный шанс, не забывай, что ему уже тридцать три... Он примет лабораторию. Так решено.

— Кем?

— Мной.

Теперь Кордин смотрел непримиримо, сдвинув короткие лохматые брови, по-бычьему наклонив лысую тяжелую голову со смуглым

загаром, щеки его отвердели, и сам он стал плотней, словно обрел дополнительный вес.

Зрачки Зиновия сузились, сделались жгучими и твердыми, как две горошинки перца, кожа на переносице натянулась и побелела, резче обозначив тонкую горбинку. Он мог сейчас взорваться, и Кордин это почувствовал; Зиновий мог взорваться и наговорить такого при Вале, что уж ничем потом не исправишь, и поэтому его надо оставить в покое, пусть все обдумает. А вот когда обдумает...

— Пожалуй, вы успеете добраться и без моей помощи, — сказал Семен Петрович. — Я вспомнил, что мне нужно еще кое-куда заскочить...

Он решительно встал и пошел к двери, чувствуя на себе их взгляды... На мгновение представил: как только за ним захлопнется дверь, Зиновий со всей силой ударит ладонью по столу, чтобы дать выход гневу, загремят чашки, тарелки, вскрикнет Валя... На пороге он обернулся и уже с улыбкой сказал:

— Удачи вам.

Зиновий не ответил.

Пока он спускался в лифте, то думал: успел вовремя. Надо было обязательно предупредить Зиновия, чтобы тот не наделал глупостей, — с этой мыслью он вчера заснул, и она томилась в нем всю ночь, а потом погнала сюда чуть ли не через весь город. Но как только он сел в машину и включил зажигание, ему сделалось неприятно. Не так надо было, не следовало врываться утром в квартиру, не следовало говорить резко, лучше всего было бы пригласить сына домой и там все спокойно объяснить... Он тронул машину, успокаивая себя: ничего, иногда чем резче, тем лучше. Больше об этом думать не хотелось.

Суетное московское утро было в разгаре, машины шли плотно; где-то с середины пути, после мощного перекрестка Кордин обратил внимание на идущие впереди «Жигули» ярко-оранжевого цвета, чем-то знакомым показался этот автомобиль, но Кордин никак не мог понять, чем же именно. «Жигули» пошли на обгон продуктового фургона, Семен Петрович двинулся за ними, потом этот оранжевый автомобиль перешел в правый ряд, и Семена Петровича потянуло туда же, хотя ему вовсе и не хотелось этого. Он еще раз внимательно оглядел машину и впереди на водительском месте различил человека с характерно приподнятыми узкими плечами, с наклоненной вперед на длинной шее продолговатой головой с кругленькой аккуратной лысинкой, окруженной взъерошенными светлыми волосами, и сразу же стало не по себе... Вот так же сидел за рулем Антон. Да и машина эта была его. Семен Петрович взглянул на номер, но тот ничего ему не объяснил, номера машины Антона он не помнил, да и помнить не мог, а вот что задний бампер был погнут — знал... Да, Антон не раз бил свою машину... Ему захотелось обогнать «Жигули», чтобы взглянуть хотя бы сбоку на лицо водителя. «Что за блажь», — поморщился он. Но чем пристальней вглядывался в водителя, тем больше узнавал подробностей: и серый пиджак, и высоко стоящий накрахмаленный воротник рубахи, и это особое движение головы — чуть в сторону и вверх, словно все время покалывало в шею, — все, все было знакомо Семену Петровичу, и ему на какое-то мгновение сделалось страшно: неужто и в самом деле Антон?.. Он предпринял отчаянную попытку вырваться в левый ряд, но ему тревожно засигналили, и он сразу же отказался от обгона... Они въехали в туннель под площадью, а когда вновь выскочили на свет и солнце ударило по глазам, Семен Петрович невольно притормозил, и этого оказалось достаточно, чтобы между ним и «Жигулями» втиснулся синий «рафик». Пока он подъезжал к институту, разворачивался и ставил машину так, чтобы она простояла

день в тени здания, успокоился и даже усмехнулся: «Становишься мистиком, академик Кордин».

Солнце отражалось от вывески «Институт физико-химических проблем черной металлургии». Вахтер, завидев Кордина, распахнул массивную дверь, поклонился, пробормотал привычное приветствие, и Семен Петрович вошел в холл, где пахло вымытыми полами и источали мягкую прохладу квадратные колонны, облицованные серым мрамором; каждый раз, когда он по утрам переступал порог этого здания, в нем появлялась спокойная уверенность, и он, твердо шагая, раскланиваясь с теми, кто попадался на пути по дороге к кабинету, припоминал, что ему предстоит сегодня сделать. Так было и нынче, и он уж свернул в отсек, где был его кабинет, как вдруг ему почудилось, будто его окликнули, он оглянулся и сразу же увидел в мутных сумерках коридора знакомую худощавую фигуру в сером костюме, с чуть подпрыгивающей походкой, длинной шеей и круглой лысинкой, окруженной взъерошенными волосами. От неожиданности Семен Петрович крикнул:

— Антон!

Но человек не оглянулся, быстро прошел до угла и исчез за поворотом.

Семен Петрович кинулся за ним и когда добежал до угла, то обнаружил: коридор пуст. Он решительно направился к кабинету Антона (на его дверях по-прежнему висела табличка «А. В. Дубцов», ее еще не успели снять, а может быть, забыли — ведь нового завлаба еще не было), нажал на ручку, но дверь не поддавалась, тогда он постучал, ему почудилось: за дверями кто-то зашевелился; он постучал еще раз и еще, но больше не было никаких звуков.

— Что за черт! — сказал он вслух и тут же с отчетливой ясностью вспомнил, как лежал Антон в постели, глядя на него черными, раскаленными глазами, как, шевеля запекшимися губами, проговорил: «А я тебя не оставляю...» — С нервами у меня плохо, — пробормотал Семен Петрович.

2

Иногда ему казалось: просто было несколько разных людей, но у них было одно имя, одинаковое лицо и они случайно являлись ему в разные периоды жизни, называя себя Антоном Дубцовым... Наверное, все дело в том, что в нем однажды возникла и укрепилась потребность найти твердую опору в переменчивом течении жизни, он не мог бы определить, что это за опора, но верил — она существует, и про себя назвал эту веру поисками постоянства. Он прочел у австралийца Патрика Уайта такие слова: «Однажды рано утром, когда роса еще холодит ноги сквозь сапоги, он встал и ушел на поиски постоянства, будто знал, что это такое. Он ушел и вернулся через несколько лет ни с чем, кроме мускулов, шрамов на руках и первых морщинок на лице». Он прочел это, когда прожил более чем полвека, и не удивился, ведь смысл этих слов знал раньше и испытал на себе. И все же чем дольше он жил на свете, тем более крепла в нем уверенность: постоянство существует и если оно до сих пор не найдено, то лишь потому, что просто не испробованы все возможности — только исчерпав их, можно прийти к тому, что не является ни продолжением, ни производным прошлого или настоящего, а возникло лишь благодаря его воле и изобретательности... Да, видимо, он занимался поисками постоянства, а Антон ненавидел все, связанное со стабильностью, и пытался разрушить даже то малое, что отвоевал Семен Петрович у времени.

«По-моему, нет ничего отвратительней разрушителей, которые утверждают, что занимаются этим ради созидания, а именно таким типом был Антон...»

К тому времени, когда он его встретил — точнее было бы сказать: осознал встречу с ним, потому что Антон уверял, будто судьба их сталкивала и раньше, — так вот, к тому времени, а это было в злую первую зиму после войны, Семен Петрович уже имел твердый взгляд на окружающее и знал, чего добиваться и как. Он вернулся с войны дерзким и сильным и понимал: никому нельзя уступать дорогу, если этот путь принадлежит тебе. Да, он многое тогда знал — и цену женщинам, и времени, и деньгам.

Антон появился из метельной мути, когда Кордин вышел из подъезда, пропахшего мочой и кошками, и в нем еще горячо гнал кровь алкоголь, а в душе было пусто после недавней близости с женщиной — она даже не поднялась с кровати, чтобы проводить его до дверей, сонно проговорила: «Ты иди, иди, мне завтра чуть свет...»

Антон прижали двое к стене дома, один, воткнув пальцы ему в горло, приподнял подбородок, и он, давясь, пытался вдохнуть воздух, а второй в это время, сопя, снимал с него часы. Честно говоря, Кордин прошел бы мимо — на кой черт ему чужие заботы: ну лишится этот парень часов, денег, бог с ним, ему какое дело, его ведь никто не трогает, да и не сумеют... Но Антон неожиданным движением сумел освободить горло и прохрипел:

— Семен!..

Это был призыв о помощи, и исходил он от человека, который явно его знал, такого сигнала было достаточно, чтобы все в Кордине мгновенно возбудилось, и он инстинктивно, еще ничего не успев осмыслить, метнулся в их сторону — и в это же мгновение тот, что снимал часы, прыгнул ему навстречу, в поднятой руке его блеснул металл... Что это было? Нож, кастет?.. Бандит, наверное, решил взять на испуг, крикнул: «Вон, падла!» В этом-то и была его ошибка, он потерял время, и Кордин ударил его в коленную чашечку, и когда тот согнулся, перехватил руку и приемом, отработанным в разведоте, ударил по ней, и бандюга завыл на весь переулок, еще не успев упасть в сугроб, и сразу же там, где проходила главная магистраль и за метелью проглядывалось освещенное пространство, залился в тревоге милицейский свисток.

— Сюда!

Они влетели в тот самый подъезд, из которого только что вышел Кордин, перепрыгивая через ступени, взбежали на третий этаж, и только когда оказались в прихожей, Кордин сообразил: все ему здесь знакомо — и велосипед, висящий на стене, и ящики в углу, и старинная вешалка с мутным зеркалом, — то была прихожая большой коммунальной квартиры.

Кордин покосился на дверь комнаты рядом с ванной — за ней спала женщина, с которой он совсем недавно расстался, — и невольно рассмеялся, но тут же почувствовал у себя на плече руку и услышал, как с улицы донесся приглушенный человеческий вой. Наверное, он все-таки сломал бандюге руку, сейчас его пытались поставить на ноги, и тот снова завыл.

— Тебя как зовут? — спросил Кордин.

— Антон, — шепотом ответил парень и поманил за собой в глубь квартиры.

Когда зажглась настольная лампа и свет упал на лицо Антона, Кордин тут же понял: видит этого человека впервые, у него цепкая память на лица, а уж это — узкое, с зелеными глазами, с нервным изломом бровей и полными губами, большим лбом под лохмами русых волос — он бы помнил.

— Откуда ты меня знаешь?

У Антона кровоточила ссадина на щеке, наверное, он не чувствовал этого, застегивал на запястье часы, это были хорошие трофей-

ные часы, швейцарские, они высоко котировались на черном рынке.

— Ты ведь на четвертом Политехнического?

Верно. Но если он из института, Кордин его там встречал бы; впрочем, он частенько пропускал лекции, таких, как Кордин, побаивались и многое прощали им. Для себя Кордин решил: надо получить диплом, пригодится, — но относиться к занятиям всерьез не мог, так как считал, что вырос из студенческого возраста.

— И еще, — Антон наконец справился с часами и приложил платок к щеке, — я тебя видел под Надой..

Вот тут Кордин удивился. После войны он еще никого не встречал из тех, кто был под Надой, и все, что там случилось, старался не вспоминать... Он еще раз всмотрелся в Антона. Никогда бы не подумал, что этот человек был на войне — в темном бостоновом костюме, поблескивающим на локтях и коленках, в сером свитерке, он выглядел сугубо штатским. Кордин еще ходил в гимнастерке, шинели, да и большинство студентов из демобилизованных одевались так. Но дело было, конечно, не только в костюме, он мог определить фронтовика на расстоянии, во что бы тот ни был одет: и по манере держаться — собранно и в то же время независимо, — и по обветренному лицу, и по многим, многим другим едва уловимым приметам, которые наложила на него окопная жизнь. В Антоне ничего такого не было, он был штатский, городской, и это чувствовалось сразу; наверное, поэтому на него и полезли те двое, они тоже ушлые, они тоже понимают, с кем можно связываться, а кого лучше обойти стороной... Все, что случилось под Надой, было его сокровенное, иногда ему казалось: и был-то он там один, другие существовали как отдаленный фон.

— Та-ак, — протянул Кордин и тут же почувствовал, как все становится зыбким, ирреальным, словно это происходит не на самом деле, а привиделось.

Антон, наверное, понял: с Кординым неладное.

— Хочешь выпить? — спросил.

— Хочу.

Антон подошел к старому буфету, открыл застекленные дверцы и вынул зеленый графинчик, в котором плавали лимонные корки, снял с полки блюдо с ломтиками сала.

Кордин сразу обратил внимание, какие у него красивые, из цветного хрустала, рюмки, ему еще не приходилось из таких пить, он налил полную, пожалуй, в ней было около стакана. Выпить тогда мог много... Антон тоже налил себе полную рюмку, и они выпили, заели салом... Как же Антон мог видеть его под Надой, да еще так, чтобы запомнить?

...Это было гиблое место: болота, сгоревший редкий лес и эта проклятая высота — конечно же, на немецкой стороне, — на которой торчал крепкий дот и откуда пулеметы прочесывали все пространство... Господи, сколько же было на пути таких высоток, они торчали, как клыки, мозолили глаза начальникам, особенно когда стояли в обороне, и надо было обязательно брать эти высоты, иначе они мешали оперативным планам, которые составлялись и пересоставлялись в штабах. Придумывались разведки боем, атаки на эти высоты — ротой, батальоном; клали ребята головы, так и не добравшись до вершины. И тут была ранним февральским утром атака, залегла рота у подножья холма, и никакими силами нельзя было ее поднять; мало того что косили пулеметы, да еще подходы к доту оказались заминированы. Правда, перед атакой, как полагается, была артподготовка — били из полковых орудий и минометов, но доту так ничего и не сделалось, он остался цел, плевался пуле-

метным огнем, а справа и слева, припорошенные снегом, тянулись незамерзающие болота — ни обойти высотку, ни объехать.

Торчали в передней траншее, откуда и поднялась рота в атаку; комбат приказал именно здесь устроить наблюдательный пункт... Он был стар — так тогда казалось Кордину, — с побитым оспой широким лицом и маленькими стальными глазами, короткими усиками. Он стоял у стереотрубы, и от него на всю траншею пахло цветочным одеколоном — наверное, утром после бритья вылил на себя не менее полфлакона. Он смотрел в стереотрубу и бурчал:

— Храбрецы, мать их... Лежат как магнитом притянуты.

Солдаты слушали его бурчание и ждали приказа, но он ничего не приказывал.

— Нашелся бы хоть один... гранатами амбразуру. К Герою бы представил!

Вот Кордин и высунулся:

— Разрешите?

Потом он много раз думал: с чего это вдруг его понесло? То было как мгновенное безумие, его словно бросило в нестерпимый жар — что-то копилось, копилось и взорвалось, и он словно голый кожей, зрением, слухом, вкусом ощутил весь путь — мимо редких кустов, воронок, по корявой, заснеженной земле, по минам — к самой вершине, ощутил этот страшный путь и поверил: одолеет; поверил самозабвенно, до яростного света в душе. И поверив, почему-то представил: это и будет концом его военной жизни, концом чутких ночей, когда спишь одетым на жердяных нарах в гнилой землянке, где коптит черной сажой телефонный кабель; когда ползешь на брюхе, обдирая в кровь пальцы и лицо, к проволочным заграждениям, или торчишь у стереотрубы на елке, ожидая, что тебя снесет снарядом вместе с наспех построенной вышкой, — и все время дышит тебе в затылок смерть. Он хоть и хлебнул всего на свете, но был еще молод и потому жила в нем романтика надежды: стоит доползти и швырнуть гранаты...

Две противотанковые гранаты на поясе за спиной. Если их заденет пулей... Он полз целый год, а может быть, и больше. Важно было пройти колючий кустарник, а дальше за небольшим валуном начиналась мертвая зона, куда из дота не достанешь, но там — мины... Пули ложились рядом, иногда у самого лица, взметывая снег и кусочки промерзшей земли, — они секли лицо, кровь стекала по лбу на брови, сочилась по щекам, сначала он ее чувствовал, потом перестал, она засохла или замерзла.

Кусты он прошел хорошо, залег за валуном, и сразу же захотелось оглянуться, но тут же представил: увидит роту, беспомощно распластавшуюся на снегу, — и испугался этого зрелища, пополз дальше... Нельзя, нельзя было останавливаться, пока еще горел огонь надежды и веры. Взгляд был острым, он замечал каждую травинку, что пробилась сквозь снег, и каждую проволочку, и каждый буторок, сначала протягивал к ним руки и чувствовал — здесь следует обогнуть; и все же иногда возникало страшное ощущение затаившейся смерти — под грудью, под животом. Он полз по ней, и в любой миг взрыв мог расчлениить и поднять остатки его тела на воздух. Но чем дальше он полз, тем сильнее крепло ощущение: он не ползет, а словно бы скользит, или, вернее, парит, неведомой силой приподнятый над землей, и от этого парения чувствовал не страх, а наслаждение. Это может показаться странным, даже невероятным, но это было так, и никто этого не поймет, кто не испытал сам... Тогда он не мог ничего осмыслить, просто двигался вперед, освобожденный от страха, от груза жизни, от всего на свете; никогда более он не ощущал такой самозабвенной свободы, в нем не было

ни ярости, ни злобы, ни усталости — все вытеснилось этим чувством. И когда он увидел корявый бетонный угол дота, черный снег перед амбразурой и прыгающее над этой чернотой пламя, то сжимающееся почти до круглого ослепительно-оранжевого шара, то разлетающееся на несколько плоскостей с синеватым отливом, не сразу сообразил — это и есть конец пути.

Он снял с пояса гранату, вложил запал; он был холодно-спокоен и делал все, как когда-то на занятиях; сразу после броска почувствовал: попал; и тут же раздался взрыв, и он словно рухнул в яму, и к нему вернулось оставленное у гряды черных кустов: боль на лице и в руках, страх, пригнувший его, — только и успел увидеть, как бежали, раскрывая черные рты, люди...

Он не был ни ранен, ни контужен, отлежался в землянке, выпил водки и пришел в себя. Они торчали возле той высотки еще дней пять, и все эти дни Кордин ждал: комбат вызовет и сообщит о награде, скажет, что на него отправлены наградные листы; но никто не вызывал, а через пять дней началось наступление и Кордина ранило в ногу.

В нем долго жила обида, даже после того как закончил лечение в госпитале и был отправлен домой. А когда кончилась война, осенью, в слякотный день в елисеевском гастрономе он встретил комбата, тот был в затертом пальто с мерлушковым воротником, вид у него был штатский, пощипанный и усталый; комбат отошел от прилавка, складывая в сумку пакетики. Кордин подошел к нему, поздоровался, комбат радостно закивал, хотя — Кордин видел по его глазам — не узнал его.

Они вышли вместе на улицу, Кордин помог нести сумку. Он стал говорить, как было все под Надой, как он прополз к доту, бросил в амбразуру гранату. Но комбат смотрел старческим взглядом — ничего для него уже не существовало. После встречи с ним Кордин и сам засомневался: да было ли такое в его военной жизни, или все это ему привиделось? Но жила в нем тревожная ностальгия по тому странному чувству свободы, что испытал, отрешась на мгновение от всего земного, и забыть это чувство он не мог...

И вот теперь перед ним сидел человек, который был в те времена где-то поблизости.

— Что ты там делал, под Надой?

— Был связным при комбате... Воевал-то я всего два месяца. Правда, мне этого хватило... Но больше всего я запомнил тебя.

— Почему?

— О тебе много говорили. А потом... Меня удивило твое лицо. Такой убийственной отрешенности я еще никогда не видел в человеке.

«Много ты понимаешь», — подумал Кордин, но почувствовал: ему приятно все, о чем говорил Антон, и голос у него был приятный, бархатный, он вползал в душу. Тогда он это впервые почувствовал и не придал значения, а зря...

— Спасибо, что ты меня выручил, — сказал Антон и налил еще водки.

Но Кордин не торопился пить, ему хотелось оглядеться. Он встал и прошелся по старому ковру; комната была большая, тесно заставленная хорошей мебелью, одна створка высокой белой двери приоткрыта, за ней, в комнате поменьше, он успел заметить плотно стоящие книжные полки, полукруглое кожаное кресло; здесь пахло теплом, старым деревом, устоявшейся жизнью, и круглый стол, над которым висела лампа под белым колпаком с медным ободком, и буфет из карельской березы, и такой же небольшой письменный столик, на котором чернело несколько литых фигурок, — все говорило, что люди в этой квартире жили в достатке и подбирали вещи

со вкусом и неторопливо; все здесь Кордину нравилось — и картины в тусклых позолоченных рамах, и стук часов с длинным маятником, стоящих в углу, и лепнина на высоком потолке.

В комнате, где он жил до войны с матерью, даже шкафа не было, одежда висела на настенной вешалке, укрытая ситцевой занавеской, а из мебели, кроме стола, была старая железная кровать с продавленными пружинами и древняя кушетка, на которой, как рассказывали соседи, и умерла мать, так и не дождавшись возвращения Кордина с войны. Но он никогда не завидовал тем, кто жил иначе, вот так хотя бы, как Антон, а если что и было, то не зависть, а уважение к людям за то, что сумели они построить жизнь без нужды и окружили себя хорошими вещами; эти люди внушали надежду: и он сможет такого добиться, если по-настоящему захочет...

— Ты с кем тут живешь? — спросил Кордин.

— С отцом и матерью. Они сейчас на Урале, — ответил Антон.

— Кто он у тебя?

— Металлург.

Рядом с диваном стоял большой заграничный приемник. Антон включил его, покрутил ручку, и раздалась тихая музыка.

— Если хочешь, — сказал он, — ложись здесь, на диване, я тебе постелю. Куда сейчас идти в такую ночь?

Кордин взял рюмку, выпил и прыгнул на диван; занули пружины в диванной утробе. Антон улыбался. Кордину нравился этот парень, возникший из метельной мути, он чувствовал, что любит его, любит хотя бы за то, что он единственный на всем свете может рассказать, как было под Надой, и он радовался этой дарованной ему ночи в тепле и уюте, посреди стылой, заснеженной Москвы, которая еще не оправилась от военных страданий... Разве же мог он тогда знать: Антон неспроста явился ему — и не на сутки, а на всю жизнь.

3

Настойчиво и тревожно звонил телефон. Семену Петровичу не хотелось брать трубку, но когда он наконец потянулся к ней, телефон замолчал. Рабочий день еще и не начинался, а он уже чувствовал непривычную усталость. «Что это со мной сегодня? — думал он. — Проснулся чуть свет... Зиновий... Потом этот призрак...» Он хотел подвинуть к себе папку с бумагами, чтобы просмотреть утреннюю почту, как это делал всегда, и в это время пришла странная мысль: «Позвоню-ка я ему...» — он даже вздрогнул от этой мысли, потому что подумал об Антоне как о живом. Но теперь уж ничего не мог с собой поделать, торопливо набрал номер и, пока шли длинные гудки вызова, напряженно ждал — сейчас в трубке щелкнет и раздастся густой голос Антона: «Вас слушают». Семен Петрович поймал себя на мысли: именно этого ему и хочется, тогда все вроде бы встанет на свои места...

— У телефона, — услышал он Алену.

И сразу же вспомнил, как она стояла, плотно прижавшись к стене, и слушала их последний разговор с Антоном; хоть и тяжелы были те минуты, он успел разглядеть, как хороша Алена, как стройна, как чудесны ее огромные, почти синие глаза, страдание сделало их мягче, и горестные морщинки у рта только подчеркивали ее красоту.

— Здравствуй, — сказал Кордин. — Мне нужно тебя видеть.

— Зачем?

— Мы послали в набор книгу Антона.

— Тогда зачем тебе я?

Конечно, он сморозил глупость. Но что он мог ей объяснить?

Он просто чувствовал: ему необходимо побывать в квартире Дубцова.

— Я сейчас приеду, — сказал он решительно и положил трубку.

...Они сидели на кухне — в комнату она его не пустила, — и все это время, пока Алена стояла возле плиты, а потом старательно разливала очень густой, крепко пахнувший кофе по чашкам, они молчали. Он потерял уверенность, как только вошел в квартиру; свет в коридоре не горел, и ему показалось: здесь не только сумеречно, но и прохладно, как в погребке или в склепе, — на войне ему пришлось провести две ночи на лютеранском кладбище, огонь нельзя было разводить, и он чуть не околел на мраморных плитах этого готического подземелья для сиятельных покойников... Некоторое время Алена смотрела на него вопросительно, а он не находил слов, чтобы объяснить свой приход. Когда она отступила, давая ему дорогу, он шагнул в сторону комнат, но она мягко взяла его за локоть и направила на кухню.

Семен Петрович следил за Аленой и не чувствовал в ней никакой скованности или напряжения, все в ней было как бы расслаблено; прежде он никогда не видел ее такой апатичной. «Уж очень на нее непохоже», — подумал он.

Она сидела напротив, пила кофе маленькими глотками, и он поразился ее глазам — сплошная синяя бездна. Постепенно его начало беспокоить ее молчание. Тишина становилась все напряженней и напряженней, когда в соседней комнате что-то вдруг тупо стукнуло об пол, он вздрогнул и внимательно поглядел на Алену; ничего не изменилось в ее лице.

— У тебя кто-то есть? — спросил он.

Она вяло покачала головой: кто, мол, тут может быть?

— Послушай, — начал он, но тут же осекся, не сумев подобрать нужных слов.

— Тебе что-нибудь нужно из его архивов? — неожиданно спросила она.

— Нет, — поспешил он с ответом.

— Я бы все равно не дала. — Голос у нее был тусклый и ровный, лишенный оттенков.

Тогда он неожиданно для себя бухнул:

— А он вправду умер?

Впервые глаза у нее ожили, и в них появилось некое подобие усмешки.

— У тебя есть другие сведения?

Эта усмешка его рассердила. Шумно двинув табуреткой, он встал и быстро пошел в комнаты, ударом ладони распахнул оклеенную желтой пленкой дверь, она по-мышьиному пискнула на петлях. Семен Петрович задержался на пороге, цепким взглядом окинув всю комнату: тахту, укрытую черным, на которой лежал Антон, когда он видел его в последний раз, круглый стол, заваленный папками и бумагами; здесь держался стойкий запах лекарства.

Семен Петрович быстро пересек комнату и вошел в другую, маленькую, где, как он знал, был кабинет Антона. Он провел взглядом по полкам, туго забитым книгами, по письменному столу, старинному, перевезенному с прежней квартиры, покрытому старым зеленым сукном, на котором стоял чернильный прибор из яшмы и бронзовые подсвечники с толстозадыми наядами, было пыльно и мусорно, чувствовалось, давно не убирали. да и вообще комнаты казались заброшенными — так бывает, когда хозяева долго не живут дома. И когда он повернулся, чтобы выйти, то почувствовал разочарование, словно и в самом деле надеялся встретить здесь Антона или хотя бы его тень.

Алена стояла, прислонясь к косяку двери, и наблюдала за ним с явным любопытством.

— Что ты искал? — спросила она.

И он как будто впервые увидел, как она хороша, как открыто и чисто ее лицо с большими глазами, как четко обрисовывается стройная, плотная фигура, и ему захотелось шагнуть к ней, с силой прижать к себе, как делал он это раньше; желание было таким острым, что он с трудом овладел собой. «Не здесь... не сейчас», — приказал он себе.

Глава вторая

1

Звонок Зиновия не застал врасплох Александра, он знал: им надо будет сегодня встретиться и разговор предстоит не из приятных; он успел кое-что обдумать, найти, как ему казалось, довольно веские аргументы, учел при этом, что Зиновий вспыльчив и может быть категоричным.

Зиновий говорил по телефону раздраженно:

— Саша, ты же знаешь: подаю сегодня документы. Какого черта надо было присылать ко мне отца?

«Значит, старик у него был», — отметил про себя Александр и ответил:

— Я даже не знал, что он к тебе собирался, не пори горячку. Я говорил: подавай, возражать не буду... Какая разница — подашь ты или не подашь, все равно будет так, как решил отец. Ты это знаешь не хуже меня.

— Ты не должен был на этот раз вмешиваться, — сказал Зиновий.

— Я никогда ничего не делал против его воли.

— К сожалению, — вздохнул Зиновий. — Но нам надо поговорить. Когда ты можешь?

— Лучше бы в двенадцать. Пойдем в «Маковку», — ответил Александр, он по голосу Зиновия почувствовал: раздражение его улеглось; наверное, и вправду Александр на него влиял своим спокойным, мягким голосом, недаром же гордились в семье, что братья никогда не ссорились.

«Первый раз вижу таких, — сказала Люся, когда вошла в их семью. — Хоть бы для смеху поругались». Он ей отвечал: «Нам почему-то это никогда не удавалось...» Тогда она спросила: «А со мной?» «Посмотрим...» Он прожил с ней шесть лет, прожил внешне очень мирно, даже когда она пыталась закатывать истерику — уходил от ссор, но было и другое...

Когда Зиновий позвонил, Люся и Митька стояли в прихожей и на пополневшем за последний год Люсином лице отражалось нетерпение; Александр понимал ее: Митька мог опоздать в детский сад, директриса этого заведения особенно лютовала по утрам, она не переносила опозданий и, бывали случаи, заворачивала детей и родителей домой. Ее боялись и не любили, говорила она хриплым, грубым голосом, всегда громко и неуважительно, по утрам торчала у входа, густо дымя папиросой, с открытой шеей даже в зимние морозные дни, и Люся не раз говорила: «Я от этой хамки ребенка заберу», но не забирала, как не забирала и другие родители, потому что детский сад был хороший, в нем было тепло, чисто, уютно и дети ухожены, их хорошо кормили. «У меня не воруют», — гордо говорила директриса.

До детского сада ехать было минут десять. Люся с Митькой сидели на заднем сиденье и молчали, он приучил их молчать в дороге, объяснив, что разговорами они его отвлекают; ездил он осторожно, стараясь не упускать из виду не только то, что впереди, но и с боков и сзади.

У детского сада он ждал не более пяти минут. Люся на этот раз справилась быстро, и когда вернулась, села рядом, неожиданно охватила упругой полной рукой и поцеловала в щеку, но он не ответил лаской на ласку.

Она изменилась к нему за последнее время, стала покорней, старалась угодить, иногда он перехватывал ее взгляды, очень похожие на те, какими она одаривала его шесть лет назад, перед женьбой. Она приходила к нему в комнату посреди ночи — будила жадными поцелуями, прежде такого не водилось, и от всех этих перемен он насторожился.

Злая и тяжкая обида за недавнее прошлое не покинула его; пожалуй, даже Люся не догадывалась о ней, во всяком случае так ему казалось, как не догадывались и другие, но обида затаилась в нем, язвила душу, неся в себе тайную боль.

— Зачем звонил Зин? — спросила она.

— Он хочет получить лабораторию Дубцова. — Александр никогда не лукавил с ней; если не хотел, чтобы она о чем-то знала, то просто отмалчивался или предупреждал: «Об этом не спрашивай, не скажу», — и она не настаивала, знала, что бесполезно.

— Так и должно было бы быть, — сказала она. — Только Зин там может во всем разобратся.

— У отца другие планы.

Он смотрел вперед на дорогу — они подъезжали к институту — и все же почувствовал, как Люся насторожилась.

— И ты пойдешь на эту лабораторию? — спросила она.

Недаром же он считал: она умная женщина, ей не надо втолковывать одно и то же по нескольку раз, она сообразала стремительно. Люся быстро раскрыла сумочку, достала сигарету и закурила — дома он запретил ей дымить из-за Митьки, и она уходила, как говорила, покейфовать на кухню к открытому окну или на лестничную площадку, да и то только когда волновалась.

— Пойду, — ответил он, ставя свой «Москвич» неподалеку от отцовской «Волги». — У меня нет выбора.

— Да, — задумчиво кивнула она. — Если отец... тогда — да...

Она хотела еще что-то сказать, но сдержалась; он догадался: Люсе вздумалось предупредить его, чтобы он еще подумал, но, видимо, сообразила: пустая трата слов, — и решительно вышла из машины.

Он подождал, пока она поднимется по широкой лестнице. Несмотря на то, что Люся пополнила за последнее время, походка у нее оставалась легкой, хотя и появилось в ней нечто новое; лишь сейчас, глядя, как она мягко взбегаёт по ступенькам, он сумел определить это новое. Кошачья вкрадчивость — вот что это такое. Он усмехнулся — подобные определения всегда условны и слишком субъективны: если ему перестала нравиться ее походка, то кому-нибудь она может оказаться по душе и ничего кошачьего он в этом не увидит. Люсю обогнал высокий парень весь в джинсовом — от ботинок до кепочки, — отворил перед ней тяжелую дверь, и они вместе исчезли за ней.

Александр не мог решить: надо ли ему сейчас же, после звонка Зиновия, встретиться с отцом, чтобы узнать, как прошел их утренний разговор, или этого делать не следует, ведь все уже было обговорено раньше, а отец не любил, когда его лишний раз тревожили на работе... «А что может Зиновий?» — подумал Александр, и перед ним как с высоты птичьего полета открылась панорама плоской долины, только вместо деревьев и строений на ней обозначились группки людей, исчезающие в перспективе; он вгляделся в них, чтобы отыскать Зиновия... Нет, скорее не его, а Антона Васильевича, хотя того уж и не было в живых... Дубцов не мог прикнуть ни к одной из группок, он пришел в институт недавно, да и

то на полставки, сохранив за собой место главного сталеплавильщика на заводе, пришел по рекомендации отца, когда тот вдруг решил: нужна лаборатория, пусть небольшая, в рамках отдела, руководить которой должен производственник. На ученом совете предложение с удовлетворением приняли. Что стояло за этим, Александр понял позднее.

Лаборатория Дубцова была совсем небольшой, скорее не лаборатория даже — группа. Но все понимали: может наступить момент, когда она станет одной из основных. Конечно же, всю работу там вел Зиновий, но у отца было много веских причин, чтобы добиться избрания Александра на должность заведующего... Слишком много веских причин... Кто поддержит на конкурсе Зиновия, если он подаст документы? Только те, кто мог бы воевать за Антона Васильевича, а таких в институте среди членов ученого совета почти не было, здесь давно установились свои отношения, свои симпатии и антипатии, свои маленькие и большие кланы, и чтобы войти в эту систему, понять ее и выбрать позицию, нужна была долгая и сложная работа, а так как Антон Васильевич был человеком пришлым, производственником, то он и оставался в стороне; внешне ему выражали почтение, но никаких союзников у него не было, да и быть не могло. Однако же выступить за Зиновия могли и другие — те, кто составлял оппозицию отцу, но этих отец не боялся, он всегда готовился к любой битве тщательно и, прекрасно зная каждого из членов совета, мог или договориться с ним, или нейтрализовать.

Конечно же, Зиновий не должен подавать документы; дело не только в том, что он обречен на провал, но своим участием в конкурсе создаст необычную ситуацию: за место заведующего лабораторией борются два сына академика Кордина. Нелепость невероятная... Сколько же толков, слухов, сплетен возникнет вокруг этого... С каким жадным нетерпением институтские кумушки будут ждать, как и чем закончится этот странный спектакль... Неужто Зиновий так наивен, что не понимает этого?

Конечно, отца тревожить не надо, если потребуется — он сам позовет, лучше всего заняться текущей работой, а в двенадцать... Вот они встретятся с Зиновием в двенадцать, и тогда многое прояснится.

2

Валя позвонила, как только Зиновий вошел в лабораторию, и по ее голосу он понял — звонит не в первый раз.

— Ты отдал документы?

— Конечно, — весело ответил он.

— Ну и как?

Он рассмеялся:

— Ты зря беспокоишься. Разве их могли не принять? Живи нормально, все будет в порядке.

— Я его боюсь, — сказала Валя.

— Ты его боишься целый год. Только я не очень понимаю — почему. По-моему, он к тебе хорошо относится.

— Он так смотрит...

— Ну вот, а люди говорят, что у меня его глаза. Даже разрез.

— Глаза — да, но взгляд... Зин, ты не очень с ним воюй. Ладно?

— Я сказал: живи спокойно.

— Хорошо. Тогда я тебя целую.

— И я...

Зиновий знал, что не успокоил Валу, уж очень она разволновалась после того, как отец побывал у них нынче утром, и, вспомнив ее испуганное лицо, подумал: «А какого черта мы до сих пор не поженимся? Может, пора бы уж?.. Оформить, так сказать, брак. Это

надежней...» И тут же усмехнулся: для кого надежней? В чем надежней?.. Глупости! Он взглянул на часы: до встречи с Александром еще было время, — и тогда он достал папку из стола, чтоб посидеть над набросками статьи, которую они начали с Дубцовым.

Комната, в которой он сидел, была узкая, с высоким потолком — когда-то здесь была кладовая, но после того как приняли решение создать новую лабораторию, комнату переоборудовали. Здание института было старым, все закоулки прочно обжиты, и чтобы отыскать новое помещение, требовался особый талант хозяйственника. Возились с этим долго, кого-то переселяли, кого-то уплотняли, были ссоры, истерики, слезы, и когда наконец с горем пополам утрясли с основной комнатой, выяснилось: заведующему сидеть негде, — и кто-то пустил слух, что Дубцову отдадут приемную Кордина, она была обширна, светла, в ней сидели два секретаря; пожалуй, эта приемная была даже лучше директорской. Слух дошел и до Семена Петровича, он его выслушал и ответил: «Я начинал в чулане. Хорошие дела начинаются в закутке, а продолжают в апартаментах».

Дубцов ничего этого не знал, потому что еще не появлялся в институте, он приехал на следующий день после сказанного Кординым, стал осматривать здание и без труда обнаружил старую кладовку, отведенную под никому не нужный архив, — прошелся мимо пыльных полок, забитых папками с бумагами, трухлявыми макетами, и сказал:

— Вот здесь. Это будет отличный кабинет.

И тогда в институте решили: слова о чулане Дубцов принял как руководство к действию. Кабинет и в самом деле получился неплохой, в него поставили шкафы и два стола — один для Зиновия, так распорядился Дубцов; стены покрасили в мягкий палевый цвет, повесили несколько фотографий, изображающих установки прямого восстановления, — и комната обрела свой вид; она была узка, высокая, и ее стали называть пеналом. Так и говорили: «вызывают в пенал» или «приглашают в пенал».

Зиновий сидел у самого окна, а стол Дубцова был выдвинут на середину комнаты. Это был старый двухтумбовый стол, целое архитектурное сооружение, как определили институтские знатоки — в стиле ампир: на тумбах декоративные прямые колонны, резные эмблемы со скрещенными копьями; стол был изрядно потрепан, углы обшарпаны, краска облупилась, на крышке вместо сукна — гладкая фанера, которую Дубцов обычно застилал толстой розовой бумагой. Кто-то пустил слух, что Антон Васильевич сам выбрал на складе этот стол, потому что прежде он стоял в кабинете Саввы Морозова; слух был нелеп, но в него легко поверили... Зиновия удивило другое: примерно такой же стол, только большего размера, он увидел у Дубцова в кабинете на заводе, а потом и дома.

За то время, как начали создавать лабораторию, Зиновий подружился с Антоном Васильевичем и потому спросил напрямик:

— Вы что же современную мебель вообще не признаете?

Дубцов сначала не понял, в чем дело, сказал:

— Почему же... — Но перехватив взгляд Зиновия, неожиданно по-мальчишески смутился — с ним это бывало. — Да видишь ли, я с детства привык за отцовским... Может, у меня бзик такой, но за новыми столами мне почему-то ни черта не думается.

Зиновий тогда ответил:

— Но это же не стол, а Казанский собор...

Тогда Дубцов вздохнул и сказал:

— Ну вот и будем за ним отводить душу.

Сейчас, взглянув на стол Антона Васильевича, Зиновий подумал: на нем все сохранилось как при хозяине — тяжелый чернильный прибор с массивными стеклянными чернильницами, в которых хранились скрепки, перекидной календарь, весь изрисованный нерв-

ной рукой, а высокое венгерское кресло на колесиках как бы хранило тень узкой спины Дубцова... «Вот за этот стол и начинается битва», — усмехнулся Зиновий. Но тут же поправил себя: не начинается — скорее завершается, потому что битва началась за много лет до того, как этот стол внесли сюда, в пенал, и даже до того, как появился Зиновий на свет.

Подумав об этом, он ощутил, как это бывало с ним и прежде, странную сопричастность с тем, что было еще до него, будто в те дальние годы он сам находился среди людей, начавших дело, невольным продолжателем которого стал. «Может быть, уже тогда все было предрешено?» — мелькнуло у него, и он мысленно увидел Антона Васильевича за столом уже больного, с худым лицом, острым носом и желтыми полукружьями под глазами с горячечным блеском; он сжимал металлическую ручку, которую любил крутить в пальцах, и говорил:

— Моя жизнь обладает своим аспектом вечности, но не по ту сторону добра и зла, а здесь, теперь, когда я сознаю, что участвую в постоянном продолжении человеческого творчества...

Зиновий тогда слушал его и не мог проникнуть в сокровенный смысл его слов, в них была какая-то косноязычная торжественность, мешающая увидеть нечто очень важное, но он чувствовал: эти слова не пусты, в них заключен свой смысл, — и вот теперь мысль о том, что он, еще не появившись на свет божий, был уже чуть ли не участником старой истории, которую ему приходится разматывать сегодня, объединилась с услышанным тогда от Дубцова... «Конечно, все это связано, конечно...» — думал он. Кто может объяснить, почему именно он, сын Семена Петровича Кордина, полез в архивы, о которых все прочно забыли, и стал раскапывать дело с «чистым заводом»? Он тогда и не знал, да и не мог знать, что его отец и Антон Васильевич были прежде большими приятелями, а вся жизнь Дубцова какими-то гранями все время соприкасалась с отцовской... Когда Зиновий по уши влез в разработки, используя те идеи, которые обнаружил в старых отчетах Дубцова, в его забытых статьях, и привлек к этим разработкам знакомых ребят — физиков, а потом втянул и Люсю, прекрасного химика, и у него все стало сходиться, он вдруг узнал: Дубцов жив и работает в двух часах езды от Москвы. Ему казалось: события, происшедшие в начале пятидесятых годов, такая древность, что участники их могли уйти только в небытие, он упускал из виду: его отцу в то время было почти столько же, сколько ему... Конечно же, собрав данные, он немедленно отправился к Дубцову. Перед этим пытался созвониться с Антоном Васильевичем, но того все время не было на месте, он мотался по заводу. Зиновий сел в электричку и поехал — там, на месте, все разъяснится.

День был жаркий, душный; в электричке еще можно было терпеть — все окна нараспашку, и во время движения вагон продувался насквозь, — когда же Зиновий вышел на привокзальную площадь — жара его оглушила. Но самым тяжким оказалась (после того как он проехал с полчаса автобусом) путь от остановки до кубообразного серого здания заводоуправления — круглая площадь перед ним дымилась раскаленным асфальтом, душили тяжелые запахи с коксохима, горячие испарения при каждом вдохе обжигали легкие. Хилые деревья возле здания словно бы сжались и усохли и не отбрасывали тени.

Прежде всего он нашел умывальник, подставил голову под струю, льющуюся из крана. Когда немного пришел в себя, утерся носовым платком и пошел искать кабинет главного сталеплавильщика.

Сначала он напоролся на Кадкина. Тот сидел в небольшой комнате, обставив себя двумя вентиляторами так, что оказывался в

центре встречных потоков воздуха, и его коротко стриженные черные волосы стояли, как иголки у ежа; он элегантно потягивал сигарету, вставленную в длинный мундштук, и время от времени указательным пальцем приглаживал пышные, аккуратно подстриженные усы. Зиновий угадал в нем ровесника и поэтому с ходу кинул:

— Привет специалисту! Мне нужен главный.

Кадкин не принял этого тона, вежливо сказал:

— Прошу, садитесь. Хотел бы знать, с кем имею...

Зиновий не дал ему договорить, протянул служебное удостоверение. Кадкин взял — Зиновий обратил внимание, какие у него длинные твердые пальцы, именно твердые, потому что они почти не гнулись, когда Кадкин разгибал корочки, — вертел его перед собой, словно хотел проверить со всех сторон.

— К академику Кордину имеете какое-то отношение? — спросил Кадкин, возвращая документ.

— Сын, — ответил Зиновий.

Никакой реакции на свой ответ Зиновий не заметил, лицо Кадкина было невозмутимо, словно и не он задал этот вопрос; он не спеша взял длинный мундштук, затаился и только после этого сказал:

— Антон Васильевич в мартеновском... Вам жарко?

— Очень.

— Ну так представьте себе, как у сталеваров да и вообще в горячих цехах.

— Представляю, — сказал Зиновий и в самом деле представил мартеновские печи, гудение огня, длинный хобот завалочной машины и искры, летящие на сетку, а вентиляция вместо прохлады гонит теплый воздух... Однажды Зиновий видел нечто похожее, видел, как сталевары поливали друг друга из шлангов, но это мало помогало...

— Он что же, доставил туда лед и мороженое? — пошутил Зиновий и сам же почувствовал: пошутил глупо; ему стало неловко. «Это у меня у самого от жары...»

Кадкин погладил указательным пальцем усы и ответил серьезно:

— Мы оперативно разработали кое-какую идею, чтоб дать в цеха прохладу. Идея оказалась вполне. Если интересно, я скажу, чтоб вам выписали пропуск.

Зиновий представил, как ему снова придется пересекать асфальтовую раскаленную сковородку, а потом идти по заводскому двору; пока доберется до цеха, его хватит солнечный удар...

— Как-нибудь в другой раз, — ответил Зиновий. — А сейчас мне очень нужен Дубцов.

Кадкин подумал, нажал негнувшимся длинным пальцем на клавишу селектора, попросил диспетчера разыскать Антона Васильевича, сообщить: приехали от академика Кордина... Зиновий не успел его остановить — ему меньше всего хотелось, чтобы ссылались на отца, потому что отец и не знал ничего об этой поездке. «Сам виноват, — обругал он себя. — Сказал бы — однофамилец...» Да если бы он тогда сообщил отцу, что занялся «чистым заводом» и не только раскопал прошлое, но и обнаружил причины неудачи, а потом как бы полностью обновил идею на современном уровне, то вряд ли бы его поездка в Торск состоялась. Но об этом он узнал позднее. Наверное, ему повезло, что отец меньше всего интересовался его работой, в центре его внимания всегда был Александр, а Зиновий жил вольно. Может быть, отцу представлялось дело так: пусть пока ходит в младших научных сотрудниках, диссертация у него есть, а остальное приложится, с мальчиком, мол, все в порядке, ну и слава богу. Не мог же он и в самом деле предположить, что Зиновия замкнет на старой идее, давным-давно похороненной и, казалось,

забытой, на той самой идее, к которой и сам Кордин имел когда-то отношение. В общем, все это делалось втайне от отца, но без всякой задней мысли... Селектор откликнулся минут через пять, очень приятный, с мягкими басовитыми нотками голос — удивительно похожий на голос какого-то хорошо знакомого актера, а какого именно, Зиновий вспомнить не смог, — сказал:

— Миша, проводи товарища ко мне, я быстро приму душ и поднимусь.

Кадкин встал, и Зиновий сразу отметил, какая у него подтянутая, спортивная фигура, прямо-таки идеальная фигура гимнаста: широкие плечи, живот вбран, прямые стройные ноги туго обтянуты узкими джинсами.

Кадкин оставил его в просторном кабинете Дубцова, и вот тогда-то Зиновий впервые увидел большой письменный стол старинной работы и подумал с усмешкой: «Только канделябра не хватает». Однако был и канделябр — из тусклой бронзы, с затейливым узором, изображающим венок из листьев, — он стоял на краю стола, придавливая бумаги, и в одно из гнезд была вставлена желтая свеча. Кадкин включил вентиляторы — здесь их тоже было два, — повернул так, чтобы они обдували Зиновия, и ушел пружинистой и в то же время мягкой походкой ковбоя.

«Странный парень», — подумал Зиновий; потом он не раз так думал о Мише, но в то время определить своего отношения к нему не мог и скорее всего поэтому и подумал о странности — просто абстрактно, не вкладывая в это понятие ничего конкретного.

Он чувствовал себя неловко, сидя один в чужом кабинете, обдуваемый жужжащими вентиляторами и прижимая к коленям папку с чертежами и расчетами, и обрадовался, когда наконец дверь резко открылась и вошел Дубцов... Зиновий вскочил со стула, а Антон Васильевич, сделав несколько торопливых шагов, остановился, словно споткнулся, и выдохнул:

— Неужто сын... Семена?

Зиновий не ответил, разглядывая Дубцова. Лицо Антона Васильевича было красно, на нем выделялись полные губы и зеленые глаза; мокрые русые волосы, изрядно побитые сединой, плотно прилегли к голове. Зиновий подумал: «Как ему не жарко в костюме, да еще в шерстяном?»

Дубцов сказал:

— Непохож, а вот что-то есть. Определить не могу... Ну, рад. Давай знакомиться. — И он протянул обе руки сразу, потом быстро подошел к холодильнику, достал бутылку боржома и, налив в два стакана, приказал: — Пей!

Антон Васильевич пил шумно, большой кадык ходил на его длинной худой шее. Утолив жажду, указал на кресло, сам сел напротив, выставив вперед острые коленки, спросил:

— Что привело?

Зиновий внезапно оробел: перед ним сидит человек, статьи которого и официальные записки, подшитые в архивных папках, он читал и перечитывал множество раз и мыслями которого жил изо дня в день последние полтора года, человек этот сидит живой, во плоти и смотрит на него с любопытством и ожиданием, и Зиновий, не зная, как объяснить свой приход, молча протянул Дубцову папку с документами и расчетами. Тот взял ее охотно, словно был к этому готов, развернул и, прочтя титульный лист, прищурил левый глаз, словно прицелился, исподлобья метнул в Зиновия колючий взгляд и только после этого стал поспешно перелистывать страницы.

— Кто этим занимался? — спросил он. — Ты?

— Я, ну и, конечно, мои товарищи... Тут одному...

Не выпуская папки из рук, Дубцов резко поднялся и торопливо прошелся по старенькому ковру, прошелся раз, второй, все убыстряя шаг, и Зиновию показалось: Антон Васильевич хочет вырваться из кабинета, убежать.

— Хорошо,— наконец сказал он.— Мне все это надо читать... Серьезно... Не здесь... Можем встретиться утром, часов в шесть.

— Трудно с электричкой,— робко сказал Зиновий.

— А ты ночуй здесь,— ответил Дубцов.— Сейчас скажу Мише, он тебе устроит номерок в нашей гостинице... Можешь остаться?

— Конечно.

Потом Антон Васильевич признавался: он был в состоянии, близком к шоку, и ему нужно было время, чтобы опомниться, прийти в себя. Он с первого взгляда понял, что там, в этой папке, понял — и не поверил себе...

То, что Дубцов назвал гостиницей, занимало всего лишь подъезд в жилом доме, который охранялся бдительной теткой Киной — толстенной женщиной с очень тонким голоском; она помещалась в комнате на первом этаже и по записке, которую протянул ей Кадкин, выдала Зиновию ключи от однокомнатной квартиры. Та же тетя Кира сообщила Зиновию: если он спустится с горки, то упрется в старинный липовый парк, а за ним есть большой пруд, где в жару прохлаждаются все бездельники.

Все же на песчаном берегу пруда народу оказалось немного — большинство старалось держаться в тени, там играли в карты и домино, пили пиво и воду прямо из бутылок. Зиновий долго плавал и, хоть вода была теплой и мутной, испытывал истинное наслаждение, а потом лежал под кустом, глядя на широкое зеркало пруда, над которым колебался желто-розовый воздух, слева видны были корпуса цехов, а справа и на другом берегу все заслонялось темной зеленью.

Он почувствовал голод и без труда отыскал среди черных старых лип кафе с широкой верандой, откуда несло подгорелым и прогорклым. За длинной, обитой жестью стойкой дремал прыщавый парень.

— Чем накормишь? — спросил его Зиновий.

— Рыбный день, шеф,— лениво ответил парень.

— Ну, давай рыбу.

— В океане, шеф, в океане.

— А взамен?

— Оладьи, вареники. Хочешь портвейн?

Зиновий набрал целую тарелку оладьев, похожих на пористую резину, и три стакана компота — другого питья не было — и вышел на квадратную веранду; она вся была в тени, защищенная от солнца липовыми ветвями. Посреди за алюминиевым столиком с синей пластмассовой крышкой сидел человек в распахнутой до пояса гимнастерке, с окладистой пегой бородой, рвал руками большого вяленого леща, перед ним стояло несколько бутылок пива и бутылка водки, граненый стакан, висилась горка помидоров, а у ног, высунув язык, тяжело дышала лохматая черная собака и с тоской смотрела на хозяина. Зиновий сел в стороне и начал жевать оладьи, запивая их компотом; он специально сел так, чтобы бородатый его не заметил, но тот решительно повернулся к Зиновию и долго смотрел на него немигающими голубыми глазами, выставив вперед жирные от леща пальцы. Потом икнул и трезвым спокойным голосом спросил:

— Выпьешь?

— Нет,— ответил Зиновий.— Жарко.

— Ну и дурак,— беззлобно сказал тот.— Снаружи сорок и вовнутрь сорок — балансировка. И мотор работает нормально. Иди, налью, пока я добрый.

— Нет,— повторил Зиновий.

Тогда бородатый наклонился к собаке, неспешно вытер о ее густую черную шерсть пальцы, поднялся и, приподняв столик, как поднос, прошел с ним почти через всю веранду и приставил его к столику Зиновия; собака лениво поднялась, поплелась за хозяином и снова улеглась у его ног. Теперь бородатый сидел напротив Зиновия, его глаза — острые, как две льдинки, торчащие из-под густых, таких же пегих, как борода, бровей,— в упор разглядывали Зиновия.

— Отдыхаешь? — спросил он, почесав лохматую бороду.

— Отдыхаю,— ответил Зиновий, с трудом прожевывая резиновую оладью.

— А пива?

— Спасибо.

Бородатый взял один из стаканов, выплеснул за перила компот и налил пива, а себе водки, приподнял стакан, отставив мизинец.

— Меня, между прочим, Николаем Сорокопудовым зовут. Если не слышал — услышишь. Живи.

И легко, совсем как воду, выпил водку, взял леща, кинул его Зиновию, а сам со смаком куснул помидор.

— А хочешь, скажу, как тебя зовут и зачем ты на завод приехал? — весело спросил он, собирая в гармошку частые складки на лбу, и снова почесал бороду.— Зиновий — вот ты кто. И примчался к нам по научным делам. А? — И так громко захохотал, что собака вскинула уши, стремительно согнала с себя сонливость и выжидающе посмотрела на хозяина; хохотал он долго, с удовольствием, радуясь самому себе, его крутые плечи ходили под влажной от пота гимнастеркой.

А Зиновию сделалось неприятно, он взгляделся в бородатого, пытаясь вспомнить: может быть, где-то их пути перекрещивались? Мысленно сбрил с него бороду, но вспомнить не мог.

— А ты не мучайся,— сказал Николай Сорокопудов,— я экстрасенс, насквозь вижу и дальше, в бесконечность пространства, а когда выпью — могу из человека кошку сделать, только не хочется... Вот сейчас ты передо мной пиво пьешь, а я вокруг тебя фиолетовое тело вижу, из чего могу вывести факт: человек ты незлобивый и покладистый, хоть и выпить со мной не захотел.

Зубы у него были ровные, крепкие и такие белые, что когда он смеялся, они невольно бросались в глаза.

— Слушай, ученый,— сказал Николай,— а хочешь, я тебе еще одну штуку устрою?.. Вот сейчас к нам две девахи бодрым строевым направляются, так ты одну из них поостерегись, мой тебе совет... Вот засеки время, через три минуты они тут как пить дать будут.

Зиновий невольно взглянул на часы и теперь уж сам налил себе пива, он пил его медленными глотками, и когда секундная стрелка сделала три оборота, услышал за своей спиной шаги и женский смех, быстро обернулся и увидел двух девушек: одна была невысокая, рыженькая, с нагловатыми озорными глазами, другая — со строгим лицом и синими безмятежными глазами, на ней был легкий сарафанчик, вырез приоткрывал крепкую полную грудь, да и вообще во всей ее фигуре было такое, что заставило Зиновия очень внимательно в нее взглядеться... Вот так он впервые увидел Валу.

— Колька,— сказала она строго,— ты опять пьешь?

— Только пиво, цветик мой, только пиво.— И Сорокопудов приподнял стакан.

Зиновий взглянул на стол — бутылка с водкой исчезла.

Девушки перелезли через перила веранды, и Сорокопудов познакомил их с Зиновием.

Черт знает почему Зиновий остался с ними; они пили теплое

пиво, слушали несусветную болтовню Сорокопудова, да и сам Зиновий неожиданно разговорился, вспомнил все последние анекдоты, которые слышал. Они просидели часа полтора, пошли купаться и долго плавали в пруду, валялись на горячем песке пляжа — слишком уж давно у него не было такого бездумного дня.

Теперь многое стерлось из памяти, да он и не пытался ничего удержать — ни те мелкие события, ни диалоги, — он даже плохо помнил, как расстался с этой компанией, потому что все заслонилось одним — встречей с Валею, и хоть потом они долго не виделись, он был убежден: именно в тот невероятно жаркий день все и началось...

В шесть утра он сидел в кабинете Дубцова, и Антон Васильевич мерил шагами расстояние от окна до стола, ноги у него были длинные, и поэтому он мотался довольно быстро. Зиновию нравился его голос — он так и не смог вспомнить актера, у которого была точно такой же мягкий бархатистый тембр, как бы вливающийся в душу, — нравилось, как он говорил, помогая себе взмахами обеих рук. А речь шла о том, что Дубцов просидел над папкой Зиновия всю ночь, перерыл свои архивы и теперь убежден: выдвинутая им тридцать лет назад идея родилась заново. Когда-то она наделала много шуму, шум перерос в грандиозный скандал, и под трубные звуки ученые-педанты снесли идею на кладбище, всячески заклеймив и опозорив, а сейчас Зиновий вернул ей жизнь. Предложения Кордина-младшего столь неожиданны и смелы и в то же время доказательны, что у Антона Васильевича нет ни малейших сомнений: их вполне можно воплотить в жизнь, хотя снова это может вызвать немалый шум и скандал. Все это он изложил в довольно длинной речи, и Зиновию слушать его было приятно и радостно.

— Ну хорошо, — сказал Дубцов, — а как же Семен Петрович? Вы его-то с этим знакомили?

И тогда Зиновий объяснил: отец об этой работе ничего всерьез не знает, делалась она как внеплановая и так увлекла его, что он просиживал над ней ночи напролет, да еще втянул множество людей, которые помогали ему благодаря дружеским отношениям.

Дубцов сел в кресло напротив Зиновия, выставив вперед острые коленки, долго смотрел на него, потом решительно сказал:

— Ну хорошо... Я договарюсь... Мы добьемся — соорудим у нас на заводе установку. У нас тут есть крепкие ребята — конструкторы... Ну, Мишу Кадкина подключим. У него голова работает... Будем проверять все, все будем проверять... Но придется сюда ездить, дорогой, придется. Другого выхода нет...

Вот так все произошло, так началась совершенно новая жизнь Зиновия, и сейчас должно было решиться: закончится ли она или перевалит еще через один рубеж.

3

Весть о том, что оба сына Кордина подали документы на конкурс, облетела институт мгновенно; это была сенсация, и такая сенсация, о которой можно было не просто посудачить, а и всерьез поразмышлять. Все давным-давно привыкли: процедура избрания на должность — дело формальное; если освобождалось место заведующего, то дирекция заранее решала, кто подходит, и, как правило, члены ученого совета знали об этом, да в большинстве случаев с ними все уже было приватно согласовано, а объявление в газете о конкурсе, рассмотрение на конкурсной комиссии, а затем голосование — скорее дань традиции, тот академический ритуал, который символизировал борьбу научных направлений и свободу выбора ученого. А так как чаще всего на конкурс подавал документы всего один претендент — тот самый, который устраивал дирекцию

и вместе с ней большинство членов ученого совета, — то выборы сводились к назначению, хотя тайное голосование проводилось обязательно... А тут вот такое событие. Было бы еще понятно, если бы на конкурс подали со стороны или из тех лабораторий, которые находились в оппозиции к академику Кордину, но когда это сделали два его сына... Недоумение было так велико, что большинство сотрудников, теряясь в догадках, затевали довольно шумные и открытые споры, высказывая самые невероятные предположения, но никто не решался напрямую спросить, в чем тут дело, ни у Александра, ни у Зиновия, ни тем более у Семена Петровича — вопросы такого рода считались более чем неэтичными.

Александр все это хорошо понимал, он вообще очень чутко улавливал происходящее в институте. «Мы должны были встретиться раньше, — думал он. — Вот где я сделал ошибку». Прокрутил в голове весь утренний разговор с Зиновием по телефону, тщательно припоминая все, даже интонации, и пришел к выводу: «Дело в том, что я не знаю, чем кончился у них разговор с отцом. Если бы я знал...»

Он снял трубку и позвонил отцу — теперь не только можно было его беспокоить, но и нужно. Секретарь Мария Ованесовна сообщила: утром он был, но вскоре уехал и после этого вестей о себе не подавал, поэтому она не может даже приблизительно сказать, когда он будет.

Поразмыслив, Александр решил: не стоит пороть горячку, пошумят-пошумят да и затихнут, а Зиновий как подал документы, так же может их забрать, да и вообще до голосования еще около месяца, а за это время произойдет множество событий, поэтому лучше всего вести себя так, будто ничего особенного не случилось...

У него была группа, довольно крепкая группа из семи человек, включая лаборантов, это были люди, которых он сам отобрал. Группу эту создали года четыре назад, к тому времени Александр знал: лучше взять ребят пусть со средними способностями, но умеющих точно и аккуратно выполнять поставленные задачи, чем таких, о которых говорят, будто они чуть ли не гении в своем деле, — этих всегда может занести в несусветные дебри, увести в сторону от того, что поручено, а если они сорвут плановую работу, то немедленно найдется множество защитников: мол, талантам все дозволено. Хороший работник тот, который умеет исполнять, и если из таких составится костяк, тогда группа начинает действовать, как отлаженный механизм, и результаты не замедлят сказаться. Не случайно же его группа за короткое время решила немало задач, которые задал отец. И склок никаких не было.

Александр хорошо усвоил слова отца, сказанные им как бы шутя: «В обмен на послушание начальник должен давать надежду, без этого его замыслы могут оказаться мыльным пузырем...» И эта надежда была у каждого в группе: у лаборантов — стать младшим научным сотрудником, у младших — стать старшим, защитить диссертацию, получить право первой подписи под статьей; он следил, чтобы все эти блага распределялись равномерно, как премии или командировки за рубеж, он старался приподнять каждого, чтобы человек чувствовал свою значительность. И если он сумел так наладить дело в группе, то, конечно же, и руководство лабораторией пришлось бы ему по плечу.

Заведующий лабораторией, или — в обиходе — завлаб... О, это особая должность в сложной академической системе; человек, занимающий ее, входит в основное ядро руководителей главных подразделений, которые двигают науку. Кто только не занимал эту должность! И великие, чьи имена до сих пор произносятся с глубочайшим почтением, и ныне забытые академики, и кандидаты наук, подававшие блистательные надежды... Лаборатория — суверенное го-

сударство со своими неписаными законами, традициями, условностями, тайнами, противоречиями, группировками, оппозицией и порой такими запутанными отношениями, что человеку стороннему никогда не распутать их,— и над всем этим завлаб, вершитель судеб, носитель главной идеи, во имя которой и трудятся все остальные. Завлаб... Ему дано право оценивать работу, разрешать публикации, готовить диссертации, поручать выступления на симпозиумах, съездах, форумах, наказывать и миловать... Тот же Дубцов, по привычке мотаясь в своем узком кабинетике от окна к двери, говорил Александру: «Это же удивительное дело! Организационно наша наука построена на том расчете, что завлаб — исключительно порядочный человек. Исключительно! Ну а если он не порядочен?.. Да и как, чем измерить эту порядочность? Ведь никакого морального кодекса ученого нет. Вот у врачей есть клятва Гиппократа. А что у нас? Да ничего у нас. Утвердится ли в лаборатории республика, или конституционная монархия, или диктатура — все зависит от характера завлаба, он и только он выбирает форму правления. Вот что такое расчет на порядочность...»

Разговор тогда был сложный, тяжелый, и Дубцов это говорил в запале, со своей, так сказать, кочки; все же в словах его было много истинного, и Александр это понимал.

Лаборатории, лаборатории, лаборатории. Большие, маленькие и совсем крохотные, знаменитые на весь мир и бесславные, но никто никогда не знает, какое место займет по воле судьбы какая-нибудь совсем неприметная лаборатория; сколько раз бывало в истории науки, что именно такое стоящее на обочине крохотное подразделение вдруг обретало шумную мировую славу и тогда стремительно становилось главенствующим не только в рамках института, но и целой научной отрасли... Встать во главе лаборатории — это не только обрести самостоятельность и власть, но и крепкую надежду на будущее. И отец, конечно же, был прав, когда сказал: «Тебе пора...»

Александр и сам понимал: наступило время, когда надо занять прочное место в жизни, ему уже тридцать три — возраст, когда путь выбран и надо закрепиться на достигнутых рубежах так, чтобы быть гарантированным от всяких случайностей. Если он станет завлабом, то это не только обеспечит ему самостоятельность, но и будущее. Да, до сих пор отец был и остается для него почти всем, щитом и опорой, но... Случаются трагедии, которые неминуемы, и к ним необходимо готовиться загодя...

Так сложилась его жизнь, что отец навсегда стал для него самым близким и самым надежным человеком; с четырех лет он рос без матери, и как ни старалась Наталья Львовна, он все время чувствовал расстояние между собой и мачехой и втайне жадно тосковал по матери, хотя и не помнил ее. Его тоска обернулась преданностью и безмерной любовью к отцу.

Когда ему исполнилось пятнадцать, всех его сверстников-одноклассников обуяла любовная лихорадка. Ни о чем ином они не могли говорить и думать кроме как о тайнах женского тела, и, сжигаемые любопытством и нетерпением, придумывали в своих рассказах бог весть какие подробности, этим еще более разжигая друг друга. Он ощутил отвращение к этому всеобщему психозу, и его больная тоска по матери обрела такую силу, что Саша поставил себе целью узнать о ней все возможное. Вот эта-то страсть и привела его на квартиру к Дубцову. Он слышал об Антоне Васильевиче и раньше, знал: тот старый приятель отца, еще со студенческих лет.

Саша позвонил Антону Васильевичу, и они договорились встретиться вечером часиков в семь, когда Дубцов вернется с работы: Антон Васильевич служил тогда в одной конторе, связанной с чер-

ной металлургией. Кстати, эти годы, начало шестидесятых, Дубцов называл самым унылым периодом своей жизни.

Жил Антон Васильевич в большой коммунальной квартире, один занимая в ней две смежные комнаты. Дом этот теперь снесли, но в то время он, расположенный в центре города, считался хорошим и благоустроенным.

Дубцов открыл дверь и сразу же спросил:

— Ты что так взволнован, Саша? Что-нибудь случилось?

Александр не мог объяснить Дубцову, что уже часа полтора он нетерпеливо ходил по улицам, дворам и закоулкам, пахнущим молодой травой, сиренью и нагретым асфальтом, волнение в нем все росло и росло, потому что он убедил себя: эта встреча с Антоном Васильевичем откроет важную тайну.

Они прошли через длинный коридор, заставленный вешалками, ящиками, тазами, велосипедами, вошли в большую комнату. Было сумеречно, в окно виднелось густое, очень ровное по окраске синее небо — почему-то Александру навсегда запомнилось это окно; Антон Васильевич опустился в кресло с высокой спинкой, и сразу же черты лица его смазались, только поблескивали белки глаз. Александр не знал, с чего начать разговор. Дубцов это уловил и сказал:

— Тебе что-то нужно, Саша?

И сразу же Александр подобрался, успокоился, почувствовал себя уверенней.

— Да... Я хотел бы услышать от вас все, что вы знали о моей маме. Абсолютно все! — подчеркнул он.

Видимо, Дубцов это понял по-своему, он помолчал, раздумывая, и спросил:

— Есть необходимость от кого-то ее защитить?

— Ее защищать не требуется. Это просто нужно мне, — нажимая на слове «нужно», ответил Александр.

Дубцов опять подумал и сказал:

— Видишь ли, Саша, я не знаю, что именно я должен рассказать, потому что Веру я знал всегда... То есть, я хотел сказать, с самого детства, с той поры, как помню себя. Ведь она жила в этой квартире. Вот если выйти в коридор, то их комната... Ботовых комната, вторая слева. Это рядом с общей ванной. У меня много фотографий, я пороюсь, найду, правда они плохонькие, но все-таки... Так что я должен рассказать тебе?

Это все было новым для Александра, он представлял себе дело так: мать и отец были вместе почти всю жизнь и жизнь та была долгой и загадочной; а тут выходило — мать выросла рядом с Антоном Васильевичем.

— Она что же... тут жила одна? — спросил он.

Из кресла, из сумерек донесся мягкий голос Дубцова:

— Да нет, почему же... Отец у нее был инженером, хорошим инженером... Я имею в виду твоего деда. Конечно же, Семен его не знал и знать не мог... Он, твой дед... — И здесь Дубцов сделал паузу, видимо затрудняясь подыскать нужное слово. — В общем, он погиб при аварии на заводе. Говорят, сам был в ней виноват. Это сложная история, я сам ее плохо знаю — мальчишкой тогда был. Наша квартира в ту пору вся была, как ее называли, инженерская. Тут жили люди, которые и по службе друг о друге хорошо были осведомлены. Дружили. В кухне собирались иногда чайку попить, в картишки поиграть... Это уж, когда газ провели, каждый кто смог себе кухонный закуток в комнатах устроил... В общем, довольно открыто жили до той самой поры, когда не стало твоего деда. Вот тогда кое-кто начал Ботовых сторониться... Ну а Вера, она как была нам близкой, почти родственницей, так и осталась... Но, я должен тебе сказать, она очень изменилась с той поры, стала крутой, дерзкой и нарочно иногда показывала, что никого, мол, не боится,

а то и презирает всех. Ну вот, а в сорок втором она ушла на фронт, я немного позднее. Но я воевал недолго, ранило меня, я вернулся, а потом уж из госпиталя попал сначала на завод, затем в институт. А она до сорок пятого служила. Приехала в июне... Ты и представить не можешь, какой тут праздник был, в квартире. А через полтора года она вышла замуж за твоего отца. Но это уже другая жизнь, я ее плохо знаю... Она умерла, потому что у нее легкое было прострелено. Врачи потом сказали: она обречена была. И мне Семен говорил, будто бы он знал об этом и она знала, но жила так, словно ничего такого и не было... Вот и тебя родила. Ей хотелось, наверное — это я так думаю, а ведь не все можно угадать, как на самом деле было, — так вот ей, наверное, хотелось, чтобы какое-то продолжение ее жизни на земле имелось... Вообще она, Саша, была веселым и очень настойчивым, сильным человеком. Я, пожалуй, таких сильных женщин больше не видел... Конечно, я могу тебе о ней долго рассказывать, но ты сам спрашивай, что тебя интересует.

— Я хотел бы взглянуть на фотографии, — тихо попросил Александр.

— Хорошо, я сейчас.

Антон Васильевич вышел в соседнюю комнату, включил там высокую настольную лампу, она облила желтым светом темно-зеленое сукно на письменном столе, а Дубцов склонился к ящику, долго в нем рылся, наконец вытащил большую, с вишневым затертым бархатом на обложке альбом для фотографий, принес его Александру и зажег верхний свет. Александр потянул к себе альбом и сразу ощутил особый запах, запах прошлой, незнакомой жизни, робея, раскрыл его и увидел на плотной коричневой бумаге снимок худенького мальчика в свитерочке и коротких штанишках, он держал за ручку девочку с бантиком, одетую в матроску, и у этой девочки было такое выражение лица, будто она не выдержит и вот-вот рассмеется.

— Это нас в коридоре сфотографировали. Какой-то знакомый. По-моему, мы здесь еще в четвертом классе, — пояснил Антон Васильевич. — Ну ты смотри, ты ее легко узнаешь, а я пойду чайку поставлю...

Когда Дубцов ушел, Александр нетерпеливо стал перебирать фотографии, на которых была изображена мать в разном возрасте; и впрямь их оказалось немало — сделанных наспех, мимоходом, пожелтевших от времени, покрытых пятнами из-за плохой обработки, даже местами порванных... Одна из них оказалась ему хорошо знакомой: мать в форме, в погонах лейтенанта, в Германии, о чем свидетельствовала золотая тисненая надпись в углу с названием немецкого городка — Эйзенах — и фамилией владельца ателье; мать смотрела весело, надменно вскинув голову, и все же сквозь это веселье и нарочитую надменность проступала усталость — складками у резко очерченных губ, тенью под раскосыми глазами... Он дома много раз рассматривал этот снимок, привык к нему и прежде не замечал усталости и глубоко спрятанной в глазах тоски, а теперь, когда увидел другие фотографии, где мать или беспечно смеялась, или строила рожицы, или была задумчива, и сравнил их с этой военной, то удивился своему открытию... «Может быть, она тогда уже все о себе знала?» — подумал он и робко провел пальцем по ее лицу.

Дубцов долго не возвращался, может быть, не хотел ему мешать, Александр все рылся и рылся в снимках, пока не наткнулся на треугольничек, сделанный из грубой тетрадной бумаги, с адресом и штемпелями полевой почты. Это было письмо из Германии, писала мать Дубцову, начиналось оно словами: «Милый, милый, старый мой друг Тошка...» Мать сообщала: чувствует себя неплохо, скоро выйдет из госпиталя; ничего в этом письме особенного не было, но была тоска по прошлому, по той жизни, что осталась в

Москве, хотя, судя по рассказу Антона Васильевича, та жизнь, по которой она тосковала, вовсе не была для нее радостной. Александр прочел это письмо, аккуратно сложил, как оно было, и сунул в пачку с фотографиями.

Потом пришел Дубцов, принес чаю и бутербродов, они пили чай, и Антон Васильевич рассказывал о своем детстве и детстве матери, но Александр плохо слушал, он все думал о незатейливом треугольнике и о тех простых и скупых словах, которые были начертаны на линованной бумаге скверными фиолетовыми чернилами, и вдруг не выдержал, сказал:

— Антон Васильевич, я прочел письмо мамы... Если можно, подарите его мне.

Дубцов не сразу понял, о каком письме идет речь, а когда понял, согласно закивал:

— Ну конечно, конечно, Саша. Если тебе это нужно... Я тебя понимаю, очень даже хорошо... Ты вполне имеешь право.

Он отдал этот треугольничек, и потом много лет Александр хранил письмо в своих бумагах, доставал его тайно, когда оставался один, хоть ничего в этом не было запретного и постыдного, но ему нужна была эта скрытность — всякий раз, когда он перечитывал насквозь знакомые строчки, в нем как бы натягивались какие-то струны и звенели так, что казалось: вот-вот через какое-то мгновение звуки обретут завершенность, соединятся, сложатся в мелодию; но этого не происходило, и Саша был рад, что не происходило, иначе если бы мелодия сложилась, то кончилось бы ожидание ее, кончилась бы неопределенность, которую он берег в себе. Постепенно ему начало казаться — письмо адресовано вовсе не Дубцову, а ему, и особенно эти сокровенные строчки: «Вроде бы мы еще не жили, но так много прожили. Я уж и не знаю, как отличить — что сама перенесла, а что от других услышала. Ой, сколько теперь всякого намешано в моей душе. И никому в этом никогда не разобраться. Лишь бы успеть подышать чистым воздухом...» Иногда ему казалось, что ничего особенного в этих словах нет, только усталость женщины, прошедшей через войну, но иногда виделось многое: и торжество жизни, и покаяние, и мольба, и жажда любви.

Когда он впервые приехал в ГДР, он всеми правдами и неправдами добился поездки в Эйзенах, ему хотелось увидеть этот город, где лежала в госпитале мать, перед тем как вернуться в Москву. Ему подыскали дело на автомобильном заводе. Он остановился в гостинице «Тюринген-хоф», от старого служащего отеля узнал: в этой гостинице и помещался госпиталь, где находились на излечении русские. Он долго бродил по узким улицам зеленого аккуратенького города, сидел возле памятника Лютеру, который тоже упоминался в письме матери, и никак не мог взглянуть на эти улицы, дома, толпы людей возле магазинов глазами матери, и он пожалел, что приехал сюда, потому что этот приезд разрушил в нем какую-то частичку воображаемого.

Он хорошо ладил с Натальей Львовной, и когда подрос Зиновий — возился с ним, опекал, готовил ему еду, вместе с ним ходил в школу. Они жили в большой квартире, и у Саши с Зиновием была своя комната, и только когда Саша стал студентом второго курса, отец отселил Зиновия в маленькую каморку у входа, ее называли комнатой для домработницы, хотя у них в семье никогда домработницы не было... И все же, как ни хороша с ним была Наталья Львовна, тоска по матери жила в его душе, и главным для него стал отец; он старался с детства подражать ему во всем: спал голый, чтобы дышало все тело, принимал по утрам холодный душ; он учился у отца спокойствию и уверенности в себе и, прежде чем что-то начать, советовался с ним, и это помогало ему в жизни; так он и шел по ней, убежденный в своей правоте и веря в предопределение... А к

Дубцову он сохранил нежность и тайную благодарность за то, что тот ему так много поведал о матери, сохранил, даже узнав: отец и Дубцов в серьезной ссоре. Он огорчился, но не более того, поэтому и не стал влезать в сложный конфликт между Антоном Васильевичем и Зиновием, с одной стороны, и отцом — с другой, он старался придерживаться нейтралитета, и отец понял это... Но вот сейчас, когда Дубцова не стало и место его оказалось свободным, а Зиновий подал на конкурс, Александр как бы невольно вступал в эту незавершенную борьбу, он словно бы начинал бой с тенью Антона Васильевича, чего могло и не быть, поведи себя Зиновий иначе...

Группе Александра, как только ее создали, выделили довольно большую комнату; левый угол ее вместе с окном отгородили от остального помещения белыми фанерными щитами со стеклянными рамами, так что у Александра получилось нечто вроде своего кабинета, и, чтобы сделать его поуютней, женщины озеленили его: вьющиеся растения ползли по стенам, а в длинном деревянном ящике росло всего понемногу: кактусы, петуния и множество других цветов, названий которых Александр и не знал. Следила за цветами Зоя, и в это утро она вошла к нему с лейкой.

— Я совсем на минуточку, Александр Семенович.

Она всегда входила к нему улыбаясь, немного кокетничая; металлург она была неважный, но очень хороший математик, и он ценил ее как работника; у нее была плоская фигура, острые плечи — она знала это и, чтобы спрятать изъяны фигуры, одевалась в пышные, со множеством складок платья, но у нее были красивые зубы, очень ровные, и оливковые глаза, поэтому она старалась как можно чаще улыбаться.

Он знал, что она ему предана, и знал почему.

— Очень много пересудов, Александр Семенович, очень... И самые нелепые. Даже болтают: вроде бы существует завещание Дубцова, в котором он просит ученый совет сделать завлабом Зиновия Семеновича... Конечно, это ерунда, какое может быть по этому поводу завещание, должность — это же не имущество... Ну, еще говорят, что между вами большая ссора и все такое прочее. А наши гадают: если вы уйдете на лабораторию, сохранится ли группа, или вы ее заберете с собой? Это всех очень беспокоит, сами понимаете, Александр Семенович...— Она говорила, не ожидая ответов, просто давала информацию.

Он взглянул на часы — до встречи с Зиновием осталось около часа, надо было собраться с мыслями.

— Благодарю вас, Зоя, — сказал он. — Мы еще поговорим с вами позднее.

Она поняла, кивнула и пошла к двери.

Глава третья

1

С ним никогда не происходило ничего подобного, до этого дня Семен Петрович довольно четко определял свои действия и поступки, вокруг него существовал тот реальный мир, который он хотел видеть, в котором знал все нужные пути и двигался по ним с таким расчетом, чтобы задуманное выполнялось безукоризненно; он давно привык к такому порядку вещей, считал его правильным и необходимым и поэтому отвергал случайности, а если они врываются в его жизнь, он умел находить обходные пути, чтобы снова выйти на нужную стезю. Теперь же он почувствовал: происходит что-то неладное, он сам еще не мог определить, что же именно, он только ощущал некое слабое неповиновение реальности его воле, вроде бы

что-то уходило из-под ног, смещалось и путалось время. Он задумался об этом всерьез после того, как побывал у него директор Торского завода Узелков, приема которому Семен Петрович не назначал, да и телефонного звонка от директора с уведомлением о встрече не было.

Узелков появился, миновав каким-то образом секретарей, в тот самый момент, когда Семен Петрович с большим трудом наконец-то ушел в работу.

— Здравствуй, академик,— сказал он от порога резким командирским голосом — и Семен Петрович невольно вздрогнул, оторвался от бумаг и увидел хохочущую физиономию, плоскую, круглую, как тарелка, по которой прыгали жесткие ровные губы и серые глаза.

Семен Петрович помотал головой, словно стараясь прогнать сновидение, и только тогда узнал, кто стоит по ту сторону стола. Ничего плоского в лице Узелкова не было, у него были обвисшие мясистые щеки и пухлые руки, его можно было бы принять за стремительно похудевшего толстяка, но сколько Семен Петрович помнил — Узелков всегда был такой.

Узелков вошел в кабинет не один, с ним был Кадкин, высокий, подтянутый, жесткий, как гвоздь, и Семен Петрович сразу же вспомнил, что Кадкин теперь главный сталеплавильщик завода вместо Дубцова.

— Я вас не ждал,— недовольно поморщился Семен Петрович, но все же поднялся и, обойдя стол, вышел к ним навстречу, чтобы пожать руки.

— Не могли дозвониться,— развел руками Узелков.— Нет тебя и нет... Тогда решили сами, от министерства недалеко. Или выгонышь? — насмешливо прищурился Узелков.

Семен Петрович сообразил — ему ничего не остается как быть радушным хозяином — и, заставив себя улыбнуться, сказал:

— Зачем же? Могу и кофейком угостить.

— А покрепче? — нагло спросил Узелков.

Семен Петрович прошел к шкафу, отворил стеклянную дверцу, чтобы проверить, осталось ли что-нибудь от так называемого гостевого фонда, который он давно научился держать у себя в кабинете, и увидел: осталось — были и коньяк, и печенье, и конфеты, тут же стояли рюмки; он взял все это, перенес на круглый столик у окна.

— Прошу.

Узелков, кряхтя, сел в мягкое кресло, сам разлил коньяк — сначала себе, потом остальным, пробормотал что-то вроде тоста, выпил и захрустел печеньем. Семену Петровичу пить не хотелось, но все же он сделал несколько глотков. Он понимал, что Узелков вместе с Кадкиным просто так не ворвались бы к нему в кабинет, у них наверняка есть дело, и серьезное, слишком они занятые люди, чтобы попусту тратить время, сидя в креслах за рюмкой коньяка, и дело это не только серьезное, но и сложное, коль они медлят, не заговаривают о нем, давая возможность свыкнуться с их вторжением, размягчиться; ну а как только он расслабится, они, якобы по простоте душевной, и объявят ему причину визита — все это Семен Петрович понимал, хорошо видел их замысел, и ему подумалось: если постараться, то можно разгадать, с чем и зачем они пришли, заранее подготовиться, чтобы не быть застигнутым врасплох; но ему почему-то не хотелось сейчас вступать в эту игру.

Наверное, Узелков уловил безразличие на лице Семена Петровича — он, как любой крепкий руководитель, конечно же, был наблюдателен, и даже сверх меры; и уловив это безразличие, видимо,

решил протянуть время и заговорил устало и недовольно о том, как скверно обстоят дела в черной металлургии. Узелков ворчливо бранился: не хватает металла, и чем дальше, тем больше его будет не хватать, взять его негде, а причин отставания никто по-настоящему не знает и знать не хочет. Одни говорят: дело, мол, в том, что истощается рудная база, гору Магнитную съели одним комбинатом, кормят пока Украина и Курск, надо искать другие запасы; да все это чепуха, руды хватает и намного хватит, хотя, конечно же, Земля не вечная кладовая, как некоторые думают. Другие считают: надо, мол, министерство перестраивать, вводить другое управление, свежий ветер нужен,— ну и стали заменять старых сотрудников производственниками, вон какие ребята туда пришли, им как инженерам цены не было, ветер-то они свежий, но только для самого министерства, а для заводов оказались хуже прежних чиновников, потому как стали угнетать директоров своей инициативой, а завод — он как человек: у каждого свои болезни. Конечно же, металла всегда будет не хватать, это главный хлеб промышленности, и чем интенсивней развивается индустрия, тем больше нужно будет металла, и поэтому не надо бояться, а надо снести к черту старые заводы, похожие на лавку старьевщика, и построить принципиально новые, по новейшей технологии, это самый верный путь...

Семен Петрович слушал, хотя все эти размышления давно ему были известны, смотрел, как Узелков пухлой рукой уверенно подливает в рюмки коньяк, а Кадкин сидит прямо, будто аршин проглотил, с ничего не выражающим лицом, и его негнувшийся палец прохаживается по пышным гусарским усам. А Узелков, стараясь придать своему ораторскому голосу неподдельную боль, говорил, что металл надо выпускать здоровый, чтоб он долго жил, и тогда его, мол, меньше надо будет; позорно варить сталь восемь часов, когда найдены способы делать это за полчаса.

Пока тот все это говорил, Семен Петрович почувствовал: его куда-то уносит и он слышит голос не Узелкова, а Дубцова, будто Антон где-то совсем рядом — и не с круглой лысинкой, обрамленной палевыми волосиками, а прежний, молодой, с которым он был дружен; он уловил очень знакомый и невесть откуда взявшийся в его кабинете запах. Вспомнил: так пахнет метельный сухой снег, отдающий дымком костров и паровозной гарью,— и тут же увидел себя на платформе в Крутоговоре с чехоманчиком и как стекали снежные космы с крыши станции, завихряясь у больших круглых часов с римскими цифрами — это были старые часы, наверное, еще с дореволюционных времен, и все здесь было старым: почерневшее кирпичное здание, чугунный фонарный столб, сам фонарь с закопченными стеклами... Станционная обшарпанная дверь с трудом раскрылась, и, подпрыгивая, словно перескакивая через лужи, придерживая на ходу огромную шапку-ушанку, на него помчался Дубцов. Он обхватил Кордина за плечи, хотел крутануть его вокруг себя, но, наверное, Семен оказался слишком тяжел, и они оба едва не свалились на платформу.

— Молодец, что приехал! — шумел Антон и захлебывался от метельного ветра; подхватил Кордина под руку и, придерживая шапку, потащил за собой.

На унылой зябкой улочке возле корявого тополя ждала машина — потрепанный «виллис», на котором для тепла был пристроен фанерный кузов, обтянутый брезентом. В кузове было тепло... Кордин приехал в Крутоговор по настоянию Веры: все-таки у нее была цепкая хватка, если она что решила — не выскользнешь; и тут она обегала кого могла, чтобы только его отправили хотя бы в научную командировку к профессору Моржикову. «Господи, ну как ты не понимаешь, все время пишут об этом заводе, это сейчас главное, а ты молодой кандидат наук. Ну сам подумай: пропустишь такое —

всю жизнь себе не простишь»; потом шло ее любимое: «Надо строить свою биографию, самому ее лепить, тогда чего-то добьешься...»

Машина влетела на холм, и Антон попросил шофера остановиться, кивнул Семену, чтоб вылезал. Они вышли на хрусткий снег, здесь уже не так мело, уже предрассветно засинел воздух, и фиолетовые тени загустели в овраге, а дальше было все разворочено, работали экскаваторы, за ними чернели готовые кирпичные стены цеха, выше густо клубились желтые и белые дымы, а правее горели костры. И туда, сунув руки в рукава, шли люди.

— Вот это и есть наш «чистый», — сказал Антон, сказал бодро, но тут же сжался и с неожиданной тоской посмотрел на Кордина.

В тот же вечер Семен увидел и самого профессора Моржикова, по тем временам личность легендарную, занимавшего особо почетное место среди тогдашних властителей дум инженерной молодежи. Вся научная группа, которой руководил профессор, столовалась вместе; к жилому барраку, где у каждого была комната, пристроили довольно обширный отсек и в нем оборудовали нечто вроде кают-компаний — тут завтракали, обедали, ужинали, а в свободное время собиравшись поиграть в шахматы, посудачить, послушать радио. Мельбель завезли добротную, из орехового дерева.

Когда Антон привел сюда Семена, все уже толпились у накрытого для ужина стола, застланного белыми накрахмаленными скатертями, но никто не сидел, ждали, и Семен понял, кого ждут. Когда появился Моржиков, гул голосов тут же стих и все уважительно повернулось к нему. Кордин удивился, что Моржиков невысок, сутул, — на фотографиях он казался могучим мужчиной, видимо из-за большой окладистой бороды; одет был простенько — так на довоенных снимках выглядели полярники: в сером под горло свитере, темных штанах, заправленных в белые бурки, отделанные желтой кожей.

— Добрый вечер, добрый вечер, молодые люди, — говорил он весело, обращаясь ко всем сразу, хотя в комнате были, пожалуй, и постарше его, при этом он потирал длинные, заросшие густым волосом пальцы, словно хотел их согреть.

Моржиков пришел не один, следом за ним, чуть-чуть приотставая, двигался краснолицый человек в военном кителе без погон, с маленькими насмешливыми глазками, он весь был ухоженный, гладенький, аккуратно причесанный. И сначала Семен не понял, что в этом человеке есть необычного. И только когда Моржиков и его спутник прошли мимо во главу стола и от краснолицего повеяло запахом дорогого одеколона, Семен сообразил: на кителе краснолицего нет ни одной планочки, ни одного значочка, а для тех лет это было необычно.

Едва Моржиков и краснолицый сели, как сразу же все задвигали стульями. и Дубцов указал Семену место рядом с собой; люди потянулись за закусками, за хлебом, сделалось свободней и шумней. Кордин положил себе еды, но все не сводил глаз с Моржикова. Краснолицый широким жестом взял со стола хрустальный графинчик, налил профессору в граненую стопку, себе в стакан и, не дожидаясь, пока уляжется шум за столом, одним глотком отхлебнул полстакана водки, сжал тонкие мокрые губы, вытянув их вперед, как для поцелуя, потом шумно крякнул и принялся за закуски. Моржиков тоже выпил, но немного, погладил бороду и стал торопливо есть и когда насытился, благодушным взором обвел стол.

— Что-то тихо у нас, тихо, молодые люди. Или подействовало, что печку разворотило?.. Ай-я-яй, ай-я-яй... И не такое бывает, нет, не такое. Не гладкой дороженькой бежим. Новое ищем, а тут все может быть. Тем более что ошибочку мы нашли, да, нашли... Котельщики наши с давленьцем газов подвели... Вот ведь что, а?..

Все повернулись в сторону двух уже немолодых человек, сидящих почти напротив Кордина.— один из них опустил под стол руки, чтобы скрыть дрожь, а второй продолжал уныло жевать мясо, не решаясь его проглотить.

— И ошибка-то поганенькая,— вздохнул Моржиков,— расчет-то вели по английским справочникам, а там ведь дюймы... Конфуз! Нехорошо, нехорошо, что отечественным пренебрегаем. Вот чего отказ-то от родного стоит...

— Глупость какая-то,— пробормотал Антон, но никто его, кроме Семена, не расслышал.

Да Кордин и сам понимал, что глупость, инженеры не мальчишки, если и вели расчеты по английским справочникам, то просто не могли не перевести дюймы в сантиметры. Но двое, которых это более всего касалось, молчали. А Моржиков вдруг всхлипнул и расхохотался, смех у него был беспечный, заразительный, и те, что сидели к нему поближе, невольно заулыбались.

— Это же анекдотец, а? Анекдотец, Лука Спиридонович? — спросил он краснолицего.— Это же и рассказать можно, да не поверят. Ах ты боже ты мой...

Лука Спиридонович уставил на него насмешливые, острые, как гвозди, глаза.

— Два человека от этого анекдотца обгорели,— сказал Лука Спиридонович и мощным глотком допил водку.

— Он кто? — шепотом спросил Кордин.

— Начальник строительства,— так же шепотом ответил Антон.

— А вот что я вам скажу, молодые люди,— воодушевился вдруг Моржиков и вытянул вперед волосатый палец.— Тут нужна кардинальная переплавка инженерных мозгов, полный передел, так сказать, интеллекта, и в особенности — преподавания в высших учебных заведениях. Что получается? Кроме Пьера Мартена и Генри Бессемера, никого, видите ли, в нашей славной науке нет. А куда мы денем нашего прекрасного соотечественника Павла Петровича Аюсова? Еще, между прочим, никакими Бессемерами не пахло, а он создал передел чугуна в сталь. А тайну булата кто открыл? А кто заложил основы металлографии?.. Вот так-то, молодые люди, вот так-то. И посему ваш покорный слуга был одним из ходатаев...— Тут Моржиков сделал паузу, и стало тихо-тихо, сделалось слышно, как скребется метельный снег о стекла и идет вдали железнодорожный состав.— Да, ваш покорный слуга,— возвысил голос Моржиков,— был ходатаем, чтобы Павлу Петровичу отлили в его родимом Златоусте бронзовый памятник. И ходатайство наше удовлетворили... Мы, благодарные потомки, должны помнить, где корни наши, где начиналась и создавалась подлинная наука о металле, без личной корысти, во благо людское... Или же куда мы денем Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло, с которым имел честь быть лично знаком? А ну-ка, поищите-ка мне на вашем Западе автора такой стройной теории, как теория гидравлических печей. То-то же, то-то же... А мы в английские справочники лезем. Позор! Стыдобушка! Мерзкое низкопоклонство перед, простите за грубость, европейским задом.

Голос его теперь стал визглив, и Семен не заметил, как и когда произошел этот переход от благодушия к почти истерике, лицо Моржикова сделалось алым, пошло пятнами.

Семен склонился к Антону, шепотом спросил:

— О ком это он? Неужто о Бардине?

— Конечно,— кивнул Антон.

Кордину вспомнилось, каким он видел совсем недавно Ивана Павловича Бардина в институте — он шел, твердо ступая, но ссутулясь, о чем-то глубоко задумавшись, держа перед собой очки за дуж-

ки, и в его глазах Семен заметил грусть, он шел по коридору, а за ним шелестели слухи: мол, нынче он попал в опалу,— но никто толком не знал, по каким причинам...

А Моржиков уже мотал из стороны в сторону волосатым пальцем и выкрикивал:

— Без них обойдемся, без них, господа хорошие! Без всяких там Бессемеров, Тейлоров, Эйнштейнов и прочих, погрязших в махизме... Обходились и обойдемся, вот так! — И ткнул пальцем в белую скатерть, словно поставил жирную точку.

И тотчас же Лука Спиридонович поднял хрустальный графинчик, подлил в стопку Моржикова, и тот на этот раз с удовольствием выпил, словно после тяжелой работы, закусил грибком и мирно откинулся на высокую спинку стула. И сразу почувствовалось облегчение за столом, видимо, люди знали: гроза миновала, теперь можно есть спокойно; только Лука Спиридонович оглядывал всех насмешливыми острыми глазками...

Несколько лет спустя, когда Семена Петровича вызвали на государственную комиссию, он снова увидел Луку Спиридоновича. Тот сидел в углу, справа от председателя, только теперь в пиджаке, а не в кителе, то ли дремал, то ли пребывал в глубокой задумчивости, скрестив пальцы на животе, и глаза его были не так остры, хотя насмешка в них не исчезла. Он слушал вопросы председателя и ответы Кордина и за все время только один раз вскинулся и спросил:

— Это вы тогда...— он назвал точную дату,— за столом спросили у Дубцова об академике Бардине?

Семен Петрович тотчас признался, потрясенный тем, как мог Лука Спиридонович на таком расстоянии расслышать его вопрос, да еще произнесенный шепотом...

Крутила метель над Крутоговором, сыпала в окна колючим снегом, наполняя ночной воздух тоской и тревогой,— и метелью этой с ее морозным и дымным запахом вынесло Семена Петровича в его нынешний кабинет, усадило в мягкое низкое кресло напротив Узелкова, который, закончив ругать дела в черной металлургии, допивал коньяк...

Семен Петрович взглянул на Узелкова, и тот, видимо, воспринял это как знак: мол, хватит, поболтали, пора переходить к делу...

— Видишь ли, Семен Петрович,— сказал Узелков и подался вперед, его обвисшие мясистые щеки напряглись,— мы вот с Мишей в ваших научных дипломатических увертках люди неискушенные, поэтому позволь я выскажусь без затей...

Семен Петрович бросил взгляд на Кадкина — тот сидел прямо, перестав поглаживать усы,— и понял: надо сосредоточиться. Узелков действительно пришел с чем-то важным.

— Не тебе говорить: Дубцов — страшная потеря. Таких инженеров... Да что там,— махнул Узелков полной рукой.— Но вот я об чем... Когда Дубцов к вам шел на завлаба, мы твердо сговорились: он у нас работает и у вас. Институту это выгодно — прямая связь с производством — и нам... Все-таки какая-то группа ученых на заводе пряمهонько трудилась. Так вот мы бы хотели это дело закрепить и продолжить. И есть, между прочим, кому. Вот Миша благодаря Дубцову и вашей помощи кандидат наук, труды свои имеет, мы его на дубцовскую должность выдвинули. И сам понимаешь, лучшей кандидатуры на завлаба, чем он, не найти. Но у нас с этим просто: я бы издал приказ, и точка,— а у вас свои правила. Конкурс и все такое... Вот мы посоветовались и решили: надо Мише на этот конкурс документы подавать.

Вот этого Семен Петрович никак не ожидал... Черт подери, может быть, он и в самом деле утратил реальный взгляд на жизнь? Все им было продумано, он твердо знал: заведующим должен быть

Александр; если говорить честно, лишь поэтому-то он и дал в свое время согласие на создание лаборатории в рамках отдела, которым он руководил, и выбил ставки — он всегда мыслил перспективно. Он и только он знал, что с приходом туда Александра лаборатория начнет быстро расширяться и обретет то направление, какое нужно ему,— все было Семеном Петровичем рассчитано, и вот первым поднял бунт его же сын Зиновий, а теперь пришли люди со стороны... Ничего такого не должно было произойти, но вот — произошло.

Он почувствовал, как жаром охватило грудь — так бывало, когда на него накатывал гнев, но он тут же усилием воли подавил его: нужно сохранить невозмутимость, ничего не должно прорваться наружу, иначе он все испортит... Слава богу, у него хорошая школа выдержки. Чтобы дать себе успокоиться, он встал и медленно пошел вокруг кресла, в котором сидел Кадкин, оглядывая, словно оценивая, его крепкую фигуру.

— Да, да,— сказал он.— Помню защиту, помню диссертацию...— Он и в самом деле помнил.— Работа весьма, вполне весьма...

Он чувствовал, что Узелков наблюдает за ним... Нет, директор Торского завода не мог, конечно, знать, что случилось у них нынче в институте, вряд ли до него дошли толки о соперничестве братьев Кординых, если бы дошли, он бы повел себя иначе... Но все может быть.

— Что же требуется от меня? — спросил Семен Петрович.

— Да ты тут главный авторитет. Если поддержишь — тогда, можно сказать, вопрос решен.

Вот теперь надо суметь ответить так, чтобы этот Узелков кое-что понял или хотя бы насторожился — этого достаточно.

— Видишь ли, дорогой товарищ директор,— заговорил он не спеша,— подавать на конкурс волен каждый, на то он и конкурс. Ну а результаты...— здесь Семен Петрович чуть приметно усмехнулся,— результаты непредсказуемы. Ничего не поделаешь — наука,— развел он руками.

И Узелков понял.

— Ну что же,— сказал он,— мы подумаем. Подумаем и решим.— И тут же поднялся из кресла, заспешил.— Засиделись мы у тебя, Семен Петрович, а беготни еще много,— говорил он, протягивая пухлую руку на прощание.

Едва они вышли из его кабинета, Кордин опустился в кресло, обхватил голову и вновь подумал, что реальность перестала повиноваться его воле.

2

Они мало походили друг на друга, хотя и были братьями. Зиновий пошел в мать, в Наталью: медноволосый, но не рыжий, рыжим-то его никак нельзя было назвать, лицо узкое, черные быстрые глаза,— а Александр в отца: скуласт, тонкогуб, высокий лоб с небольшими зальсынами, редкие темно-русые волосы, крепкий, немного широковатый нос. Они и одевались по-разному: у Зиновия все нараспашку, вид расхристанный, рубашка, если даже хорошо выглажена, кое-как заправлена в мятые, заношенные джинсы. А Александр всегда в строгом костюме и при галстукке. Однако было в них и нечто схожее, общее для обоих, например привычка насмешливо щуриться, когда слушали собеседника; и если взглядеться как следует, то такого общего можно было найти немало, хотя сами братья верили, что они не похожи друг на друга...

Они пришли в это полуподвальное кафе с витражами в окнах

почти одновременно: Александр всего лишь на минуту опередил Зиновия.

— Народу мало, выбирай место,— сказал Александр и направился к стойке.

Пока он брал кофе, Зиновий оглядел зал, где сидели всего несколько посетителей, и подумал: Александр не случайно выбрал это место для встречи; «Маковка» располагалась неподалеку от института, но институтские сюда редко заглядывали — была своя столовая, да и некогда рассиживаться,— следовательно, никто из знакомых не увидит их.

Открыла для братьев «Маковку» Валя, она вообще любила укромные заведения; однажды пришла и сказала: «Мальчики, у меня премия, пойдемте угощу мороженым». Зиновий думал, что Александр откажется, но тот обрадовался приглашению, и Валя привела их в это кафе — столько лет рядом пробегал, а не знал про это местечко. А Валя радовалась: «Правда хорошо? Всегда можно кофейку попить и всегда тихо, особенно днем».

Александр принес кофе, минеральной воды, мороженого и несколько булочек, ловко расставил на столе — привычка, которая сохранилась с детства, когда Александр ухаживал за Зиновием, кормил его.

— Ничего, если я закурю? — спросил Зиновий. — Тут не разрешают, но я потихоньку, мы с Валею наловчились... Тебе мешать не будет?

— Давай,— согласился Александр.

И от этого «давай» Зиновию стало весело: в Шашиной заботливости проскальзывала виноватость, Зиновий ее почувствовал и подумал: «Если так, то это хорошо... не для меня, для него...»

Александр аккуратно, неторопливо разлил воду, с усмешкой приподнял стакан, в котором играли прозрачные пузырьки, словно предлагая чокнуться, и по-отцовски, залпом, выпил. Зиновий понимал — ему нелегко начать разговор, волей отца Александр поставлен в положение человека, покушающегося на чужое. Но Зиновий жалел Александра, он часто его жалел, хотя вроде бы и жалеть-то было не за что, все в его жизни складывалось вполне благополучно, но Зиновий угадывал: это совсем не так, у Александра много своих невидимых ран. Брату нужно было сейчас помочь, и поэтому он начал первым:

— Давай, Саша, для начала проясним ситуацию. Я до сих пор не знаю, что побудило отца более года назад создать нашу лабораторию и пригласить на нее Антона Васильевича, хотя отец был всегда противником «чистого завода», и ты знаешь, какие из-за этого разыгрывались бури. Может быть, отец наконец сообразил: его теория непрерывного стадийного процесса не так уж безупречна, а может быть, нашел в ней место и нашей идее... Не знаю. Но мы с Антоном Васильевичем восприняли создание лаборатории как победу и не очень-то вдавались во всякие там организационные причины. Слишком мы много работали, Саша, чтобы думать о чем-то другом. Но вот сейчас приходится... Антон Васильевич взял с меня слово, что я пойду на завлаба, взял его перед самой смертью, и я ему это слово дал. Я знаю, Антон Васильевич сказал о своем желании отцу... Наверное, у отца есть свои планы и ты в них посвящен, но какими бы ни были планы, существует нечто такое, что выше их, и это — дань уважения к ушедшему. Поэтому, Саша, я не понимаю...

Александр слушал Зиновия, прихлебывая кофе; все, что говорил ему младший брат, говорил волнуясь — на переносице, над самой горбинкой, у него образовалась белая полоска, это всегда было признаком волнения,— Александр знал, он предугадал все эти слова еще у себя в кабинете, когда прикидывал, как примерно может сложить-

ся разговор. Конечно же, им нельзя было беседовать в таком тоне, и он улыбнулся:

— Зин, зачем ты все это говоришь? Я ведь тоже любил Антона Васильевича, и ты это знаешь... Нам не надо так с тобой... эдак вот, официально... Я ведь не знал, что отец к тебе нынче утром поедет. Но он поехал. А коль он у тебя был, то, наверное, и мог тебе все объяснить...

— Он и объяснил... Пора, мол, тебе выходить в завлабы — годы, семья... Вот это он и объяснил. Но согласись...

— Соглашаюсь,— перебил его Александр.— Но винить его за это нельзя. Ты погляди, что делается в академических институтах. На все ключевые высоты папаша выдвигают своих отпрысков, да еще как энергично действуют. Преемственность, Зин, преемственность — от одного поколения к другому, чтоб нить не упустить, чтоб в науке род был. Меньше конфликтов, меньше препятствий... Устали отцы от непримиримостей и крайностей. Нынче конфликты аморальны. Нынче надо, чтоб все было гладко, без углов. Зачем в науке спорить, в науке всегда можно договориться... Такое время, Зин. Это нам только кажется, что мы хозяева своей судьбы, а на самом деле все предопределено и никуда нам от этой предопределенности не скрыться. В общем,— вздохнул Александр,— если отец решил, то уж ничто не помешает ему воплотить свое решение в действительность... Я знаю — отец намерен значительно расширить лабораторию. Ну а то, что сейчас называется лабораторией, эти семь человек, станет группой. Ты останешься в ней с ними, и вы поведете свое дело так, как его вели. Разве тебя это не устраивает? Подумай сам.

Александр говорил, отщипывая кусочки от булочки и бросая их в рот, поэтому некоторые слова проглатывались. Конечно, он был прав: как отец сказал, так и будет,— и механизм, который придет в действие по его воле, работает четко, ибо в каждом коллективе существует так называемая не з р и м а я и е р а р х и я, это еще Дубцов втолковал Зиновию, и Зиновий (тогда же еще, на заводе) заметил некую подчиненность не по должности, а по действительному авторитету.

В институте есть директор — еще довольно молодой человек, доктор наук, к нему относятся с уважением, зная, как много он делает для сотрудников: выбивает квартиры, оборудование, командировки, умеет преподнести достижения, над его слабостями подсмеиваются, но не зло, с ним считаются в высших инстанциях; но подлинный хозяин института не он, подлинный хозяин — отец, в ученых кругах так и говорили: кординский институт,— все нити научных работ тянутся к нему, хотя отец всего лишь начальник отдела; директор понимал это и принимал, и тот же Дубцов объяснил Зиновию: это большое благо — понимание директора, иначе когда официальная иерархия пытается подавить неофициальную, то неизбежно возникает психологический конфликт, что заводит целые коллективы в творческий тупик, а то и приводит к распаду... Да, как скажет отец — так и будет. Но в Зиновии вдруг вспыхнула злость: черта с два! «Чистый завод» — это то, что добыл он сам, добыл вопреки воле отца. Заработанное своим трудом так просто не отдают...

...«Я про тебя знаю все. Ты будешь мучеником своей гордыни. Тебе подстилают соломку, а ты эту соломку стараешься поджечь», — шептала ему длинноногая Катька в школьном дворе, куда вытащила его после первой же рюмки. Они лежали на крышках поломанных парт, рядом со старым грузовичком, на котором их обучали вождению. Катька давно пялила на него зеленые кошачьи глаза, но ему не нравилась ни она сама, ни ее косая ухмылка, не нравилось, как она курит, по-мальчишески перекатывая сигарету в полных губах. Она окончила школу с золотой медалью; вообще-то у нее голова работала, она могла трепаться на любую тему, если надо выступить на

собрании с зажигательной речугой — выступит, а на перемене расскажет похабный анекдот.

На вышускном вечере, когда пригласили к столу, она села рядом с Зиновием и сказала:

— Выйдем, мне надо с тобой поговорить.

Она была так серьезна, что он и в самом деле подумал: у нее к нему важное дело. Они вылезли через окно во двор, там она прижалась к нему, зашептала: больше они не увидятся, она поедет к дядьке в Ленинград, ей обеспечено место в университете, а главное, хочется пожить без родителей, но Зиновий должен знать — ей всегда было плевать на всех в классе, да и вообще во всей их поганой школе, лишь он ее по-настоящему волновал, но так получалось, что Зиновий всегда держался в стороне, но нынешнюю ночь они проведут вместе, так она решила... Лежать на поломанных партах было неудобно, да еще от старенького грузовика тошнотворно пахло бензином, но Катьке, наоборот, и в самом деле было на все наплевать.

Наверное, он забыл бы ее слова, сказанные с неожиданной трезвостью, если бы в ту ночь не произошло еще одно событие...

Когда они выбрались из двора, то столкнулись возле школы со своими. Чувствовалось: ребята хорошо приняли — конечно, не за общим столом с учителями. Ленька-баскетболист — рост метр девяносто восемь — добыл ключ от кабинета химии, там спрятали несколько бутылок коньяка, и все по очереди ходили туда как в буфет прикладываться.

Ребята сразу заметили: Зиновий трезв; у них оставалось еще полбутылки коньяка, и Ленька потребовал, чтобы Зиновий показал, на что способен. Теперь уж трудно вспомнить, кому первому пришла идея махнуть за город, они пошли в соседний со школой двор, там на стоянке отыскали «Волгу», без особого труда открыли ее, завели; их набилось в машину человек восемь, а за руль посадили Зиновия — все-таки, когда их обучали вождению, он отличался от других большей сноровкой.

Они мчались по пустым рассветным улицам города черт знает куда, все орало: он едет не в ту сторону, — пока не выбрались за кольцевую дорогу, и как только выбрались — Зиновий увидел: навстречу им по их стороне на бешеной скорости идет грузовик; Зиновий резко свернул, и они очутились в кювете, «Волгу» перевернуло.

Когда Зиновий выбрался из машины, то удивился, что цел, да и все были целы, только Ленька-баскетболист выл от боли — потом выяснилось: у него было сломано ребро. «Волга» лежала в кювете вверх колесами. Ребята протрезвели и стали совещаться, что делать с Ленькой, и порешили: остановить первую же машину, отвезти его в город. На шоссе показался «рафик», они замахали руками, но водитель, наверное, промчался бы мимо — кому охота связываться в пустынном месте с явно подозрительной компанией, — если б не заметил перевернутую «Волгу». Ребята посадили Леньку в «рафик», уселись сами. Один Зиновий остался сидеть на обочине. Катька окликнула его, но он не отозвался, тогда она спрыгнула на асфальт. Все уехали, а она подошла к нему, села рядом.

— Тебе плохо? — спросила она.

— Меня мутит, — ответил он.

— Это похмелье, — объяснила она.

— Нет, — сказал он. — Меня мутит от всех вас... Я объелся школой. Я хочу уехать куда-нибудь далеко, чтоб всех вас забыть. Я хочу простого черного хлеба.

Катька вздохнула, поправила длинные пепельные волосы и сказала:

— Значит, ты меня презираешь. Ну и дурак. Я должна была научиться все брать сама. У меня отец неудачник. Всю жизнь зарабатывает сто шестьдесят ре. А мать больная. Ты профессорский сы-

нок, и тебя кормили с ложечки. Если бы я захотела, то женила бы тебя на себе в два счета. Забеременела, а потом побежала бы к твоей мамочке и так бы разнюнилась, что она бы не оставила внука сироткой. Но ты мне не нужен. Если у тебя не будет отца, чтоб прятаться за его спиной, то очень скоро выяснится: ты ни на что не способен. А про черный хлеб ты врешь. Ты это не сумеешь.

По дороге проскочило несколько грузовиков, потом показались легковые машины; солнце просвечивало сквозь осины, стоящие по ту сторону дороги, пахло мятой.

— Зачем ты говоришь мне гадости? — спросил он.

Ее длинные ноги были покрыты золотистым пушком, ему захотелось провести по нему ладонью, и он провел, но она отдернула ногу.

— Я не люблю, когда ко мне пристают, — сказала она. — Тебе сказано: я все беру сама.

Он увидел злость в ее кошачьих глазах. В это-то время и заскрипела тормозами желтая милицейская машина с синей полосой, из нее вышли двое, прошлись вдоль кювета не торопясь, словно разминая ноги, они разглядывали «Волгу» так, словно не замечали ни Зиновия, ни Катьку, потом один из них повернулся и спросил, чуть ли не зевнув от скуки:

— Кто был за рулем?

Катька метнула взгляд в Зиновия.

— Он! — Тут же вскочила и, перепрыгнув кювет, нырнула в кусты.

Никто за ней не погнался.

Зиновий ощутил цепкие пальцы на плече, и хотя он и не думал сопротивляться, ему больно заломили за спину руки и впихнули в машину.

В отделении милиции истерично кричал владелец «Волги» — худощавый издерганный человек с небритой рыжей щетиной. Потом Зиновия долго мучали вопросами, а когда повели в камеру, его вдруг обуяла злость, захотелось вырваться и убежать; он сделал эту безнадежную попытку, но тут же получил по шее. А когда опустился на нары, ощутил такое тупое безразличие и усталость, что свалился и заснул.

Разбудил его милиционер, и Зиновий сразу обнаружил — у него пропали часы, их подарил ему мать, как только закончились экзамены, японские новенькие часы с автоматической под заводкой и календарем. Он оглядел троих, сидящих на нарах, — равнодушные тупые лица — и понял: говорить о часах бесполезно.

Его провели в дежурную комнату, и он увидел отца, который склонился над столом и расписывался в бумагах, шея его была багровой.

— Забирайте, — кивнув на Зиновия, сказал капитан, складывая в папку бумаги, в голосе его звучало презрение.

Отец, даже не взглянув на Зиновия, пошел к выходу. На улице шел дождь, отец с непокрытой головой прошел к машине, сел за руль; задняя дверца отворилась, и Александр махнул рукой, показывая, чтобы Зиновий шел к нему. До дому ехали молча; отец остановил машину у подъезда и, не поворачивая головы, сказал Александру:

— Приведешь его в порядок. Я в институт.

Зиновий чувствовал себя грязным, все тело казалось липким; он понюхал рукав рубахи — от него шел дурной запах; во рту было горько, голова отяжелела. Он еще в коридоре начал сбрасывать с себя одежду, пошел в ванную, долго стоял под душем, ощущая, как проясняется в голове и тело становится упругим. Он растерся полотенцем и голым вышел из ванной; ему хотелось казаться беспечным, он начал насвистывать нечто маршеобразное, и вдруг его так ожгло по ягодицам, что он взвыл и повалился на пол, резко перевернувшись на спину. На него смотрело перекошенное, белое от злости **лицо Алек-**

сандра — ни до, ни после он не видел такого лица у брата. Александр с отвращением отшвырнул ремень с металлической пряжкой и сказал:

— Это тебе за отца. Завтра подашь документы в Институт стали и сплавов. — И вышел, хлопнув дверью.

Зиновий лежал на полу, его душили слезы, это были не только слезы обиды, но и отвращения к самому себе. «К черту, — решил он. — Удеру». Он вскочил, прошел в свою комнату, натянул джинсы, достал старый рюкзак, с которым ходил в походы, и стал собираться... Может быть, и в самом деле он тогда уехал бы из дома, но его застала мать; она не стала ему выговаривать, не стала ни в чем упрекать, но объяснила: отец отыщет его и на краю земли, да и обида — не советчик, поэтому у него нет иного выхода как только смириться... Потом, когда прошло время, он вспомнил слова длинноногой Катьки и подумал: она права, он не принадлежит себе, он весь во власти отца и не может бунтовать, идти против его воли, потому что все predetermined — Институт стали, потом отцовский институт. Выбора не было.

С первых дней прихода в это огромное, тяжелое здание с запутанной системой коридоров, проходов и переходов он чувствовал себя вольно, как привык себя чувствовать в школе и в институте. Ему легко давалось учение, выручала хорошая память, да и соображал он быстро. Александр помог ему освоиться и здесь, и поначалу жизнь Зиновия текла без особых забот, ему хватало времени и на работу, и на аспирантуру, и на всякого рода увеселительные встречи с прежними приятелями. Так бы бесечно текла б и дальше его жизнь, если б он не наткнулся на идею Дубцова.

Как только вошел в его жизнь Дубцов, вернее Зиновий сам отыскал его, он весь ушел в дело с «чистым заводом»; думать о нем, жить им стало его потребностью, все остальное отодвинулось, ушло в сторону. Так он впервые узнал, что творчество может быть необычайно сильной страстью, которая не терпит рядом с собой почти ничего, она поглощает человека чуть ли не целиком. Прежде, когда он слышал такое, то считал выдумкой, легендой — ученые любят преувеличивать свою упоенность работой. Потом понял: они не ссылаются на вдохновение, как делают это поэты, музыканты и художники, потому что во вдохновении присутствует некий слепой душевный порыв, а ученый не может быть слеп, иначе он потеряет нить, за которую ухватился, чтобы следовать за фактом: может быть, эта всезахватывающая сила, предвосхищающая открытие, и не имеет точного названия, да и не в названии дело, но Зиновий на себе испытал, как тянет за собой факт, требуя проверок, и этими проверками заманивает все дальше и дальше туда, где вдали брезжит тот самый огонек, что зовется истиной... Он испытал все это на себе и теперь знает: ни с чем нельзя сравнить это жестокое и вместе с тем возвышенное чувство. Захваченный им, он не мог да и не хотел знать того, о чем толковал сейчас Александр. То, чем он жил и что создавал, конечно же, было реальностью, но рядом существовала еще другая реальность, и вот теперь она начала предъявлять счет, требуя расплаты за забвение. Впрочем, он когда-то должен был вступить в настоящий бой за самого себя... Да, конечно, память о Дубове не просто слова, но самое важное в другом: он впервые в жизни добыл свое и никогда, ни при каких условиях не уступит этого, даже если ему придется воевать с отцом. Уступить лабораторию — значит, проиграть; он ведь понял замысел отца: задвинуть идею «чистого завода» в дальний угол — мол, возитесь там в своей группе, а на большую дорогу не выходите... Даже если у него нет ни одного шанса на выигрыш, он пойдет до конца.

— Я должен получить лабораторию, — неожиданно жестко сказал Зиновий.

Александр внимательно посмотрел на него, вздохнул:

— У тебя ничего не выйдет, Зин. Разве ты не знаешь, как это делается?

Зиновий знал. Не так уж он был наивен, чтобы предполагать, будто и в самом деле все будет решаться на ученом совете тайным голосованием. Конечно, отец обойдет или обзвонит всех членов совета, выскажет им свое мнение. И его послушают даже те, кто находится в оппозиции, так как знают: не согласятся с ним — он завалит любое дело, которое они попытаются вынести на совет... Как бы там люди ни презирали друг друга или еще что-то в этом роде, но все они связаны множеством обязательств и одолжений — у всех есть свои планы, которые зависят от других, ведь каждый член совета еще и член редколлегии какого-нибудь журнала, или же входит в какую-нибудь важную комиссию, или же у него связи в ВАКе — и так далее и тому подобное... Но он знал и другое, чему научил его Дубцов: надо твердо стоять на своем; даже если он не станет завлабом, то идею «чистого завода» не удастся задвинуть в угол. Шум, который он поднимет в институте, как бы высветит эту идею заново, поставит в центр внимания.

— Я знаю, как это делается,— непримиримо сказал Зиновий.— Но я подал на конкурс. И никто меня не заставит забрать документы. И я хочу, чтобы ты это знал, Саша...

— Ну хорошо, пусть будет по-твоему,— согласился Александр.— Я верю, что у тебя есть свои соображения — романтические, благородные. Я готов их уважать. Но как бы ты свою позицию ни называл, в быту она выглядит так: два сынка академика Кордина передрались из-за места завлаба. И никому рот не заткнешь. И все это будет расползаться, обрастать подробностями, пока не достигнет академических кругов. А там у отца не только друзья, сам знаешь. Они только этого и ждут... Вспомни выборы: один раз завалили, второй и только на третий избрали, да и то после того, как за свою теорию отец получил премию... Тут ведь не только о тебе речь. О твоём благородстве никто и знать не будет. В отца станут тыкать пальцем, в меня: ничего, мол, себе семейка, горло друг другу за место перегрызут... Я могу понять твои высокие порывы, но остальные-то не поймут...

Александр начал раздражаться: неужто брат и в самом деле создал себе культ Дубцова? Можно хорошо относиться к Антону Васильевичу, можно его любить — он был человеком тонким и чутким,— но ведь кроме идеи «чистого завода», на которой он сам серьезно обжегся, и еще нескольких технологических разработок, пусть оригинальных, неожиданных, но не делающих крутых поворотов в науке, у него ничего не было. Можно, конечно, говорить о том, что так сложилась его судьба, что в этом нет его вины, что в этом повинно время, хотя давно известно: не время, а люди меняют человека,— но можно ссылаться и на людей, злой воле которых Дубцов не сумел противостоять и они сломали его как ученого, сломали навсегда. Но это все равно будет выглядеть оправданием, потому что судить о деятельности можно только по конечным результатам, а их-то у Дубцова... тут только руками разведешь. Но коль Зиновий так настроен, то говорить этого, конечно же, не следует, и все же... Сам-то он должен понимать.

Ну а должность завлаба? Придет время — и Зиновий получит ее, поработает и получит. Это ведь только со стороны кажется, что Александру легко, на самом деле все не так; отец хоть и помогал во всем, но помогал сурово, Александр никогда не был бездельником.

В студенческие годы все разъезжались по заводам на практику, каждый норовил получить назначение полегче да поэффектней, чтобы было как-то связано с физикой (как смеялись тогда, «нечто термоядерное»), или электроникой, или управлением, а отец настоял, чтоб Александр пошел в подручные к сталеварам, поработал лопаткой у мартеновской печи, как это делалось в старину, и выбрал ему завод

поглуше. Там определили его в бригаду Мамаева, неразговорчивого, хмурого мужика, и поначалу ему казалось: этот Мамаев его невзлюбил. Он старался, выкладывался у печи, задыхался от жара. Жизнь была тяжкой — в бытовках черные от грязи полотенца, едкий запах пота, — и он подцепил что-то, по всему телу пошли прыщи, он мучался, страдал, но не жаловался, нес свое бремя, знал: если так решил отец, то через это нужно пройти... После работы иногда всей бригадой шли к кому-нибудь, вышивали; первое время Александра не приглашали; в бытовках, когда мылись и сговаривались, отводили от него глаза — мол, скажешь чего-нибудь не так, потом не расплюешься. Позвал Мамаев, пили у него дома, жена угощала капустой, пельменями, и вот там, выпив и захмелев от усталости, Александр размяк, стал рассказывать об Аносове, о его булатах, он чувствовал: сталевары, конечно, и раньше знали об этом, но не так обстоятельно, и то, что говорил он, было для них внове, они слушали его с почтением. После этого отношение к нему переменилось, и он понял: эти люди ценили тех, кто обладал какими-нибудь прочными знаниями, такое они уважали и не могли не уважать. Но хорошее отношение не облегчило его физических страданий, к ним надо было просто привыкнуть, и он привык. На следующий год, когда отец послал его на практику на тот же завод и в ту же бригаду, он знал, что едет к своим людям.

Да только ли практика? Отец заставлял по сто раз переделывать один и тот же опыт, придирчиво разбирал анализы; и диссертация давалась ему нелегко, не так, как Зиновию. Проще всего сказать: мол, профессорский сынок, чего уж там! — а на самом деле все далось горбом, усидчивостью, если быть честным — даже без отца. Он имел право на место завлаба, он его з а р а б о т а л. Но ничего этого не выскажешь Зиновию, да он, наверное, и не поймет. Только и сказал:

— Зин, ну сам подумай... Ты всех нас ставишь в нелепое положение. Ведь шансов-то у тебя все равно нет... Забери документы.

— Нет, Саша, — протянул Зиновий. — Я тебе все объяснил. Мне надо добиться своего. Понимаешь, надо... Пусть безнадежно, а — надо.

И Александр внезапно подумал: «А ведь, может, и добьется».

И еще он подумал, что от Зиновия другого ответа и ожидать нечего было.

3

У них была редчайшая библиотека, пожалуй, ее нельзя было сравнить ни с какой иной, принадлежала она после сложных организационных переустройств сразу трем институтам, ее так и называли межинститутской, — все три научно-исследовательских учреждения находились в одном здании. В библиотеке были собраны издания по металлургии, технике, строительству, экономике за два века, и не только на русском, но и на английском языке; был огромный отдел рукописей, где хранились диссертации и неизданные монографии. Ради того, чтобы поработать в библиотеке, к ним приезжали зарубежные специалисты, изучающие историю техники. Говорят, на библиотеку покушались, но отстоял ее, а вдобавок и потребовал, чтобы всячески расширили, Иван Павлович Бардин; благодаря ему было даже принято специальное постановление Совнаркома об особой сохранности рукописного отдела и основного фонда. В большой комнате, которая служила библиографическим кабинетом и читальным залом, висел портрет Ивана Павловича: он задумчиво сидел за столом, собрав морщинки меж мохнатых бровей, крупные складки шли от крыльев его прямого носа к волевому подбородку с едва заметной ямочкой. Под этим портретом висела табличка, на которой строгим, четким почерком были выведены слова: «В основе действительного наслаждения

человека своей работой лежит осуществление мечты, которая была руководящей идеей в течение всей его сознательной жизни».

Алена помнила, что когда Семен Петрович впервые при ней зашел сюда,— кажется, лет пятнадцать назад,—то обратил внимание на эту надпись и спросил:

— Кто же это посоветовал повесить?

Она хотела ответить, что сама, но язык не повернулся солгать, и она призналась:

— Дубцов.

Тогда Семен Петрович сказал:

— Ну ясно!

Она вспыхнула:

— Вам не нравится?

Он ответил не сразу, он рассматривал Алену, рассматривал откровенно, и она физически, как прикосновение, ощутила на себе взгляд его серых, с небольшим прищуром глаз.

— Нет, отчего же,— медленно сказал он.— Вполне годится. Хорошая мысль, хотя и не бесспорная...

Так она его увидела впервые и подумала: «У него нероновые губы и глаза...» Она тогда много читала по древней истории, и ей запомнилось, что у Нерона были властно-сластолюбивые губы и серые, с близоруким прищуром глаза; потом она сама удивилась: почему именно Нерон? Достала книгу Светония, долго рассматривала фотографию скульптурного изображения одного из наиболее кровавых цезарей и не находила ничего общего между ним и Семеном Петровичем. Фотография запечатлела мраморный бюст человека с одутловатыми щеками, спутанными волосами, толстой шеей, можно было угадать, что цезарь был грузен; а Семен Петрович подтянут, крепок, на голове ни волоска, но это ему даже идет. Потом, когда они встретились на берегу моря и случилось то, чего она никак не ожидала, снова подумала: «А губы нероновые»,— так это у нее и осталось в памяти.

Смерть Антона она пережила тяжело, было мгновение, когда думала: не вынесет... Болезнь его скрутила быстро, развивалась в нем стремительно, но он все отказывался лечь в больницу; когда его все-таки увезли, почти силой, он умолил врачей отпустить его — сказал, что хочет оставшиеся дни провести дома; как уж там это у него получилось, она не знает, но его выписали.

Когда Алене впервые сообщили о болезни Антона, ей сделалось дурно, она потеряла сознание, ударилась головой о стол и пришла в себя лишь в медпункте. С того дня она жила ожиданием катастрофы: как будто стояла беззащитная в открытом поле, а на нее надвигалось металлическое чудовище — нечто вроде огромного танка — и нельзя было спастись, убежать, оставалось только ждать конца.

Она любила Антона. Они поженились, когда ему было сорок два, а ей двадцать семь, и познакомила их — это же надо, чтобы так все переплеталось в жизни! — жена Кордина Наташа, которую она знала еще со студенческих лет. Антон, хоть и был намного старше Алены, казался ей мальчишкой; он достаточно помучался в жизни, но то страшное, через которое пришлось ему пройти, она представить в полную меру не могла.

Она любила его всегда, даже когда это случилось у нее с Кординым; она знала: у многих, может быть, у большинства замужних женщин бывает такое — «не всегда удержишь власть над собой»,— во всяком случае так говорили те, кто пытался с ней откровенничать; она верила им, но все же казнилась, вспоминая подробности свиданий с Семеном Петровичем. И когда Кордин явился к ним за два дня до смерти Антона, она при виде его испытала мгновенную, как вспышка, жажду его ласки; потом проклинала эту минуту, потому что у нее мелькнула сумасшедшая мысль: этим душевным импульсом ускорила смерть мужа... Она понимала нелепость этой мысли, но отделаться от

нее не могла, и поэтому в ней поселился страх перед Семеном Петровичем.

Его внезапное вторжение к ней еще больше напугало Алену.

Он был явно не в себе, она это заметила сразу, как только Семен Петрович вошел, и потом, когда они сидели на кухне и она угощала его кофе,— его короткие лохматые брови сдвинулись в одну почти прямую линию, резкие черты лица отяжелели, а взгляд сделался блуждающим, словно он все время ждал: кто-то войдет или позовет его; и совсем ей уж стало нехорошо, когда он без спроса прошел в комнаты, где были разложены бумаги Антона. Но бумаги Семена Петровича не заинтересовали. Она стояла, прижавшись к стене, когда он пошел на нее, и ей показалось, что он вот-вот возьмет ее, и она сразу ослабела от страха.

Он ушел, а она долго сидела на кухне неподвижно, и ей думалось: он может вернуться и будет вести себя решительно, как хозяин, и она не сумеет противостать ему.

Из этого состояния ее вывел телефонный звонок, она долго не подходила, думала, это он; звонок оборвался, но через некоторое время возобновился; она сняла трубку и услышала голос Наташи:

— Алена? А я тебе звоню, звоню, думала, тебя дома нет. На работе сказали — ты у себя... Ты не больна?

— Я не больна,— сказала Алена и расплакалась; она сама не знала, отчего плачет, то ли от нелепости совпадения, что позвонила именно Наташа, о которой она подумала мельком, то ли оттого, что в словах Наташи прозвучало сочувствие, а она в последнее время была слишком одинокой — даже Зиновий, который так хлопотал во время похорон, все взвалив на себя, и в первое время как мог старался ей помочь, вот уже несколько дней как не звонил, и она начинала понимать: смерть Антона уходит в прошлое и те люди, которые так близко приняли ее горе к сердцу, свыклись с мыслью об утрате; поэтому жалость, что уловила она в Наташином голосе, вызвала у нее слезы.

— Да ты что, дурочка, плачешь? — ласково спросила Наташа. — Перестань немедленно! — как на девчонку прикрикнула она.

Но Алена не могла остановиться, бормотала бессвязное.

— Ну хорошо, я сейчас приеду. Можно? — сказала Наташа.

— Угу,— ответила Алена.

Она пошла в ванную, умылась, причесалась, выпила валерьянки, и едва успела привести себя в порядок, как тут же позвонили в дверь.

— Господи, ты меня так перепугала,— говорила Наташа, прижимаясь к ней щекой.— Ну что ты опять расквасилась? Что случилось?

Наташе вот-вот должно было исполниться пятьдесят, но ее никак нельзя было назвать пожилой женщиной. У нее были густые волосы, темные, с медным отливом, кажется, она их даже еще и не красила, жгучие черные глаза — лишь они одни нарушали безмятежное спокойствие ее немного плоского лица с гладкой, ухоженной кожей; от нее всегда веяло спокойствием и уверенностью, и походка у нее была твердой, немного тяжеловатой для ее легкой фигуры. Они подружались в институте — Алена была студенткой, а Наташа вела семинары по металлографии; подружались потому, что обе любили историю, и начали с обмена книгами, а потом выяснилось: им вообще вдвоем интересно. У Алены тогда был муж — она вышла замуж на втором курсе, — преподаватель физкультуры в школе; на второй год их жизни он стал запивать, в пьяном виде был неистов, ломал мебель, бил посуду, потом долго каялся, становился мрачным; в первый раз он избил Алену именно тогда, когда был трезвым, потом это повторилось несколько раз, но расстались они не по ее настоянию, он ушел сам, сказал: «Мне такая не нужна. Я с тобой совсем скрючусь — слишком

добра, в руках держать не умеешь. Все терпишь. Ты не баба, ты одно благолепие...»

Она не тосковала по нему, а потом, когда прошло время, удивилась, что побыла замужем.

Когда Алена развелась, Наташа сказала: «Это замечательно, что ты теперь свободна. Ты не волнуйся, мы тебе найдем мужа. Такая красивая, молодая — да чтобы не нашли...»

Алена сразу ей поверила, потому что знала: Наташа очень деловая и ко всему относится серьезно. И она нашла ей Антона Васильевича, правда не сразу, а через несколько лет после развода.

Встречались Алена и Наташа редко, особенно последние годы, но помнили друг о друге, иногда подолгу висели на телефоне, чтобы поведать о своих делах, поделиться новостями; это продолжалось, даже когда Семен Петрович и Антон Васильевич были в тяжелейшем конфликте, обе делали вид, что это их не касается. И все же они не были так близки, как в молодости, теперь это были всего лишь отголоски давней дружбы. И только смерть Антона Васильевича их снова сблизила, потому что Наташа сразу кинулась к ней, чтобы помочь и утешить.

— Господи, да что же это у тебя такой беспорядок! — строго сказала Наташа, переступая порог комнаты.

— Хочу разобрать бумаги Антона.

— У тебя тут, мать, дышать нечем.

Она решительно подошла к окну, распахнула его настежь, и в комнату вместе со свежим воздухом ворвался уличный шум.

— И эту тряпку убери, — указала она на черное покрывало, постеленное на тахте.

— Но ведь у меня... — попыталась возразить Алена, но Наташа перебила, сказала, не повышая голоса, мягко, но категорично:

— Нет уж, пожалуйста, Аленушка, убери сейчас же, немедленно, при мне. А уйду — сделаешь настоящую уборку. И не думай опускаться, я тебе все равно не дам.

Алена покорно достала из шкафа яркий клетчатый плед, перестелила тахту, и пока она все это делала, Наташа сидела в старинном кожаном кресле с затертыми подлокотниками — любимом кресле Антона, которое он перевез со старой квартиры.

— Курить будешь? — спросила Наташа, выбрасывая из сумочки на столик пачку «Мальборо».

— Нет, не хочется...

— Ну а я закурю. — И с нескрываемым наслаждением выпустила струйку дыма. — Как жить будем — это мы потом решим. Конечно, ничто Антона тебе не заменит. Но — жить надо... На десять лет меня моложе, а уж сгибаться начала. В твои годы я как девчонка бегала... Хорошо, это мы еще обговорим. Но вроде бы в последние дни ты была спокойнее. Что тебя опять выбило из колеи? Ты можешь объяснить?

Наташа смотрела на нее жгучими, как две черные горошинки перца, глазами, и от этих глаз ничего нельзя было утаить.

Алена охватила ладонями себя за локти и отошла к окну, чтобы успокоиться. Отсюда, с высоты двенадцатого этажа, хорошо просматривалась Москва: бесконечность крыш, золотые купола вдали и над всем этим огромное синее небо с сизыми клочковатыми облаками, — и как только она это увидела, так сразу же вспомнила: остановилась машина у тротуара, из нее под дождь вышел Семен Петрович, шагнул в толпу, исчез среди зонтов, а потом вынырнул почти у самого подъезда — и в это время солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, полыхнул над улицей, осветил его лицо, и тогда на мгновение исчезла улица и открылся берег, покрытый белым песком; его крепкие ноги утопали в песке, и по груди, по рукам, с безволосой загорелой головы

сползали капли воды... Она сжала виски, чтоб исчезло это видение, и повернулась к Наташе.

— Ну вот, опять, — вздохнула та.

— Нет, ничего, — сказала Алена. — Может быть, что-нибудь приготовить? Чаю? Кофе?

— Ради бога, не суетись, — сказала Наташа, сбивая пепел с сигареты, — успокойся... Я ведь тоже живу как на пороховой бочке. Да, не удивляйся... Под каждой крышей свои мыши, у каждого в шкафу свой скелет... Представляешь: и Зиновий и Саша — оба подали на конкурс. Весь институт гудит...

— Мне Зин говорил, что подает. Это желание Антона. Я сама слышала, как он говорил об этом Семену Петровичу. Вот здесь... — И она указала на тахту.

Наташа взглянула на то место, куда указала Алена, и вздохнула:

— Значит, это так... Странно. Мне Семен не сказал... Странно. Если это желание Антона Васильевича... Он что, Семен Петрович, обещал?

— Нет, — сказала Алена, хотя ей не хотелось этого вспоминать. — Кажется, он ничего ему не ответил... Вот насчет книги пообещал, и твердо.

— Да, я знаю. Книгу заслали в набор. — Наташа задумалась. — Странная у меня судьба... Я почти всю жизнь рядом с Семеном. Самый близкий ему человек. Иногда даже не знаю — это я подумала или он... Переписываю его работы, а кажется, что я сама их выстрадала в бессонные ночи... Нет, я не жалею. Я знала, на что иду. И была счастлива этим. И все же я никогда не могу угадать, что он может сделать завтра. Наверное, я начисто лишена дара предвидения. Но близкие люди должны быть близки во всем... А мне тревожно. Я всегда жду: вот-вот что-то случится. Почему?

— По тебе это не видно, — сказала Алена; она и в самом деле удивилась такому признанию Наташи, уж очень оно не вязалось с той уверенностью, с какой та обычно держалась.

— Я научилась это скрывать. — Глаза ее погрузнели, но ненадолго, она опять изучающе посмотрела на Алену и спросила: — Так что у тебя случилось, девочка?

И Алена неожиданно для себя сказала:

— Я его боюсь, Наташа...

Она не назвала имени Семена Петровича, но почувствовала: Наташа сразу угадала, о ком речь, и на какое-то мгновение замерла, потом спросила:

— Он что, был у тебя?

— Да, — ответила Алена. — Он ворвался так внезапно... И глаза у него были... Я никогда не видела у него таких глаз: мутные, нехорошие... Мне показалось, он что-то хотел здесь найти... Нет, нет, не среди бумаг, — перехватила она взгляд Наташи: — Но, может быть, мне только так показалось. Я испугалась...

И как только она выпалила все, то сразу же и пожалела, ведь это ей все равно не принесло облегчения, а на Наташу действовало; вроде бы ничего не изменилось в Наташином лице, но Алена почувствовала, как та напряглась. Сигарета ее кончилась, она погасила ее в пепельнице и сразу же закурила другую.

— Ну что же, мне надо было суметь это предугадать. Я опять не сумела. — И она мягко улыбнулась Алене, словно пытаясь ее ободрить. — Ты не робей. Не надо. Мы все распутаем... Хотя, честно говоря, мне это не нравится, ни этот конкурс, на котором дети должны столкнуться лбами, ни Семен... Если упустить, может так страшно повернуться. Даже думать не хочется... Я ведь и вправду живу как на вулкане. — И она поднялась, чтоб уйти.

Глава четвертая

1

Семен Петрович очнулся среди ночи и долго лежал, тяжело дыша, пытаясь понять: был ли то сон, или в самом деле Антон только что стоял в густых синих сумерках неподалеку от незашторенного окна?.. Так отчетливо ощущалось присутствие Дубцова в комнате, так явственно помнились все черты его лица и даже то, во что он был одет, что это вряд ли могло быть сном. «Да что же это, в самом деле? — беспокойно подумал Семен Петрович.— Почему он мучает меня?» Он не знал бессонниц, спал всегда крепко, не просыпаясь, да и сновидения его не беспокоили, если и снилось что-нибудь, то тут же и забывалось; он вообще не придавал никакого значения снам... На этот раз он увидел, как Антон стоял, опираясь о край письменного стола. В нем не было жалкости, приниженности, он был свеж лицом, кожа его обветрилась и загорела, крепкие руки в ссадинах, а глаза веселые, счастливые.

В синих сумерках Антон шагнул на ковер, взял стул и сел, положив на колени руки. Чувствовалось, Антон хочет что-то сказать или спросить, но он молчал. У Семена Петровича возникло желание подняться, сесть напротив, но он помнил: спит голым, как всегда, и неловко вот так подниматься перед одетым в бушлат человеком, и поэтому продолжал лежать неподвижно. Потом собрал в себе силы, чтобы спросить Антона, зачем он пришел в такой неурочный час. Но стоило ему напрячься, как он очнулся и увидел: никакого Антона в комнате нет... «Да что же это такое!» — теперь уж взмолился он. Он заложил руки за голову и, лежа так, стал вспоминать.

Все началось с того, что Кордину позвонили из института и сообщили: вызывают в государственную комиссию по расследованию дел на Крутоговорском заводе. Кордин сразу понял, что это связано с Антоном. Наташа — тогда уже была Наташа — провожала Кордина до самого подъезда, и хоть ему не о чем было беспокоиться, она в это не верила и дорогой шептала: «Господи, господи, прonesи... Ведь я беременна, Семен. А Сашке шесть лет... Господи, господи...»

Председатель комиссии с потрепанным лицом гусара — усы, баки, лысинка на голове и мешки под глазами, — был приторно вежлив и вьедлив, вел дело так, словно в комнате были только двое, он и Кордин, а Лука Спиридонович вроде бы и ни при чем. Семен Петрович так и не понял, сидел ли тут бывший начальник строительства для контроля или просто его приставили к председателю как помощника, потому что в свое время он находился в гуще событий с «чистым заводом», но не отвечал за технологию.

— Будьте любезны, Семен Петрович, еще один момент. Вы считаете, что получение железа путем прямого передела из руды, исключая доменный процесс, с самого начала было авантюрой?

Кордин знал: председатель не был металлургом, — но, видимо, тот себя чувствовал вполне подготовленным к разговору: может быть, что-то читал, а может быть, у него были консультанты... Нет, Кордин не считал, что идея получения железа из руды прямым восстановлением — авантюра, он считал, что дело это ненужное, дорогое, максимально невыгодное, что металлургия должна избрать совсем иной путь, но это уж научные убеждения... Однако вопрос был задан не для того, чтобы выяснить позиции, он пущен был, как стрела, прямо в Антона, об этом нетрудно было догадаться, ведь не кто-нибудь, а именно Антон принес профессору Моржикову, своему учителю, разработки и расчеты по «чистому заводу», правда тогда еще не по заводу, а всего лишь по опытной установке, которую помог ему соорудить его отец. На этой установке получали сталь прямо из руды, и довольно высокого качества. Антон много тогда работал, он трудился как одержимый, спал по два-три часа, иногда прямо в цехе, и вот все свои результаты принес Моржикову. И тот понял, что ученик дает

ему в руки не просто материал для кандидатской — это, можно сказать, дело решенное, — он дает ему оружие для борьбы с противниками, он дает ему возможность воскресить собственное имя, уже угасшее в науке, дает возможность стать первооткрывателем, создателем и главой нового направления. И Моржиков начал активный поход, и чем дальше продвигался он к цели, тем все больше оттеснял Антона, пока фамилия Дубцова вообще не исчезла со страниц газет и журналов. Но вначале был Антон — вот что сейчас раскапывал председатель.

— ...вы считаете, это с самого начала было авантюрой?

— Нет.

— Тогда, может быть, научной ошибкой, заблуждением?.. Впрочем, мне бы хотелось, чтобы вы сами сформулировали, сами нашли нужное определение.

— С самого начала было — исследование.

— Хорошо. Но исследование имеет цель... Не правда ли? И если я иду к определенной цели, которую поставил, то я буду отбирать те факты, которые мне нужны. Вы это отрицаете?

— Тут все зависит от конкретных условий.

— Вот именно! С вашего позволения, так и запишем.

— Нет, но я имею в виду, что факт всегда объективен.

— Я тоже именно это имею в виду, — ласково говорил председатель.

Черт бы побрал эту давнюю историю, черт бы ее побрал! В ней так много всего накручено, что и сотня ревизоров не раскрутит до конца...

Но ведь был же этот проклятый Крутоговор. Кордин приехал туда, когда завод уже построили, оставалось сдать какие-то подсобные здания, но основные цехи возведены, оборудование поставлено и работает; в такой короткий срок построили, что даже и поверить трудно было, и это тогда, когда шли еще восстановительные работы после войны, когда на Украине не хватало ни специалистов, ни денег, чтобы быстрее пустить в строй все взорванное и сожженное; говорят, триста миллионов ухнули на этот завод — вот что такое был Моржиков, только он и мог добиться подобного.

Вьюжно и тревожно было в Крутоговоре, вставали рано, в темноте шли на завод. Проходные под особой охраной. Из дверей вырывались клубы пара. Белый свет прожекторов клубился за проходной, освещая трассу, которая начиналась здесь, а уходила далеко в горы.

Шли в цехи, возились с установками, иногда получали плавку — и тогда лился в ковш белой струей, разбрасывая ослепительные искры, металл, и от счастья разгорались глаза, утверждалась надежда: вот и все, получилось, так будет и завтра и послезавтра — всегда. Но на следующий день плавки не было, и по приказу Луки Спиридоновича в красном уголке срочно созывались оперы — так начальник строительства называл оперативные совещания. Он садился вместе с Моржиковым во главе стола, накрытого кумачом. Моржиков нервно, чаще всего истерично, вел разговор, а Лука Спиридонович тех, кого считал виновными, наказывал. А когда звонили в Крутоговор из главка, выражая нетерпение или недовольство, Моржиков отвечал спокойно, в эти минуты он был феноменально спокоен:

— Идет период освоения. Вполне нормально. Ведь нам, как и полагается, дано два года. Не табуретки делаем. Мы идем новым путем, а это, между прочим, требует напряжения известных извилин.

В Крутоговор долетели слова, сказанные одним из крупнейших специалистов и организаторов: «С этим заводом без штанов останемся»; передали эти слова Моржикову. Он кинулся звонить в Москву, звонил вечером из «кают-компаний» — пусть все слышат, он вообще любил, чтобы его разговоры с Москвой, с большим начальством слышало как можно больше людей, — и, топчась возле телефона в бурках, размахивая волосатым пальцем, кричал:

— А этому пустослову передайте, что он сам всю жизнь без оных ходит, только люди стыдливы и стараются не замечать срама, а король-то голенький! Так что ему беспокоиться о потере штанов не следует!

Вокруг посмеивались, подталкивали друг друга — все-таки, считалось, здесь собрались единомышленники и у них один противник, а Моржиков видел: слова его имеют успех, — и еще больше распаялся.

— Мы посылаем вам в подарок слиток нашей стали. Пусть все убедятся, какого она высокого качества. Такая сталь может быть дороже золота...

Ох как там мело! Метели не прекращались ни днем ни ночью, сбивало с ног, запорошивало глаза; бараки содрогались по ночам от ударов ветра, казалось, не устоят, сорвутся с фундаментов — и понесет их на горы, разобьет в щепки.

Однажды в такую ночь они не смогли заснуть. Антон в подштанниках, в тапочках на босу ногу, накинув на плечи полушубок, расхаживал по комнате. Кордин жил в его номере, потому что к его приезду свободных уже не было, и Антон пригласил к себе.

Толстые губы Антона кривились, он был бледен, с нездоровой краснотой на веках.

— Уезжай ты отсюда как можно быстрее, — говорил он. — Не видишь, что делается? Не пойдет этот завод никогда, да и не может он пойти. Я об этом пытаюсь кричать два года, а мне затыкают рот.

— Но ведь бывают плавки...

— Да ты посчитай, во сколько они обходятся! Какой там без штанов — без всякой одежды останемся... Но не в этом дело. Главное, нет промышленного ритма и не может быть. Когда я это все раскручивал, мне отец говорил: установка установкой, но она лаборатория и не больше, а завод можно будет построить только через двадцать лет, не раньше... Я дал теоретические разработки. Но, понимаешь, мы еще многого не можем, и с температурами и с газом... Сотни проблем, которые на нынешнем уровне науки не решишь. Время нужно, время... А Моржиков не мог ждать. Ему некогда ждать. Ему нужно сразу сделаться великим. Сразу! Я пытался об этом писать, чтоб предупредить, но... — он понизил голос до шепота, — письма мои куда-то исчезали. И вообще... Ты этого не знаешь, но я знаю. Вижу, чувствую. За каждым моим шагом следят. Я все время как под охраной... Ты уезжай, Семен. — Он схватил Кордина за руки, сжал цепко. — У тебя семья... Тут когда-нибудь разразится катастрофа. Вечно обманывать нельзя... Вот вспомнишь меня.

Тогда Кордин впервые подумал: «Он сумасшедший». Из-за Дубцова все раскрутилось, завертелось, а он, оказывается, не верит в успех, и не просто не верит, но даже убежден: в финале их ждет полный провал.

Когда Антон принес свои разработки Моржикову, он верил, что все в них истинно; он взялся решить одну из самых сложнейших задач в металлургии: получение стали без доменного передела, — и решил ее не только теоретически, но и создал опытную установку, на которой из обогащенной руды получали сталь высокого качества. Моржиков выступил в газете с огромной статьей, где объявлял о наступлении новой эры в промышленности, о революции в металлургии; он поносил в этой статье инженеров и ученых, преклоняющихся перед западными авторитетами, утверждал, что новое направление глубоко народно, оно возникло в глубине веков, когда еще на Урале выплавляли железо в домницах; по нему выходило: только у нас в наше время могло произойти столь важное открытие, а автором его мог стать только Моржиков, потому что всегда видел на несколько порядков дальше, чем другие ученые. А потом стало лихорадить все министерство, создавались комиссии за комиссиями; тех, кто поддерживал «чистый завод», Моржиков возводил в ранг новаторов, кто отвергал

его — в разряд рутинеров, потом все устали от этих комиссий. И вдруг распоряжение — надо строить. И начали строить и вот построили... А теперь это бледное лицо Антона, красные веки и его горячечный шепот: «Уезжай».

В это время в дверь постучали; Антон еще не успел ответить, как дверь широко отворилась и в проеме возник Моржиков — он тоже был в подштанниках, ноги сунуты в любимые бурки, добротный тулуп накинут на плечи; это было так неожиданно, что и Семен и Антон застыли на месте.

— Не спите, молодые люди? — бодренько сказал Моржиков и, придерживая тулуп, быстро вошел в комнату. — Вот и мне, представьте себе, не спится. Надоело торчать в номере, вышел в коридор, слышу — шумят...

Он сел к столу, на котором рядом с початой бутылкой водки лежали очищенная луковица — здесь она считалась дефицитом — и печенье с изображением коровы; его глаза внимательно оглядели Кордина — Семен был к тому времени представлен ему, и Моржиков при первом знакомстве то ли с усмешкой, то ли с одобрением сказал: «Перебежчик из противоположного лагеря? Занятно».

— Так о чем спор? — бодренько спросил он. — Если молодые люди не спят, то или спорят, или разговаривают о женщинах. В каком случае я ошибся?

— В обоих, — неожиданно резко ответил Антон.

— Ну что ж. — Моржиков задумался и словно бы машинально взял со стола луковицу, потом печенье; он повертел эту луковицу, понюхал и с хрустом надкусил маленькими остренькими зубками.

Кордин знал, луковица горька и зла, они только что такой закусили, выпив по стопке, но Моржиков ел ее, как яблоко, и взгляд его при этом был обращен куда-то внутрь себя; съев луковицу, он принался за печенье, крошки сыпались на его бороду, он их машинально стряхивал. Покончив с печеньем, снова посмотрел на них и неожиданно грубовато сказал Дубцову:

— А ты не любишь меня, Антон. Я знаю. Ой не любишь. И зря. Я тебя сегодня в список на орден вставил. Получишь орден, может, засовестишься. — Он погладил бороду, решительно встал и быстро вышел, не закрыв за собой дверь.

За стенами барака гудело, мело и било со звоном по стеклам...

А через два года коротышка председатель с потрепанным гусарским лицом пощипывал баки, спрашивал с приторной вежливостью:

— А разве Дубцов не высказывал вам предположений, что все кончится катастрофой?

— Он высказывал эти мысли с самого начала. Насколько мне известно, он предупреждал...

— Кого предупреждал?

— Моржикова, конечно.

И насмешливо смотрел из своего угла глазами-гвоздиками Лука Спиридонович...

А из Крутоговора Семен уехал через два дня после той ночи, уехал не по своей воле — пришла телеграмма, что Вера смертельно больна... Самолеты не летали, можно было только поездом, а он шел двое суток, и Семен опоздал, Веры уже не было в живых, она умерла от внутреннего кровотечения — последствия ее ранения, — и остался на его руках Сашка, которому было тогда четыре года. Нужно было заново устраивать судьбу, и в Крутоговор Кордин больше не вернулся.

Председатель спросил и об этом:

— Почему вы так срочно уехали?

— Из-за смерти жены.

— Но потом вы могли вернуться.

— Мне отменили научную командировку по семейным обстоятельствам.

— Точнее.

— У меня на руках остался четырехлетний сын. А ни у меня, ни у покойной жены не было в Москве да и поблизости родственников.

— Понятно, — сказал председатель; он весело прищелкнул пальцами, протянул Кордину листки. — Подпишите.

Кордин взял бумаги, начал читать. Он почувствовал: председатель и Лука Спиридонович не сводят с него глаз; он прочитал — и у него пересохло горло: «Дубцов предложил заведомо ложную идею, она могла кончиться только провалом, и сам Дубцов это понимал, в чем не раз мне признавался...» Он оторвал глаза от бумаги, посмотрел на председателя, потом на Луку Спиридоновича.

— Подписывайте, — сказал председатель и протянул ручку.

Семена Петровича охватила злость.

— Я вычеркну эту фразу.

Председатель быстро вышел из-за стола, взглянул на строчки, которые указывал Семен Петрович, и удивился:

— Разве вы этого не сказали?

— Нет.

— Так-так-так! — покачал головой председатель. — Неужто я ослышался?

— Ослышались, — грубо объявил Кордин.

— Ну вычеркивайте, воля ваша, — согласился председатель.

Кордину не понравилось нарочитое безразличие, с каким это было сказано, он жирно вычеркнул фразу, расписался, вернул бумаги председателю.

— Вы свободны, — сухо кивнул тот.

И когда Кордин встал, то увидел, что Лука Спиридонович смотрит на него уважительно, и тогда зло подумалось: «Будь проклят!» И тут же сделалось не по себе — показалось, что бывший начальник строительства услышал мысли; глазки-гвоздики заострились, их взгляд Семен ощущал на себе все время, пока шел к выходу.

Был январь пятьдесят третьего, дул влажный, промозглый ветер, и снег на асфальте был перемешан с грязью. Кордин долго шел пешком, потом сел в автобус и поехал к Дубцову, в нем возникло непреодолимое желание увидеть Антона.

Кордин подошел к знакомому дому, поднялся на третий этаж, хотел позвонить, но заметив, что входная дверь приоткрыта, вошел в квартиру; прошел длинным коридором, где стояли фиолетовые ящики, висел на стене велосипед — он висел здесь много лет, — мимо комнаты рядом с ванной, где прежде жила Вера...

Пока Семен Петрович все это вспоминал, то снова забылся, а может быть, и заснул... Но он успел разглядеть: Антон сидит возле письменного стола, положив руки на колени, его грубые ботинки, из которых торчат заношенные байковые портянки, стоят на старом, фишашковского цвета китайском ворсистом ковре, которым был застелен пол в кабинете Семена Петровича. Антон ничего не спрашивал, только молчал, но в его взгляде было так много вопросов, что нужно было копаться в прошлом, чтобы отыскать хоть какие-то ответы. И пока Семен Петрович их искал, свет начал наполнять комнату, он тек из окна, но это был не солнечный свет утра, а белый, ровный, словно долетевший с холодной далекой планеты, и в этом свете стал ступшеываться, исчезать Антон. Семен Петрович хотел его удержать, чтобы сообщить нечто важное, он напрягся, пытаясь крикнуть и этим криком удержать Антона, но не смог... Что-то стукнуло рядом, в дверях показалась Наташа в длинной ночной рубашке.

— Что случилось, Семен?

Он посмотрел на нее; солнечный луч, в котором суетились пылинки, разрезал комнату и падал Наташе на плечо, просвечивая волосы. Кордин приподнялся, оглядел комнату: стула возле письменного стола не было, он стоял у стены.

— Ты так кричал,— виновато проговорила Наташа.— Тебе что-то приснилось?

— Ничего...

2

Николай Сорокопудов явился поздно вечером, когда Зиновий и Валя уже собирались ложиться. Первым влетел в прихожую черный лохматый Акселерат, с ходу лизнул руку Вале, а потом прыгнул на грудь Зиновию, ткнулся влажной мордой в щеку, и только после этого Николай переступил порог. Он сбросил с плеч туго набитый рюкзак, кинул на пол, чмокнул Валью в лоб; обхватил медвежьими лапами Зиновия, приподнял, уколол бородой.

— Ночевать пустите?

— Конечно,— сказала Валя,— только на кухне, как всегда.

— Вот чем плоха однокомнатная квартира — гостю негде прикорнуть,— сказал Николай.— А выпить дадите?

— То-то я чувствую, от тебя и не пахнет,— сказала Валя и тут же испугалась.— Дома что-нибудь случилось?

— Держи в кулаке нервную систему. Дома — рай. Тебе гостинец,— пнул ногой в мешок,— яблоки и помидоры с личного приусадебного участка потомственных рабочих Сорокопудовых. Нынче дефицит на фрукты и овощи, потому как все к чертовой бабушке залило дождями... Я в коридоре долго буду топтаться? Мне уважение будут делать?

Зиновий всегда радовался встречам с Николаем — его шумная бравада не утомляла, наоборот, утверждала спокойствие и уверенность, да и за те два года, что они были знакомы и столько всего провернули по работе, он уже успел к нему привыкнуть. А бывали времена, когда просто не мог без Николая обходиться.

— Будем, будем уважение делать,— сказал он, обнимая Николая за плечи.— Пошли... Валя, давай все, что в холодильнике, мечи на стол.

— Все не надо,— предупреждая поднял руку Николай.— На завтрак оставьте. Уезжаем рано...

Это «уезжаем» Зиновий сначала пропустил мимо ушей и потому не насторожился сразу. Николай сел за стол, и Акселерат устроился у его ног, перегородив дорогу к плите.

— Аксель, иди лучше в коридор, я тебе поесть дам! — крикнула Валя, но Акселерат и ухом не повел.

— Иди, иди,— добродушно сказал ему Николай.

И тогда Акселерат поднялся нехотя, пошел в коридор.

— Хороший у вас дом,— сказал Николай, оглядывая стол,— всегда есть выпить, а вот у нас как что — обязательно беги в магазин, а если по вечернему времени или раньше одиннадцати — толкайся к соседям или к Маньке-косой, у нее есть, да на трешку дороже. А чем интеллигентный дом отличить можно? А вот этим — всегда есть. Да еще какая — «пшеничная»! — Он сидел за столом ухоженный, сняв кожаную куртку, в модной, защитного цвета рубашке сафари, и борода у него была аккуратно подстрижена.— Ну давай мы с тобой по первой олимпийской, чтоб без задержки прошла, так сказать, по осевой, при сплошном зеленом свете, а потом уж поедем... Ты, Валь, будешь?.. Ну так и знал. А между прочим, ничего бы с тобой дурного не случилось, если б с братом чокнулась. Ну ладно, давай, Зин... Вот так. До чего же чистая — закусывать не хочется! Пожалуй вот только колбаски возьми. У нас такой в Торске года два не было... Так ты мне скажи, Зин, что у тебя с твоим старшим вышло?

Этого Зиновий никак не ожидал, он взглянул на Николая и усмехнулся.

— А ты откуда знаешь?

— Ого-го, откуда?.. Да я вот этой рукой,— он вытянул вперед широкую ладонь с отметинами от ожогов на пальцах,— до самых звезд ви-

жу. У меня знаешь какое биополе? Будь здоров! Мощнейшая энергия, могу за целую Братскую ГЭС трубить. Отцу каждое утро радикулитную боль снимаю... Но ты скажи, что с братом-то все же?

Валя смотрела на Николая взволнованно.

— Колька! — прикрикнула она. — Хватит тебе шута ломать! Ты говори что знаешь.

Николай довольно огладил пегую бороду и опять ослепительно улынулся.

— Спокойно. Все будет разъяснено в свое время. С тем и прибыл.

— Ты что же, и в самом деле к нам? — удивилась Валя. — Или только по Москве погулять?

— К вам. Сейчас, красавица, не до гулянок. Сейчас мы имеем острое положение жизненно важных интересов. Налей еще по одной... Ну так я весь полнейшее внимание.

— Да ничего у нас не произошло, — сказал Зиновий. — Все нормально. Просто подали оба заявление на конкурс. Но пока у нас все мирно... Да как это до Торска-то долетело? Странно все-таки...

— Мишка Кадкин сказал, — как бы между прочим обронил Николай, с нарочитой беспечностью ковыряя вилкой в тарелке. — Он и Узелков у твоего папаши были... Ну и в институте крутились. Вот в клювах эту новость и принесли. — Он помолчал, исподлобья поглядывая на Зиновия, словно прикидывая, как тот переваривает сообщения, и повернулся к сестре. — Слушай, Валя! Ты Клавку Громову знаешь? Она с тобой до седьмого класса в школу бегала... Ну я же говорю — знаешь. Зараз троих родила, и все разные: один в нее — беленький, другой как китаец, а третий на негретенка смахивает. Ну как ты, Зин, объяснишь с точки зрения научной, что в этом году — он же, дьявол, касьянов год-то, високосный, — чудеса за чудесами творятся и одни хлеще других?.. Нынче вот у нас не одно, а три лета было: то жара, то дожди, то жара, то дожди, и все льет, льет, прямо малый потоп. А вокруг землю трясет, цунами, наводнения, тайфуны. А?.. Тарелки летают, чудовища в озерах пробуждаются. И в международных делах кругом сплошные неприятности... Да нынешний год, говорят, еще что! Вот в восемьдесят втором планеты в один ряд должны выстроиться, и тогда от них особое излучение пойдет, а никто не может настоящего прогноза сделать: что мы с этого иметь будем — то ли сплошные катаклизмы, то ли всеобщее благоденствие. Я в академию письмо собрался написать, чтобы президент в печати этот важнейший этап жизни осветил. Как думаешь, осветит?

— Ну хватит! — прикрикнула Валя; она-то уж прекрасно знала своего брата, знала, что в этом потоке слов он может прятать нечто важное, чего не хочет по каким-то причинам выкладывать сразу. — Говори, с чем приехал?

— О, видал? — кивнул на нее Николай. — Давай, Зин, немного выпьем, тогда я морально подготовлюсь. Будь здоров. — Он сделал несколько глотков из рюмки и тут же отставил ее и сказал сердито: — Кадкин решил установку разобрать.

Вот это был удар, и сильный.

— Как?! — невольно вскрикнул Зиновий. — Но у нас же договор... У института и завода. Дубцов подписывал... Как же так?

— Плевать он хотел на договор, — зло сказал Николай. — Да и кончился он, три дня назад срок его кончился. Мы же все занятые, мы на такие мелочи внимания не обращаем, — скривив рот, проговорил Николай. — А Кадкин — он помнит.

— Но это же уникальная установка... Это же наше, это общее дело. Да и сам Кадкин на ней защитился. Ничего не понимаю!

— А ему плевать, — хмуро сказал Николай. — Ему производственные площади нужны, а мы место в цехе занимаем.

— Все равно ничего не понимаю, — удрученно сказал Зиновий, то-ропливо разминая сигарету и закуривая. — Ведь Кадкин-то наш чело-

век. Ученик Антона Васильевича... Может, кто-нибудь другой? Ты что-то напутал?

— Нет,— отрубил Николай.— Ничего я не путал. Если говорю, то точно. Данные секретные. А как узнал — не спрашивайте... А насчет Мишки я тебе вот что скажу: ни черта ты его не знаешь.

— А ты знаешь? — с ехидством спросила Валя.

— А я знаю,— подтвердил Николай.— Я ему еще лет шесть назад из-за одной девахи физию чистил. В общем-то, не из-за девахи, а за аморальное поведение, выразившееся в прямом обмане товарища.

— Да он здоровее тебя, как ты ему мог чистить? — усмехнулась Валя.

— Насчет здоровья это еще вопрос. А в драке, между прочим, не сила нужна, а полное нахальство.

— Да о чем вы? — поморщился Зиновий.— Если это случится... Это — трагедия... Преступление. Самое настоящее преступление.

— «Преступление»,— фыркнул Николай.— Все будет по закону: договор истек, заводу производственные площади нужны, а установка свое дело сделала... Кадкину еще благодарность вынесут.

— Но ведь должна же тут быть какая-то причина! Ведь иначе это — бред!

— Ты успокойся,— сказал Николай и положил широкую ладонь на руку Зиновию.— Я ведь как узнал, так сразу и рванул сюда... Сможешь пораньше утром поехать?

— Да хоть сейчас!

— Сейчас не надо — приедем в ночь, все спят. А срывать с постели и скандалить незачем. Первой электричкой едем — и прямо к Узелкову. Успеем.

— А он знает?

— Вот этого не выяснил. Но Кадкин может и без его согласия, ты учти: он сейчас тоже главный.

— Но запретить Узелков может?

— Умница. Я знал, ты догадливый парнишка... Запретить Узелков может. Вот с электрички — прямо к нему. Он уже будет у себя... План, Зин, простой и ясный: врываешься утром к Узелкову и весь запал — в него. А сейчас руками не маши, шорох не поднимай. Держи нервную систему в кулаке... А теперь допьем — и спать. Я сегодня черт знает сколько наворочал, да еще на горбу вам продукты питания вез... Валя, ты их в мешке не держи, они дышать любят, тогда долго простоят. Нынче овощ — первый друг человека.

— Я с вами поеду,— внезапно сказала Валя.

Зиновий удивленно взглянул на нее.

— Ты не беспокойся. У меня отгулы есть... Я утром все устрою — и к вам... Пока вы к Узелкову ходить будете да на заводе, я у своих объявлюсь... Ну Зин, не надо на меня так смотреть. А если не поеду — тут вся изведусь.

— Конечно, конечно,— сразу же согласился Зиновий.

Валя быстро прибрала на кухне, поставила раскладушку, постелила Николаю; Зиновий не успел и сигареты выкурить, как все уже было готово.

Они погасили свет, легли, она провела рукой по лицу, по груди, шепнула: «Засыпай»; он благодарно поцеловал ее и отвернулся.

За шторами горели огни, тусклый свет падал на пряжку широкого ремня от джинсов, и она матово поблескивала; он старался не шевелиться, чтобы дать возможность заснуть Вале... «Как это могло случиться? Как?» — думал он, но никакого ответа найти не мог.

Он прикрыл глаза и увидел установку, стоящую в одном из пролетов электросталеплавильного, вспомнил, как гордо ходил вокруг нее Антон Васильевич, откинув голову на худой шее с большим кадыком, привычно приглаживая остатки русых волос... Это Антон Васильевич притащил Николая, сказал:

— Вот этот парень у нас будет главным механиком. Он немножко придурковатый, но ты, Зиновий, на это внимания не обращай, потому что все хорошие специалисты да и люди — всегда придурковатые.

А Сорокопудов стоял, важно подняв бороду, и, не обращая внимания на слова Антона Васильевича, разглядывал чертежи.

— Хотите, ошибку найду? — сказал он.

— Не найдешь, — ответил Антон Васильевич. — Тут все считано-пересчитано.

Но он, черт бородатый, через полчаса нашел ошибку, да такую, что все потом ходили, почесываясь от смущения.

— Мы с тобой летом на озере пиво пили, — напомнил ему Зиновий.

— А мы с тобой еще родственниками будем, — невозмутимо ответил Николай.

Так оно и случилось... Как же мучительно и азартно они тогда работали! Из цеха не выходили, и Кадкин с ними был, до черного пота вкалывал — ведь были еще и свои дела на заводе и всюду надо было успеть. Никогда не забыть, как плакал Антон Васильевич, когда дали первую плавку и сделали анализы. А потом уже плавки шли все время бесперебойно, и они совершенствовали установку, пытаясь добиться полной непрерывности процесса... И вот теперь — разобрать?!

«Пройдет не более десяти лет, — говорил Антон Васильевич, — и у нас будут строить только такие заводы, только такие. Они экономичнее, выгоднее и какое прекрасное железо дают!»

Что же случилось? Что?.. Только там, в Торске, он сумеет найти ответ.

3

Весь день Александр ждал звонка отца, но тот так и не позвонил; он засиделся на работе допоздна, давно опустели кабинеты и лаборатории института, а он все еще возился с бумагами, и только когда почувствовал боль в спине, решил, что хватит... Часа три назад звонила Люся, сказала: Митьку из сада сегодня не возьмет, лучше бы его вообще до среды не брать, как не берут других детей, а то он становится капризным; голос у нее был ласковый и немного виноватый, она поинтересовалась, скоро ли он домой, но он не мог ей сказать ничего определенного, просто буркнул:

— Поработаю.

Тогда она вздохнула и сказала:

— Ну, я тогда пойду... Может быть, к кому-нибудь из наших на чашку чая попрошусь. Если раньше приедешь — не беспокойся...

Он вышел на улицу, вечер был необычно теплый (нынешнее лето замучало ненастными днями), в еще синеватом воздухе только что зажглись фонари — и с ветвей лип словно бы стекал падавший на них желтый свет и растворялся в синеве, и поэтому казалось, что вокруг деревьев возникает слабое сияние. Александр постоял, полюбовался, вздохнул и спустился по широкой лестнице к машине, одиноко стоящей возле стены здания. За спиной его хлопнула тяжелая дверь, дробно застучали каблучки, он невольно оглянулся и увидел сбегающую вниз Зою.

— Я думал, один торчу в этом храме науки, — улыбнулся он ей. — А вы в каком закутке тут прятались? В лаборатории-то никого не было...

— С вахтершей разговорилась, — смущенно ответила Зоя. — А так сидела, надо было кое-что просчитать...

Он подумал, что неловко оставлять ее, надо подвезти домой... Он знал: Зоя живет у Никитских ворот, в старом доме со стрельчатыми окнами, — был у нее после банкета, который она устроила, защитив кандидатскую; тогда Зоя пригласила к себе на чашку кофе своих —

всю их группу; он был у нее один раз, но почему-то это запомнилось. Она жила в квартире вдвоем с отцом, старым хмурым человеком, который за весь вечер (Александр его заприметил еще на банкете) ни разу не улыбнулся, не сказал ни слова, только всех подозрительно оглядывал бесцветными глазами из-под седых лохматых бровей, круто загнутых вверх.

— Садитесь, завезу вас домой, — пригласил он. — Или, может быть, вам еще куда надо?.. Пожалуйста...

— Нет, нет, — перебила она. — Мне только домой.

Она села — чуть торопливо, словно боясь, что он передумает, — и сразу же пристегнула ремень. Он ощутил запах ее духов, сладкий, слегка кружащий голову, и он ему понравился.

— Ну что, — спросил, — так и не приутихли толки?

— Ну что вы, Александр Семенович, — отозвалась Зоя, — знаете ведь, какой у нас народ!

— А какой у нас народ? По-моему, хороший у нас народ.

— Да, конечно, в целом коллектив вполне здоровый. Но отдельные личности чрезвычайно любят перемывать косточки, и создается не очень благоприятный нравственный климат... Конечно, говорят разное. Но большинство считает, что Зиновий Семенович не должен был так поступать. Все прекрасно помнят ваш последний доклад на симпозиуме. Это был настоящий успех...

— Ну, Зоя, вы, как всегда, преувеличиваете!

— Я никогда не преувеличиваю. (Он заметил, как она вскинула голову, в нарочитой обиде поджав губы.) По-моему, вести спор, кому быть завлабом, просто бессмысленно. Это очевидно. И я об этом говорю всем.

— Значит, есть и оппоненты? — улыбнулся он.

— Оппоненты есть всегда, Александр Семенович. Да без них ведь нельзя. Я так полагаю...

Зоя что-то говорила, но он уже не вслушивался — вот сейчас надо проехать овощной магазин, свернуть направо, теперь во двор...

— Ну вот, — сказал он. — Доставил вас...

Она не торопилась выходить из машины — не спеша отстегнула ремень, повесила его на крепление и улыбнулась своей широкой улыбкой.

— Если хотите чаю и чего-нибудь вкусенького, то милости прошу, — сказала она.

Он засомневался: стоит ли? — но тут же подумал, что и Люси наверняка еще нет дома, а приходить в пустую квартиру не хотелось.

— Ну что же, — сказал он, — только ненадолго.

И заметив, как Зоя засуетилась, обрадованная его согласием, предположил: видимо, она хочет ему что-то сообщить...

Они поднялись лифтом на четвертый этаж. Зоя остановилась возле высокой двери, обитой черным дерматином, на которой Александр разглядел медную, давно не чищенную табличку: «А. С. Котелков. Ухо, горло, нос». Зоя перехватила его взгляд и пояснила:

— От бабушки осталось. А снимать не хочется... Пусть как память. Правда?

Она отворила дверь — из глубины квартиры хлынули запахи петуний, ковров и ванили, где-то там работал телевизор, — взяла Александра под руку и в полутьме повела направо, в ту комнату, где они тогда, после банкета, сидели; комната была довольно просторна, с высоким окном, с лепниной на потолке, с которого спускалась на цепи старая люстра; над низкой широкой тахтой висела репродукция «Подсолнухов» Ван Гога — в тот вечер Александр сидел как раз напротив этой картины и теперь вновь с удовольствием разглядывал ее; ему все нравилось в ней — и шапки еще не раскрывшихся соцветий, и уже готовые к увяданию желтые лепестки, и неровность пузатого кувши-

на, по которому шла надпись «Винцент»; и еще тогда он заметил, что книжный шкаф Зои ломится от альбомов самых разных художников.

И снова у него мелькнула мысль: вот хватает же людям времени, чтобы увлекаться чем-то, не имеющим отношения к работе; у него ничего этого не было, и, пожалуй, не потому, что не доставало досуга,— просто ничто его не трогало и не волновало, кроме металлургии. К науке он испытывал почтение с детства; единственная литература, которой он зачитывался, были технические журналы и проспекты; дома если уж очень уставал, то садился к телевизору — смена цветных картинок на экране успокаивала его. Читал он редко, да и то когда настаивала Люся: «Ты это прочти, об этом сейчас все говорят». Он послушно читал, но оставался равнодушным к чужим страстям, судьбам, метаниям, они не захватывали его...

— Я сейчас, быстро,— прервала его размышления Зоя.— А вы посмотрите это, если хотите.— И дала ему два альбома: «Лувр» и «Британский музей».

В Лувр он не попал, потому что в Париже находился проездом, а вот в Британский музей его водили дважды, когда он был в Лондоне на международном конгрессе, где выступал с докладом; музей он запомнил хорошо, много там узнал нового для себя — из того, о чем прежде даже и не слышал,— и теперь подумал: эти знания отложились в его памяти, но так ни разу и не пригодились.

Вошла Зоя, она несла на подносе чайник, чашки, большую тарелку с кусками яблочного пирога и домашним печеньем.

— Это я для отца делаю,— сказала она.— Он ужасно любит сладкое, но ему не страшно — он худой-прехудой. Как раз сегодня утром испекла. Попробуйте, может быть, и вам понравится.

Пирог и в самом деле был вкусным; вот же успевают Зоя так прекрасно печь, и вообще, наверное, она хорошо готовит, а у них в доме никогда ни черта нет, все всухомятку, все из полуфабрикатов, которые Люся добывает в институтском буфете.

— Очень вкусно,— сказал он.

— Я рада, что вам понравилось... Между прочим,— протянула она чуть нараспев,— сегодня в институте встретила вашего давнего приятеля Томина. Он хорошо выглядит, загорел. Вернулся откуда-то из Сочи или из Ялты, я не поняла. У него три месяца отпуск. Говорит, накупался на всю жизнь. Теперь опять к себе в холодные края...

«Вот оно что!» — подумал он и почувствовал ноющую боль под сердцем, вот это и хотела ему сказать Зоя всю дорогу, но не знала, с чего начать; может быть, ради этого и поджидала его в институте... Значит, про Томина все-таки просочились слухи. Три месяца назад Люся тоже надолго исчезала из дома, иногда от нее пахло вином... Проклятье, неужели это никогда не кончится?!

Да, когда-то, в институте, Федор Томин был его приятелем; высокий, белокурый, баскетболист, у него были все задатки хорошего исследователя. Когда он учился на последнем курсе, у него что-то произошло с Люсей, они расстались. Федор женился, обзавелся двумя детьми, но года четыре назад снова поползли слухи о нем и о Люсе; тогда еще не было Митьки, и если бы Александр придал им серьезное значение, он бы просто расстался с Люсей. А потом Томин неожиданно получил приглашение на работу куда-то в Сибирь и уехал из Москвы; совсем недавно защитил докторскую, о нем заговорили как о молодом и очень перспективном ученом. И все было бы ничего, но однажды краем уха Александр услышал: мол, Томина выпроводил из Москвы отец и сделал это ради Александра. Сплетня эта показалась крайне нелепой, но три месяца назад... Что-то между Томиным и Люсей все же происходило, он это отлично понимал. И тогда, три месяца назад, он так и спросил у нее:

— Что у тебя с Томиным?

— А что? — вскинулась она.— Разве он здесь?

Ложь ее была так очевидна, что ему захотелось ударить ее,— он сам видел из институтского окна, как она под ручку с Томиным шла по скверу.

— Я тебя с ним видел сегодня,— сказал он, еле сдерживаясь.

— Да, да, конечно,— тотчас согласилась она и покраснела.— Ну, мы с ним поговорили минут двадцать. Он проездом. Но я боялась, что ты расстроишься, если узнаешь...

— Почему я должен расстраиваться?

— Мне думалось, у вас конфликт...

— О тебе и о нем ходят скверные слухи.

Вот это он сказал зря — сам дал ей оружие в руки, и она немедленно им воспользовалась, она так и взвилась: мол, он слушает институтских кумушек, которые бог знает что плетут от скуки; и вообще стоит мужчине и женщине пройти по коридору, как их уже сделают тайными родителями близнецов, растущих в сиротском доме... В конце концов он сдался, в словах ее была логика, а у него, кроме случайного факта,— ничего. И все же в нем сохранилось ощущение, что его самым бессовестным образом надувают. Он не знал, любит ли он Люсю или просто привык к ней, да ему и не хотелось этого выяснять, но он органически не мог терпеть лжи, он всегда презирал тех, кто прибегал к ней.

И вот теперь Томин объявился снова, стало быть, снова возникнут слухи...

Он потянулся к телефону, который стоял прямо на полу возле низкой тахты, поднял его на колени, набрал номер. Люся сняла трубку сразу же.

— Слушаю,— чуть вразтяжку проговорила она.

— Я сейчас приеду.

— Хорошо. Я давно тебя жду.

Он повесил трубку и встал.

— Спасибо за все, Зоя,— сказал он и улыбнулся.— Я не знал, что вы такая кулинарка.

— А если бы знали?

— Ну, возможно, напросился бы в гости.— Сейчас он чувствовал себя легко и свободно, потому что Люся оказалась дома и та ноющая боль под сердцем, которая возникла в нем после сообщения Зои, сразу же отпустила.

— Можете считать, что вы приглашены... Всегда, когда вам захочется, заходите.— Глаза ее смотрели преданно.

4

В это утро он необычно поздно вышел из дома. Наташа давно убежала, а он задержался, сказал, что надо посидеть над бумагами; на самом же деле Семену Петровичу хотелось просто побыть одному после такой тяжелой, полубредовой ночи; он долго сидел за столом, мрачно курил, постукивая толстой папиросой по картонной пачке, но ни о чем думать не мог, и когда обнаружил, что сидит так около часа, вдруг рассердился на себя, встряхнулся и приказал: «А ну поехали!»

Утро было солнечное — такая редкость для нынешнего дождливого лета,— и когда он вдохнул глубоко свежий воздух, почувствовал: тяжесть отступает, голова проясняется.

— Что, сердечный, видать, вчера хорошо принял. Маешься? — услышал он и, повернув голову, увидел на скамье у подъезда старуху — лицо алкоголички, космы седых волос, выбившиеся из-под платка; он не раз замечал, как по утрам она роется в урнах; вот и сейчас подле нее стояла большая черная засаленная сумка, набитая пустыми бутылками.

— Принял,— усмехнулся он.

— Тут измаешься, пока час волка не стукнет. А если терпения нет, иди вон к шестьдесят седьмому магазину, там ларек кулинарный, спроси Николку, он нальет...

От ее слов стало весело, он полез в карман, нашел трешку, протянул старухе:

— На, старая, за мое здоровье выпьешь.

— Это почему так? — оторопела она, но тут же засуетилась, запричитала нечто благодарственное, но он уже не слушал, сел в машину, развернул ее и выехал из двора...

День его обычно был перегружен различными совещаниями, заседаниями — на одних надо было только показаться, на других выступить и уехать, на иных и просидеть несколько часов; было много институтских хлопот: просмотреть работы сотрудников, решить дела с командировками, публикациями — всего не перечислишь; нужно было и для себя выкроить несколько часов, чтобы посидеть в тишине, подумать о разработках отдела; в это время он просил секретаря ни с кем не соединять — его нет, — и она выполняла это неукоснительно.

Сегодняшний день начался с того, что Семен Петрович увидел на столе верстку предисловия к книге Дубцова; о том, что это предисловие следует написать ему самому, он решил еще, когда Антон был жив. Давая Антону слово напечатать его книгу, он уже мысленно видел это предисловие и понимал: такой шаг лишь поднимет его в глазах коллег. Предисловие было небольшим, но емким, в нем Семен Петрович рассказывал, как шел он своей сложной дорогой, как менял привязанности: сначала доменный процесс, его автоматизация, потом непрерывная разливка стали — о, это была целая эпопея! — потом кислородные конвертеры. Глубоко изучив эти проблемы, он пришел к созданию единой теории металлургического процесса, в которой главная роль отводилась заводам-гигантам с мощными домнами, кислородными конвертерами и установками непрерывной разливки стали, — сейчас наша металлургическая индустрия как раз и движется этим путем. Идея Дубцова, которая уже много лет тревожит умы металлургов, ликвидирует доменный передел и дает возможность получать сталь непосредственно из руды. Общая теория, разработанная Кординым, не отрицает ценности дубцовской идеи — так считает он сам вопреки бытующему мнению, — но ее реализация оправдана при строительстве небольших заводов, которые еще, к сожалению, приходится ставить в местах, отдаленных от промышленных центров, но там, где есть сырьевая база и необходим металл. Конечно, идея Дубцова — это не большак, а всего лишь обочина, тропинка, но и без тропинок жить бывает трудно. Поэтому публикуя книгу Дубцова, где содержится ряд острых и зачастую необоснованных нападок на теорию Кордина, редакционная коллегия дает возможность самому читателю разобраться в их справедливости... и так далее и тому подобное. Да, славное получилось предисловие, интеллигентное, тонкое. Наверное, о нем много будет разговоров... Семен Петрович вычитал гранки, с удовольствием расписался и принялся за бумаги, поданные ему секретарем. Просматривая их, он обратил внимание на приказ, подписанный директором: «...председателем конкурсной комиссии назначить профессора Луговина Константина Алексеевича...» «С ним надо переговорить», — сразу же решил Кордин. Он хотел было пригласить Луговина к себе, но тут же отказался от этой мысли; лучше всего встретиться с ним случайно, а для этого существует обеденный перерыв.

Луговина он знал прекрасно, ему было около сорока, он уже сделался доктором наук, профессором, и Семен Петрович немало способствовал этому. Поначалу тот вызывал в нем раздражение, потому что Кордин вообще недолюбливал людей такой породы: Луговинов был невысок, с розовенькими залысинками, скошенным на сторону ртом; исключительно вежливый на ученых советах или в кругу старших по должности и положению людей, он становился криклив, исте-

ричен, когда добивался какой-либо аппаратуры или командировок, и этой его истеричности побаивались в институте.

Сближение между ними произошло странно и случилось пять лет назад, когда Александру надо было защищать диссертацию. Уже назначен был день защиты, разосланы авторефераты, заказан банкет, и в это время к Семену Петровичу пришел Луговинов и положил на стол диссертацию Александра — не автореферат, а именно диссертацию, которую взял в библиотеке, — а затем протянул листы со своими расчетами... Сначала Семен Петрович ничего не понял, но когда вник в эти расчеты, то увидел: Луговинов указывал на серьезную ошибку в диссертации; нет, она не могла зачеркнуть всю работу, но была вполне достаточной, чтобы без особого труда завалить защиту... Ошибка была коварная, такую сто человек не разглядят, а сто первый если и наткнется, то случайно; вот Луговинов и оказался этим сто первым...

Семен Петрович посмотрел в наивные, почти детские глаза Луговина — этот Константин Алексеевич, когда того хотел, мог выглядеть сущим ангелом, — и ему подумалось, что Луговинов явился его шантажировать. Ведь и в самом деле, если он выступит и завалит Александра, то это будет не только довольно шумный скандал, но и серьезный удар по самому Кордину. Такие круги от этой истории пойдут, только ойкнешь... Разумеется, не Семен Петрович был руководителем у Александра, но он дважды читал диссертацию, а ошибку не заметил...

— Дорогой Константин Алексеевич, — сказал он ровным, спокойным голосом, — к сожалению, вы абсолютно правы. И кроме восхищения вашей внимательностью, я ничего выразить не могу...

Он заметил, как при этих словах зарозовели щеки Луговина.

— К сожалению, я прочел диссертацию сына только что, как и вы... Жаль, конечно, что я целиком положился на Семгина, который был руководителем и который, конечно же, несет прямую ответственность за эту нелепость... Но — уже поздно. День назначен, даже банкет заказан, — мягко улыбнулся Семен Петрович, — на котором, конечно же, мы рады будем вас видеть... Мое мнение такое. — Тут голос его стал жестким. — Пусть мальчик защитится, потом можно будет исправить ошибку, она не решающая... Кстати, позвольте узнать, когда вы собираетесь защищать докторскую?

— Месяца через четыре, — ответил Луговин.

— Ну что же, послушаем, — с улыбкой сказал Семен Петрович, и в этой улыбке было все, чего он не сумел договорить.

И Луговин это понял, ему ли не знать: если Семен Петрович захочет, то он со своей докторской и до ученого совета не дойдет.

— Буду рад узнать ваше мнение, — вежливо сказал он и неторопливо, чтобы сохранить достоинство, вышел.

Александр диссертацию защитил, и ни он, ни кто-либо другой не узнал об этом разговоре; сама работа после ВАКа ушла в архив, вряд ли ею кто-нибудь займется, а в автореферате обнаружить ошибку нельзя... С того дня Луговин не раз прибегал к помощи Семена Петровича, и тот ему не отказывал; постепенно у них установились довольно приятные отношения: Луговин не был нахален, не был навязчив, он всегда и во всем поддерживал Семена Петровича, и Семен Петрович отвечал ему тем же...

В перерыве Кордин спустился в столовую и прошел в отдельную комнату, где обедали дирекция и заведующие лабораториями; она была полупустой, и Семен Петрович без труда нашел за отдельным столиком у окна Луговина. У Константина Алексеевича была странная привычка лепить из хлебного мякиша шарики и выстраивать их в ряд на скатерти; такую привычку, подумал Семен Петрович, мог приобрести только человек, который всегда был сыт.

Наверное, это так и было, хотя Константин Алексеевич был худ и производил впечатление болезненного человека.

— Поздравляю вас с назначением,— сказал Семен Петрович, садясь за стол Луговина, и тут же бросил подбежавшей официантке: — Выбери мне, Машенька, сама что повкусней.

Константин Алексеевич довольно усмехнулся, склонил голову над тарелкой, и зальсинки его смущенно зарозовели.

— Ощутимая потеря времени,— сказал он,— но ничего не поде- лаешь, общественные заботы...

— Ну не говорите,— сказал Семен Петрович,— тут не только заботы, но и почет.

Он заметил: кое-кто поглядывает на них, прислушивается,— и заговорил о том, какое скверное стоит лето, и все же иногда природа их балует; вот сегодня, например, такой чудесный день, просто загляденье. Луговинов охотно поддержал разговор и в свою очередь сообщил, что воскресенье провел на даче — «хоть и мокро в лесу, но грибки есть»,— и весьма к месту заметил: а почему бы, мол, и Семену Петровичу не получить участок земли с домом? Кордин дач не любил, да и сыновья его не очень-то тянулись за город; он знал, как много забот доставляет загородный дом, и когда ему в свое время предлагали участок, он отказался; к тому же он любил отдыхать в разных местах, а дача неизбежно приковала бы к себе — обо всем этом он очень громко поведал Луговину, и те, кто поначалу вслушивался в его слова, потеряли интерес, уткнулись в тарелки. Вот тогда Семен Петрович и спросил о том, о чем хотел спросить:

— Что, Кадкин из Торска тоже подал документы?

— Нет,— тотчас ответил Луговин.— А что, разве должен по- дать?

— Нежелательно,— бросил Семен Петрович.

— Да, да, конечно,— согласно отозвался Луговин и с мягкой улыбкой спросил: — А кого бы вы хотели видеть в заведующих?

— Александра,— коротко ответил Семен Петрович и встал, громко позвав: — Машенька, деньги на столе...

Луговинов смотрел на него с приятной улыбкой — словно благодарил, что наконец-то получил нужные разъяснения.

Глава пятая

1

Они выехали из Москвы первой электричкой. Народу в вагоне было мало. Николай улегся на скамье, подложил под щеку ладони и заснул, а Зиновий смотрел в окно на раззолоченные леса, стоявшие в рассветном тумане как в густой паутине. Он сожалел, что не уговорил Сорокопудова выехать вчера вечером — ведь каждая минута дорога: может, установку уже начали демонтировать, может, ее вообще уже разобрали — ломать не строить, только дай команду. И все же он не мог понять, как решился на такое Кадкин, не мог поверить, что этот человек, который так упорно трудился рядом с Антоном Васильевичем и даже написал вместе с ним несколько статей по прямому восстановлению, встал в позу: коль меня не пускают в институт, то и институту на заводе делать нечего. «Вот ведь черт,— огорченно думал Зиновий.— Неужто опять прокол?»

Ему не раз приходилось ошибаться в людях, он ругал себя за доверчивость, за неумение распознавать тех, с кем сталкивала его судьба. «Всею я верю, потом получаю за это по шее».

Впервые Зиновий поклялся быть осмотрительней, когда попал в студенческий стройотряд. Их отправили в Липецк на металлур-

гический завод, там возводили два новых цеха и не хватало рабочих рук. Они поехали туда с удовольствием, потому что знали: все самое новое в черной металлургии появлялось на этом заводе; и хоть работали они на строительстве, все же им удавалось полазить по цехам, а иногда и посидеть с кем-нибудь из инженеров за кружкой пива... Но не об этом сейчас речь. Однажды, когда они обедали, в столовку ввалилась компания из трех человек; наверное, они уже порядочно выпили, были шумны, нахальны и озлоблены. Полезли без очереди, кто-то возмутился, что-то сказал им — и тогда широкоскулый, прыщавый, с белыми глазами сунул в рот крикуну кепку, содрав ее с остриженной наголо головы. Неподалеку от стройотрядовцев сидел невзрачный паренек, длинноволосый, с утиным носом, толстогубый, перед ним стояли три тарелки с манной кашей. Он ел, не скрывая наслаждения, зачерпывал кашу не сразу, а вел ложку по кругу и, когда она наполнялась, бережно нес ко рту. Он так был увлечен едой, что не обратил внимания на троих, которые шумно расселись вокруг него. Прыщавый, глянув на длинноволосого, неожиданно крикнул:

— Эй, детсад, поддержи компанию! — И плеснул вина в стакан, поставил перед длинноволосым.

Тот посмотрел на стакан, медленно отодвинул его, сказал:

— Спасибо. Не употребляю.

— Значит, брезгуешь? — У прыщавого злобно дернулась щека. — Кашку ешь, а нами брезгуешь?!

Длинноволосый ничего не ответил, сделал круг ложкой по тарелке и неторопливо понес ее ко рту. Видимо, его невозмутимость окончательно взбесила прыщавого, щека у него задергалась, он выбил ложку из руки длинноволосого.

— Ах ты чистоплюй хренов! — рывкнул прыщавый. — А ты вот так поешь, вот так...

И, горстью захватив из тарелки кашу, шмякнул ее в лицо длинноволосому. Дружки вожака довольно заржали. Прыщавый вытер руку о голову длинноволосого и тоже загоготал.

Зиновий приподнялся — надо было немедленно вступить, он не понимал, не принимал безучастности стройотрядовцев, наблюдавших эту сцену.

— Ребята...

Но командир отряда не дал ему договорить, жестко сказал:

— Сядь!

Зиновий помнил, что командир предупреждал: не вмешиваться ни в какие конфликты местных, любое вмешательство может обернуться неприятностью для отряда, у него есть опыт в таких делах. Но разве сейчас можно было не вмешаться? Трое пьянчуг издеваются над тихим, застенчивым пареньком, издеваются, не боясь возмездия; неужто столько здоровых ребят не справятся с тремя хулиганами?.. Зиновий отмахнулся от командира и направился к столу, где сидел прыщавый с дружками. Но в это время длинноволосый встал, подошел к умывальнику, который был у самого выхода, и стал не спеша отмывать кашу с лица и головы. Зиновий приостановился, соображая, стоит ли дожидаться, пока тот умоется, или двинуться напрямую к столу, и боковым зрением успел заметить, как длинноволосый утер ладонью лицо и неожиданно выбросил вперед руку: что-то просвистело мимо Зиновия, и в то же мгновение резко вскрикнул прыщавый, схватился за грудь — из правого плеча его торчала рукоятка ножа. Корчась от боли, он упал на стол, опрокинув его, на пол полетели тарелки, бутылки, столовая ахнула и загудела. Несколько человек кинулись к прыщавому, кто-то визгливо кричал, чтобы не смели вынимать нож, а звонили в медпункт, в милицию, началась суета. Зиновий растерянно оглянулся: длинноволосый исчез.

Весь вечер в отряде только и было разговоров что о происшествии в столовой; говорили, будто прыщавому придется отнять руку, а милиция с ног сбилась, отыскивая длинноволосого.

Через несколько дней Зиновию вновь довелось встретить его... Он поднялся раньше других и до смены побегал к реке, пробрался к заводу через кустарник и остолбенел: к берегу энергичными саженьками плыл тот самый парень, на защиту которого он было отважился встать. Зиновий сразу узнал его, хотя сейчас волосы у него были коротко подстрижены. Парень вышел на берег, и Зиновий увидел, что он худощав и сутул, но тело его словно жгут — плотно, жилисто.

— Привет,— сказал ему Зиновий.

— Привет,— спокойно ответил парень и стал одеваться, прямо на мокрое тело натягивая рубаху и штаны.

Он оделся, вынул из кармана пиджака расческу и неторопливо причесался. Зиновий наблюдал за ним: тихий, незаметный человек с застенчивым взглядом. Разве такой мог метнуть нож?

— Говорят, тому человеку руку отняли,— проговорил Зиновий.

Парень обтер влажную расческу о штаны, сунул ее в нагрудный карман, сказал тихо:

— Если бы не ты — я бы ему, падле, в глотку попал. Похрипел бы он у меня тогда.

— Ты что же, его убить хотел? — удивился Зиновий.

— Да нужен он мне. Сам напросился. Пьянь, вша мелкая. По земле ползает, вонь пускает. Таких давить надо, чтоб не пахло.

Зиновий увидел: вовсе не робкие, не застенчивые у него глаза, а жестокие, но не сразу это разглядишь, потому что затенены они длинными пушистыми ресницами.

— Ну ладно, я пошел, а ты меня не видел. Понял? — Он повернулся и шагнул в кусты...

Во всей его повадке, в жестах, словах чувствовалось превосходство — не только над Зиновием и теми тремя в столовой, но и над всеми людьми на свете. Только когда он исчез, Зиновий понял: это превосходство убийцы, человека, презревшего человеческое. И от этого понимания ему сделалось страшно. «Такой убьет... Может быть, и убивал... не раз», — содрогнулся Зиновий, и тогда впервые пришла ему мысль: как же беспомощен он перед загадкой человеческой сущности!

И такой загадкой оказывался почти каждый, кого встречал он на своем пути, и часто, очень часто он останавливался в изумлении: как переменчивы люди,— это не только удивляло, но и заставляло страдать... Четыре года назад он столкнулся в метро с бывшей своей одноклассницей, длинноногой Катькой, она была похожа на облезлую кошку, плакала, уткнув лицо в его плечо, проклинала школу, золотую медаль, и в груди у нее хрипело от табака и бронхита. Ее выгнали к тому времени из трех мест — нигде она не могла ужиться из-за своей независимости и вздорности. Он кинулся по всем знакомым, бегал по Москве высунув язык, ему всюду отказывали; наконец удалось уломать одну из маминых подруг, договориться обо всем, и он позвонил Катьке домой, а ему сообщили: она устроилась на работу в Морфлот и ушла в дальнее плавание... А как удивил его Ленька-баскетболист! В школе был лопух лопухом, над его тупостью стало даже неприличным подсмеиваться; но два года назад Зиновий повстречал Леньку в одной компании и не узнал — это был подтянутый, застегнутый на все пуговицы, с таинственной многозначительной полуулыбкой внешторговец... Так что же тут неожиданного, если и Миша Кадкин повернулся иной стороной?.. Но дело не в Кадкине, важно другое: вот не стало Антона Васильевича — и Зиновий словно лишился защиты, теперь все удары прихо-

дится принимать на себя и самому защищать то, что отвоевано с таким трудом.

Сейчас он не мог даже представить, как сложилась бы его жизнь, не наткнись он на идею «чистого завода»... Он легко сходился с людьми, легко попадал в различного рода компании — к художникам, к молодым поэтам, к физикам, и все его принимали, потому что был раскован, не чванился, умел жертвовать,—но никто не знал, какие тяжкие приступы тоски охватывают его временами, как мается он, не находя, чем занять себя; казалось, что все уже испытано, все пережито и ничего нового его не ждет; позднее он понял: то была тоска по настоящему делу, потому что он родился работником, а время и близкие люди, оберегая его от забот, пытались сотворить из него барчука...

«Да я губами вцеплюсь, а не отдам эту установку,—накручивал он себя, готовясь к встрече с Узелковым.— Я ему врежу, я ему так врежу!..» А Николай беспечно спал: когда в вагон набился народ, ему пришлось освободить скамейку, и теперь он спал сидя, привалившись к стенке. Только перед самым Горском Зиновий растолкал его.

Когда добрались до завода, рабочий день уже начался; в большой приемной стучали машинки, звонили телефоны, трое приезжих чинно сидели на стульях — то, что они приезжие, было видно сразу по их отчужденности друг от друга (свои обычно перебрасываются словами), по тоскливому ожиданию в глазах, по большим, туго набитым портфелям.

— Я тебя, старик, прикрою от Марьи Ивановны, а ты прорывайся прямо в кабинет,—шепнул Сорокопудов и тут же заулыбался во весь рот, раскинул руки и пошел на директорскую помощницу — пожилую строгую женщину, сидящую сбоку от входа.

Пока он что-то нашептывал ей на ушко, Зиновий решительно распахнул дверь и, проскочив короткий тамбур, похожий на шкаф, влетел в кабинет.

Узелков поднял голову от стола и взглядом уперся в Зиновия; некоторое время он молча смотрел на него, потом мясистые его щеки дрогнули, и он сказал:

— С неба свалился? Ну будь здоров... С чем пожаловал, новатор?

Зиновий прошел по огромному ковру и сел у стола.

Он знал, как занят Узелков, знал, что у него на счету каждая минута, и еще в электричке приготовил емкую фразу, в которой была только информация без всяких эмоций и рассусоливаний.

— Ликвидируют установку? Не слышал,—сказал Узелков спокойно и тут же включил селектор.— Разыщите Кадкина... Выехал с завода? Тогда начальника сталеплавильного... Ершов? Приветствую. Один вопрос: у тебя есть приказ разобрать дубцовскую установку?.. Подожди, о площадях потом. Есть или нет?.. Понятно... Да, конечно, был такой приказ подчинить ее полностью главному сталеплавильщику. Но, надеюсь, еще не начали разбирать? Вот и хорошо. И не смейте мне ее трогать. А впредь, что бы на ней или с ней ни происходило, я должен знать... Нет ответственного? А что, Сорокопудова с нее сняли?.. Да брось ты, Ершов, этот парень любого инженера за пояс заткнет... Ну хорошо, ответственный будет, а об остальном потом.— И, отключив селектор, Узелков с насмешливым любопытством посмотрел на Зиновия.— Ну, будем считать, что этот вопрос решили. Удовлетворен?

— Вполне,—весело ответил Зиновий и подумал, что не зря сюда ехал; все-таки Николай молодец, что поднял тревогу — завтра могло бы оказаться поздно.

Он хотел уйти, но Узелков удержал его:

— Есть небольшой разговор.— И, взглянув на часы, добавил: — На десять минут, больше времени нет, а жаль...

И с этими словами он подошел к длинной полированной стенке, заставленной, помимо книг и журналов, призовыми кубками, макетами, сувенирами; открыл дверцу и, порывшись, вынул какой-то листок, подошел к Зиновию и сел рядом с ним.

— Понимаешь, какая штука,— начал Узелков,— за полгода до смерти Дубцова у нас наградные списки составляли в связи с юбилеем завода... Ну, вроде бы мы никого не обидели, всех включили... А тут Антон на тебя бумагу вот эту приносит. И здесь, на этом листочке, указаны факты, серьезные факты... Ну, что ты не только ради себя с этой установкой возился, но кое в чем и заводу пособил рацпредложениями. В общем, он подсчитал, довольно внушительная сумма получается, которую ты заводу сэкономил... Я знаю, Антон денежного эффекта не признавал, а тут вот видишь — подсчитал... Но вообще-то он больше на словах не признавал... Короче говоря, он считал, тебя надо наградить, потому что ты для завода весьма самоотверженно потрудились. Мы, конечно, его просьбу отклонили — ты не наш работник, институтский. И если бы мы сыну академика Кордина награду вручили, нас бы могли совершенно неправильно понять. За эти много всякого... Антон мне в этом кабинете большое представление устроил. Он мирный-мирный, а как с шарниров слетит — такой грохот устроит, будь здоров. Графин о стенку шмякнул. Потом, правда, извинялся... Но вон на стенке до сих пор пятно.

— К чему это вы? — удивился Зиновий.— Конечно, правильно, что не дали. Это же юбилей. Тут люди по двадцать, тридцать лет проработали...

— Хорошо, что понимаешь,— кивнул Узелков.— Конечно, заводу ты помог, и спору об этом нет... Но я-то считаю — не в этом главное. Тут более серьезная есть ситуация... Все мы, дорогой, не без слабостей. И у Антона их было не меньше, чем у других... Закурить у тебя есть?

Зиновий торопливо протянул ему пачку сигарет и, когда Узелков закуривал, заметил, что тот волнуется, заметил и удивился: что это он? Директор завода славился своей невозмутимостью.

— Понимаешь, Зиновий, ведь Антон пришел к нам сюда в пятьдесят девятом. Я его впервые в Крутоговоре повстречал, мальчишкой еще был, студентом, на практику приехал. А об Антоне тогда как о знаменитости говорили. Но он, между прочим, на все это дело плевал и носа не задирал, товарищем был хорошим. Там у нас разные случаи бывали, и он мне однажды весьма серьезно помог... Ну вот, а в пятьдесят восьмом меня как молодого и настырного выдвинули сюда на директорский пост. И представь, повстречал Антона в бедственном положении. Он болтался в Москве, служил в конторе, про науку и думать забыл... Между прочим, в те годы кто-нибудь нет-нет да и помянет публично Крутоговорский завод, причем не Моржикова при этом назовут, а вот непременно Дубцова — мол, по его идее это позорное дело делалось... Угнетало его все это. Да и, между нами говоря, жил в нем еще страх, жил. Но его осуждать не надо, осуждать легко. У нас ведь как иногда? Если боится человек, значит, поганенький... И вот эту его угнетенность я и увидел, потому и предложил к нам на завод. Я-то знал, какой он инженер, да у нас на заводе и отца его многие помнили... Да что тебе объяснять, нынче почти у каждого или диплом, или даже ученая степень, а инженеров — таких, какими я их себе представляю, да и как это в русском обществе было хотя бы во времена Гарина-Михайловского, — мало. Главная задача инженера — думать, а ее подменяют иной — выполнять да исполнять. Может, мы их на это сами толкаем, но как бы ни толкали, думать-то никто не мешает, наоборот — поощряют... Но я не о том, это уж особый разговор... Антон очень обрадовался.

Электричка сюда еще не ходила, три часа поездом добираться. Так он три часа тратил, чтоб из Москвы приехать, и столько же назад, но чтобы только у дела быть. Частенько на заводе и ночевал. Как же он тогда работал! Это вспомнить страшно. До черноты под глазами работал. Иногда я думал: он себя доведет. А он счастливый был, потому как дорвался до того, что ему радость приносило... Потом постепенно все встало на свои места, мы тут ему комнатку в общежитии дали, чтоб он квартиру в Москве сохранил. И все же, я тебе скажу, каким бы он ни был инженером, а главное в нем дремало. Потому что главное в нем было — наука. И так бы, наверное, это в нем и умерло б. Да ты не дал. Ты для него вроде детонатора оказался. Пришел, взорвал... Был уравновешенный, нормальный инженер, пусть очень даже хороший, но нормальный, а тут его понесло. Всего перевернуло. Я когда увидел, что с ним сделалось, то подумал, что он тронулся. Прибежал ко мне с этой вашей затеей, все передо мной раскрыл. И я его понял. Ты доказал, что его идея была верна. Именно идея. Ведь Циолковский тоже кораблей для межпланетных полетов не построил, да и не мог построить — не доросла до них ни наука еще, ни техника, ни промышленность. Так и с его идеей. Ты со своими товарищами решил эту задачу. И он — ожил... Он сразу другим стал, Зиновий. И я его понимаю, почему он хотел, чтобы тебя наградили... Нет, никакой корысти не было. Все тоньше и глубже, и ты это должен понять.

Все, что Зиновий слышал сейчас, было в какой-то степени уже известно ему, хотя сам Дубцов ничем подобным с ним не делился, это все рассказывали другие — иногда отец, иногда сотрудники института, — а сам он, когда начал работать с Антоном Васильевичем, был так увлечен, что многого не замечал, и теперь как бы со стороны увидел худую, подвижную фигуру Дубцова, его влажные от пота, русые с сединой волосы и как он азартно, по-мальчишески взбирался коленями на стул, склоняясь над расчетами; были места, которые он не понимал, — те, что Зиновий делал с физиками, используя элементы плазменной технологии, или же с группой химиков, которую возглавляла Люся, жена Александра, — и Зиновию приходилось все подробно расшифровывать Дубцову; он не смущался своим незнанием, он признавал: да, это прошло мимо меня, я во многом отстал, но я не в обиде, я рад, я готов учиться...

— Как ты догадываешься, — прервал Узелков затянувшееся молчание, — я тебе все это не зря рассказывал.

— Нет, не догадываюсь, — ответил Зиновий, он и в самом деле не понимал, куда клонит Юрий Иванович.

Узелков потер пухлой рукой обвисшие мясистые щеки и сказал, глядя Зиновию в глаза:

— Там у вас, в институте, насколько я понимаю, началась возня за место Дубцова. Честно говоря, мне все это не нравится. Сначала я и о тебе неважно подумал, но потом мне кое-кто разъяснил, что ты исполняешь волю Антона. Я про это ничего не знал. И был у твоего батюшки, чтоб предложить Кадкина — у меня твердое намерение не терять прямых связей с вашим институтом. Но батюшка твой дал мне понять, что Кадкин не пройдет. Мне захотелось узнать — почему. И я узнал... Ну вот. А Кадкин...

— А Кадкин, — перебил Зиновий, — и решил в отместку разобрать установку...

— Торопишься. — неодобрительно качнул головой Узелков, — еще не дослушал, а делаешь выводы... Ну ладно. Если твой батюшка решил, что Александр должен стать заведующим, так и будет. Но то, что ты воюешь, это хорошо. Это по совести. Но я тебе вот что хотел предложить — иди к нам. Должность мы тебе найдем, а если надо — придумаем. Мы завод крепкий, работаем без сбоев, и план даем, и

город строим, и можем себе многое позволить. Зря, конечно, мы тебе деньги платить не будем — ты нам многое сделал и, конечно, еще сделаешь. А насчет «чистого завода» беспокоиться тебе нечего. Мы тебя на всех инстанциях поддержим. Да вы и так с Антоном уже многого добились. В Гипромезе, насколько мне известно, сочиняют завод по вашей технологии. В общем, условия у тебя будут для научной работы такие, какие никому в вашем институте не снились. Да и то, что наука твоя произрастет из производства, тоже большой плюс. А насчет жилья... Есть тут у нас домик для иностранных специалистов, он же и гостиница. Дадим тебе в нем однокомнатную квартиру, если боишься жилплощадь и прописку в Москве потерять. Так что при тебе останется... Ну, думай и соглашайся, — уверенно сказал он. — Ты еще молодой, но не век же тебе за отцовы штаны держаться. А тут тебя никто ничем не попрекнет... Может, ты думаешь: с чего это Узелков такой добренький? А я не добренький, просто нынче грош цена тому директору, который ничего, кроме своего хозяйства, не видит. И если мы хотим, чтобы в нашем деле все было ладно, то должны на него смотреть шире, а в сторону науки — в первую очередь. — Он пригасил сигарету, ткнув ее в пепельницу, и сказал твердо: — У меня есть убежденность, что производство не просто должно создаваться на научной основе, оно само должно стать частью науки, как наука — частью производства. Но это долгий разговор. А пока все. Я с тобой и так засиделся, теперь придется навестывать. Будь здоров и думай. Чем быстрее надумаешь, тем нам всем лучше.

Он встал, протянул Зиновию руку и сразу же словно забыл о нем — вернулся к столу, потянулся к селектору. Зиновий же, несколько удивленный таким поворотом дела, направился к выходу; когда он вступил в темный тамбур, на память ему пришли слова Узелкова о том, что Антон Васильевич маялся по каким-то конторам в конце пятидесятых годов, и он подумал: «А отец-то что же ему не помог? Он ведь тогда уже доктором был, профессором».

2

— Ну давай-ка поздороваемся, — сказала Алевтина Владимировна и пошла к Зиновию, большая, широкая, раскинув крепкие полуобнаженные руки, обняла его, поцеловала в щеку. — Так и не придумала, как тебя величать: зять не зять, а все же вроде родственник... Ну идите полощиться, а мы тут с Валей все соберем. Хоть посидим по-семейному...

Зиновий и Николай явились домой часам к трем, до этого времени они крутились в цехе возле установки: захотелось самим все проверить, удостовериться, что все в порядке, а то ведь как пройдет слух о демонтаже, так кто-нибудь что-нибудь да и утащит дефицитное. Но слух еще не прошел, и они обо всем, что касается сохранности, договорились с Ершовым.

Пока Зиновий умывался, появился Иван Дмитриевич; он был худощав, узколиц, множество морщинок острыми лучиками разбегались от его насмешливых глаз. Он сразу же полез с вопросами: как да что там у них в науке и на производстве; Зиновий устал, был голоден и отвечал невпопад, это обидело Ивана Дмитриевича, и он сказал назидательно:

— Ваш брат-ученый, между прочим, иногда зря работяге не доверяет. Я вот такую байку слышал... Гагарин когда приземлился, то от того места недалеко колхозный механик на тракторе работал. Он этот самый корабль усек и, пока Гагарин с тетками разговаривал, внутрь и забрался. А по тем временам наисекретнейшая техника!

А в это время прибыли ученые — и к кораблю. Увидели там механика и, естественно, к ответу: кто, мол, таков и что там делал? Устройством, говорит, интересовался. А один ученый с ехидцей и спрашивает: ну и как, разобрался? Разобрался, говорит, и всю конструкцию им выложил. Они, само собой, рты разинули. А он им: потрубили бы с мое на такой сельхозтехнике, как у нас, так для вас бы космический корабль детской игрушкой показался... Вот так-то! — И Иван Дмитриевич так гордо и многозначительно вскинул голову, что Зиновий невольно улыбнулся...

Когда наконец сели за стол, Иван Дмитриевич поднялся с грашенной стопкой в руке.

— Ну, значит, чтобы везло, в стороны не ползло, а все в кулаке было. Со свиданьцем! — Иван Дмитриевич выпил и, не закусывая, снова наполнил стопку.

— Ну ты посмотри, Зинове-ей, — вздохнула Алевтина Владимировна, она произносила его имя нараспев, делая ударение на «е», — какой индивидуальный человек у нас отец: никто еще не пригубил, а он уже вторую себе налил. — Она подвинулась к Зиновию и заговорила так, словно за столом, кроме него, никого не было: — Если бы ты знал, сколько он моей кровушки выпил! Ты его трудовую книжку погляди, читать надоест, две вклейки сделаны. Он поживет-поживет, бывало, зимой дома, на завод ходит, а как весна, так его кто в зад шилом колет — не может, окаянный, на месте сидеть, так измается, что аж мне его жалко становится. Да езжай ты, говорю, с глаз долой. А он рад-радешенек, чемодан в руки — и айда. Куда? А хрен его знает! Ему, вишь, охота все заводы по стране посмотреть. Его, конечно, где хочешь возьмут, потому как у него двенадцать профессий и по всем высшая квалификация. Так вот всю жизнь его и прождала — то из бегов, то с войны. Ну, с войны, говорит, недолго, мол, ждала — его в бок осколком садануло, и списали по чистой. Так ведь на войне-то год за три идет... А кто его хворого на ноги ставил? Он же кровью харкал. А как оклемался — гусарить начал, баб тут, на заводе, что травы в сенокос. Я со смены притащусь, а у нас то одна чай пьет, то другая. Это ведь я ему, лешему, зуб-то выскребла. В самый такой момент домой угодила, и что под руку попало, то и кинула, да оказалась пепельница, а она из стекла, тяжелющая. Я тебя, говорю, выжила, вытянула, и если пакостить будешь, обратно в то же состояние загоню! Испугался. Приутих. Сам запел: нам, Алевтина, дети нужны. Ну, нужны так нужны, двух сделали. Так они опять же на мне. А он по стране гудит, заводы осваивает. И ведь надо же, вернется в Торск — его без звука берут, как будто и не уходил. Правда, иногда с деньгами приезжал, и с хорошими. Все же семью он не забывал. Вот же и построились и хозяйство завели... Ну а иной раз в лохмотьях припожалует: то ли его где обчистили, то ли на работу такую наткнется — он же не рассказывает. Конечно, на дело он злой, он если за что возьмется — из рук не выпустит, пока своего не добьется. За это его начальники и любили. Может, и я за это любила. Сейчас уже разобраться не могу. Но медовой жизни с ним не было и нет. Сейчас вот мотаться перестал, на пенсии, куда уж мотаться, да и здоровье не то. Так он по разным людям бегаёт да споры с ними заводит, иной раз так заведется, что непременно в драку влезет. Старый, а туда же. Вот так и живем, Зинове-ей...

— Ты ее, Зиновий, не слушай, — спокойно сказал Иван Дмитриевич, словно все, что говорила Алевтина Владимировна, его не касалось, — ее хлебом не корми, дай пожаловаться. Она в этом утешение души находит.

— А в чем же мне еще утешение искать? Вон детей вырастила... Один бородой людей пугает, другая... Не пойму я, Зинове-ей, жена она тебе иль не жена? Муж ты ей или хахаль? А мне ведь небось

тоже внучат понять охота. Я ведь маленьких ужас как люблю... Так что ты мне скажи, Зинове-ей, вы расписываться-то думаете?

— Мама! — прикрикнула Валя.

— А ты голос не поднимай. Я ведь правильный вопрос задаю.

— Правильный, — согласился Зиновий. — Да я и сам его задаю. Но она же на него не отвечает. Вы у нее спрашивайте.

— Ты, Алевтина, в чужую жизнь не лезь, — вдруг рассердился Иван Дмитриевич. — Без тебя разберутся. Ясно? — И так сверкнул глазами, что Алевтина Владимировна сразу притихла.

А Иван Дмитриевич скосил глаза на Зиновия, плутовски усмеялся, сказал:

— Ты вот поближе к начальству держись... Так объясни мне, почему это нынче опять взялись частника на щит поднимать? Как газету раскрою, так обязательно статья: мол, давай заводи свой сад-огород, носи гуся на рынок. Столько лет с этим частником войну вели, а теперь, выходит, без него жизни нет?

— Ишь ты, частник ему помешал! — не выдержала Алевтина Владимировна. — Да ты же сам тех поросят, что у меня на подворье хрюкают, за милую душу с кашей съешь и еще добавки попросишь... Я, Зинове-ей, с завода ушла на пенсию, а дома ворочаю — лучше бы уж в две смены ходила. На кране-то в кабине тепло, светло и обзор цеховых событий. А тут и в саду и на грядках гнусь, и за скотиной хожу, а этот меня частницей обзывает, вместо того чтоб лопату в руки взять...

— Ну, мать, это ты зря, — вмешался Николай. — Мы тебе с батей и полив соорудили, и по грядочке машинкой ходим. Инженерное решение! Облегчение домашнего труда. Обожди, скоро к поросяткам ведра с хлебовом сами бегать будут. Верно, отец? — подмигнул он Ивану Дмитриевичу.

— А то! — гордо сказал тот и опять повернулся к Зиновию. — Я так нынешнюю ситуацию понимаю: по причине отсутствия настоящей строгости народ пришел к полному баловству. Вот ей, — ткнул он черным ногтем в бутылку с водкой, — с одиннадцати начинают торговать. А ты погляди: когда в утреннюю смену идут, то, между прочим, кое-кто уже с запахом... Откуда взяли? Да я тебе, если хочешь, ее в любой момент суток достану. А если с утра он принял да в цех, то какой, к лешему, из него работник? Я ее за жизнь столько вылакал, что и сосчитать невозможно, однако же ни капли в час труда, потому как этот час для меня свят. Да и не только для меня, для каждого, который себя и свое дело уважает... Вот и в деревне так же. Ты пойди погляди, сколько за каждым двором консервных банок навалено. Это когда ж было видано, чтоб крестьянин из города продукт вез и им кормился? Всегда наоборот — из деревни продукт шел. Ну а частник что? Частник, он, конечно, может, и нужен сейчас, когда продукт в таком недостатке... Да недостаток-то почему взялся? А потому что нет сейчас настоящей строгости. Вот, скажем, в войну. Ведь ни черта сначала не было: ни танков, ни самолетов, ни автоматов. А как взялись — так будь здоров, все перевернули, все добыли и сделали. Стало быть, народ, когда надо, он так работать может...

— Да что ты заладил-то, — вмешалась Алевтина Владимировна, — строгость, строгость. Я сама в войну на заводе по двенадцать, а то и по четырнадцать часов ворочала. Плевали мы на твою строгость. Да об ней и не думал никто. Тогда другим жили, нельзя по-другому было. А от строгости и кони бешеными делаются... Тоже мне, политик! — фыркнула она.

Акселерат, который лежал у дверей веранды, неожиданно вскинулся, черные уши его встали торчком, и он глухо зарычал в сторону сада. Николай отодвинул занавеску и воскликнул:

— Смотри, какой гость идет! Тихо, Аксель! На начальство лаять — себе дороже.

— Да кто же там? — забеспокоилась Алевтина Владимировна.

— Сам Михаил Кузьмич Кадкин собственной персоной, — объявил Николай и поднялся, отворил дверь, крикнул с крыльца: — Сюда, сюда просим! — И, пригладив бороду, поклонился в пояс. — Гость в дом — бог в дом...

Кадкин невозмутимо перешагнул порог, одернул кожаный пиджак и вежливо поздоровался.

— Проходи, Миша, сюда садись, — позвала Алевтина Владимировна. — Иван, подай стопку и тарелку...

Кадкин сел, негнувшимся пальцем пригладил усы и обвел застолье долгим взглядом.

— По случаю приезда? — спросил он.

— Нет, — ответил Николай. — По случаю спасения установки, которую вы, Михаил Кузьмич, приказали пустить в разбор... Так вот чтобы она жила и здравствовала, — заключил он и опрокинул в себя стопку.

— Ну что же, можно и за это, — невозмутимо сказал Кадкин, выпил водку и, закусив помидором, повернулся к Зиновию. — Был у Узелкова. Он намекнул: ты считаешь, что установку я хотел разорвать из-за того, что твой папаша поддержать меня отказался. Так вот. На конкурс я подам, потому что считаю: имею право. Если чинить препятствия начнете, напишу в президиум академики, что в вашем институте преимущество отдают сыновьям академика. У меня отец — чернорабочий. Значит, мне на задворках жизни быть? Ладно, с этим все... А установку хотел разобрать, так как она свое отжила, вся главная работа на ней сделана. Я это Узелкову изложил. А сейчас пришел, чтобы и ты об этом знал. Темнить не умею, не обучен. Мог бы это давно понять, все же два года вместе работаем.

Зиновию стало не по себе и от его ровного голоса, и от его прямого, откровенно враждебного взгляда. Все-таки Кадкина он не понимал, ему казалось: между Кадкиным и всем окружающим миром существует какая-то незримая стена, за которую невозможно проникнуть. Он был не просто молчалив — скрытен, хотя иногда его прорывало и он мог говорить долго, увлеченно, но только если речь шла о каком-нибудь техническом вопросе, на все другое он не реагировал, часто подчеркнуто демонстративно. Дубцов Кадкина ценил, потому что считал человеком надежным: если ему что-либо поручить, то можно не сомневаться — все будет сделано; но и Дубцова холодная добросовестность Кадкина иногда выводила из себя: «Надо бы какую-нибудь грелку придумать и ему в душу вставить, чтобы в ней хоть что-нибудь теплилось».

Когда год назад Кадкин защищался (а писать кандидатскую его заставил Дубцов, и все на ту же тему — по прямому восстановлению, вернее по некоторым его технологическим тонкостям), то Зиновий несколько ночей сидел с Мишей и правил, а местами и переписывал текст; Кадкин молча следил за его работой, а Зиновий чувствовал, как скапливается в этом человеке злость, и он спрашивал: «Что-нибудь не так?» — на что Кадкин однажды пробурчал: «Ты лучше требования знаешь».

Защитился он хорошо, и в институте на ученом совете произносились умильные речи: как, мол, отрадно, когда молодые производственники приходят в науку и приносят в нее свежую струю. После защиты многие топтались в коридоре, по привычке ожидая, что сейчас будут приглашены на банкет. Кадкин громко попрощался, поблагодарил всех и пошел к выходу. Кто-то не удержался и полушутливо заметил: «А как же с омовением, диссертант?» И тогда Кадкин отчетливо, чтобы все слышали, ответил: «Не положено. Есть закон: никаких банкетов, — а я законы не нарушаю».

Его ответ привел в восторг Антона Васильевича, он в этом жесте увидел гордость человека, который хорошо сделал свое дело и поэтому не обязан никого услужливо благодарить и умасливать. Может быть, так это и было, Зиновий не понял, хотя грубоватость Кадкина ему не очень понравилась, можно было сделать то же самое, но не так вызывающе, однако Зиновий тогда поверил Антону Васильевичу и встал на его сторону...

Теперь они смотрели друг другу в глаза, и он ясно понимал: в Кадкине уже давно созрело глухое раздражение против него, но если прежде тот старался не выказывать этого, прятал за невозмутимостью, то вот сейчас пришел срок.

— Я подал на конкурс,— сказал Зиновий, сдерживая себя, чтобы не сорваться,— вопреки воле отца. Да и работал тут вопреки его воле. И ты это отлично знаешь. Так что угрожать, Миша, мне не надо. Хочешь участвовать в конкурсе — участвуй, это твое дело. Честный бой всегда хорошо. Так и Антон Васильевич считал...

Кадкин достал длинный мундштук, вставил в него сигарету, неторопливо закурил и, следя за стружкой сизого дыма, сказал:

— Антон Васильевич, Антон Васильевич... Что же, будем из него святого, великомученика делать? На каждом шагу, как пророка, цитировать?

— Мишка, да он же твой учитель, можно сказать, крестный отец! — возмутился Николай, с любопытством разглядывая Кадкина.

— Он не мой учитель,— твердым и ровным голосом ответил Кадкин.— Я Бауманское кончал и все сам на себе тянул. Мне помогать некому было... И тут тянул. Сколько надо было, столько и работал. Когда Дубцов в институт смотался, все на мои плечи легло. Ничего, выдюжил. Я никому ничем не обязан, долгов у меня нет. Я их заводить не умею. И Узелкова я не просил со мной в институт ехать. Он сам вызвался. Я и без Узелкова и без академика Кордина судьбу свою устрою. Как пожелаю, так и устрою... У нас с тобой дорожки разные,— повернулся он к Зиновию,— я сам по себе, а ты — за папенькиной спиной...

— Да заткнись ты! — вдруг зло вскинулась Валя.— Ты что, в чужой дом пришел, чтоб людей обижать? Стыд у тебя есть?!

Кадкин посмотрел на нее, пожевал свой мундштук и встал.

— Нет,— сказал он,— никого обижать не хотел. Просто изложил позицию. Прошу прощения, что нарушил застолье.

Он вежливо склонил голову, пошел к двери, но словно вспомнив что-то, повернулся к Зиновию, сказал:

— Слушай, тебе Узелков предложил к нам. Не ходи, мой совет. Не сработаемся.— И хлопнул дверь.

— Вот тип! А? — восхищенно воскликнул Николай и рассмеялся.— Гвозды! Будь здоров какой гвоздь — не гнется, не ломается!

3

Кадкин был недоволен собой...

В свое время ему выделили комнату в гостиничном отсеке дома для иностранных специалистов; от казенной мебели он отказался и сам завез сюда небольшой югославский гарнитур, купил цветной телевизор, добился отдельного телефона. Он жил строгой, четко распланированной жизнью, в которой не было места женщине, но женщины — были. Он научился заводить связи с ними быстро и легко — были ли это молодые работницы завода, или продавщицы универмага, или практикантки из Москвы, — он умел подчинять их себе, позволяя приходить к нему лишь тогда, когда ему это было нужно; с женщинами он был так же молчалив и скрытен, как и со своими коллегами, расставался, как правило, без всяких скандалов и неприятностей; иногда ему казалось, что бросали его, а не он, бро-

сали от разочарования, но он не огорчался. Он уже подумывал о женитьбе, но считал: еще не время, он еще не огляделся в жизни, не встал прочно на ноги.

Сейчас Кадкин с трудом подавлял в себе раздражение на самого себя. Он принял холодный душ, крепко растерся полотенцем и, закутавшись в махровый халат, сидел в кресле, курил... Конечно, глупо было врываться к Сорокопудовым и выбалтывать все, что в нем скопилось, это был неумный шаг, и он может только раскаиваться в нем. Но все, что Кадкин делал до этого, было правильно.

...Утром он поехал в Москву, чтобы подать документы на конкурс. Его направили к председателю конкурсной комиссии Луговину, и по тому, как тот листал бумажки, наклонив голову с розовыми залысинками и при этом недовольно кривя рот, Кадкин понял: сейчас начнет придирааться. Так и случилось.

— Очень приятно, молодой человек, что вы к нам с производства. Правда, сразу на эдакую должность... Обычный путь ученого: сначала младший научный сотрудник, затем старший. Но старшего получить не просто, ой как не просто. А вы сразу хотите завлабом. Не слишком?

— Не слишком,— жестко сказал Кадкин, он уже знал, как надо разговаривать с такими людьми.— Я главный сталеплавильщик завода. В моем подчинении в тысячу раз больше людей, чем в лаборатории. И получаю вместе с премиальными тоже больше завлаба. Главный сталеплавильщик — и младший научный сотрудник... Если вы об этом скажете вслух, над вами будут смеяться.

Глаза Луговина недобро метнулись, щеки зарозовели.

— Ну, одно дело производство, а другое — наука. В науке свои порядки, свои законы и, если угодно, условности... Вот, скажем, ваша характеристика. Она подписана парткомом и дирекцией. Все вроде нормально. Но она характеризует вас как работника и человека, но в ней нет оценки ваших научных трудов. А эти оценки в характеристике необходимы, поэтому, конечно, под ней должна была бы стоять подпись вашего научного руководителя...

— Мой научный руководитель Дубцов Антон Васильевич умер, и вы это прекрасно знаете. Хорошо, в характеристику впишут оценки моих научных работ. Это есть кому сделать на заводе. Что еще?

— Ваши статьи из журналов... Они на ксероксе. Желательно бы иметь оригиналы.

— Будут. Еще?

Луговин поднял голову от бумаг, внимательно посмотрел на Кадкина, сказал, вздохнув:

— Конечно, когда вы переписете характеристику и сделаете все остальное до конца конкурсного срока, мы примем ваши документы. Но... вы сами подумайте: есть у вас шансы пройти?

— Я уже подумал. И считаю — есть.

Луговин усмехнулся:

— Напрасно вы, молодой человек, так агрессивны.

— Я буду еще более агрессивен,— спокойно сказал Кадкин, глядя Луговину по отработанной привычке прямо в глаза не мигая — он знал, как действует такой взгляд, и Луговин его не выдержал, забегал глазками.— Есть райком, есть президиум Академии наук, есть ВАК. И если через три дня, когда я снова привезу документы, вы не захотите их принять, я поставлю вопрос о том, что делается это намеренно, чтобы избавить от конкурентов детей академика Кордина. Если вы считаете, что правы, то действуйте так, как действовали сегодня. Ну а я сейчас подъеду в ВАК и проконсультируюсь, покажу вам эти документы, чтоб убедиться, законно ли вы их сегодня не приняли.

С этими словами он поднялся, взял со стола папку со своими

бумагами, неторопливо завязал на ней тесемочки и уж было направился к двери, как Луговинов вскочил.

— Поз-звольте,— заикаясь, проговорил он.— Пусть так... Подобные обвинения... Я немедленно приму ваши документы...

Кадкин не стал торжествовать, наоборот, он невозмутимо поклонился и с изысканной вежливостью сказал:

— Благодарю вас...

Он вышел из института и чуть не расхохотался, вспомнив испуганную физиономию этого научного заморыша; все было сделано Кадкиным правильно, по твердо усвоенной системе: самый верный путь — прямой, только лобовая атака может принести успех в наше время хитроумных дипломатических уверток. «Бюрократическое крючкотворство так долго совершенствовалось и выработало такое множество различных приемов, что само запуталось в них и стало изживать себя»,— объяснял ему Дубцов. Антон Васильевич всегда был сторонником открытых действий, но атаковать он не умел, он верил в человеческую совесть; Кадкин разгадал, в чем ошибка Дубцова, и решил очистить его методику от излишней эмоциональности.

Как только он узнал, что оба сына академика Кордина подали на конкурс, то понял: дело может выгореть, если только все расставить по своим местам. Его диссертация была посвящена прямому восстановлению, и лаборатория Дубцова именно этим и занималась, стало быть, он подает по прямой специальности, а вот старший сын Кордина занимается другим — непрерывной разливкой стали, стало быть, он может легко отпасть, если на ученом совете поставить вопрос принципиально. Остается Зиновий. У того два преимущества: специализация и место в лаборатории — он старший научный сотрудник. Но он сын человека, который возглавляет отдел.

В научных кругах на такое вроде бы давно не обращают внимания, многие дети профессоров, академиков работают в институтах, которыми руководят отцы, и даже в их лабораториях, но это до тех пор, пока не находится человек, который начинает поднимать шум о семейственности. А скандалов в академических кругах боятся, и на то есть причины: скандал часто обнаруживает не одну, а несколько неприглядных сторон в деятельности уважаемых до того ученых, а никто так не печется о собственной порядочности, как ученые... Двигать своего сына вверх, если это не вызывает шума, порядочно, если же возникает скандал — непорядочно.

Все это Кадкин знал и все это учел для себя. Он пойдет по прямой, атакует в лоб, назовет вещи своими именами. А у академика Кордина в ученом совете не только друзья, а голосование тайное... Правда, каким-то путем всегда становится известно, кто голосовал за, кто против.

Кадкин знал людей, находящихся в оппозиции к Кордину, многие из них бывали на заводе, у многих и сейчас здесь заложены опыты, с ними он сможет переговорить и кое-что им объяснить... Он твердо решил перебраться в институт, стать заведующим лабораторией, и он своего добьется, но если проиграет, то эта история не пройдет бесследно и для того, кто победит.

Утром при встрече с Луговиновым он выиграл ход, а вот у Сорокопудовых перегнул палку и вдобавок ко всему ни с того ни с сего ляпнул, что его отец был чернорабочим. Он сам не знал, кто его отец, мать никогда не рассказывала ему о нем, с этой тайной она и умерла, когда Миша был еще студентом Бауманского.

После ее смерти ему пришлось жить, экономя каждую копейку, голодать, но не в эти годы, а еще раньше в нем укрепилась почти болезненная обособленность от людей: даже среди тех сверстников, у которых тоже не было отцов — по разным причинам,— но которые хоть что-то о них знали, он ощущал свою неполноценность

и научился тщательно скрывать ее. Сначала он рос слабым, его часто поколачивали в школе, на улице, и он занялся спортом: плавал, ходил в секцию бокса, занимался гимнастикой. Наконец его стали побаиваться — если он влезал в драку, то уж бил всерьез, беспощадно... Оставшись без матери, он жадно приглядывался к жизни других людей: скоро и ему надо будет устраивать собственную жизнь, и устраивать так, чтобы не ты зависел от людей, а они от тебя, тогда не будет нужды и появится свобода действий.

Попав на Горский завод, он довольно быстро оценил ситуацию и сделал все, чтобы оказаться в отделе Дубцова, потому что, еще будучи здесь на практике, узнал, что лучше его инженера на заводе нет и он многому сможет научиться у Антона Васильевича, а может быть, и обрести уникальные знания; он понимал: в нынешний век подобные знания — ни с чем не сравнимое богатство.

Кадкин работал при Антоне Васильевиче не щадя себя, и Дубцов это ценил, помогал продвигаться по службе. Ни одна из работ, которыми занимался Дубцов, не проходила мимо Кадкина, и довольно в короткий срок он обрел не только опыт и свежие знания, но и идеи на будущее; он жил мыслями Дубцова, но в душе презирал этого человека, презирал за его мягкость с людьми, за то, что тот разбрасывался своими знаниями; он видел и знал: Дубцов не добился в жизни и малой доли того, чего мог бы добиться, будь в нем сила, пробивной напор, настоящая деловая хватка; он скрывал это презрение, но победить его в себе не мог да и не хотел.

Узелков угадал его намерение занять место Дубцова в институте и предложил помощь, но он не подозревал, что Кадкин решил перейти в институт не на совместительство, а навсегда, потому что у него теперь был серьезный багаж, с которым можно входить в науку и добиваться того, о чем мечталось...

Он докурил сигарету, но неприятное ощущение от совершенной в доме Сорокопудовых ошибки не прошло. «К черту все это», — подумал он, вспомнив, что белокурая Сима из универсама сегодня свободна, и потянулся к телефону.

Глава шестая

1

По утрам Мария Ованесовна, близоруко тычась крючковатым носом в блокнот, хриплым, старческим голосом неторопливо докладывала о том, что предстоит сделать сегодня, откуда пришли приглашения, кто звонил и кому следует позвонить, а также сообщала о всех событиях, случившихся в институте, а то и в академии, то есть все, что удалось ей узнать или вывести у своих многочисленных знакомых; иногда эти новости не были проверены, и тогда она делала оговорку: «Ходят слухи...» Такой порядок установился давно, и Мария Ованесовна не меньше Кордина понимала, как важно быть в курсе всех событий, происходящих вокруг, потому что порой даже мелочь может сыграть роковую роль, а чем шире информация, тем легче принимать нужные решения. Как правило, Семен Петрович слушал внимательно, не перебивая, не давая оценок событиям, да и Мария Ованесовна старалась быть предельно объективной: чистая информация, и только.

Самое неприятное прозвучало в конце доклада. Хриплым бесстрастным голосом Мария Ованесовна сообщила: Федор Сергеевич Томин наведывается в одну из лабораторий отдела, пропуск ему заказывают его бывшие однокашники; чем он занимается там, она точно не знает, но предполагает, что Томин ищет возможности для совместной работы. Семен Петрович вопросительно посмотрел на

нее — она была в курсе всех прежних дел, связанных с Томиным, ему даже казалось: Мария Ованесовна осведомлена больше, чем он сам, об отношениях между Федором и Люсей.

Семен Петрович никогда бы не стал пачкаться об эту историю, если б не видел, как Александр любит жену, и если б сам так не любил внука. Он не мог допустить их развода по многим причинам: для Александра это было бы довольно сильным ударом, а Кордин лишится славного мальчишки, с которым любит повозиться в свободное время. Ну и, конечно же, это вызовет поток сплетен. У Томина семья — двое детей, насколько ему известно, — поэтому вряд ли ради Люси он оставит ее...

Семен Петрович вопросительно посмотрел на Марию Ованесовну, и та угадала его мысли.

— Да, они встречались, — сказала она. — Во всяком случае, их видели вместе. Ходят слухи... — здесь она сделала паузу, — они взяли за старое.

— Хорошо, — сказал он. — Я вас попрошу, Мария Ованесовна, — как только Томин появится в институте, пригласите его ко мне.

Она понимающе кивнула, захлопнула блокнот и пошла из кабинета.

— Не соединяйте меня часа полтора, — кинул он ей вдогонку.

У него накопилось много дел, он хотел приняться за них, но мысли его кружились вокруг одного: в последнее время все происходит не так, как должно бы было происходить... И хоть появление в институте Томина, от которого ему в свое время так легко и ловко удалось избавиться, не имело никакого отношения к смерти Дубцова, Семен Петрович подумал: все-таки это звенья одной цепи.

После ухода Антона из жизни образовался некий вакуум со своим силовым полем, попадая в которое людские судьбы сходили с предначертанного им пути, — так, во всяком случае, стало казаться Семену Петровичу. Все задачи, так легко разрешавшиеся им раньше, внезапно усложнились, их решение стало наталкиваться на трудности и неожиданные препятствия, да и сам Антон, который долгие годы держался в отдалении, вдруг властно вторгся в его жизнь — то призраком, то воспоминаниями, то своими учениками.

Только задним числом Семен Петрович сообразил: вообще не надо было допускать никакого конкурса — он, опытный руководитель науки, знающий все тонкости этого дела, мог с самого начала избрать обходной маневр. Он мог легко добиться назначения Александра на должность исполняющего обязанности заведующего лабораторией; такое назначение допускалось на год, с тем чтобы проверить возможность сотрудника хорошо вести дело. А когда Александр проработал бы год завлабом, то после этого конкурс выглядел бы чистой формальностью. Как Семен Петрович мог упустить такой ход? Уму непостижимо!.. Теперь вот приходится расхлебывать довольно круто заваренную кашу. И кто же решил помешать его планам? Его сын Зиновий по наущению Антона и Кадкин, которого опять же воспитал Антон... Черт знает что творится! И если бы только это... Алена. Столько лет прошло, огромная жизнь прошла, и все, что связано было у него с этой женщиной, давно, казалось, погребено временем. И вдруг снова поднялось из тайных глубин души.

Он встретил ее почти пятнадцать лет назад на берегу моря, куда приехал на две недели, чтоб покупаться, отойти от забот — так ему посоветовали врачи. Приехал один, без Наташи, она не могла уйти в отпуск.

Он шел по пляжу, по белому песку, накаленному солнцем, и заметил ее, лежащую под тентом; сначала он ее не узнал, лишь отметил красивое стройное тело, и только когда она приветливо улыбнулась, он вспомнил, что видел ее в институтской библиотеке.

Он упал рядом с ней на песок, заглянул ей в глаза. Она была смущена встречей и в то же время рада, что он узнал ее.

А он, чувствуя свежий, солнечный запах ее тела, видя на груди обожженную солнцем розовую полоску, уже понимал: не отпустит ее от себя все эти двенадцать дней. Он не знал тогда да и не мог знать, что она жена Антона, она и фамилию-то носила другую: Любомирова.

Они купались до вечера, а потом он повез ее в горы, где в небольшой пещере был ресторан, там подавали форель, круглые лепешки и терпкое белое вино; когда они вышли из пещеры, то увидели внизу костер, оттуда несло запахом шашлыка, сладким кизячьим дымом и кто-то надрывно и страстно жаловался на судьбу, перебирая гитарные струны, а дальше видно было море и янтарная лунная дорожка на его темной поверхности, и по самому горизонту плыл пароход с мелкими точечками огней.

Они стояли молча, ни о чем не говоря, и он понимал: так вот и надо, чтобы не было никаких слов, иначе бы они могли разрушить начавшую зарождаться меж ними близость; потом так же молча они ехали в такси; он проводил Алену до ее коттеджа, где она жила в небольшой комнатке, и направился к себе. Но он не дошел до своего дома, остановился у кустов дикой маслины и обернулся.

Белая гравийная дорожка вела обратно, туда, где светилось ее окно; по тени на рыжих занавесках он увидел, что Алена раздевается, готовится ко сну, и когда свет в ее комнате погас, в нем проснулось то, чем отличался он в свои военные и послевоенные годы: азартная сила дерзкого напора; он не смог укротить ее в себе и двинулся в обратный путь по хрустящему гравию, ничего и никого не боясь, чуя перед собой лишь цель. Он дошел до ее окна, створка бесшумно отворилась, он подтянулся на руках, легко перелез через подоконник и сразу же увидел Алену — она сидела на кровати, прижав к груди простыню, в обильном лунном свете ее расширенные от страха глаза казались черными, — и он, не дав ей опомниться, привлек к себе и поцеловал в сухие губы... Потом он сам удивлялся, что решился на это, но и во вторую ночь тоже не пошел через дверь, а полез в окно, понимая: теперь ей это нравится...

Когда он узнал, что она жена Антона, он испугался, но не Дубцова и не ответа перед ним, а еще одного совпадения; получалось, что существует какая-то незримая и непонятная связь между ним и Антоном: он познакомился с Верой на одной из пирушек, которую устроили фронтовики, пошел ее провожать и остался у нее, чтобы потом наткнуться на вьюжной улице на Антона, ее соседа. Вера стала его первой женой, а Антон оказался рядом почти на всю жизнь, и вот сейчас — Алена...

Он прожил у моря всего неделю и уехал домой, сказав Алене, что его ждут неотложные дела. Вот и все, что случилось тогда, больше они никогда не были вместе, и казалось — все давно погребено под спудом прожитых лет, но теперь что-то произошло и из той дальней дали вернулось к нему, и он снова почувствовал могучее влечение к ней... Знал ли Антон о той его встрече с Аленой? Прежде об этом Семен Петрович не задумывался, но теперь... Скорее всего знал: или она сама призналась в порыве раскаяния, или рассказали другие — ведь в санатории было немало их общих знакомых... Если же предположить, что не знал, то почему таким лютым огнем зажигались его глаза, когда он сталкивался с Семеном Петровичем? Кордин порой отчетливо чувствовал флюиды ненависти, идущие от Дубцова, но он привык объяснять это другим...

Первая их стычка произошла примерно через полгода после декабря пятьдесят шестого года, когда Антон поздним вечером пришел к ним, чтобы переночевать.

Но этой стычке предшествовала неожиданная встреча Кордина с профессором Моржиковым в Доме ученых... Кордину наскучили доклады, которые не имели к нему никакого отношения, и он выбрался из зала в фойе, где толклось множество народу: шушукались, передавая друг другу различные новости, беседовали. Кордин направился было вниз, в буфет, но на одном из уютных небольших диванчиков подле круглого столика заметил академика — секретаря их отделения, тучного человека с добродушным румяным лицом, только язвительные складки у рта намекали на его далеко не простой характер. Академик-секретарь нужен был Кордину, и он остановился поодаль, не решаясь прервать его беседу с человеком, который сидел рядом на диванчике. Но академик-секретарь, завидев Кордина, ласково помахал ему рукой и позвал:

— Семен Петрович, а ну-ка присаживайтесь к нам. Тут любопытный разговор... Да вот, кстати, и познакомьтесь...

Он еще не успел назвать фамилию Моржикова, как Семен Петрович узнал его, и узнал-то по волосатому пальцу, поднятому вверх, а иначе в этом благообразном элегантно старичке трудно было бы признать прежнего хозяина Крутоговора — в свитере, бурках и с окладистой бородой. Теперь Моржиков был одет в темно-синюю роскошную тройку с голубым платочком в кармане пиджака и бородака у него была небольшая, клинышком, очень аккуратно подстриженная, в старину такие бородки называли эспаньолками. Услышав фамилию Кордина, он вскинулся, торопливо протянул руку.

— Ну как же, как же, насышан. Да и читал, много читал. Отличное перо. Ясность мысли и все такое прочее. Знаю: весьма перспективны... Рад познакомиться.

— Да мы знакомы с вами, — ответил Кордин, садясь напротив него в кресло. — Я в Крутоговоре у вас бывал.

— Ах так! Ну, может быть, может быть. Тогда многие ездили... Всех не упомнишь. Это вот сейчас все ясно стало, а тогда...

— Что же ясно-то стало? — спросил Семен Петрович и заметил, как при этом вопросе углубились на добродушном лице академика-секретаря ехидненькие складки у рта, а в глазах затлело любопытство.

— Ну как же, многое... Я-то что, я в те времена подневольным был. Вызвали в министерство и приказали. Куда денешься? Сами теперь знаете, что за отказ могло быть. Мне и пострадать пришлось.

— И на чем же пострадали?

— Да все на том же, — охотно отозвался Моржиков; видимо, ему было очень важно, чтобы о случившемся с ним знал как можно больший круг людей. — Ну, сначала в принудительном порядке пришлось возглавить работу, которая явно не имела перспектив. Провал был запланирован, так сказать. А что значит для ученого вести дело, в которое не веришь? Насилие, полное насилие...

Кордин, к тому времени привыкший к самым неожиданным поворотам человеческого поведения, поначалу растерялся — уж очень убежденно, с неподдельной болью в голосе говорил Моржиков.

— Ну а потом, молодой человек, — взяв в кулак свою эспаньолку и мягким движением потянув ее вниз, проговорил Моржиков, — пришлось расплачиваться за чужие грехи...

Семен Петрович знал, что Моржиков серьезной кары избежал — как уж ему это удалось, неизвестно — и оказался в одном из сибирских городов, где в Политехническом институте читал курс лекций, да и пробыл там недолго, до лета пятьдесят четвертого года, а потом вернулся в Москву, года два нигде не показывался и вот сейчас всплыл...

— Не понимаю, — сказал Семен Петрович. — Чьи же это были грехи?

— А вы что же, про Дубцова ничего не знаете? — с той же искренностью, с какой говорил о своих страданиях, произнес Моржиков. — Сильный был в те годы молодой человек. Очень, очень сильный. Именно он этот способ прямого восстановления предложил, большую шумиху поднял. Пожалуй, одному ему это вряд ли удалось бы... Но его отец, хоть вроде бы и был всего главным инженером завода, — тут Моржиков перешел на шепот, — имел та-акие связи... У себя на заводе он и смонтировал установку. Конечно, были созданы комиссии. И сразу обнаружилось: нет серьезных анализов, нет серьезных результатов. Но папе очень хотелось сделать карьеру своему сыну. И добился, да-да, добился. Ну, сами понимаете, очки втерли. Да еще какие! Расписали там, какая это великая идея — «чистый завод». Причем своя, отечественная. Могут на Западе перехватить. И велели: «Строить!» Вот так этот самый Крутоговорский завод объявился. Триста миллионов на него ухнули. Правда, кое-что спасти удалось. Перестроили завод... Хотели было на меня все свалить. Но факты, факты! Вещь, говорят, упрямая, на божий свет рано или поздно пробиваются. Вот в наше-то время все и начинает проясняться...

Семен Петрович слушал его с внутренней брезгливостью; но к тому времени он уже был доктором наук, профессором, с ним считались, он уже изучил многосложные правила поведения в этом мире, — и поэтому равнодушно сказал:

— Занятно.

Моржиков насторожился, не зная, как понять это слово: то ли как сочувствие к нему, то ли как недоверие.

— У вас есть сомнения на этот счет? — осторожно спросил Моржиков.

— Конечно, — весело ответил Семен Петрович. — На том и держимся. Сомнение — главное свойство ученого. — И внезапно расхохотался, потому что вспомнил вьюжную ночь в Крутоговоре и как по их с Дубцовым комнате расхаживал Моржиков в кальсонах, тулупе и не морщась грыз маленькими зубками луковицу; он так заразительно хохотал, что и академик не выдержал, зашелся тоненьким смехом.

Моржиков посмотрел на них и, решив, что обижаться небезопасно, тоже засмеялся, делая вид, что принял слова Семена Петровича за шутку...

Вот такая была встреча, ну да дело не в ней. Если б только эта встреча, то наверняка бы между ним и Дубцовым ничего не произошло, но спустя неделю Семен Петрович раскрыл ведомственный журнал и наткнулся на довольно обстоятельную статью, подписанную неизвестной ему фамилией, которая была посвящена проблеме прямого восстановления; в этой статье драматично излагалась история Крутоговорского завода — примерно так, как рассказал ее Моржиков, — цитировалась кандидатская диссертация Дубцова, прямо называемая авантюристической, никакого отношения к науке не имеющей. Семен Петрович готов был написать опровержение, но сообразил, что будет понят неправильно. До этого он и сам не раз критиковал идею «чистого завода», вовсе не имея в виду Дубцова, а лишь защищая свои позиции по теории доменного процесса; он выступал в то время приверженцем строительства крупных домен, указывая на их экономичность, а идея «чистого завода» вообще перечеркивала доменный передел. Хорошо бы он выглядел, основатель нового направления в домностроении! Как говорится, начал бы подрубать сук, на котором сидел. Он просто позвонил редактору журнала и сказал: «Вы опубликовали бредовую статью, которая не может вызвать симпатии у уважающих ученых по чисто нравственным соображениям». Редактор ужасно разобиделся, заявив, что статью писал он сам, так как прежде был учеником Моржикова и желает восстановить его несправедливо

запачканное имя в науке... Семен Петрович понял: Моржиков все-ррез взялся за дело. Позднее выяснилось, что взялся не случайно, а потому, что подал на выборы в члены-корреспонденты Академии наук; однако стать членкором ему не удалось, его довольно дружно прокатили. Но это было позднее. А сразу же после публикации статьи к Семену Петровичу наведалься Дубцов, он к тому времени уже обжилсь в Москве, пришел в себя, казался здоровым и веселым; узнав о статье, посмеялся и сказал:

— Ну и черт с ними!

И тут же заявил, что привел в порядок свой научный архив, данные покойного отца и пришел к выводу, что необходимо продолжить работы по «чистому заводу» и лучше бы всего это сделать у них в институте. Он понимает, что Семен Петрович убежденный противник его метода, но настоящие ученые давали возможность другим вести эксперименты в противоположном своей убежденности направлении, и даже у себя в лабораториях. А так как у Семена Петровича сейчас лаборатория большая, солидная, то он вполне мог бы создать внутри нее группу прямого восстановления, пусть даже из трех-четыре человек для начала.

— Если у тебя нет ставок,— сказал Антон,— я подожду. Мне важно, чтобы ты на это решился. Больше никому.

Вот этого Семен Петрович никак не ожидал; он прикинул, какой это вызовет переполох в институте и как сложно будет пробивать — особенно сейчас, после статьи,— предложение Дубцова, сколько нужно будет отдать этому времени и сил, и сказал:

— Ты все-таки, Антон, сумасшедший. Да как же я сейчас смогу эту скомпрометированную идею извлечь на свет божий? Да кто же на это пойдет?

— Важно, чтобы на это пошел ты, а все остальное приложится,— спокойно возразил Дубцов.

— Да такого еще никогда никто не делал! Ты на что меня толкаешь?

— Делали,— ответил Антон.— Когда в сорок восьмом году били генетиков, Курчатов вошел в правительство с ходатайством, чтобы ему разрешили у себя в институте открыть генетическую лабораторию. Мол, нужно решать вопросы биологической защиты от радиации. И ему, представь, позволили.

— Так то Курчатов. Он атомную делал.

— А мы — металл. Без него и атомной не сделаешь... Ты все-таки подумай, Семен. Я буду ждать пять дней, потом позвоню тебе. Я всегда считал тебя смелым человеком. И я надеюсь...

Он, как и обещал, позвонил через пять дней; он мог бы позвонить и раньше, потому что Семен Петрович принял решение в тот же день, когда его навещил Дубцов: он не видел возможности создать у себя в лаборатории группу прямого восстановления. Он так и сказал об этом Антону.

— Значит, я в тебе ошибся,— сказал Дубцов и положил трубку.

Вскоре Семен Петрович узнал, что Антон уехал в Торск на завод и вроде бы неплохо там устроился. А его обиду и даже злость он испытал на себе года через два, когда всерьез начал заниматься непрерывной разливкой стали. Эта задача мучила многих металлургов, ее пытались решить на разных уровнях, и, понимая, что она сейчас одна из центральных, взялся за нее и Семен Петрович.

Обычно полученную в мартенах или иных плавильных печах сталь заливают в сосуды — изложницы, там она остывает, кристаллизуется, но кристаллизация эта происходит так неравномерно, что сталь получается низкого качества, и чтобы улучшить ее, приходится слиток прокатывать на гигантских станах — блюмингах или слябингах. Если бы удалось найти способ уплотнять сталь в жидком состоянии, тогда сра-

зу бы повысилось ее качество, а заодно и потери металла уменьшились и не нужны стали бы блюминги и слябинги. Разными учеными созданы были разные установки непрерывной разливки; разработали такую установку и в лаборатории Кордина, смонтировали ее для испытания на одном из заводов.

А вскоре в журнале появилась статья Дубцова о кординской установке; статья была резкая, била наповал. Антон точными расчетами доказал, что кординская горизонтальная установка имеет ряд серьезных недостатков по сравнению с вертикальной, которую поставили у них на заводе. Статья была так убедительна и доказательна, что возразить против было нечем, и Кордин, как ни бесился, а все же принял решение отказаться от прежнего варианта и начать поиски нового... Но гневный пыл Антона его потряс. Семен Петрович пытался связаться с Антоном, потому что в своей статье тот высказал ряд важных и остроумных предложений, которые вполне можно было бы использовать и даже включить Дубцова в число соавторов, но Антон или избегал его, или действительно был так загружен, что все попытки встретиться с ним Семену Петровичу не удалось.

Вот с каких пор они были в конфликте, а не после того как он встретился с Аленой на берегу моря. И все же... Иногда они сталкивались на различных совещаниях; Антон был вежлив, но не более... Однажды в Гипромезе, где проходило представительное совещание, на котором выступали видные ученые, директора заводов, а вел его один из заместителей Председателя Совета Министров, потому что речь шла о судьбах развития черной металлургии, Кордин делал небольшой, но важный доклад, излагал суть своей теории. Потом на трибуну поднялся Дубцов и со свойственным ему пылом так распушил Семена Петровича, что его буйную речь несколько раз прерывали аплодисменты; аплодировали больше директора, да это было и понятно: Дубцов бил на экономичность, на выгодность идей и сам он, как и директора, был производственником, а не каждый производственник может так глубоко анализировать теоретические проблемы, соотнося их с практикой. После выступления Антона лаборатории Кордина урезали смету, и, говорят, сделали это не без вмешательства заместителя Председателя Совета Министров. Удар Дубцова был такой мощи, что Семену Петровичу долго пришлось потом зализывать раны... Впрочем, если Антон за кого-нибудь брался, то уж брался так, что летели пух и перья. Однажды через журнал он врезал Луговинуву за его статью о коксе. Бедняге закрыли тему.

— За что же он на меня? — жаловался Луговинов Семену Петровичу. — Ведь я его нигде никогда и пальцем не тронул... Дорогой Семен Петрович, вы ведь его знаете. Укоротить-то его можно?

— Укоротить его нельзя, — убежденно сказал Кордин. — Пытались. И очень жестко. Но на него это не действует.

— А что на него действует?

Семен Петрович задумался и ответил серьезно:

— Хорошая работа...

Почему-то это повергло Луговинува в уныние.

Но самым сильным из выступлений Дубцова, пожалуй, была его статья в «Правде», она касалась сугубо металлургических проблем, но неожиданно выходила на разговор о нравственности ученого. Дубцов писал: до сих пор эффективность научной работы оценивается по экономическим результатам, но для того чтобы добиться хорошего экономического эффекта, совсем не обязательно привлекать науку при таком огромном масштабе производства, как у нас в стране. Например, любой сталевар скажет, как снизить себестоимость тонны стали на один рубль; и если учесть масштаб производства, то получится баснословная цифра — около ста пятидесяти миллионов рублей. Таким достижением не всякий ученый может похвастаться! И выходит, что

при больших масштабах производства оказывается очень просто добиться впечатляющего экономического эффекта, поэтому ловкие научные сотрудники выбирают маленькие, легкодостижимые цели, но связанные с большим объемом работ, а потом щеголяют могучими цифрами. Парадоксальность такого положения состоит в том, что в заслугу ставится масштаб производства, к которому научный работник никакого отношения не имеет... Господи, какой же шум наделала эта статья. Ведь она задевала интересы слишком многих людей, привыкших получать большие деньги за внедрение «высокоэффективных» методов!

Нет, Антон Дубцов вовсе не стоял в стороне от тех горячих дел, которыми жила наука, он вникал в них, поднимал свой голос, и голос этот был отчетливо слышен...

Но самая нервная пора для Кордина началась в то время, когда Зиновий за его спиной занялся «чистым заводом»; мальчишка так увлекся этой идеей, что самостоятельно сколотил группу энтузиастов, а потом разыскал Антона и объединился с ним. Когда Семен Петрович ознакомился с тем, что успели сделать Антон и Зиновий, то сообразил: лучшим выходом из положения будет не война с Дубцовым — на этот раз тот не повторит ошибок тридцатилетней давности, пойдет напролом, и наверняка у него появятся союзники, — а сотрудничество. И Семен Петрович сам предложил организовать при отделе небольшую лабораторию, где Дубцов станет заведующим, пусть даже по совместительству, если им так дорожит завод. Это был единственно верный ход, и Семен Петрович более всего боялся, что Антон откажется. Но Дубцов не отказался, предложение принял и лабораторию создал, но держался с Семеном Петровичем подчеркнуто официально... Все-таки он что-то знал об Алене...

И снова подумав об этом, Кордин почувствовал непреодолимое желание ее увидеть. Потянулся к телефону, набрал домашний номер Алены, но никто не ответил; тогда он позвонил в библиотеку, услышал ее голос и положил трубку. Он надел пиджак и вышел в приемную; на вопросительный взгляд Марии Ованесовны бросил:

— Я скоро вернусь...

В холле Семен Петрович остановился у зеркала и оглядел себя — этот серый костюм с синей искоркой явно был ему к лицу, он красиво облегал его плотную фигуру, белая сорочка с высоким жестким воротником, синий галстук, — Наташа приучила его хорошо одеваться, она считала, что из дома нужно выходить так, словно отправляешься на какую-нибудь важную встречу, да ведь и в самом деле его всегда могли куда-нибудь вызвать. Он по привычке провел рукой по гладкой, безволосой, коричневой от загара голове и усмехнулся... Особенно активно он начал лысеть, когда вернулся из Крутоговора и узнал, что Вера умерла. Он довольно быстро привык к своей оголенной голове и даже считал — так ему лучше...

Алену увидел сразу, как только переступил порог читального зала, она сидела за столиком, склонив голову набок, что-то усердно записывала в тетрадь; на ней была синяя шерстяная кофточка с широким вырезом, открывающим высокую красивую шею. Он подошел к ней и едва сдержался, чтобы не обнять ее. В зале сидело всего три человека, каждый за своим столиком, уткнувшись в старые книги и рукописи, но Кордин словно чувствовал на себе их любопытные взгляды.

— Добрый день, — негромко сказал он.

Алена вздрогнула от его голоса, в глазах ее метнулся испуг, и она только кивнула ему в ответ.

— Я пройду туда, — указал он на книгохранилище. — Хочу кое-что отыскать...

Ему нужно было убраться подальше от этого читального зала, от

настороженных ушей, зорких взглядов. Он шел мимо высоких стеллажей, забитых книгами, вглядываясь в корешки, пока не понял, что забрел в отдел художественной литературы. Читал он немного, но всегда с выбором, обычно перед сном или в дороге — в поезде или в самолете, — любил объемистые книги с подробными описаниями, иногда запоминал из них целые абзацы — память у него была крепкая, — если они особенно нравились ему, и любил при случае блеснуть своими знаниями.

Он свернул вправо, потом еще раз вправо и остановился возле за решеченного окна, за которым были видны золотистые верхушки берез. Он знал, что она его найдет, и не ошибся. Когда за спиной услышал осторожный стук ее каблучков, то выждал — пусть подойдет ближе, и только тогда резко повернулся, чтобы оказаться с ней лицом к лицу.

— Здравствуй, — сказал он и властно взял ее за плечи, привлек к себе и поцеловал в шею.

Она обеими руками уперлась ему в грудь и, совсем как девчонка, беспомощно прошептала:

— Не надо...

Он и сам понимал: не надо бы здесь, их могут услышать или даже увидеть, — и, все еще не отпуская, склонился к ней и прошептал:

— Я приду к тебе сегодня. В семь. — И твердыми шагами пошел к выходу.

2

То, что Люсе выпало сегодня ехать на овощную базу, обрадовало ее — работа там напоминала студенческие годы; к тому же меньше всего хотелось нынче в институт. Всю дорогу в автобусе она была заводилой: первой затягивала песню, ее поддерживали, уж так она делала это азартно, что трудно было не поддержать, — а когда увидела пронизанную солнцем и саму всю солнечную от яркости листьев березовую рощу, ахнула от изумления и подумала: нынче у нее будет славный день. Она вызвалась перебирать картофель, что считалось самым нудным делом, и хотя в этом отсеке дурно пахло — что-то гнило в бочках, и Зое, которая трудилась рядом, сделалось плохо, — работала быстро, сноровисто.

Люся с детства привыкла к работе. У ее отца была редкая профессия: испытатель автомобилей, его искалечило на полигоне, он ходил в корсете, с палкой, и ему более килограмма нельзя было поднимать, — да и мать часто болела, и Люсе приходилось самой все делать по дому. Она говорила о себе: «Я в семье основная рабочая лошадь».

Характер у нее был дерзкий, увлекающийся; если перед ней возникала цель, она забывала обо всем на свете и шла к ней напролом. Она считалась хорошим специалистом по химической физике, прекрасно владела рентгеновским структурным анализом, и когда Зиновий попросил ее помочь их группе в работе над «чистым заводом», она так увлеклась, что запустила плановую работу, и потом пришлось сидеть чуть ли не сутками в институте. Александр косился, упрекал ее, правда, как всегда, коротко и жестко: мол, она не бережет себя; особенно ему не нравились ее выезды в Торск, но она знала — объяснить Александру, что такое настоящий азарт исследования, невозможно, он принадлежал к другой породе ученых, тех, кто не знает головокружительного упоения работой, а уверенно и твердо идет раз и навсегда определенным путем.

Пожалуй, даже Зиновий не смог бы ее так увлечь, скорее всего дело было в Дубцове, она обожала таких сумасшедших мужиков;

яростных и отчаянных. Он ничего не понимал в ее деле, но когда она приносила результаты, приходил в возбуждение и говорил:

— Ах, как жаль, что этого не могли делать тридцать лет назад!

Ей все нравилось в нем: и как он носился по заводу, и как смеялся, и как почесывал маленькую кругленькую лысинку среди побитых седой русых волос.

— Эх, закрутила бы я с вами роман, Антон Васильевич,— лихо говорила она.— Да ведь с вами не закрутишь. Вы ведь наверняка однолюб.

— Это по каким же признакам вы определили, Люсенька?

— По телефонным звонкам. Как вы с женой разговариваете.

Он смеялся и отвечал:

— Правда, правда, со мной не закрутишь, да и не надо.хлопотно и ни к чему.

Его уход из жизни она восприняла как гибель родного человека; на кладбище с ней случилась истерика, ее долго приводили в себя, терли виски, давали нюхать нашатырный спирт, Александр с трудом увел ее отсюда; два дня она болела после похорон, встала слабой, пошла на работу, а там услышала: мол, у нее с Дубцовым что-то было, потому-то она так и убивалась. Сплетен она никогда не боялась, понимала: коллектив в институте большой, всякие есть люди, на каждый роток, как говорится, не накинешь платок,— но эта сплетня взбесила, и Люся сразу занялась расследованием. Вскоре выяснила: первым такой слух пустил Луговинов. Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел за столом, почесывая розовую залысинку; увидев ее, приподнялся в кресле, заулыбался косым ротиком:

— Чем обязан появлению столь видной институтской красавицы?

Она знала — у нее тяжелая рука, и если она его ударит, то без синяка не обойдется.

— Ну вот что,— сказала она.— Вы изгадили память о прекрасном человеке. Изгадили отвратительно, как грязная баба.

— Позвольте, о чем..

Она не дала ему договорить:

— Вы прекрасно знаете о чем. И я пришла вас предупредить: если вы себе хоть раз еще позволите такое, я примитивно начищу вам харю.

Люся специально подобрала это слово — «харя», чтобы задеть побольней, и произнесла его смачно. Во всяком случае, после этого Луговинов все время старался обходить ее стороной..

Она боялась только Александра и объяснить себе этот страх перед ним не могла, он возник сразу, как только они поженились. Люся помнила, что и мать вечно боялась отца, хотя тот ее и пальцем никогда не тронул,— может быть, этот страх был выражением древней, прививавшейся веками бабьей покорности — «да убоится жена...». Она и боялась — лебезила, всячески старалась умаслить, задобрить, умиловить; всегда и всюду откровенная, перед мужем частенько лгала, как девчонка, изворачивалась, даже когда это было не нужно.

Бунтовать всерьез против него она тоже не решалась. Уж кто-кто, а она-то отлично понимала: на дубцовскую лабораторию надо идти Зиновию, ведь если бы не он, то вряд ли бы через столько лет так активно возобновилась работа над «чистым заводом», и не только возобновилась, но и принесла прекрасные результаты — министерство приняло решение строить такой завод, и сейчас в Гипрометзе вовсю велись над ним работы. Александр в этом деле был чужаком. Он и сам это знал и подчинялся лишь воле отца, который имел какие-то свои далеко идущие планы. Все это она прекрасно понимала, но восстать против Александра не могла.

Александр был ее мужем, главой их небольшой семьи, а то, что связывало Люсю и Федора Томина, лежало в стороне и, как ей казалось, никому не мешало. Федор ей нравился, когда они еще были

студентами, в нем (это она могла бы сказать сейчас) было нечто общее с Дубцовым, он так же был азартен — и не только в работе, но и в своих увлечениях. И любовь у них вспыхнула бурная; Томин часами высиживал возле ее дома, проникал в лабораторию, где она проходила практику, хотя там существовала строжайшая пропускная система. И он добился своего, но спустя короткое время она почувствовала, что он начинает остывать, и, не желая унижительных объяснений, рассталась с ним. Александр был другом Томина, но вряд ли Федор рассказывал ему об их близости; иногда они куда-нибудь ходили втроем, потом Александр начал ухаживать за ней в эдакой классической манере: дарил цветы, приглашал в театр, назначал свидания — и ей это нравилось.

Когда они стали работать, Люся иногда встречала Томина в институте, они перебрасывались шутками, обменивались малозначащими фразами; Томин уже был семейным человеком, жена ему родила двойню, и, встречая его, Люся ничего не испытывала к нему, словно у них и не было той буйной и яростной любви. Но все повторилось, когда их на две недели послали в колхоз копать картошку. Дня через три Томин предложил устроить пикник, и все радостно согласилось. Вот после этого пикника они с Томиным и заблудились в ближнем лесочке, и в обоих словно вселился бес.

Когда они вернулись в Москву, то уже не могли жить без тайных встреч. Она сама потом удивлялась, что не испытывала никаких угрызений совести перед Александром — кем он был для нее, тем и оставался, она не перестала ни меньше уважать его, ни меньше бояться, и если бы вдруг он, проведав про Томина, приказал ей: «Не смей!» — она бы тотчас подчинилась, как ни дороги были ей отношения с Федором. Они оборвались внезапно: Федора вызвали в дирекцию и предложили поехать в один сибирский город, где совсем недавно построили мощный завод. Работа там открывала перед ним большие перспективы, он согласился, и с тех пор до нынешнего лета Люся его не видела...

Он свалился внезапно; позвонил, сказал: у него большой отпуск, он едет на море; звал и ее с собой, но она только рассмеялась:

— Да мне и шага в сторону нельзя ступить...

И все было бы хорошо, как вдруг Александр внезапно спросил ее:

— Что у тебя с Томиным?

Она перепугалась, принялась врать, но увидела: он ей не верит; только ссыла на слухи спасла ее — Александр их не переносил. Томин уехал, а она стала ждать его... Три месяца она ждала, и это ожидание в ней усиливалось; он приехал загорелый, веселый, помолодевший, и она невольно восхищалась им...

Теперь тайные их встречи, ей казалось, происходили на краю пропасти, страх быть разоблаченной Александром усиливал азарт; она понимала, что все это отвратительно, но переломить себя не могла.

Она обрадовалась, что ее послали на овощную базу: это исключало возможность случайной встречи с Томиным, а у них было назначено вечернее свидание, благо сегодня Александр должен читать лекции у вечерников в Институте стали и сплавов и вернется поздно.

Люся приехала домой без четверти шесть, быстро приняла душ, быстро переоделась и стала ждать. Федор обещал позвонить в шесть...

3

— Семен Петрович, я пригласила Томина, как вы просили, — прозвучал в селекторе хриплый голос Марии Ованесовны.

— Пусть войдет, — сказал Семен Петрович.

Едва он успел надеть пиджак, как отворилась высокая дверь его кабинета и вошел Томин.

— А-а, Федор Сергеевич,— протянул Кордин, разглядывая высокого человека в замшевой куртке.— Прошу, прошу вас. Вот сюда, здесь, в кресле, будет удобней..

Он усадил Томина за низкий круглый столик так, чтобы на него падал свет из окна.

— Вы хотели меня видеть,— проговорил Томин.

Семен Петрович не спеша достал папиросу, долго разминал ее в пальцах, чиркнул зажигалкой, прикурил.

— Да, да, разумеется,— вежливо кивнул он.— Видите ли, Федор Сергеевич, вы работали у нас и знаете наши порядки. Если вам что-нибудь нужно в лабораториях, то вы в первую очередь должны обратиться к руководителю отдела. Не так ли?

Томин почувствовал себя неловко, Семен Петрович это уловил сразу.

— Ну, видите ли,— потирая широкие ладони, проговорил Томин,— у меня здесь много друзей, сами знаете... И я полагал, что не стоит тревожить вас по пустякам. У вас и без того много работы.

— Признателен вам за заботу, но понимаете, Федор Сергеевич, порядок у нас для всех один, и даже для вас,— он сделал ударение на слове «даже»,— не может быть исключений. Если у вас действительно есть какие-то интересы в институте, то я хотел бы познакомиться с ними.

— Конечно, Семен Петрович... У меня появилась одна идея по кислородным конвертерам. Но мне одному не потянуть, нужна помощь вашего отдела. И я подумал о совместной работе. Но сначала надо было проверить возможности...

— Суть идеи,— требовательно сказал Семен Петрович.

Томин поспешно вынул из кармана блокнот, набросал в нем несколько чертежей и стал объяснять их смысл; с первых же слов Семен Петрович понял: задуманное Томиным и впрямь интересно и многообещающе, конечно же, этим стоит заняться. По мере того как Томин вел свои объяснения, голос его делался тверже, уверенней, а сам он спокойнее, внутренняя напряженность, с которой он вошел, понемногу исчезала. Все это Семен Петрович хорошо чувствовал и про себя отметил: «Еще рано, надо, чтоб совсем расслабился...»

— Ну хорошо,— выслушав Томина, сказал он.— Все, что вы объяснили, вполне в нашем русле. Думаю, годится... У вас есть на примете кто-либо из сотрудников, с кем бы вы хотели вести работу? Или мы должны их сами вам выделить?

Томин назвал фамилии. Семен Петрович задумался, потом сказал:

— Я проверю, как у них с плановыми заданиями, затем сообщу вам... Но в принципе будем считать дело решенным.

Томин облегченно вздохнул и улыбнулся.

— Ну, как вам там живется? Вы что же, говорят, в новосибирский городок перекочевали?

— Да, квартиру дали. В общем, хорошо, спасибо...

— Ну, рад за вас,— сказал Семен Петрович и сделал такое движение, словно хотел встать из кресла, и Томин уж было поднялся, видимо посчитав, что разговор окончен, но Семен Петрович не встал, он прямо и жестко взглянул в безмятежные глаза Томина.

— А я не знал, Федор Сергеевич, что вы охотник до чужих жен,— бросил он в это загорелое гладкое лицо.

Он не спускал с него глаз и видел, как пунцово загорелись у Томина уши, как заметались, заюлили глаза.

— Что вы имеете...— проговорил он.

— То же, что и вы,— не давая ему опомниться, сказал Семен Петрович; он знал — этот здоровый молодой человек, славящийся широкою и смелостью поступков, потом будет презирать себя, что дрогнул в такую минуту, не нашелся сразу, и чем сильнее будет в нем это презрение к себе, тем лучше для Семена Петровича.

— Вы решили ради Людмилы Николаевны бросить семью? — вел он свое наступление.

— Нет, но...

— Так какого черта позволяете себе разрушать семью моего сына?! Или полагаете: Кордин мило посмеется, если ему нагадят в шляпу? А вы пакостник... Мелкий, блудливый пакостник! И не более того... Я бы мог понять, если б у вас были искренние чувства... А вы?.. Ну что вы на меня так смотрите? Или считаете — вам все дозволено? Отвечайте, черт вас побери!

Томин уже несколько оправился и вспыхнул:

— Да вы-то здесь при чем? Какое вы имеете право?!

Все-таки Семен Петрович нанес точный и неожиданный удар, послал Томина в настоящий нокаут. Тот даже не пытался ничего отрицать, он всего лишь хотел подняться с колен. И, чтобы не дать ему этого сделать, надо было мгновенно сменить тактику.

— Слушайте меня внимательно, Федор Сергеевич, — уже спокойно, почти мягко произнес Семен Петрович. — Я согласен забыть наш разговор на следующих условиях. Вы не только навсегда прекратите какие-либо отношения с моей невесткой, но и прочно забудете, что они вообще когда-то были. А если об этом пойдут слухи, вы первый сделаете все, чтобы их прекратить. В противном случае...

Он встал, взяв из пепельницы недокуренную папиросу, с удовольствием затащил ее, стараясь как можно дольше продлить паузу.

— Что в противном случае? — растерянно проговорил Томин. Теперь он был жалок.

— Нет, нет, я хозяин своему слову, — успокоил его Семен Петрович, — совместную работу вы получите, как я и обещал... Но мы с вами окажемся по разные стороны баррикады. И кроме вас никто в этом не будет повинен. Каждый защищает свою честь как может. Вот, пожалуй, и все...

Томин стал медленно подниматься.

На всякий случай Семен Петрович зашел за свой стол — черт их знает, этих молодых, может ведь и взбеситься — и, чтобы уже совсем поставить точку, спросил как бы словно между прочим:

— А докторскую вашу еще не утвердили?

— Нет, не утвердили...

Пожалуй, этого не надо было спрашивать, Томин и так знал: академик Кордин не чужой человек в ВАКе; тут он явно переборщил.

— Ну, желаю вам удачи... Надеюсь, вы поняли меня.

— Понял. — На этот раз Томин ответил твердо и решительно пошел к выходу.

— Всего доброго, — кивнул ему вслед Семен Петрович.

— Да-да, до свидания, — рассеянно ответил Томин и исчез за дверью.

Семен Петрович опустил в рабочее кресло; сначала он чуть было не рассмеялся, но тут же ему сделалось не по себе, он на какое-то мгновение поставил себя на место Томина, прикинул, как бы действовал в таком случае, и решил: просто-напросто послал бы ко всем чертям этого лысого академика. А этот... Молодой, здоровый, а труслив хуже зайца, да ведь и трусит-то из-за чего: потерять положение, хорошее расположение начальства... Противно, черт побери!

Второй раз он спасает семью Александра от развала, а сын его даже не догадывается об этом. Да только ли Александр?..

Кордин прочно и давно уверовал: семья — опора твоя и тыл. Сам он рос без отца, при больной и много работающей матери, которую видел редко, да и у многих его сверстников тоже не было отцов, и это считалось вполне нормальным. Если говорить честно, то первая крепкая семья, которую он увидел и полюбил, была семья Дубцовых, здесь были и отец, и мать, и сын, в ней хранили память о деде — известном русском инженер-мостостроителе. Дед дружил с писателем Гари-

ным-Михайловским; подружились они, работая на строительстве Казанской железной дороги, потом переписывались. Антон как-то показал одно из его писем деду, и Кордина тогда удивило, что в обычном письме говорилось о радостях настоящей работы, когда видна польза твоего труда — и не только для нынешних поколений, но и для будущих, — и чувствовалось, что написано это искренне, а не ради красного словца, и Кордин подумал: наверное, те люди мыслили и говорили обо всем этом буднично, как о чем-то само собой разумеющемся.

Впрочем, и отец Антона — худощавый, всегда хорошо одетый, неизменно вежливый и ровный — был человеком того же склада; именно Василий Никитич и объяснил Кордину, какая увлекательная и необычная наука металлургия и что она стоит того, чтобы ею заняться всерьез. Сам Василий Никитич сделал много, особенно по прокатке стали, им было разработано несколько серьезных положений по деформации металла, которые легли в основу создания новых станков. А в войну он совершил открытие, которое во многом выручило нашу военную промышленность. Изучая немецкие журналы, он обратил внимание, что к тринадцатому году в Германии резко возрос объем фасонного литья, а после войны так же резко снизился. Только в тридцать восьмом году немцы снова всерьез занялись фасонным литьем. Чем объяснить это? Задав себе этот вопрос, Василий Никитич сам же и нашел на него ответ: наша промышленность выпускала снаряды, выточенные на станках, немцы — литые. Конечно же, спросить немцев, как они это делают, было нельзя — шла война, и Василий Никитич сам занялся исследованиями и вскоре предложил способ литья снарядов, который не только значительно убыстрял их изготовление, но и сэкономил уйму металла.

Кордин любил приходить к ним в дом, любил пить чай — его умело готовила мать Антона, всегда приветливая и такая же обходительная, как Василий Никитич. Они садились за круглый стол, покрытый белой скатертью, на которой были вытканы виноградные гроздья; на стол ставилось несколько стеклянных ваз на граненых ножках — варенье, приготовленное матерью Антона, домашнее печенье; ставили и графинчик с водкой, но пили мало, да и не хотелось. Они сидели под лампой с белым колпаком, свет падал только на стол, а стены с картинами, старинными фотографиями оставались в полутьме. Кордину нравилось все это, нравились спокойные, уютные вечера в кругу родных и любящих друг друга людей. Он мечтал: когда-нибудь и у него будет так.

Теперь ему казалось: он добился своего, он заботится о сыновьях, старается облегчить их путь в этой жизни, полагая, что так они смогут добиться большего, чем он. Когда надо, он бывал и строг, требовал от них настоящего труда, потому что и сам трудился в полную силу...

Прервал его размышления голос Марии Ованесовны:

— Семен Петрович, ваша жена.

Он снял трубку городского телефона, сказал:

— Слушаю тебя... Что-нибудь случилось?

— Случилось, — рассмеялась Наташа. — Сегодня открытие сезона во МХАТе. Дают «Чайку» в постановке Ефремова. Все говорят — это событие. Я сегодня, честное слово, себя превзошла, но добыла билеты. Попробуй откажись!

— Попробую, — мягко сказал он. — У меня...

Но она не дала ему договорить:

— Мне безразлично, что у тебя. Я тебя так редко прошу.. К тому же если ты откажешься, то подведешь двух женщин.

Что-то в ее голосе ему не понравилось, какая-то скрытая насмешка.

— И кто же вторая? — полюбопытствовал он.

— Алена. Я хочу вытащить ее из четырех стен...

Он словно почувствовал тупой удар по голове. Вот чертовка! Самое скверное на свете — это умная жена. Откуда пронюхала? Неужто Алена ей все рассказала? Не может быть...

— Ты почему молчишь?

— Думаю... Ведь кое-что придется отменить.

— Отменей. Мы ждем тебя на Тверском у входа за пятнадцать минут до начала. Ну, до встречи.

Он еще некоторое время подержал трубку, вслушиваясь в гудки отбоя, и в сердцах швырнул ее на рычаг.

4

Люся знала, что Томин точен, и все же когда в шесть не раздался обещанный звонок, она не забеспокоилась. Но когда стрелка часов приблизилась к семи, ей стало тревожно, и чем больше проходило времени, тем большее беспокойство охватывало ее. «Что-то случилось,— думала она,— господи, какое-нибудь несчастье... Может быть, под машину попал или еще что...» Она не помнила номера телефона томинского приятеля, у которого он остановился, и позвонила в справочную; как всегда, было долго занято, но наконец дозвонилась, назвала фамилию, имя, адрес, ей дали номер телефона. Она стала звонить по нему, однако никто не отвечал.

Она металась по квартире, каждые пять минут набирая номер телефона томинского приятеля. Было уже половина девятого, и она испугалась — скоро придет Александр, от него не укроется ее смятение, да при нем и невозможно будет узнать: что же с Томиным? Теперь и сомнений в этом не было — случилась какая-то беда, а Люся мечется, не имея возможности помочь или хоть как-то откликнуться на эту беду. И когда вдруг на том конце провода сняли трубку и она услышала голос Федора, то сначала не поверила себе.

— Это ты? — прошептала она.

— Я,— ответил он, но она не заметила сухости в его голосе и от радости, что и в самом деле слышит его, всхлипнула и пробормотала:

— Господи...

Он молчал, не отвечал, не произносил больше никаких слов, и она снова испугалась.

— Федя, Феденька... Что случилось?

— Многое.

Вот теперь она уловила сухую официальность в его голосе, и у нее сжалось сердце от тревоги.

— Ты объяснишь?

— Да, конечно, хотя мне не следовало бы этого делать.

— Ну говори же, говори...

— Сегодня меня пригласил твой свекор. Поговорить о тебе...

— Обо мне?

— Я не знаю, откуда он все знает. Не могла же ты...

Люся почувствовала, что ей становится дурно.

— Что ты ему сказал? — спросила она.

— Я ему дал слово никогда больше не встречаться с тобой. Другого выхода у меня не было.

— Ты... ты сам ему все рассказал?

— Я тебе еще раз говорю: ему ничего не надо было рассказывать, он все знал. У меня был только один выход...

— А обо мне ты подумал? — В ней вдруг вспыхнул гнев, он еще был обращен не на Томина или Кордина, а просто на всю нелепость ситуации.

— В каком смысле?

— А в таком... Ты уедешь, а мне придется с ним встречаться. И не только это... Есть Александр.

— Как, по-твоему, я должен был поступить?

Она уловила жалкость в его голосе и только теперь по-настоящему поняла, что случилось.

— Как поступить? — переспросила она. — Ты трус, Федор! Я никогда не думала, что ты такой трус... И предатель!

Она бросила трубку, повалилась лицом на тахту и разрыдалась так, как еще никогда в жизни.

Глава седьмая

1

Как быстро, как никчемно пролетают в суете дни — ощущение этого возникло в Наталье Львовне, когда она, проезжая Воробьевским шоссе, увидела с высоты густо-синюю излучину реки с багово-желтыми деревьями по берегам, а за ними красные стены Новодевичьего монастыря и вознесенные в простор неба золотые гроздья куполов; что-то радостное, забытое дрогнуло в ней, захотелось выскочить из машины, затеряться среди графитных стволов лип, бродить, утопая ногами в шуршащей листве... Это длилось всего мгновение, потому что тут же такси нырнуло в туннель, а когда вынырнуло, то замелькали тяжелые дома, потоки машин, толкотня возле магазинных дверей — и пронзительный багово-синий простор осенней дали померк, заслонился будничным мельтешением. «Так и лишаем себя радостей, — с грустью подумала Наталья Львовна. — Торопимся, спешим, добиваемся, а в результате остаемся ни с чем...»

Ей нужно было во что бы то ни стало увидеть нынче Зиновия, она позвонила ему утром, трубку взяла Валя, сказала:

— Он уже спустился вниз. И я сейчас иду. Что ему передать?

— Я к нему зайду на работу часиков в одиннадцать. Пусть меня обождет... Как вы хоть живете?

— Хорошо, — сказала Валя, помолчала и добавила: — Мы подали заявление в загс.

В Наталье Львовне плеснулась обида: «Вот и этого я не знаю, все от меня утаивают, обо всем узнаю последней», но она ничем не выказала раздражения.

— Очень рада... А свадьба у нас будет?

— Зиновий сказал, что он бы не хотел.

— А ты?

— Мне нравятся свадьбы, но я с ним спорить не буду.

Она сказала это так, что Наталья Львовна невольно улыбнулась.

— Умница! — сказала она. — Я тебя целую... Так ты передай ему, пожалуйста.

— Обязательно.

Она положила трубку и подумала: Валя будет, наверно, хорошей женой. А почему будет? Она уже год как его жена, правда Наталья Львовне не очень это нравилось, кроме того, ей казалось, что Зиновий мог бы найти себе девушку поинтересней, но она потом сама же себя пристыдила: становишься, милушка, банальной, все мамы на свете считают, что их сыновья могли бы найти себе жен получше, а какие они, получше? Вон институт забит разведенными молодыми женщинами, рыскающими в поисках мужей, иногда они добиваются удачи, но надолго ли? Какое-то кошмарное время: разводы, разводы, разводы, женщины ее поколения, да и постарше, старались прожить всю жизнь с одним мужем, второе замужество было редкой случайностью.

Она встретила Семена Петровича, когда он уже потерял жену; Кордин понравился ей смелостью, уверенностью в себе, и когда он предложил ей выйти за него замуж, она была счастлива: вокруг столько одиноких женщин, ведь после войны прошло всего каких-то

семь лет, и найти мужа, да еще такого, чтобы тебе нравился, это и в самом деле настоящее счастье. Он был на восемь лет ее старше, у него был четырехлетний сын, но она знала, что сумеет стать ему хорошей женой, а его сыну — матерью.

Их долгая жизнь — почти тридцать лет они вместе — была похожа, как ей казалось, на медленный подъем по крутой горной дороге, усеянной острыми осколками скал, по которой они тянули тяжело груженный воз. У них было мало праздников, скорее одни будни; а где-то рядом существовали другие люди, также отдавшие себя науке, чья жизнь тоже была наполнена яростной работой, но вместе с тем у них хватало времени и для веселья. То были ученые с космической славой, на которых смотрели как на полубогов, относились к ним как к богам, их высказывания цитировались, их остроты, даже когда они не были смешны и остроумны, вызывали почтительный смех.

Было время, когда слова «ученый» и «небожитель» стали почти синонимами, особенно в шестидесятые годы. Наука, наука... Вдруг стало казаться — она может все; перевалив один из своих рубежей, она открыла новые тайны материи, и почудилось — вот-вот наука обновит мир, сделает его иным, облагодетельствует человечество. Если в прежние века за истиной шли к богословам, то теперь — к ученым; газеты и журналы пестрели беседами с физиками, химиками, биологами — они отвечали на все вопросы: философские, литературные, житейские; каждое слово их имело цену, каждое суждение принималось за истину.

Наталья Львовна видела этих людей — они и впрямь часто были веселы, остроумны и, казалось, широкообщительны, но на самом деле их бережно охраняли, создавая вокруг барьер недоступности; постепенно вокруг именитой личности образовывался свой клан, о существовании которого эта личность, как правило, и не догадывалась, потому что те, кто занимался созданием клана, делали это осторожно, тщательно отбирая кандидатуры сторонников, зная, что они тоже не останутся в тени, пожизненно считаясь друзьями или учениками полубога. А когда знаменитость уходила, клан оставался, завоевывая себе место под академическим солнцем.

Прошли годы, и миф о всеильности науки потускнел, что многих привело к разочарованию — уж слишком велики были надежды. Но не все из тех, кто когда-то был окружен могучим вниманием современников, смогли примириться с утратой общественных позиций, они не приняли краха мифа, продолжая чванливо поглядывать на окружающих и требуя к себе особого почтения. Были и другие — наследники и носители какого-нибудь великого имени, прославившегося где-нибудь еще в XIX веке, и, чтобы это имя не угасло, передавали начатое великим из поколения в поколение; сама фамилия рода заставляла посвященных склоняться в уважении, хотя отпрыски порой мало что добавляли нового в науку.

Ни к одной из этих категорий Семен Петрович не принадлежал, и Наталья Львовна знала, что кое-кто из «бессмертных» поглядывал на Семена Петровича свысока, называя его п р и к л а д н и к о м: мол, есть чистая наука, где создаются фундаментальные теории, которые затем входят в учебники, энциклопедии, и есть нечто преходящее, существующее на потребу дня. Правда, в последние годы что-то стало меняться, и прикладники, считавшиеся учеными второго сорта, стали выходить на передние рубежи, но это только в последние годы.

У Семена Петровича не было ни шумной славы, ни поклонников и обожателей, его не осаждали журналисты, его не просили научить человечество, как ему жить на свете, что любить, что отвергать, как художникам писать свои полотна, а поэтам — стихи; у него была тяжелая работа, и признание свое он получил у людей, которые так

же тяжко трудились; с ним считались министерские специалисты, директора заводов и инженеры, они изучали его книги, статьи, внимательно прислушивались к его голосу. Он отвоевывал себе место в науке медленно и упорно, и хотя сначала он вторгся в нее с неистовым напором, но потом время и обстоятельства научили его заводить нужные связи, вести долгие и осторожные дипломатические переговоры, отыскивать людей, нуждающихся в его помощи, — тех же физиков, которым требовались новые сплавы; да и другие отрасли науки, прежде независимые от металлургии, не могли более двигаться вперед без нее. Постепенно устанавливалось равенство в партнерстве, и фамилия Кордина начала появляться среди соавторов «бессмертных», и все же... Все же он оставался чужим для их замкнутого круга, где были свои обычаи, свои традиции, где порой еще прочно держалось и чванство, и высокомерие к людям сторонним, или, как любили говорить академические дамы — «людям иного круга».

Насколько знала своего мужа Наталья Львовна, он не только не считал себя ущемленным, что не входит в академическую элиту, а и гордился этим, причем вполне искренне, так как глубоко верил: подлинная наука должна заниматься не только созданием величайших теорий, но давать конкретные результаты, приносить реальные плоды, чтобы уже сегодня хоть чем-то облегчить жизнь человечества. Он любил подчеркивать, что он практик и что его наука родилась не вчера, как пытаются доказать иные, а имеет глубокие корни, свою историю и своих великих открывателей, всегда приносивших именно практическую пользу человечеству. Он сам сторонился тех самых кругов, которые любили устраивать у себя на дому или на дачах приемы, приглашая музыкантов, поэтов, актеров, художников, с тем чтобы подчеркнуть — и они являются звеном общей культуры народа. Было время, когда Наталья Львовна пыталась затаскивать его на такие приемы, но видела — он чувствует себя среди всей этой публики неловко, раздражается, начинает или придирается к кому-нибудь, или намеренно грубить, чтобы показать свою независимость; она поняла, что никогда не приучит его к этим людям, и не стала на этом настаивать.

Она научилась сносить его крутые порывы, знала — все уляжется и он будет чувствовать себя виноватым перед ней, хотя и постарается это скрыть. Когда на днях она призналась Алене, что живет в вечной тревоге и за Семена Петровича и за всю семью, она не кокетничала. Да, они прожили вместе около тридцати лет, и все же в ней нет-нет да и возникнет ощущение неустойчивости бытия, когда кажется, что все, созданное и построенное с таким упорством и трудом, готово рухнуть; она не могла бы точно объяснить, откуда в ней взялся этот страх, но она знала людей, чей блистательный взлет заканчивался падением, катастрофой, нравственным крахом. Вот хотя бы тот же Дубцов. Он, правда, не сломался, как другие, но не сделал и половины того, что мог бы сделать... Она сразу же прониклась симпатией к Антону Васильевичу — с той самой поры, как он появился у них в декабре пятьдесят шестого; ей нравилось в этом человеке все: и интеллигентная застенчивость и неистовость в работе; она всерьез переживала, когда Семен Петрович разошелся с Дубцовым и они стали чуть ли не врагами; у нее тоскливо сжималось сердце, когда она слышала, как бранился Семен Петрович дома, называя Антона Васильевича завистливым неврастеником, скандалистом, крикуном, она знала — ни одно из этих определений Дубцову не подходит, и если тот ополчается на Семена Петровича в печати или в своих выступлениях, то делает это, отстаивая свою правоту, свой взгляд на то или иное научное положение; может быть, главным несчастьем Дубцова была его искренность, он не умел прибегать к таким тонким и сложным маневрам, какие использовал, чтобы добиться своего, Семен Петрович. Она вовсе не осуждала мужа, если

ему приходилось вести дело так, что оно скорее походило на интригу, чем на научную дискуссию, видела — его коллеги делают то же самое, про себя посмеиваясь над противниками и оппонентами.

Она знала о жизни Антона больше, чем муж, знала от Алены, которой тоже бывало не сладко.

Когда Зиновий увлекся «чистым заводом», она не сразу поняла всей серьезности его увлечения; ей просто понравилось, что Зиновий наконец занялся делом, до этого он вел весьма вольный образ жизни, любил шумные сборища, компании, состоящие из бездельников или типичных профессорских сынков. Она тревожилась, что Зиновий может стать таким же. И вдруг эта увлеченность. Было, видимо, в идее «чистого завода» нечто магическое, недаром же она тридцать лет назад увлекла столько людей.

Потом Зиновий встретился с Антоном Васильевичем; они так стремительно сблизились, так яростно взялись за работу, что Наталья Львовна и опомниться не успела, как Зиновий уже был весь поглощен делом. Гнев Семена Петровича, который проведаль обо всем, был крут; Наталья Львовна давно не видела мужа в таком бешенстве. Прежде всего он обвинил ее — мол, она повинна, что мальчишка совсем отбился от рук, вытащил на свет божий старую идею и понять того не хочет, что идея эта не только мертва, но и направлена лично против него, Кордина, а такому человеку, как Дубцов, только того и нужно, чтобы натравить сына на отца, — вот ведь с какой стороны Антон зашел на него.

Наталья Львовна через Алену, которую тут же направила в Торск, упростила Зиновия несколько дней не появляться дома, а сама принялась за Семена Петровича. Она понимала, что наступило ее время и от нее сейчас, может быть, зависит судьба сына; атаку она повела не торопясь, исподволь, зная: Семена Петровича в открытом бою не возьмешь. Постепенно она сумела убедить мужа: то, что Зиновий занялся «чистым заводом», выгодно ему, во-первых, потому, что это наконец-то примирит его с Антоном, а Семену Петровичу самому давно должно быть ясно, что не следовало бы иметь такого сильного врага; во-вторых, если он сам поощрит работу Зиновия, то это лишь укажет на его широту как ученого — мол, он никогда не выступает против нового, дает ему дорогу и поддерживает, даже если это новое противоречит его взглядам.

Наверное, тревога за сына заставила ее быть настойчивой и находчивой, и Семен Петрович успокоился, а затем и принял ее мысли, да так, что начал их считать своими собственными. Она поняла: бой выигран, — и когда Зиновий и Дубцов вынесли свои разработки в высшие инстанции и там приняли и одобрили их, она не преминула сказать Семену Петровичу, что тут и его заслуга, о чем, конечно же, будут сейчас говорить. Так и случилось, потому что в статьях, которые появились по этому поводу, неизменно назывался отдел, которым руководил академик Кордин. Да, это была победа, но она рано радовалась: умер Дубцов и началась эта история с конкурсом.

Она понимала Семена Петровича: да, надо быстрее дать лабораторию Александру, он это заслужил, а второй такой случай не скоро представится. Зиновию же со временем тоже определят место — Семен Петрович это сделает тонко, не вызывая упреков; но... помещал Зиновий. И вот ей снова предстоит вмешаться в спор между отцом и сыном, но теперь она — на стороне мужа.

Она любила Зиновия, любила до болезненности — он был единственным ее сыном, — но всю жизнь ей приходилось скрывать свою любовь: она воспитывала двоих мальчиков, добросовестно стараясь заменить Саше мать; она наказывала Зиновия чаще, чем Сашу, чаще лишала удовольствий, она боялась: если ее любовь проявится по-настоящему, то в семье начнется разлад. Наталья Львовна привыкла к такому равновесию в семье и потому бунт Зиновия не приняла, он

встревожил ее, и она во что бы то ни стало желала заставить Зиновия отступить; конечно, мальчик самолюбив, поэтому необходимо дать ему возможность отступить с достоинством и честью.

...Она вошла в ту самую комнату, которую называли в институте пеналом; Зиновий сидел, согнувшись над чертежами.

— Привет! Тебя предупредили, что я приду?

Зиновий оторвался от чертежей, некоторое время его взгляд был бессмысленным, потом он встрепенулся, заулыбался и, выскочив из-за стола, поцеловал ее в щеку.

— Конечно, предупредили. Поэтому я тут и торчу. У тебя ко мне какой-то разговор?

— Ты поросенок,— улыбнулась она и села в высокое венгерское кресло на колесиках.— Ты считаешь, что даже встреча с матерью должна быть деловой. Я не видела тебя целую вечность. Я могла по тебе соскучиться?

— Могла,— улыбаясь, согласился он,— но все равно у тебя деловой вид... Нет, пожалуй, озабоченный.

— Конечно,— согласилась она.— Почему я должна узнавать, что вы с Валею подали в загс, от нее, а не от тебя?

— У тебя есть возражения? — спросил он.

— По-моему, вы уже год находитесь в тайном браке. Возражать поздно. Но есть одно обстоятельство... Может быть, сейчас это и не имеет значения, но мы с отцом люди старомодные. У Вали есть родители и, судя по твоим рассказам, брат. Ты не хочешь, чтобы мы встретились?

Зиновий взглянул на мать и неожиданно расхохотался, всплеснув при этом руками,— так обычно смеялся Дубцов. Зиновий перенял от него даже манеры.

— Это в самом деле смешно? — спросила она настороженно.

— Может быть, может быть... Боюсь, они захотят, чтобы вы приехали к ним в Торск.

— Не знаю как отец, а я приеду,— сразу же ответила она.

— Прекрасно! — воскликнул он.— Мы сделаем это в воскресенье...

Она раскрыла сумочку, достала пачку «Мальборо», спросила Зиновия:

— Будешь?

Он взял сигарету, оба закурили; она молчала, раздумывая: как ей перейти к тому главному, ради чего и пришла сюда?

— Что тебя еще заботит? — помог ей Зиновий.

Она взглянула на него с благодарностью и сказала:

— То же, что и отца. Твоя выходка с конкурсом. Что-то прежде я не замечала в тебе такого откровенного тщеславия.

Он опять улыбнулся — он всегда обезоруживал ее этой мягкой и доброй улыбкой.

— Ма,— сказал он,— но я ведь уже довольно ясно изложил свои позиции.

— Я беседовала с Аленой,— сказала она, стараясь быть строгой.— Она слышала, как Антон Васильевич говорил отцу, что хотел бы видеть тебя заведующим лабораторией...

— Я знаю.

— Не перебивай меня... Алена объяснила мне, что это не было настоятельным требованием Антона Васильевича... Он умирал. Он был плох совсем, когда все это говорил. И, как мы с ней выяснили, Антона Васильевича беспокоило не то, будешь ли ты занимать эту должность или нет,— ты сам знаешь, он вообще-то не очень придавал значения всяким должностям. Он хотел, чтобы сделанное вами было в твоих руках и чтобы ты не отступился от него, продолжил работу. Это главное... Ты не согласен со мной?

— Согласен.

— Я говорила и с отцом. Он мне твердо обещал, что именно ты и будешь продолжать все, что связано с «чистым заводом». Но у него есть свои планы реорганизации отдела. Ты же ему пока мешаешь... Почему? Я не могу тебя понять. Главное останется за тобой. Или, быть может, тебя волнует вопрос зарплат?

— Ну зачем же так, ма!

— Ты сам меня заставил задать этот вопрос... Послушай, Зин, я ведь всегда была на твоей стороне. И ты это знаешь... Только, ради бога, не подумай, что это отец попросил меня переговорить с тобой. Я пришла к тебе сама по себе. Поверь мне, что ты сейчас действуюешь... несерьезно. Да и отец, вся наша семья выглядят в самом скверном свете. Ты всегда мне верил, поверь и на этот раз.

Она увидела, что ее слова подействовали,— ведь она и в самом деле редко вмешивалась в его дела, и он догадывался, а может быть, знал, как много сил приложила она, чтобы заставить отца не только пойти навстречу Дубцову, но и решиться создать у себя их лабораторию.

— Я понимаю,— сказала она,— ты на это решился, и тебе трудно все переиначить. Но ты подумай. Очень тебя прошу: подумай...

— Я все продумал, ма,— резко сказал он.— Дело ведь сейчас не только в Антоне Васильевиче...

— А в ком еще?

— Во мне.

Теперь она увидела — лицо его вытянулось, стало жестче, глаза словно бы отвердели.

— Что ты этим хочешь сказать? — спросила она.

— Если мне не удастся стать здесь завлабом, то все работы по «чистому заводу» я перенесу в Торск. Все, что мы сделали с Антоном Васильевичем, ни в какие другие руки я не передам.

Эта жесткость была неожиданной в Зиновии, и она растерялась.

— Может, надо встретиться с отцом? — спросила она.

— Я пытался это сделать, но он избегает со мной встречи.

— Я постараюсь это устроить. Большого я сделать не могу.— И это было правдой.— А Вале скажи — пусть она ко мне придет домой. Мне хочется поговорить с ней.

Она улыбнулась, хотя ей было нелегко. Что-то изменилось в Зиновии, она проглядела эту перемену и теперь не могла понять его.

2

Александр никогда не предполагал, что способен взорваться, способен на бунт,— но бунт давно назревал в нем.

Он сразу почувствовал неладное, как только пришел домой и увидел опухшее от слез лицо Люси, но не стал донимать ее вопросами — все само разъяснится.

— Тебе приготовить что-нибудь поесть? — тихо спросила она.

— Да, если нетрудно.

Он вымыл руки, просмотрел вечернюю почту.

Когда Люся крикнула, что у нее все готово, он прошел на кухню, сел за накрытый стол, и Люся сразу собралась уйти.

— Разве ты не будешь ужинать? — спросил он.

— Я плохо себя чувствую...

Он внимательно взгляделся в нее: нет, тут дело явно не в самочувствии, она что-то скрывает от него; и как только он об этом подумал, то сразу же вспомнил разговор с Зоей... Он видел сегодня Томина в институте, тот шел ему навстречу по коридору — хмурый, глубоко засунув руки в карманы замшевой куртки,— и ничего не замечал вокруг себя; Томин, наверное, так и прошел бы мимо Александра, не окликни он его: «Привет, Федор!» Тот вздрогнул, посмотрел на Александра мутным взглядом, губы его приоткрылись, он из-

дал невнятный звук — то ли попытался ответить на приветствие, то ли что-то сказать — и поспешно зашагал дальше. Александр посмотрел ему вслед, ему показалось — Томин шел покачиваясь, словно пьяный, и у Александра неприятно заскребло на душе... Сейчас, вспомнив эту встречу, он уловил: есть нечто, связывающее странный вид Томина с заплаканным лицом Люси.

— Что-нибудь с Митькой? — на всякий случай спросил он, хотя твердо знал: мальчик тут ни при чем.

— С Митькой все в порядке, — поспешно ответила она.

И внезапно он вспылил — то ли сказалось напряжение последних дней, то ли в нем давно теснилось ревнивое чувство, которое он должен был прятать, как прятал досаду и раздражение на Зиновия, но сейчас все это в нем объединилось, обожгло несправедливостью, и он вспылил, но опять же не дал прорваться наружу гневу, а только повторил те же злосчастные слова, которые уже произнес однажды:

— Может быть, ты все-таки объяснишь, что у тебя с Томиным?

Она стояла у самого выхода из кухни, в коридоре свет не горел, и за ней, казалось, была пустота. Ее припухшие глаза расширились, сверкнули, щеки дрогнули, рот некрасиво скривился.

— С Томиным?! — визгливо выкрикнула она. — А ты у папы спроси, черт бы вас всех побрал! — И внезапно пошла на Александра, приблизилась к столу, широкой ладонью стукнула по нему — тарелка с яичницей подпрыгнула, а из чашки вышлепнулся кофе. — У папочки, у папочки! — кричала она. — Какого дьявола вы лезете в чужие души? Что вам там нужно? Лишний раз плюнуть?! Ну что ты так смотришь? Не видал меня такую? Так посмотри, посмотри! Я плевать на вас на всех хотела!

Он и вправду никогда не видел ее такой, волосы у нее растрепались, голова подергивалась — прежде она не устраивала подобных истерик, и он сначала растерялся, не зная, надо ли успокаивать ее или просто выждать, промолчать. Но до него вдруг стал доходить смысл ее, казалось бы, бессвязных выкриков... «При чем тут отец?» И он жестко спросил:

— Что я должен узнать у папочки?

— Ах вот как! — вскрикнула она. — Ты, оказывается, ничего не знаешь! Ты, оказывается, ангел с белыми крыльпками! Ну тогда послушай... Сегодня твой папочка — академик, институтский царь, черт бы его побрал, — вызвал Томина и приказал ему меня разлюбить... Понимаешь, приказал разлюбить! А Томин, как и все вы, наложил в штаны... Зачем ты просил отца вмешаться? А еще раньше — выпроводить Томина из института? Или скажешь, только сейчас услышал об этом?!

Она была безобразна, совсем не та Люся, которую он привык видеть, в ней было что-то от той бабы-алкоголички, что ошивается в их дворе: такие же остекленелые глаза, такое же багровое лицо. Ему захотелось встать и ударить ее, чтобы она прекратила свой гнусный визг, но он, привыкший все обдумывать, и сейчас старался вникнуть в смысл ее слов... «Значит, все правда, — подвел он итог. — Значит, у нее и в самом деле было с Томиным...» И когда он это окончательно понял, то поднялся — наверное, у него было такое выражение лица, что даже в этом состоянии Люся испугалась, метнулась в темный коридор; он не стал догонять ее, а открыл входную дверь и вышел; он сделал это механически, сохраняя внешнюю невозмутимость. Он еще не знал, что предпримет, он только чувствовал: не может и не должен находиться в одном доме с Люсей.

Александр спустился вниз, вышел во двор, постоял; взгляд его наткнулся на дом, в котором жил отец; он отыскал глазами освещенные окна родительской квартиры, и ему захотелось пойти туда, поговорить с отцом, от него узнать, что же на самом деле случилось, и тогда уже решать, как быть дальше. Но что может сказать ему

отец? Правду? Он и так ее знает... Александр нащупал в кармане ключи и двинулся к машине, он сам не знал, куда поедет, зачем,— не все ли равно?

Он словно лишился воли и желания, действия его были неподотчетны сознанию, руки делали все сами, ими словно бы кто-то управлял — так, как управляют моделью по радио. Александр завел машину, вывел ее со двора, свернул на широкую трассу и прибавил скорость; он смутно различал впереди освещенную уличными фонарями дорогу, красные огни подфарников идущих впереди машин, и чем дальше он ехал, тем явственней обозначалось происшедшее. Все правда, все правда!.. Все правда — и все ложь, кругом ложь!.. А отец? Выходит, отец все знал, знал с самого начала, и это он вы проводил Томина из института; значит, слухи были верны. И вот сейчас отец снова вмешался...

Вся его жизнь, как он помнит себя, была подчинена воле отца; он выполнял все его распоряжения, выбрал его профессию, его специальность, он так привык повиноваться ему, что и не задумывался, как будет обходиться без его указующего слова... Но отец никогда не вмешивался в его семейные дела; Александр замечал: тот недолюбливает Люсю, но если выезжает в зарубежные поездки, то всегда привозит ей подарки, и довольно дорогие, он считает это своим долгом. И Митьку отец любит, возится с ним, балует. А теперь оказалось, что и семью ему создал и устроил отец... Да кто же тогда он, Александр? Человек или просто придаток к академику Кордину? Ах да, он его опора и надежда!.. Злоба захлестывала Александра, и он гнал, гнал машину; он давно потерял ориентировку, не знал, в какой части Москвы находится; долго ехал по какой-то унылой улице вдоль длинной кирпичной стены, пересек трамвайные пути и оказался на небольшой круглой площади, где тускло тлели витрины, а на противоположной стороне сокровенно и загадочно светились за длинными шторами синие и красные плафоны, ядовито-фиолетовая надпись «Бар», как яркая заплата, нависла над козырьком входных стеклянных дверей; оттуда доносилась грохочущая музыка.

Александр остановил машину: ему сделалось тоскливо, он ощутил себя брошенным и забытым, никому не нужным и внезапно вспомнил: однажды уже испытал нечто подобное — когда узнал, что Наталья Львовна не мать, а мачеха... Ему хотелось плакать, но он сдержал слезы. «Выпить надо,— жестко подумал Александр.— Напиться...» Он взглянул на фиолетовую надпись и вышел из машины.

На улице пахло опавшей листвой, он удивился и обрадовался этому горько-сладкому запаху, напомнившему ему детство, двор... Господи, почему именно сейчас его уносит в детство, в тот самый двор, где он рос? Почему туда?.. Наверное, в нем всегда жила тоска по независимости, которую он утратил, повзрослев. Может быть... Не надо об этом думать. Не надо!

Он пересек круглую площадь, поднялся по ступенькам к стеклянной двери, на ней висела табличка «Мест нет»; различив сквозь стекло фигуру в ливрее, постучал в дверь. Нет, он туда не пойдет, ему нечего делать среди людей, он просто возьмет бутылку... Открыли быстро. Усатая наглая морда насмешливо уставилась на него. Вышибала ничего не спросил (эти черти — опытные психологи), молча вытянул руку ладонью вверх.

Александр сунул десятку, сказал:

— Водки.

— Добавь пару рублей,— прошепелявил вышибала.

Александр нашел трешку, дверь тут же захлопнулась; сквозь мутное стекло он видел, как тот подошел к гардеробщику, они пошептались, и гардеробщик, вынув откуда-то снизу бутылку, торопливо завернул ее в газету.

Александр вернулся к машине... Сейчас взять вот и выпить прямо из горлышка, чтобы все мгновенно забыть, и едва он об этом подумал, как тут же понял, куда сейчас поедет... Да, да, ему больше некуда, не мотаться же всю ночь по городу. Он заметил, как в переулок направо свернуло такси, поехал за ним и вскоре выехал на широкую трассу; он узнал ее — это было Варшавское шоссе. Он прикинул, как ему лучше выехать к Никитским воротам, и теперь, уже имея цель, уверенно повел машину; к нему вернулась его привычная осторожность, и он ехал не спеша, хорошо чувствуя движение машин по сторонам и позади. Но чем дальше он ехал, тем нетерпеливей становился: надо быстрее, надо быстрее; он сам не понимал, почему надо быстрее, но верил: там ждет его забвение...

Нетерпение его возрастало с каждой минутой. Выехав к Никитским, резко свернул в переулок, влетел во двор и, уже тормозя, услышал удар в правое крыло; он качнулся и стукнулся обо что-то головой; придя в себя, заметил, что зацепил железный бак для мусора. «Кажется, разбил фару», — безразлично подумал Александр, взял бутылку и торопливо вышел из машины... «Скорее, скорее!» — подгонял он себя.

Он вызвал лифт, кабина была где-то наверху, и он не стал дожидаться, вбежал на четвертый этаж, остановился возле дверей с медной табличкой «А. С. Котелков. Ухо, горло, нос» и с силой нажал звонок. Он не услышал за дверями шагов, но почувствовал: кто-то рассматривает его в глазок, — и тут же щелкнула задвижка и певучий голос Зои удивленно протянул:

— Александр Семенович?

— Я не вовремя? — задыхаясь, спросил он.

— Нет, нет, пожалуйста, заходите, — поспешно ответила она, взяла его за руку и полутемным коридором провела в свою комнату.

— Боже мой! Что случилось? У вас кровь... — ахнула Зоя.

Только теперь он почувствовал боль с правой стороны лба. Может, стукнулся о смотровое зеркальце?.. Ерунда, царапина, не больше. Он сел в кресло напротив знакомой репродукции «Подсолнухов» Ван Гога, развернул газету, поставил бутылку на столик, и ему вдруг все показалось нелепым: и его приход и эта бутылка; он раздраженно поморщился: «Зачем...» — в нем возникло желание встать, извиниться перед Зоей и уйти, но оно не успело окрепнуть — Зоя уже была в комнате с йодом и ватой в руках. Александру показалось, что она переделалась — кажется, когда она открыла ему, на ней был халат, а сейчас широкое платье со множеством складок; он уже видел ее в этом платье в институте, оно шло ей.

— Сидите, сидите, — проговорила Зоя и склонилась к нему; он почувствовал прикосновение ее прохладных пальцев — и рану тут же обожгло йодом. — Ну вот, так будет лучше... Не больно?.. Это вы где-то совсем недавно ударились.

Она посмотрела на бутылку, но ничего не спросила. Зоя была умной женщиной, он это знал всегда; конечно же, она все поняла, как только он явился. Да, она была умна, хоть и со странностями: ей всегда хотелось выглядеть веселой и довольной жизнью, поэтому она так часто и много улыбалась, но он-то догадывался, что она одинока и, может быть, даже несчастна. Подумав об этом, он почувствовал к ней жалость, такую же, какую недавно чувствовал к себе, и Зоя сразу сделалась ему ближе, будто они и прежде были с ней добрыми друзьями.

— Рюмки у меня здесь, — сказала она и подошла к небольшому серванту. — Потерпите еще немножко, Александр Семенович, я принесу что-нибудь поесть... Я мигом!

Она снова вышла, а он посмотрел на телефон и с трудом поборол желание взять аппарат и набрать домашний номер, чтобы услышать голос Люси.

Шесть лет они были вместе, он привык к ее заботам, к ее ласкам, к ее послушанию; он всегда удивлялся, что она, такая бойкая на язык, смелая, иногда даже отчаянная, покорялась ему мгновенно; он знал ее всю, привык засыпать рядом с ней, страдал, если в силу каких-либо обстоятельств долго не видел ее,— страдал, хотя внешне держал себя с ней холодно и строго, ему и в этом хотелось походить на отца.

Когда-то, еще в аспирантуре, он долго ухаживал за ней; за цветами для нее ездил на Черемушкинский рынок, ему казалось — там и выбор больше и они свежее; он так и не узнал, какие цветы у нее любимые, Люся радовалась всем, какие он дарил ей; вообще она ничего от него не требовала, как делали это жены его знакомых, была весела и довольна, и поэтому он сам заботился, чтобы у нее была хорошая одежда, хорошая обувь; и хоть понимал, что она не всегда с ним искренна, все равно — верил... Нет, он не знал, любил ли ее или привык к ней так, что ему и в голову не приходило, будто они могут расстаться. И вот теперь такой удар...

Вошла Зоя, неся на подносе закуску, и пока она ловко расставляла ее на низком столике, он поспешно открыл бутылку, наполнил высокие объемистые рюмки и выпил залпом; водка обожгла горло, и он сразу же потянулся за куском колбасы, взяв его пальцами, а не вилкой, чтобы только быстрее пригасить огонь.

— Я рада, что вы пришли ко мне,— сказала Зоя, отпивая из рюмки крохотный глоток.

— Не очень ловко,— проговорил он, хмелея.

— Почему же? — с искренней улыбкой сказала она. — Разве я вам не говорила, что вы приглашены всегда?

— Да, да... кажется,— пробормотал он.

— Вот и чувствуйте себя как дома...

Слово «дом» укололо его, опять сделалось нехорошо. Александр снова налил водки, но рука Зои протянулась к рюмке, накрыла ее.

— Не надо так много, Александр Семенович,— мягко сказала Зоя.

Он посмотрел на нее; прежде она казалась ему некрасивой — с тонким, чуть горбатым носом, с угловатой и плоской фигурой, — а теперь он видел, какие у нее красивые оливковые глаза и какие добрые, и он чуть не вскрикнул оттого, что все это обращено к нему.

— Да, да, да,— проговорил он и прижал ладони к лицу, чувствуя, как начинает кружиться голова, и в это время ощутил тепло ласковых рук, которые нежно прошли по его волосам.

3

— Алло, рыжик, ты можешь со мной немножко поговорить?

— Слушай, Валя, я тебе сколько раз объяснял: я не рыжий.

— Ну хорошо, ты рыжий брюнет. Устраивает?.. Почему у тебя такой сердитый голос? У тебя опять неприятности?

— Нет, я просто думаю. У меня была мама. Кажется, она хочет, чтобы я уехал в Торск.

— Она тебе так и сказала?

— Нет, она сказала, чтобы ты к ней пришла.

— Зачем?

— Поговорить о семейной жизни. Если хочешь, я тебя сегодня к ней отвезу.

— Нет, я еще не готова морально... Ты что, всерьез обдумываешь предложение Узелкова?

— А его нельзя обдумывать в шутку.

— Мы будем редко видеться.

— Ну, положим, не совсем... А ты не можешь бросить свою начертательную геометрию? Ведь ее ненавидят все студенты.

— Когда им преподают другие.

— Ясно. Я бы тоже старался, если бы нам преподавала такая, как ты.

— Ну вот видишь!.. Кажется, звонок, мне надо бежать. Все, я тебя целую...

Зиновий подержал трубку, слушая гудки отбоя, ему не хотелось класть ее — от нее словно исходило тепло... Он встал из-за стола, подошел к окну; все-таки у них отвратительный двор — тольковерху клок неба, а внизу асфальт и железо.

Сегодня скверно работалось; после того как у него побывала мать, мысль об отъезде в Торск сверлила мозг. Поначалу он не придал серьезного значения предложению Узелкова, даже не сразу сказал о нем Вале, но постепенно это предложение стало казаться все заманчивей и заманчивей. Как же не хватало рядом Антона Васильевича! Уж он бы нашел что посоветовать.

Впрочем, они говорили об этом, и не раз. Правда, Дубцов никогда не навязывал своих суждений, он мог намекнуть, дать понять... Прошлым летом после душного жаркого дня они возвращались с завода сосновым лесом — этот путь был длиннее, но им хотелось пройти по свежему воздуху, — густо пахло хвоей, сосновой смолой, рыжая луна висела над лесом, и в ее свете дорога казалась желтой. Акселерат лениво бежал впереди, изредка останавливался, чутко прислушиваясь к одному ему внятным звукам. Усталость охватывала все тело Зиновия, он видел, что и Николай сегодня как выпотрошенный — им крепко пришлось повозиться за день, — только Антон Васильевич был бодр, он размахивал руками и рассказывал:

— Если говорить честно, то я из всех наших великих по-настоящему уважаю Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло. Сами понимаете, видеть я его не мог, он умер в двадцать восьмом, мне тогда шесть лет было. Вот Байкова Александра Александровича видел — он к отцу на завод приезжал и у нас в гостях был, — Павлова Михаила Александровича слышал, Бардина несколько раз наблюдал. Все, конечно, личности, каждый что-то перепахал по-своему, создал. Без каждого в нашем мире пусто было бы. Однако ж вот Грум у меня наибольшую симпатию вызывает... И хоть теория его — прекрасная, надо сказать, теория! — устарела уже, а все-таки... Да сами посудите: двадцать два года он на заводах отгрохал, прежде чем уйти в профсоюз! Приехал из Петербурга в Нижний Тагил, когда там полный развал наблюдался. А хозяину Павлу Демидову начхать было, в каком состоянии его заводы, на знаменитое железо со «старым сободем» — такая у них марка была, клеймо такое, бегущий зверек, оно по всему миру было известно. Он, этот самый Павел, прежде чем помереть, просадил в Монте-Карло шестьсот тысяч рублей да еще кучу долгов оставил, и над заводами опеку учредили... Так вот Владимир Ефимович начал с малого: на самых глухих заводах мастеров отыскивал... Англичане мартеновскую печь строили. Он ее всю облазил — они же чертежи в секрете держали, свой составил... Неистовый в работе был человек! Нижнесалдинский завод превратил в такое предприятие, каких в ту пору в России мало было... А в это время где-то там за границей прожигал жизнь ничтожный человечешка, питаясь плодами труда множества мудрых людей. И все же эти мудрые люди трудились — и не ради блага ничтожества, а потому что сам труд им был в радость. Это Владимиру Ефимовичу принадлежат слова: «Инженерная карьера потому и заманлива, что люди со средними способностями могут творить, то есть могут испытывать счастье, доступное только сверходаренным людям: поэтам, музыкантам, художникам и ученым». Сам он себя ученым не считал, только инженером. А ведь был по своим временам человеком замечательным. Он за двадцать два года столько задачек решил, такой опыт накопил, что в Петербурге, когда сел за книгу «Пламенные

печи», создал теорию, гидравлическую теорию. Пятнадцать лет над ней трудился. Почитайте-ка «Пламенные печи». Поэма! Такой завершенности, такой красоты нет, пожалуй, ни у кого в нашей науке. Исходя из этой теории, много лет металлургические заводы строили. Но время быстротечно, пришли другие люди, появились новые знания — и теория Грума вроде бы умерла. А все же она прекрасна, в ней мысль и энергия огромного человека... Сколько уже после нее сменилось теорий. Каждый ломал старое, создавал новое, а такой красоты и завершенности, как у Грума, я больше не встречал...

Они шли рядом с Дубцовым и слушали как зачарованные. Правда, Зиновию казалось — Антон Васильевич рассказывал не о Груме, а о себе, о своей увлеченности, которой сумел заразить и Зиновия и даже такого независимого парня, как Николай.

Когда вышли из леса, Антон Васильевич предложил:

— Давайте-ка ко мне, ребята. Кажется, у меня пиво есть в холодильнике.

— О чем разговор! — радостно воскликнул Николай.

Как только они ввалились в небольшую квартирку Дубцова, Сокопудов сразу же бесцеремонно полез в ванну, туда же нырнул и Акселерат и вскоре выскочил мокрый, отряхиваясь и разбрызгивая капли воды по всей кухне, а потом выбежал и Николай, так же трясая мокрой бородой.

У Дубцова и вправду оказалось несколько бутылок пива; они тянули его с наслаждением, и Антон Васильевич, причмокивая полными губами, продолжал свою мысль:

— Конечно, были у нас ученые, которые и дня на заводе не работали, смотрели на него как на гигантскую лабораторию и все же сделали немало... Очень даже немало. Но у меня больше душа лежит к тем, кто шел к теории от практики, кто сначала все своими ручками пощупал, понял, как тяжок труд, а потом уж принялся всерьез всячески его облегчать, — грош цена любой теории, если она нацелена не на это... Ты что, Николай, морщишься, не согласен?

— Почему не согласен? Я всегда с вами, Антон Васильевич, согласен. Если бы не вы — стал бы я по десять часов вкалывать?.. Мне в горячем цехе не больше шести часов положено работать, а я сколько торчу? Не жалуюсь. Только, я думаю, этот ваш самый Грум тоже не за копейку бился... Небось ему вот этим, — постучал он себя по лбу, — интересно было ворочать. Если мне завтра неинтересно станет, я сию же секунду сбегу. Так и знайте... А морщусь я потому, что не привык голое пиво пить. У вас что, и ста граммов не найдется?

Дубцов расхохотался.

— Ну тебя к черту! Был ты шалопай, шалопаем и остался... А знаешь, Зиновий, что я вспомнил? Помнишь, говорил тебе, какая у профессора Моржикова бородаща окладистая была в Крутоговоре? Так это он под Грума работал. Тот тоже с такой же бородащей ходил...

Они долго еще сидели в ту ночь на кухне, говорили о разном, и не хотелось расходиться, хотя завтра с утра опять надо было на завод...

Когда похоронили Антона Васильевича, Николай исчез куда-то на две недели, никто не знал куда, вернулся тихий, пришибленный, его собирались уволить за прогул, но вмешался Узелков, оформил ему задним числом отпуск без содержания.

— Напрасно директор старался, я все равно уйду, — зло сказал Николай, но не ушел, что-то еще его держало на заводе, и Зиновий догадывался что — это связано было с Дубцовым, с его делом, с его памятью...

Да, подумал Зиновий, тот ночной разговор не был случайным; Антон Васильевич не хотел навязывать ему своей воли: иди, мол, на

завод, тебе это поможет,— он просто сослался на Грума, историей его жизни поясняя свою мысль. При всей своей прямоте он был настолько деликатен, что старался обходить острые углы, щадя чужое самолюбие. За все время их знакомства он ни разу, например, не упомянул знаменитую книгу отца «Единство процесса», где тот излагал свою теорию, а ведь, казалось бы, упомянуть должен был обязательно, потому что все предлагаемое Дубцовым спорило с этой книгой.

Зиновий недавно снова прочел ее; безусловно это была незаурядная книга, но с ней происходило сейчас то же самое, что некогда с «Пламенными печами» Грума, она устаревала на глазах, а отец еще не понимал этого, да и не мог понять, потому что книга была итогом всех его долгих трудов, каждое положение в ней им тщательно выверялось, и он свыкся с ними, а жизнь в своем бурном движении выдвигала все новые и новые идеи, и хотя не все были лучше прежних, но они неизбежно разрушали, подтачивали казалось бы, несокрушимые берега привычного, и нельзя было при таком стремительном движении найти постоянную и твердую опору, ее просто не существовало.

Конечно, может возникнуть идея, которая опередила свое время, как это случилось с Дубцовым, и такая идея потребовала бы особой осторожности и чуткости к себе, потому что способна обернуться и бедой и благом — многое зависит от обстоятельств и от людей, к которым идея эта явилась, здесь неизбежна проблема выбора, и никто не даст гарантии от ошибки... Вот и перед Зиновием сейчас возникла проблема выбора... Конечно, можно идти обычным путем, совершенствовать то, что сделано отцом и его сотрудниками,— этим путем идет Александр,— это тоже приносит свои плоды: накапливается опыт, который постепенно расширяет границы, установленные предыдущим опытом; а можно отбросить все это и, пока еще чувствуешь себя молодым, окунуться в стихию производства, чтобы в ней найти свое, совершенно новое, то, что станет самым важным для тебя на долгие годы. Оба пути могут принести удачу, а могут и завести в тупик. Но выбирать надо...

Он ввязался в историю с «чистым заводом», когда как специалист едва оперился, в нем больше было стихийного азарта, чем подлинной одержимости ученого; теперь благодаря Дубцову он не только обладал уникальными знаниями, но и умел находить свои, не зависимые ни от кого решения.

Все вроде бы началось с пустяка: он прочел статью, в которой поносили идею «чистого завода», выдавая ее за классический пример авантюризма и волюнтаризма в науке, но чем внимательнее он вчитывался в нее, тем его все более занимала сама идея, над которой так измывались. Он пошел в библиотеку и без всякой надежды попросил отыскать все, что связано с именем Дубцова, и был потрясен, когда через несколько дней Алена подала ему толстенную папку, в которой были не только извлечения из журналов, но и из рукописей. Он входил во все это как в огромную сокровищницу, где на каждом шагу его ожидало невиданное богатство — оно ослепляло, заставляло останавливаться в недоумении: как мог человеческий ум проникнуть в такие уголки природы и высветить их разумом? Покончив с чтением, он тут же решил, что необходимы эксперименты; ему открылось главное: критику «чистого завода» ведут с позиций прежних, давным-давно устаревших знаний, никто не дал себе труда разобратся, как будет выглядеть идея, если ее рассмотреть на уровне современных достижений физики и химии... Это и было озарение. Прошло не более месяца, как он сообразил: вот оно, дело, по которому он так тосковал!

Примерно год назад, вернувшись в Москву из Торска, усталый,

грязный, в очереди на такси около вокзала он снова встретил длинноногую Катьку; та первая увидела его и окликнула:

— Зин! Ты живой?

Очередь настоужилась, ожидая необычного зрелища, но в это время подошла машина и Катька, стремительно распахивая острыми локтями любопытных, втокнула Зиновия в такси.

— Куда едем? — спросил водитель.

— Ко мне, — сказала Катька.

— Это как понимать?

— Грузинский вал, там покажу.

— Мне надо домой, я хочу спать, — сказал Зиновий.

— Все хотят домой, все хотят спать, — пропела Катька; ее кошачьи глаза были добры и веселы. Теперь это была не та Катька, которая плакала у него на плече в метро, истерзанная первыми житейскими неудачами, — она похорошела, лицо загорело, лучилось довольством.

Она привезла его в небольшую квартирку, где было много всяких экзотических безделушек, заставила принять душ и напоила кофе с коньяком, за которым и рассказала о своих плаваниях. Но пусть Зиновий не думает, что это легкий беззаботный труд, нет ничего однообразней и утомительней корабельного житья, особенно у переводчицы, которая постоянно имеет дело с капризными иностранцами. Хоть она и побывала во многих странах, но увидеть их не смогла — что успеешь за каких-нибудь два часа, которые отводятся для схода на берег команде? Все разбегаются по мелочным лавчонкам, чтобы отovarиться по дешевке... А так: океан, вода кругом, качка, морская болезнь и замкнутое пространство палуб. В первом плавании она мечтала только о доме, все ее прежние неудачи казались пустяками. Она бы удрала с Морфлота, но в нее влюбился второй механик; он оказался таким славным, и они поженились. Вскоре выяснилось: механик ходить в море больше не может, у него что-то с поджелудочной железой, они приехали в Москву, и сейчас он клерк в министерстве; в общем-то, они живут хорошо, и она ждет от него ребенка.

Потом Катька заставила Зиновия рассказать о себе...

— Вот уж не думала, — сказала она, выслушав историю с «чистым заводом». — Ты казался баловнем судьбы. Такие до седых волос катаются по жизни, как мячик по зеленой травке. От них всем хорошо, и им от всех хорошо. Но чтоб вкальвать!..

— Да брось ты! — рассердился Зиновий. — Никогда я не был таким, это только в твоём воображении.

— В моем воображении? — Ее зеленые глаза стали злыми. — Ты что хотел, то и получал — без всяких усилий. Я тебя терпеть не могла. Даже когда ты мне кинулся помогать. Тебе, наверное, казалось: ах какой я добрый, ах какой я участливый. А ты помогал потому, что тебе это ничего не стоило. Ну ладно. — Она разлила остатки коньяка по рюмкам. — Хорошо, что я тебя увидела таким... с синяками под глазами, ободраным. Может быть, и в самом деле из тебя выйдет нечто стоящее.

— Пошла-ка ты... — рассердился он. — Тоже мне судья!

Катька рассмеялась.

— Меня, Зин, так мордой по асфальту повозили, что я имею право и приговор вынести...

Все же они расстались мирно, а потом он подумал: может быть, и в самом деле одноклассники воспринимали его таким, каким нарисовала Катька? Себя-то не увидишь со стороны... Только одно он сейчас понимал отчетливо: вошел в дело с «чистым заводом» мальчишкой, а вышел из него злым на работу, убежденным в своей правоте... Узелков это понял, поэтому и пригласил к себе. Он не из тех

директоров, которые делают что-либо, заранее не обдумав, под воздействием внезапного порыва... Значит, у Узелкова это решение возникло давно, может быть даже когда жив был Дубцов.

Глава восьмая

1

Позвонила Наташа и сказала:

— Аленушка, это я. Жди меня через полчаса, дело срочное...

Алена занималась в это время подбором литературы для одного из заведующих лабораторией, он просил это сделать как можно скорее, а она увязла в каталогах; с этой литературой была какая-то путаница, она шла под разными индексами. Алена и без того измучилась, но после звонка Наташи почувствовала — ей лучше сейчас отложить работу, а то натворит бог весть чего.

Странное, неясное происходило в последние дни вокруг нее, и она не могла ни осознать происходящее, ни отрешиться от него. Этот дерзкий приход Семена Петровича к ней в библиотеку, его напор и грубая ласка вернули ее на много лет назад, и она почувствовала: не способна сопротивляться, все будет так, как он того хочет, и сколько бы в душе ни презирала себя — полностью подчинится его воле, потому что ей нечего ему противопоставить, как это уже было однажды у моря, хотя в то время она была сильнее и более уверенной в себе. Он еще не успел покинуть библиотеку, он еще шел по проходу между стеллажами, крепкий, широкоплечий, с голым коричневым затылком, а она поняла: вся в его власти и с этой минуты начнется ожидание того мига, когда она снова увидит его в назначенное время. Что она могла поделать с собой, коль была так слаба?.. И все бы, наверное, так и случилось, если б не внезапное вмешательство Наташи; Алена еще раз убедилась — эта женщина обладает сверхъестественной интуицией, иначе чем же можно было объяснить ее приход через час после того, как побывал у нее Семен Петрович. Вот и недавно она вошла в библиотеку уверенная, улыбающаяся и радостно объявила: «Аленка, мы идем сегодня в МХАТ на открытие сезона. У меня роскошные билеты. Прихватим заодно моего мужлана».

Как же хорош был в театре Семен Петрович; он вел себя открыто, естественно, шутил, ухаживал за обеими, был так неподдельно весел и остроумен, что Алене начало казаться — вовсе и не было никакого его прихода в библиотеку, не было его горячего шепота: «Я приду к тебе сегодня. В семь...» Из театра они ехали в его машине, сначала завезли ее, и он, прощаясь, непринужденно поцеловал ей руку. Может быть, и в самом деле после смерти Антона Васильевича она живет не в реальном мире?..

А разве тогда, возле моря, она жила в реальном мире?

К тому времени она была два года замужем за Антоном, но еще раньше, когда впервые увидела Семена Петровича у себя в библиотеке разглядывающего портрет Бардина, попала под его власть. Он стоял, широко расставив ноги, и, казалось, под его ботинками на толстой подошве прогнулись половицы, лысую голову он чуть склонил набок, и она, обтянутая темной кожей, блестела, от нее словно исходило какое-то излучение, оно исходило и от всей его плотной, крепко сбитой фигуры — излучение силы и уверенности. Он повернулся к ней, смеясь серыми глазами и чуть кривя сластолюбивые губы, сказал нечто приятное — она даже не расслышала что, лишь поняла: одним этим взглядом он подчинил ее себе. Ее считали сильной и умеющей постоять за себя женщиной, но никто, кроме нее самой, не знал, как она слаба и душевно беззащитна, только, пожа-

луй, первый ее муж, учитель физкультуры, разгадал это в ней, а разгадав, ушел.

Когда Наташа свела ее с Антоном и они понравились друг другу, а потом поженились, Алена подумала: только такой человек, как Антон Дубцов, и мог стать ее мужем, потому что в нем сохранилось нечто детское; он и относился к ней как к более старшей и опытной. Вопреки своему характеру она и была для Антона такой. Главным для нее в жизни сделалась забота о нем: был бы всегда ухожен, здоров, вовремя ел, вовремя ложился, — она видела в нем большого и не всегда послушного ребенка, а так как у нее не было детей и не могло быть, она любила его еще больше. Иногда он упоминал имя Семена Петровича, чаще всего с неприязнью, и она стала видеть в Кордине не только врага мужа, но и ее самой, хотя Антон никогда Семена Петровича врагом своим открыто не называл. Стараясь обезопасить свою маленькую семью, она постаралась забыть о приходе Кордина в библиотеку, но воспоминание об этом все же томиле ее, ей казалось, что новый шаг Кордина в ее сторону неизбежен, и она, опасаясь его, возвела в своей душе крепостную стену против предполагаемого нашествия.

Было ли появление Семена Петровича на берегу моря делом случая или в этом таилась закономерность, Алена разгадать не могла; она только почувствовала: возводимая ею стена мгновенно рухнула, едва она увидела, как он ступает по белому песку и капли воды стекают по его крепким ногам.

В ту ночь, когда он влез к ней через окно, она испугалась, но не столько его, сколько себя, потому что знала: втайне ждала этого.

А под утро, когда он ушел и с моря потянуло зябкой прохладой, ее начала бить дрожь; Алена с трудом встала, выпила воды, достала из шкафа теплые вещи, но одежда не могла ее согреть — дрожь начиналась изнутри где-то в области живота и заставляла трястись плечи, руки и все лицо. Обессиленная, она повалилась на пол, отчетливо подумав: «Умираю» — и сразу же смирилась с этой мыслью, представила, как найдет ее уборщица...

Припадок страха прошел. Она поднялась и удивилась легкости во всем теле; неторопливо переоделась для купания и пошла на пляж. Вода была теплой и прозрачной, она далеко заплывала, долго лежала, отдыхая, раскинув руки и ноги, глядя в желтеющее небо, и в какой-то краткий миг поняла окончательно, что сегодня лишь закрепила власть Семена Петровича над нею, которую она почувствовала еще в первую встречу с ним там, в библиотеке, и теперь эта подчиненность останется в ней навсегда, на всю жизнь, как бы она ни сложилась. В то же время Алена не отторгнула от себя Антона, да и не могла этого сделать, потому что не она, а он был подчинен ей, она по-прежнему продолжала опекать его, и потому в ней не могло зародиться даже слабой вины перед мужем.

Алена и Семен Петрович провели вместе два или три хороших дня, скорее всего три, сейчас она уж точно не помнит, да это и не важно, они воспринимались как одно мгновение, в котором было все: и грубая его нежность, и новое ощущение прожитой жизни — будто все ее движение было заведомо определено и направлено к этой встрече, — и боязнь, что мгновение это скоро кончится, боязнь, которая заставила ее воскликнуть в тоске: «Так бы навечно!.. Навсегда!»

Он принял это всерьез, как настойчивый ее зов, и стал объяснять: Наташа для него не просто жена, а соратник, он не может позволить пошатнуться семейным устоям, потому что они фундамент, на котором он возводит будущее своих детей. Ему не надо было этого говорить, потому что трезвость его разрушила благостную отрешенность от всех житейских забот, в которой пребывала

она, соединившись с ним. Не надо было ему говорить и другого: «Что же ты, такая красивая, не устроишь своей судьбы?»

Только тогда она поняла: он ничего не знает об Антоне,— и сказала о нем. Он сначала не поверил, но потом, когда до него дошло, вскочил; она увидела его ставшее страшным лицо, на котором провалились глаза и губы. Она не сразу поняла, что он шепчет, затем услышала: «Это невозможно... Чудовищно, чудовищно!..»

Он уехал на следующий день, и она приняла утрату краткой своей радости покорно, словно заранее знала: так оно и будет, так оно и должно быть.

Но Семен Петрович не ушел из ее жизни, он только убрался на старое место, в самый дальний угол ее сознания, чтобы там дожидаться своего часа.

Все же она была хорошей женой Антону, и жили они мирно, интересно, к ней довольно быстро вернулось неприязненное отношение к Семену Петровичу. Однажды она напрямую спросила у Антона: почему он так насакивает на Кордина? Вместо ответа Антон снял с полки книгу Стендаля «Красное и черное», прочел вслух: «Горе ученому, не принадлежащему ни к какой клике,— любой, самый ничтожный, едва заметный его успех навлечет на него нападки, и высокая добродетель будет торжествовать, обворовывая его».

Она трижды читала эту книгу и никогда не обращала внимания на эти слова. «Да при чем тут Семен Петрович?» — спросила она. «Клика — это тоже он», — твердо сказал Антон, но распространяться не стал.

А она подумала, как нетленны бывают мысли, рожденные в дальней дали десятилетий, а то и веков, иногда прочность их бывает крепче любого предмета или вещества, а поражающая сила новизны открытия — вечна...

Она не думала, что по прошествии такого большого отрезка времени Семен Петрович снова потянется к ней, но он потянулся с еще большей настойчивостью и властностью, и она поняла его: теперь он был освобожден от каких-то только ему ведомых обязательств перед Антоном,— и, поняв, простила его и душевно приняла...

Наталья Львовна пришла через полчаса, как и обещала; она вошла твердым деловым шагом, улыбающаяся, ухоженная, прислонилась щекой к ее щеке.

— Здравствуй еще раз...

Алена выжидательно смотрела на нее.

— Я к тебе с хорошими новостями,— сказала Наташа.— Только что из месткома. Там горячая путевка в шикарный пансионат в Пизунде. Представляю, как там сейчас хорошо! Теплое море, сухой воздух... Поедешь, приведешь себя в порядок, нельзя же так... Сейчас там прекрасные люди. Отдохнешь, развеешься. Тебе это просто необходимо. Летишь завтра утром.

— Но я... — растерянно проговорила Алена.

— Обо всем договорено. Тебе мгновенно оформят отпуск. Пиши заявление. Надо быть настоящей тюхой, чтобы упустить такую путевку...

«Господи! — подумала Алена.— Сколько же силы в этой женщине. А я никогда не научусь так жить...»

2

Александр проснулся и сразу все вспомнил; рядом лежала Зоя, она не спала, а может быть, тоже только что проснулась.

Голова была тяжелой, во рту скверно, и он почувствовал гадливость к себе; взглянул на часы, лежащие на столике,— около семи... Зоя гладила его грудь, ждала ответной ласки; на какое-то мгновение он почувствовал к ней жалость, но отвращение к себе, к ней,

к чужим запахам в этой комнате оказалось сильнее, и жалость исчезла. Он не без усилий встал, сел на край тахты, охватил голову руками.

— Тебе плохо? — тревожно спросила Зоя и быстро подала ему чашку с холодным чаем.

Он жадно выпил и стал поспешно одеваться.

— Уходишь? — спросила она.

Он взял ее за руку, сказал:

— Мне надо... Дела...

— Жаль,— вздохнула она.— У меня сегодня библиотечный, и мы могли бы...

Но он уже принял решение, сделался непреклонным:

— Боюсь, что мне сегодня же придется уехать. Отец еще два дня назад просил, чтобы я побывал на Лещиновском заводе. Там серьезные дела.

— Да, да, я знаю,— печально сказала Зоя.— Ну что же, если надо...

Она посмотрела на него внимательно и, как ему показалось, все поняла; он наклонился, поцеловал ее в щеку, прошептал:

— Спасибо.

— Пойдем, я открою дверь...

Александр вышел во двор и сразу увидел свою машину: правая фара разбита, на крыле вмятина. Ехать нельзя, остановит первый же милиционер. Надо будет вызвать аварийку, пусть отбуксируют машину к институту, там у них есть мастер, он выправит крыло, покрасит, поставит новую фару... Угораздило же его вчера. Впрочем, это еще ничего, мог вообще...

Он вышел к Никитским воротам и побрел Суворовским бульваром; дворник сгребал опавшие листья в кучки, в стороне тлел небольшой костер, и от него тянуло горьковатым и тревожным дымком. Он остановился... Это тоже запах его детства, забытый в суете жизни, в которой ничего не было, кроме работы — только работа, одна работа. Нет, был и дом. Был... Теперь придется искать новое пристанище, а может быть, и жить одному; вот тот же Дубцов так долго прожил один. И он вспомнил, как мальчишкой пришел к Антону Васильевичу на старую его квартиру, чтобы узнать о матери, как они пили чай, как рассматривал он фотографии матери и как выпросил письмо, сложенное треугольником. Оно и сейчас хранится в письменном столе; правда, уже много лет он его не разворачивал, а ведь было время, когда чтение этого письма, хотя он знал его наизусть, приносило радость и тайное удовлетворение, и в разные годы по-разному открывался ему смысл нехитрых слов: «Ой, сколько теперь всякого намешано в моей душе. И никому в этом никогда не разобраться. Лишь бы успеть подышать чистым воздухом...»

Пока он брел бульваром, голова прояснилась. Пожалуй, недурная мысль мелькнула у него в Зоинной комнате; он соврал, что у него есть дела на Лещиновском заводе и отец потребовал его отъезда. Наверное, он сделал это неуклюже, потому что терпеть не мог вранья... Но не воспользоваться ли этой мыслью? С Лещиновским заводом у них и вправду есть договор, они кое-что для него делали, и можно будет срочно выехать в командировку, побыть там несколько дней, привести себя в порядок, дать улечься душевному смятению, а потом уже не спеша, все обстоятельно обдумав, принять окончательное решение... Это славная мысль, надо действовать... Он было ускорил шаг — и опять приостановился... Но ведь потребуется все объяснить отцу, без него нельзя оформить командировку, да и скрыть ничего от отца Александр не сумеет, он ему выложит все как есть. Что же будет потом?

Отец, конечно же, воспримет происшедшее как свое поражение: ведь он, вправляя мозги Томину, действовал из самых лучших по-

буждений, он не мог предположить, что Люся взорвется и все выложит... Отец не любил поражений, он никогда с ними не мирился, не примирится и тут. Он сумеет круто расправиться с Люсей, он найдет для этого способ... И Александр почувствовал свое бессилие... Все, что бы он ни делал, как бы ни поступал, все, все замыкалось на отце, вся жизнь Александра была подвластна этому человеку; он сам был силен и крепок, когда чувствовал на себе его власть и волю, но стоило остаться в одиночестве, чтобы принять решение, необходимое только ему одному, как он терялся, он ничего не мог один. Александру сделалось страшно от этой мысли.

А ведь до вчерашнего дня Александр считал себя сильным человеком: мог работать до изнеможения, умел требовать от людей хорошо делать свое дело; он чувствовал, что люди подчиняются ему, принимают его власть — это было не только в институте, но и на заводах, куда он выезжал. Он научился не выносить поспешных решений, научился быть ровным, внешне спокойным, обходиться без крика; и дома он был хозяином, ничего не делалось без его согласия или ведома. А вот теперь... Он словно бы оказался на зыбкой льдине, несущейся по течению, и ничто не зависело от него...

Неужто он, став зрелым человеком — во всяком случае, в своих собственных глазах, — никогда еще не был свободным, никогда еще не сумел сделать что-то сам, а был лишь жалким исполнителем?.. Да так ли это? И отец и другие учили его: человек должен судить о себе по результатам своего труда, не по замыслам (это всего лишь область фантазии, предположений), а именно по результатам, — и он верил в это, считая такую позицию неоспоримой истиной, он судил о себе по тому, каким был работником, здесь все у него обстояло благополучно, но сейчас оказывалось, что этого мало, даже очень мало, у него нет своего замысла, а стало быть, нет той опоры, на которую он мог бы ступить, презрев все остальное, отвергнув любую помощь со стороны, в том числе и помощь отца... Он бессилен перед собой, перед своей судьбой. Разве он может начать жизнь сначала, не подготовленный к этому? Но когда-то ведь надо...

Александр вышел на Кропоткинскую улицу, отсюда при ярком солнечном свете хорошо были видны золотые купола кремлевских соборов, они мелькнули перед его глазами празднично и заманчиво, словно то был зов надежды... Он остановил такси, сел и назвал адрес дома. Люся уже наверняка ушла на работу; он соберет вещи, возьмет чемодан и уедет... Куда? Он решит это, когда выйдет из дома. Он сразу же поверил, что все так и случится, и от этой веры стал бодрее и увереннее в себе.

Но едва он перешагнул порог, как увидел Люсю — она стояла непричесанная, бледная от бессонной ночи, в глазах ее отчетливо виден был страх. Он остановился, не зная, как вести себя, но Люся вдруг шагнула к нему и неожиданно упала ему на грудь:

— Господи, Сашенька, прости меня, прости...

Было что-то неодолимо скорбное в ее голосе, и он не выдержал, обнял Люсю за вздрагивающие плечи и тут же почувствовал, как ему стало хорошо: все, теперь ничего не надо решать, ничего не надо ломать, жизнь снова вернется в привычное русло.

3

Было нечто пророческое в словах Антона при последней их встрече. «А я тебя не оставляю», — сказал он. И чем бы ни занимался теперь Семен Петрович, он неизбежно наталкивался на Дубцова: Антон приходил к нему по ночам, фамилия Дубцова мелькала в различных бумагах и статьях, где его цитировали, о нем напоминали окружающие, а иногда возникал в отдалении и призрак Антона.

Конечно же, что-то ненормальное происходило в самом Кордине, ведь нельзя же всерьез думать, что призраки существуют,— Семен Петрович никогда не верил ни в какую чертовщину, хотя в последнее время стало модно говорить о всяких оккультных и астральных силах. Он обнаружил у Наташи лекцию, отпечатанную на ксероксе — ее читали по всему институту,— где говорилось о каких-то сверхъестественных способностях у некоторых людей, которые используются для лечения и даже в криминалистике; будто бы одному из обладателей таких способностей удалось отыскать преступника, хотя расследование дела работниками уголовного розыска зашло в тупик. Он заинтересовался, кто автор этой лекции, и удивился, увидев фамилию известного философа, которого не раз встречал на академических собраниях. «Вроде бы серьезный человек»,— подумал он, но тут же решил: размышлять об этом не стоит. Черт с ними, пусть выкаблучиваются, его это не касается!

Нет, конечно же, никакого призрака Антона не существовало, что-то происходило в нем самом: скорее всего его напугала смерть Антона, он не мог свыкнуться с его исчезновением из жизни, потому что привык постоянно ощущать его присутствие, даже когда они не виделись годами. И еще это его неожиданное влечение к Алене... Слов нет, тут есть нечто ему непонятное, в этом требуется разобраться, это мешает ему жить так, как он привык, путает его замыслы и планы, а главное, выходит из-под контроля... Сегодня утром словно невзначай Наташа сказала, что Алена улетела отдыхать по горячей путевке в Пицунду; он понял: сие дело рук жены,— но не подал виду, сказал: «Ну что же, это хорошо. Ей надо отдохнуть». Сказал спокойно, хотя в душе бесился, как бесился каждый раз, если что-нибудь не удавалось.

Сейчас Семен Петрович ехал домой... Если бы не этот проклятый конкурс — сроки-то ведь подходят,— можно было бы плюнуть на все и уехать куда-нибудь, отдохнуть; он давно не отдыхал, и даже лето, когда обычно затихает академическая жизнь, прошло у него в напряженной работе: выезжал на заводы, потом две командировки за рубеж. Для многих поездка туда нечто вроде развлечения, а он ни одной страны не увидел как следует: сидел на заседаниях, мотался по заводам, рылся в технических библиотеках. Что ни говори, а ему уж под шестьдесят, и как ни чувствует он себя здоровым, полным сил, но организм срабатывается. При таких нагрузках, как у него, могут вполне сдать нервы... Да, хорошо бы сейчас отдохнуть, побродить в горах, покупаться в море — оно еще теплое у берегов Кавказа,— но...

Прежде всего надо как-то избавиться от этих навязчивых мыслей об Антоне Дубцове... Семена Петровича не было в городе, когда Антона хоронили, может быть, это его и смущает; и вдруг простая мысль возникла у него: «А съезжу-ка я к нему на кладбище. Это даже хорошо — поехать к нему, отдать долг. Полагается... Вот завтра с утра и отправлюсь...»

Наташи не было, но ужин она приготовила, тарелки с едой стояли на кухонном столе, укрытые поролоновой подушечкой. Он достал из холодильника водку, выпил стопку, переоделся в домашнюю легкую куртку и сел к столу, чтобы просмотреть почту и свежие журналы. Едва он открыл одно из английских изданий, как тут же напоролся на фамилию Дубцова, но теперь это не испортило ему настроения, он только улыбнулся: «Надо же — столько совпадений!» Англичане перепечатали одну из последних статей Антона, она была небольшой и касалась довольно узкой проблемы, но подход у Дубцова был свой, неожиданный, наверное, это и привлекло англичан... Молодцы все-таки, внимательно следят за всем, что в мире делается.

Наверное, Антон порадовался бы, увидев свою статью в английском издании; он работал, как только пришел в институт, на таком

пределе сил, что казалось — дальше уж и некуда. Дубцов как будто старался наверстать упущенное, наверное, ему казалось, что с приходом в институт у него открылось второе дыхание, но ведь силы были уже не те...

Когда организовали лабораторию и Антона единогласно избрали заведующим, в кабинете Семена Петровича у них состоялся интересный разговор.

Мария Ованесовна принесла кофе, Семен Петрович достал из заветного шкафчика бутылку коньяка и рюмки, они сели за круглый столик.

— Давай за твое возвращение в науку, — сказал Семен Петрович, поднимая рюмку.

— И за твоего сына, — кивнул Антон. — Это он меня в нее вернул.

— Преувеличиваешь, — усмехнулся Семен Петрович.

— Нисколько... Попомни мои слова, этот парень далеко пойдет. У него такое точное научное мышление.

Семену Петровичу было лестно, что Антон так отозвался о Зиновии, но вместе с тем ему почудился в этих словах и упрек: отец, а не разглядел собственного сына, а вот я сразу понял, чего стоит этот парень.

Они сидели вдвоем, впервые за много лет сойдясь вот так, с глазу на глаз, и Семену Петровичу захотелось расставить кое-что по местам, и потому он спросил:

— Наверное, меня винишь, что я не взял тебя тогда в свою лабораторию? Был бы сейчас... ну, доктором-то обязательно, а может быть, двинулся и дальше... Но разве моя вина, что тебе пришлось идти на завод?

— Твоя? — удивленно переспросил Антон и поморщился. — При чем тут ты? Это моя вина, Семен... Моя. В этом-то вся и штука.

— Это как же понимать? — несколько растерянно произнес Семен Петрович, он видел: Дубцов говорит искренне.

— А очень просто, — ответил Антон. — Я отступил, спасовал... Мне бы дальше биться, делать то, во что верил, а я засомневался... Забыл, что сомнение — естественное состояние ученого. И пришел к отчаянию, свернул с дороги... Пошел на завод, начал делать то, что могли бы делать и другие, лучше ли, хуже — это уж другой вопрос, но наверняка могли бы делать. На каждом заводе делают... А вот то, что мог совершить я один, остановилось, на долгие, долгие годы остановилось. И это большая удача, что твой сын занялся нашей идеей. А ведь мог бы и не заняться... Так что вина тут вся моя, если бы я не остановился, плюнул бы на все барьеры, которые передо мной ставили, и ты в том числе, то сейчас давно работали бы «чистые заводы», давали бы металл. Никто из настоящих ученых никогда не пасовал, веря в свои идеи, шел до конца, как говорится, до костра, а иногда его и обходил этот костер. Но не останавливались...

Семен Петрович впервые наблюдал такую откровенность; обычно люди их круга, потерпев крушение, находили множество причин, чтобы объяснить поражение, но никогда не винили себя. И все же Семен Петрович удивился не этому, а той фанатичной убежденности, с какой говорил Антон; если бы он услышал подобные речи от кого-нибудь другого, то тут же уличил бы того в театральности. Но Антон был предельно искренен.

— Ты из-за этого казнишься? — спросил Семен Петрович.

— Конечно, — кивнул Антон. — Сам подумай... Можно тешить себя мыслью: мол, молодые вроде Зиновия сумеют сделать нужные выводы и не повторят твоих ошибок. Но нет такого опыта, из которого бы выросла надежда. Между опытом и надеждой извечный конфликт. Опыт относится к прошлому, надежда — к будущему. Их не примирить.

Этих выводов Семен Петрович не принимал, они уводили куда-то в сторону, в область некоей созерцательной философии, которая никогда его не интересовала.

— Ну хорошо,— сказал он.— Я хочу тебе пожелать удачи. Наверное, вы многое сделаете. Если у тебя есть какие-то предложения или замечания...

— Будут,— сразу же отозвался Антон.— Сейчас еще рано. А потом будут. Обязательно.

Семен Петрович усмехнулся: ответ был в духе Антона...

Вот как повернулся тот разговор. Семен Петрович пригласил Дубцова, чувствуя свою силу и власть, держался несколько покровительственно — все-таки ему в самом деле пришлось потрудиться, чтобы создать эту лабораторию,— а Антон вместо благодарности предупредил: покоя не будет. Семен Петрович подумал: мирная жизнь отдела кончилась, надо быть настороже — Антон всегда найдет самое больное место, он если и наступит на ногу, то только на мозоль. Потом они встречались лишь по делу, быстро решали самое необходимое и расставались...

Семен Петрович досмотрел почту и, не дождавись Наташи — видимо, она задержалась у кого-то из своих многочисленных подруг,— собрался лечь пораньше спать.

Он сбросил с себя куртку, направился в ванную и в это время услышал, как открылась входная дверь; он подумал, что вернулась Наташа, но, обернувшись, увидел Зиновия.

— Добрый вечер, отец.

— Добрый,— кивнул Семен Петрович и включил свет в ванной.

— Нам надо поговорить.

«Кажется, я его хорошо выдержал,— подумал Семен Петрович. Он успел заметить, как накалены глаза Зиновия, как тоньше и острее сделалась горбинка на носу, да и сам он весь был острый, как лезвие,— не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять: парень приготовился к бою.— Но.. пусть еще помается, тогда будет легче...» Он пустил воду, взял зубную щетку.

Зиновий подошел к порогу ванной.

— Я давно пытаюсь с тобой связаться, отец. Ты нарочно избегаешь встречи...

Семен Петрович не отвечал, рот его был забит пастой. «Откуда у него ключи от квартиры? Может быть, Наташа дала, и дала специально, а сама намеренно задержалась?» Он прополоскал рот водой, неторопливо умылся. Зиновий продолжал стоять на пороге.

— Я не понимаю, отец, почему ты не хочешь прямого разговора?

Семен Петрович вытер лицо полотенцем, повесил его на крюк и только после этого взглянул на сына.

— А разве у нас его не было?.. Кажется, я приезжал к тебе и предупреждал: не подавай документы. Что может быть яснее? Ты знаешь: я дважды не приказываю.

— Тут ты не мог приказать,— ответил Зиновий.— Тут мог решать только я сам.

— Сам так сам,— усмехнулся Семен Петрович.— Зачем же ты ко мне?

— Потому что сейчас вопрос ставится так: работать нам вместе или...— Зиновий не договорил, ему трудно было продолжать дальше.

— Или? — с добродушным удивлением произнес Семен Петрович и вздохнул.— Может быть, ты дашь мне выйти из ванной?

Зиновий посторонился; Семен Петрович размягченной походкой утомленного человека пошел в комнату, но у порога остановился и сказал неожиданно резко:

— «Или» быть не может.

— Может, отец!

Такого упрямства Семен Петрович от Зиновия не ждал, поэтому посмотрел на сына с любопытством.

— Что ты имеешь в виду?

— Если лаборатория перейдет к Саше и обретет другое направление, то мы всей группой переберемся на Торский завод. Договоренность с Узелковым есть, ребята согласны. Научная лаборатория при заводе — не так уж плохо, отец.

Ход был неожиданный, требовал обдумывания; но чтобы не выдать удивления, Семен Петрович прищурился, покачал головой.

— Ай-я-яй! А не кажется ли тебе, что это смахивает на шантаж?

Зиновий неожиданно рассмеялся.

— Ну, это ты, па, хватил: шантаж! Я ведь по делу...

Семен Петрович прошел в комнату, сел на край тахты. Зиновий вошел следом, облокотился на широкую тумбочку. Некоторое время Семен Петрович разглядывал его — что-то и в самом деле было новое в этом высоком худощавом парне, его сыне, — а разглядев, вздрогнул: он стал похож на Антона... Да что там похож! Не Зиновий, а молодой Антон стоял перед ним, еще мгновение — и заполыхают его потемневшие глаза, речь станет быстрой, порывистой... Семен Петрович взял с тумбочки коробку «Казбека», закурил.

— Ты всерьез полагаешь, что сможешь широко развернуть работу на Торском?

— Разве мы это не доказали?

Да, Зиновий был прав, они доказали, однако Семен Петрович считал: все это заслуга Антона, а без него... Но сейчас он понял: его сын вполне обойдется без Дубцова; дело не только в том, что он за последнее время многого набрался, — у него прорезались зубы. Прежде Семен Петрович полагал: Зиновий из породы травоядных, а вот Александр... Старший сын не только прекрасный исполнитель, но и человек, искушенный в тонкостях научной борьбы, кое-чему Кордин его обучил, а теперь выходило, что и Зиновий себя в обиду не даст.

— Значит, ты и твои товарищи считаете: я зажму работы по «чистому заводу»?

— Ты уже сделал в этом направлении первые шаги, отец, — сказал Зиновий просто, будто ничего обидного для Семена Петровича в этих словах не было, а лишь уточнялось само собой разумеющееся.

И опять Кордин подумал: «Чисто дубцовская откровенность...»

— Ты не находишь, что стал дерзким?

— Может быть, — сразу же согласился Зиновий. — Но меня поставили в такие условия.

— Какие же?

— Я твердо уверен: все серьезные разработки по «чистому заводу» могу вести только я. Потом, наверное, появятся другие. Но пока это мое. А мне пытаются доказать обратное. Я не могу отступить, отец. Очень бы хотел, чтобы ты меня понял...

— Значит, надо полагать, ты решил уйти на производство. Но Узелкову мало будет твоих исследований. Ему нужны результаты для завода, нужен план. Да и имей в виду: из академии легко уйти, но трудно вернуться.

— Знаешь, отец, мне, честно говоря, плевать на так называемую престижность. Будет настоящее дело — будет и престиж.

«А у мальчика и в самом деле прорезались зубы», — уже с некоторым самодовольством подумал Кордин и сказал:

— Ну хорошо, я обдумаю то, что ты сейчас наговорил. А теперь — спокойной ночи.

— Спокойной ночи, отец...

Кордин любил своего мальчика, и хотя ему порой приходилось его наказывать — Зиновий частенько доставлял ему огорчения и когда учился в школе, и когда занимался в институте, — в душе он только посмеивался над его проказами: «Шалопай! Ну ничего, вырастет — выправится. Я ведь тоже, когда был молодой, не в ангелах ходил». Может быть, он так относился к Зиновию, потому что больше занимался Александром, считая старшего сына продолжателем своего дела... Но сейчас он сообразил: из шалопая вырос боец, да такой, которого запросто не сломаешь, — и он невольно залюбовался Зиновием.

Глава девятая

1

Наташа сказала, что Зиновий и Валя подали заявление в загс и хорошо бы съездить в Торск познакомиться с ее родителями.

— А почему бы им самим к нам не приехать? — удивился Семен Петрович.

— Таковы обстоятельства...

Он не стал выяснять, что это за обстоятельства, и словно между прочим спросил: на каком кладбище похоронили Антона? Она назвала, но все же насторожилась: зачем это Семену Петровичу?

— Да так... — пробормотал он и тут же поднялся, сказал, что опаздывает, ему давно уже нужно быть в институте; он часто заглядывал туда по субботам, и она к этому привыкла.

Спускаясь в лифте, он обдумывал, как лучше проехать на кладбище, оно было сравнительно новым, его открыли года два или три назад; о существовании этого кладбища Семен Петрович узнал в прошлом году, когда хоронили одного из заместителей директора института.

Он вышел из дому, довольно четко разработав маршрут поездки; увидел на крыше машины и на траве газона иней и удивился: рано нынче начинаются холода, иней в такую пору, когда еще листья не облетели; но утро было ясное, чистое, да и день обещал быть солнечным, как все последние дни... Он сел за руль и мягко повел машину.

После нынешней ночи, когда ударил первый серьезный заморозок, на деревьях, которые стояли вдоль шоссе, осталось совсем мало листьев, но те, что остались, бросались в глаза праздничной позолотой и веселым багрянцем, и ему показалось — поездка в такое печальное место, как кладбище, противоестественна, он подумал: «А зачем же все-таки я туда еду?» Но искать ответа не хотелось, его влекли дорога, дали, пронизанные солнцем.

Он доехал до нужной ему развилки, свернул налево и, миновав небольшой пруд, по краям которого обозначился тонкий прозрачный ледок, увидел впереди площадку, на которой стояло несколько автобусов и машин и толпились люди.

Подъехав поближе, он обнаружил здесь небольшой, но самый настоящий цветочный рынок; отыскал место для стоянки машины и вошел в длинное деревянное строение, снаружи похожее на барак, а изнутри на почту или сберкасса. Остановился у одного из окошек и попросил подсказать, где можно отыскать могилу Дубцова.

Румяная, с игривыми глазами девушка, одетая в дорогой, бордовой кожи пиджачок, кокетливо взглянула на него и принялась быстро перелистывать разграфленные странички книги, нашла нужную и назвала номер квартала и номер могилы. Он удивился, что участки с могилами называются кварталами, почему-то это слово показалось ему неуместным применительно к кладбищу; девушка

снова улыбнулась, и он понял: ей надо дать денег; он вынул два рубля.

— Спасибо,— ласково ответила она.

У бабок, бойко предлагавших свой товар, он выбрал большой букет астр— цены были здесь крепкими— и вошел в кладбищенские ворота, у которых толкались какие-то типы и две старухи ссорились из-за лопаты, цепляясь корявыми пальцами за черенок. Кладбище и впрямь было новым, это можно было определить по редким кустикам и молодым деревцам, которые торчали у некоторых могил, но раскинулось оно широко, и он шел, вглядываясь в номера кварталов, пока не отыскал нужный, и сразу же увидел могилу Дубцова. Он еще не прочел надпись, но понял: это она... Большинство могил увенчивали невысокие стандартные обелиски из мраморной крошки, а эта была обнесена хорошей литой оградой, за ней возвышался, поблескивая неровностями, стальной слиток. Семен Петрович робко приблизился, чувствуя, как у него перехватило дыхание, и прочел вытравленные на слитке буквы: «Дубцов Антон Васильевич, 1922—1980, металлург». Конечно же, это все сделали заводские его товарищи.

Он открыл калитку в ограде, прошел внутрь, положил астры к слитку и сел на крохотную черную скамеечку.

Было тихо, вдаль за кладбищем виднелось небольшое поле и крыши деревеньки... «Металлург»,— прочитал он еще раз. В это слово вместились вся жизнь Антона, все ее сложности и перипетии, победы и поражения; кем бы он ни был в своей жизни, что бы ни делал, но когда закончил ее, на слитке вытравили это слово, им определив смысл его жизни... Верно ли это? Могли бы написать и просто «инженер» или еще что-то в этом роде, но вот нашли нужным сделать так, как сделали... Конечно же, главная его жизнь прошла на заводе. И Семен Петрович внезапно подумал: а ведь где-то перепутались их судьбы; по тому, как складывались они после войны, быть бы Дубцову ученым, а Кордину производственным— в нем всегда была властность, умение подчинять людей, а Дубцов в ту пору казался мягким, застенчивым; где уж ему командовать!.. В Семене Петровиче всегда жила тайная надежда проявить себя серьезным руководителем предприятия, он был убежден— смог бы вести большой завод, и то, что произошло в позапрошлом году, подтверждало это.

Он был на Лещиновском заводе— приехал, чтобы проверить результаты опытов, поставленных там, когда ударили жесточайшие морозы, каких никогда не было в этих краях, воздух словно отвердел, стал хрупким и тяжелым, разрывало водопроводные трубы, спрятанные глубоко под землей, останавливались поезда, густое белое морозное облако, отливая радужными пятнами, нависло над заводом, как гигантская льдина, и в кабинете директора тревожно бились телефонные звонки, надрывался селектор: смерзлась руда, прекратилась подача воды и тепла в домны, температура в них начала падать. Завод стал замерзать, как люди, сбившиеся с пути во вьюжной степи, дыхание смерти нависло над цехами.. Директор запаниковал, у него тряслись руки, лицо посерело; главный инженер, глядя на него, тоже поддался панике; директор звонил в министерство, кричал, всхлипывая:

— Ничего не можем сделать!.. В домнах падает температура. Останавливать?

Семен Петрович услышал глухой голос министра:

— У тебя там Кордин. Пусть немножко мозгами пошевелит. А то на кой черт нам ученые!

Он разозлился от этих слов, но, поостыв, сообразил: они дают ему свободу действий,— и сразу же решил взять власть в свои руки, подошел к директорскому столу, приказал:

— Весь командный состав сюда. Чтобы через десять минут все были здесь...

Он знал этот завод, знал хорошо, потому что часто бывал здесь, и воспринимал его не по частям, не по отдельным участкам и цехам, а целиком, как единый организм; наверное, это ему и помогло... Через час они нашли решение: составы с рудой загоняли в горячие цехи, чтобы разморозить, подняли тепло в домнах, подали воду... Он командовал... отдавал распоряжения и чувствовал, как, повинуясь ему, завод медленно, но верно начинает дышать; словно управляющийся от тяжкого недуга больной; потом, когда вроде бы все вошло в свою колею, ему не хотелось отдавать командование, и еще двое суток он чувствовал себя директором этого мощного предприятия. Он испытал тогда подлинное наслаждение властью.

Когда вернулся в институт, то узнал, что из-за этих морозов на многих предприятиях возникли сложные ситуации. На совещании отдела Семен Петрович стал подробно рассказывать, как ему пришлось руководить заводом; случайно бросил взгляд на Дубцова, увидел откровенную насмешку в его глазах и спросил:

— У вас в Торске тоже, наверное, сложности были?

— Да нет,— сказал Дубцов.— У нас порядок. Мы всегда к зиме хорошо готовимся.

Этот простой ответ сразу все поставил на свои места: на хорошем предприятии не может быть неожиданностей, там готовы ко всему; так было и в Торске, да Антон и не допустил бы, чтобы было иначе...

Он сидел на скамеечке, смотрел на необычное надгробье, и ему не верилось, что под ним, внизу, засыпанный землей, лежит Антон; он не мог этого представить... Как же все-таки неладно получилось в жизни, что они перестали быть друзьями, ведь когда-то он и в самом деле искренне любил этого человека. Больше, пожалуй, и не было таких людей, к которым бы он так тянулся, как к Антону; много вилось вокруг разного народа, клялись и в дружбе и в верности, но он никому из них не доверял, потому что знал, как переменчивы люди, как меняются, получив то, чего добивались. Один Антон никогда ничего от него не требовал, лишь раз попросил, даже не попросил, а указал на необходимость совместной работы, а Семен Петрович — отказал...

Чего он тогда испугался? Ведь и бояться-то нечего было. Семен Петрович снова посмотрел на надгробье и подумал: вот ушел Антон, может быть, и ему скоро туда же, время быстротечно, конечно же, его похоронят не здесь, скорее всего на Новодевичьем, Наташа добьется, и надгробье ему поставят из большого куска гранита или мрамора, выбьют на нем барельеф — профиль лысой головы, — а под ним такое же тяжелое, как это надгробье, слово «академик», которое будет вызывать почтение у всех, кто пройдет мимо могилы... Вот и все, что останется. Все?

Семен Петрович усмехнулся: никогда подобные мысли не появлялись у него; вот Антон мог бы об этом порассуждать, и он подумал: Антон-то ушел, а вопросы свои оставил, и бесполезно отмахиваться от них. Ведь если как следует припомнить, то Семен Петрович уже размышлял о смерти, и это было совсем недавно, когда ехал к Зиновию предупредить его, чтобы не подавал документы на конкурс, но тогда он не мог представить, чтобы мгновенно, в одночасье оборвались все нити, что завязывались годами, рухнули бы, как от землетрясения, все возведенные им постройки, и высокомерно решил: это невозможно, потому что противоречит законам жизни. А сейчас, у могилы Антона, понял: внезапный уход возможен и для него, вполне, вполне возможен; и едва он это представил, как опять, словно змея, выполз на свет вопрос: а что же останется-то? Семен Петрович сразу уловил: именно в этом вопросе и таится опасность, — у него давно выработалось чутье на опасность, уж кто-кто, а он-то знает, как любит она рядиться в самые простенькие одежды...

«Не надо было сюда ехать... Не надо»,— в досаде подумал он и встал. Взгляд его скользнул по блестящим неровностям слитка, он склонил голову, словно прощаясь с Антоном,— он твердо порешил никогда больше не приходить сюда. «К черту, к черту»,— твердил он, и это относилось ко всем его мыслям и чувствам, возникшим подле могилы, он словно бы хотел зачеркнуть для себя любую возможность возвращения к только что пережитому. Удерживая в себе эту злость, чтобы не дать снова возродиться ему, он подумал: «Надо вообще со всем этим кончать» — и увидел узкую комнату в институте, которую все называли пеналом, на ее дверях до сих пор висела табличка: «А. В. Дубцов». «Завтра же распоряджусь, чтобы снова отдали эту комнату под архив... И этот его стол... «Казанский собор»... А для лаборатории найдем помещение. Да и Александру не очень-то будет удобно в пенале».

Он прошел к машине, стоявшей неподалеку от осины, облитой сусальным золотом листьев, вывел ее на дорогу. Впереди выделялся на густом синем небе стройный рядок березовых посадок, просвеченный солнцем. Чем ближе к ним подъезжал Семен Петрович, тем отчетливей ощущал: как бы он ни лютовал, а ни от чего избавиться не сможет — все, что проклюнулось в нем возле могилы Антона, еще прорастет, и никуда ему от этого не деться.

2

Александр не появлялся на работе два дня.

У него поднялась температура, его мучило, Люся вызвала врача, и тот решил — грипп; по Москве ходили слухи, что надвигается новая эпидемия какого-то супергонконгского. Врач выписал набор различных таблеток, Александр отказался их принимать, к вечеру температура сама спала, но слабость держалась, а вместе с ней и отвращение к самому себе. Люся в первый день тоже на работу не пошла, хлопотала возле него, а с лица ее не сходило страдальчески-виноватое выражение; у нее не только припухли глаза, но и сама она будто отяжелела.

Наблюдая за ней, Александр испытывал к Люсе странную жалость; боль, что несла она, отдавалась в нем, и он ощущал себя повинным в ее страданиях; вместе с этой необъяснимой его виноватостью тлела в нем томительная благодарность к ней — за то, что она рядом. Теперь Александр даже и не пытался разобраться, а почему же Люся пошла навстречу Томину, эти мысли он откинул напрочь, видел в Люсе только жертву, жалел ее и верил: она беспощадно казнит себя...

Люся дала ему снотворного, он раньше никогда его не принимал и уснул быстро, крепко. Ему приснился сон; обычно он спал без сновидений, а может, и снилось что-нибудь, да он ничего не помнил — скорее всего оттого, что сны ничем не поражали и потому не могли остаться в памяти. Но этот сон был слишком отчетлив, а самое главное — когда он его видел, то понимал — это сон, и размышлял над ним, и мысль была ясной, так ему, во всяком случае, чудилось. А видел он сначала реку, довольно широкую, текущую между глинистых берегов, вода в ней была желтой от глины и несла с собой щепки, коряги и прочий мусор, а он стоял на берегу в липкой жиже, твердо зная — ему надо перебраться на другую сторону, но не зная зачем; плыть по грязной воде не хотелось, да и течение было быстрым, и он все топтался на берегу и думал: «Для чего же мне идти в воду, это же все равно во сне». Но что-то толкало, и он, преодолевая омерзение, стал входить в реку, однако же не чувствовал ни тепла, ни холода, словно река сама расступалась перед ним, но он все же поплыл, и скорее всего не по воде, а по воздуху; однако ж его сильно носило течением, и когда он добрался до противоположного берега, то с трудом ухватился за ветку ивы, чтобы его не снесло, выбрался — теперь уже

почему-то на песок — и пошел. Но чем дальше он шел, тем яснее становилось: идет он вовсе не по песку, а по чистому, мягкому снегу и от него исходит приятная нежность, чуть холодящая ноги. «Этого быть не может, чтобы река, глина и такой снег... Совсем не может быть». Но ему было приятно, что все он это видит, чувствует — и еще молочный нежный свет, идущий от снега; именно этот свет привел его в просторное здание, где стоял длинный стол — казалось, не было конца этому столу, — и за ним сидели задумчивые люди и делали работу. Он не знал, что это за работа, только понимал, как она важна: если люди прекратят ее делать — остановится течение реки, обнажится глинистое ее русло, растает снег и исчезнет свет. Он стал искать себе место за столом, шел долго-долго, а места все не находилось, и ему сделалось обидно, и тогда навстречу поднялся знакомый человек — он и сам не знал, откуда его знает, — подвинулся и указал ему рядом на свободный стул. «Это же все сон», — сказал ему Александр. «А разве это важно?» — удивился человек. «А что важно?» «Работа», — ответил тот. — Все дело в конечных целях. А они могут родиться только в нас, и никто не должен их навязывать, иначе жизнь потеряет смысл». «Да, да», — согласился Александр, слова человека ему показались очень простыми и ясными, он опять поразился, что слышит их во сне...

Люся разбудила его, и он снова увидел ее виноватые глаза. Она была уже одета, серый свет стоял в комнате, и Александр угадал — за окном идет дождь.

— Ты прости, что я разбудила. Но мне надо идти... Кофе и завтрак на кухне. Если хочешь, я принесу сюда.

— Не надо, — с трудом сказал он, все еще находясь во власти сна и чувствуя слабое головокружение.

Он услышал, как хлопнула входная дверь, и стал думать: что бы означал этот сон? Ведь должен он что-то означать... Он прикрыл глаза и стал вспоминать виденное, ему остро захотелось разгадать его, но он чувствовал: для него это недоступно, слишком уж привык к реальным, жестким категориям, наверное, другие люди, обладающие иным складом ума, легко бы нашли разгадку, ведь кто-то занимается этим, а вот он — бессилен.

Александр поднялся, сделал легкую зарядку, привел себя в порядок, позавтракал и сел к столу, чтобы поработать; взгляд его скользнул по комнате и наткнулся на фотографию Люси с Митькой, поставленную за стекло на одну из книжных полок: Люся улыбалась, чуть раздвинув манящие полноватые губы, и взгляд ее округлых глаз был чист и добр. Увидев эту фотографию, о которой он уж и забыл, Александр почувствовал такую сильную тягу к Люсе, что невольно вздрогнул от ослепившей его мысли: «Да я ведь люблю ее... Люблю...» Он вкладывал в эти слова свою внезапно утвердившуюся веру: жизнь без этой женщины для него невозможна. Может быть, эта вера и прежде существовала, но он не сознавал ее, только теперь она прояснилась. Как же обидно, что для этого ему пришлось пройти через унижение, даже потерю достоинства, но для него, наверное, иначе было невозможно, он бы никогда не постиг эту тайну, не разрушь порядок вещей. Ведь любовь двоих сама по себе несправедлива ко всем другим, она не только отделяется от общего потока, но противостоит ему, нарушая все правила и установления, — вот почему зачастую люди порядка не терпят любви, а Александр всегда причислял себя именно к этой категории.

Он сидел некоторое время, потрясенный открытием, и постепенно стал ощущать — к нему возвращается равновесие, исчезает омерзение к самому себе; вместе с этим он чувствовал — свершилось и еще нечто другое, не менее важное, чем только что познанное, но он не мог найти ему определение...

На следующее утро он проснулся здоровым и бодрым; на улице шел дождь, осенний, нудный, грязно-серые облака двигались низко, едва не задевая крыши домов, но ему не было дела до погоды. Наверное, бодрость его и душевная легкость бросались в глаза, потому что Люся, увидев его, как-то по-прежнему, хорошо улыбнулась — без той болезненной виноватости, которая не сходила с ее лица в эти дни.

— Пойдешь на работу?

— Обязательно, — ответил он.

— Возьми такси, — сказала она. — И захвати с собой денег, Ланщиков просил зайти, он позавчера целый день провозился с твоим «Москвичом».

Напоминание о разбитой машине было неприятно, он поморщился; наверное, Зоя вызвала аварийку, чтобы «Москвич» доставили к институту, но вряд ли именно она известила об этом Люсю, ему бы не хотелось, чтобы Люся знала, что у него произошло в тот злополучный вечер.

— Хорошо, — сказал он, ничем себя не выдав.

Но даже это неприятное напоминание не убавило в нем бодрости. И все же когда они ехали в такси по мокрой улице, которая открывалась перед ним через полукруг на лобовом стекле, очищаемый от дождевых капель ритмично двигающимся дворником, он неуютно ежился от мысли о предстоящей встрече с Зоей... Как вести себя с ней теперь? Что говорить? Ведь то, что совершилось, разрушило официальность их отношений, и теперь они должны обращаться друг к другу как-то иначе, чем прежде, но как — он не знал, и у него мелькнула мысль: «Лучше бы ей уйти из группы...» Ему тут же сделалось неприятно от этой мысли, трусливой и недостойной, хотя он знал: многие завлабы так и поступали, если у них в лаборатории создавалась подобная ситуация; одни делали это грубо, вызывая ропот благородного возмущения коллектива, другие же действовали осмотрительней, старались продвинуть женщину на более высокие и выгодные должности, но суть была одна — удалить от себя, изолировать от коллектива, которым руководишь... Нет, на это он не пойдет, но что-то предпринять все же придется...

Сначала он разыскал Ланщикова, чтобы посмотреть, как отремонтирован «Москвич», и рассчитаться, и только потом пошел к себе. Подойдя к дверям комнаты, где размещалась его группа, он одернул пиджак, поправил галстук, словно ему нужно было выйти на сцену, заметил на лацкане несколько волосков, смахнул их, подумав: «Лысею» — и решительно распахнул дверь. Но его появление, его громкое «здравствуйте» было встречено молчанием, его просто напросто никто не заметил. Лишь сделав несколько шагов, он услышал неожиданный вскрик: «Ой!» — и обнаружил своих сотрудников: все они сгрудились в дальнем углу, где возвышалась гора цветов.

Навстречу ему выплыло улыбающееся лицо Зои.

— Доброе утро, Александр Семенович, — пропела она, ее поддержал нестройный хор голосов, и Зоя принялась торопливо объяснять: — А у нас Фонареву тридцать лет нынче! Мы его поздравляем.

— Примите и мои поздравления, — ответил Александр и поклонился широколицему, с узкими веселыми глазами Фонареву, которого особо отличал как чрезвычайно исполнительного и быстрого на решения сотрудника.

— Спасибо, — рассмеялся Фонарев.

Но Александр не смог ответить улыбкой, у него словно стянуло кожу на лице, и он поспешил к себе, мельком подумав: «Могли бы собраться и после работы, как всегда в таких случаях. Оставишь на день и...»

Едва он сел за стол и придвинул к себе папку с почтой и внутри-институтскими распоряжениями, как дверь открылась и вошла Зоя с

лейкой в руках — точь-в-точь так же, как входила она сюда почти каждое утро, и так же, как обычно, сказала:

— Я совсем на минуточку, Александр Семенович. — И тут же направилась к цветам.

Она была в пышном, со множеством складок платье и не переставала улыбаться; поливая цветы, не поднимая на Александра глаз, она говорила:

— Положение обострилось: Кадкин из Торска подал документы на конкурс. Наши пррссчитали на ЭВМ: если три кандидата, то у всех почти равные шансы. А если два — я имею в виду вас и этого Кадкина, — то явный перевес на вашей стороне...

Он слушал, глядя в ее оливковые глаза, и в нем зрело желание оборвать Зою, попросить ее выйти и больше никогда без его вызова не входить к нему. А она, словно и не замечая его напряженности, продолжала:

— Кадкин справлялся о вас, он сейчас в институте, просил, как только вы появитесь, сообщить ему. Я выяснила, в чем дело. Он настаивает, чтобы все три претендента сделали на ученом совете доклады, как они представляют будущее лаборатории, чтобы члены совета могли сравнить и выбрать. Директор дал согласие — при условии, если вы и Зиновий Семенович поддержите предложение Кадкина. Думаю, по этому поводу он и хотел с вами говорить...

Чем дальше он слушал ее, тем больше удивлялся: что за поддержка у этой женщины! Но, может, она просто не придает такого же значения происшедшему, как он, может, для нее это так же естественно, как...

— Так что, пригласить Кадкина? Или вам бы не хотелось с ним встречаться?

— Пригласите, — кивнул Александр.

— Хорошо, — сказала она, но, прежде чем выйти, посмотрела на него так, что ему сразу же стало неуютно; когда дверь закрылась за ней, он испытал облегчение, потому что понял: Зоя не собирается предъявлять никакого счета, она слишком умна для этого и сейчас показала ему, что решение целиком зависит от него и какое бы оно ни было, она примет его безропотно.

Он взялся было снова за бумаги, но тут же задумался над тем, что услышал от Зои... Он не знал Кадкина, никогда его не видел — на Торском заводе у него не было дел, — он только слышал о нем от Зиновия и в институте, когда Кадкин защищался, сам Александр на защите не был. Подумав об этом, он понял, что допустил оплошность, сегодня не надо было встречаться с Кадкиным, потому что к встрече этой не готов и не знает, как себя вести; сначала надо бы посоветоваться с отцом... Да, он явно поспешил — мысли были заняты Зоей, и его все время точило желание побыстрее избавиться от нее.

Он не успел все это обдумать до конца, как в дверь постучали; не дожидаясь разрешения, в комнату легкой походкой вошел человек в кожаном пиджаке, узких джинсах, у него была идеальная фигура гимнаста, он решительно прошел к столу, протянул руку с длинными крепкими пальцами, представился:

— Кадкин.

Свободно сел, очень прямо держа спину, вынул из нагрудного кармана мундштук и начал вставлять в него сигарету. Александр хотел сказать — у него здесь не курят, но решил: с этого начинать знакомство неудобно; но Кадкин не закурил, он просто вертел мундштук с сигаретой в руке, другой рукой поглаживая пышные усы, и не мигая смотрел на Александра, словно ждал — тот начнет разговор первым. Но Александр понял его намерение и тоже сидел молча, не мигая — слава богу, чему-чему, а чиновничьей невозмутимости он был обучен, умел придавать своему лицу непроницаемо-холодный вид.

Молчание затягивалось, это начинало веселить Александра. «Начинаем с проверки на выдержку...» Кадкин не выдержал первый.

— Надеюсь, о цели моего визита вам уже сообщили,— сказал он.

«Ага, значит, мы наслышаны о нравах в институте»,— мысленно усмехнулся Александр, продолжая сидеть с непроницаемым лицом.

Опять наступило взаимное молчание, но на этот раз оно было более коротким.

— Верю, вы понимаете, Александр Семенович, в моем требовании,— Кадкин сделал ударение на последнем слове, как бы подчеркивая, что слово «просьба» для него чуждо,— нет ничего противозаконного. Наоборот, доклады на ученом совете — честный бой. Все будет идти в открытую, все будет предано гласности...

«Вот теперь ясно,— отметил Александр.— Расчет на то, что я не сумею дать развернутой программы по работе над прямым восстановлением, потому что это не моя специальность... Ну а Зиновий? Лучше-то его никто не сумеет... Ах да — голоса членов совета! Приверженцы Кордина вынуждены будут их поделить между мной и Зиновием, а союзники Кадкина полностью отдадут их ему. Пожалуй, такой расклад... Вот о чем говорила Зоя, когда упоминала о результатах, полученных на ЭВМ... Честный бой, честный бой... Значит, Кадкину еще нужно блеснуть и своей подготовленностью». Александр понял, что перед ним сидит крепкий человек: малейший срыв, любую оплошность он использует в своих целях, и нужно быть начеку.

— Если у вас возражений нет,— сказал Кадкин,— то я об этом с вашего позволения сообщу директору.— И здесь он не выдержал, все-таки волновался, хоть и умело прятал это, не выдержал и попросил: — Можно закурить?

Александр согласно кивнул.

Не получив ответа на свой главный вопрос, Кадкин повел наступление дальше.

— Может быть, я нарушаю какие-то традиции,— сказал он,— но, сами понимаете, мне это простительно: я не ученый, я производитель.

Александр понял — вот этого упускать нельзя, это один из очень спорных пунктов, тут все надо сразу расставить по своим местам.

— Это вы напрасно,— спокойно возразил он.— Вы ученый. В-первых, вы кандидат наук, это уже определяет вашу причастность к науке, во-вторых, вы не рядовой инженер, а главный сталеплавильщик, а в наше время работа эта в основном поручается ученым, потому что требует научных, да, да, научных знаний. Не будете же вы отличать ученого от производственника, как вы выразились, только по месту работы. Эдак если завтра скрипач пойдет преподавать музыку, то, по-вашему, он перестанет быть музыкантом, а станет учителем? Нелогично.

Закончил он твердо, как припечатал. И увидел, что попал в цель, потому что покрыв один из главных козырей Кадкина.

— Да, но все-таки завод не институт...

— Формально вы правы,— согласился Александр,— но мы рассматриваем науку и производство как единый комплекс. Вы и сами знаете, очень много примеров такого сотрудничества, тот же Дубцов совмещал две должности: главного сталеплавильщика и завлаба.

Кадкин посуровел, возразить ему было нечего, да и необходимости в том не было; он выпустил густую струю табачного дыма, спросил:

— Так я могу сообщить директору о вашем согласии?

— Нет,— твердо ответил Александр.

— Почему?

— Я был болен, только сегодня вышел на работу, и мне нужно время на обдумывание.

Кадкин усмехнулся.

— И сколько же вам нужно этого времени? Ведь сроки конкурса кончаются, ученый совет может быть назначен на любой день...

— Завтра,— перебил его Александр.— Позвоните в десять утра, я вам сообщу свое решение.

Кадкин встал, сказал:

— Всего доброго.

Он направился к двери, но внезапно остановился и, прежде чем выйти, посмотрел на Александра с нескрываемым уважением.

Александр посидел неподвижно, стараясь расслабиться, и когда напряжение, вызванное разговором, спало, снял трубку внутреннего телефона, услышал строгий голос Марии Ованесовны:

— Вас слушают...

Узнав Александра, Мария Ованесовна сообщила:

— Семен Петрович уехал...— Она запнулась и неуверенно добавила: — Понимаете, Саша,— в особых случаях она называла его так, потому что знала еще мальчиком,— он уехал, и как-то странно...

— И в чем же эта странность?

Она подумала и ответила:

— Пожалуй, я не смогу объяснить... Но все-таки странно...

— Куда же он уехал?

— Не сказал... Пояснил только, что его не будет несколько дней.

— Жаль,— вздохнул Александр и положил трубку.

«А может, и к лучшему, что не поговорил с отцом?» — подумалось ему. Не может же он вечно прятаться за отцовскую спину. Ведь смог же только что дать пусть крохотный, но бой Кадкину и даже выиграл его... И вот снова кинулся за поддержкой к отцу... А Зиновий не меньше его любит отца, но оказался способным на открытый бунт, и не во имя личных целей своих, а во имя убеждений, и он втайне завидовал ему, хотя боялся признаться себе в этом. А сейчас он вдруг осознал: в тот день, когда жизнь нанесла ему удар, треснула и вера его в надежность отцовской защиты...

3

Шли дожди, мелкие, занудливые; дни, окрашенные в серый цвет, двигались в привычном ритме, но Семен Петрович, несмотря на эту привычность, ощущал: нарушилась какая-то связь с окружающим; дела, заботы, хлопоты — весь бурный поток, в гуще которого он всегда находился, словно бы потек другим руслом, и Семен Петрович оказался на берегу, со стороны наблюдая за его течением. Иногда ему казалось — просто накопилась усталость, а она часто ведет за собой безразличие, но тут же возражал себе: дело не в усталости, усталостью легче всего объяснить свое состояние, дело в том, что на кладбище подле могилы Дубцова с ним произошло нечто чрезвычайное. Чем бы он ни был занят: проводил эксперименты, просматривал работы сотрудников или сидел на совещании,— ему не давал покоя тот проклятый вопрос: что останется? Семену Петровичу чужда была риторика, а вопрос этот поначалу звучал риторически и потому вызывал отвращение, но все яснее в его сознании проявлялось: есть в этом вопросе особый смысл — ставка не на прошлое, а на будущее.

Нет, Семен Петрович не собирался судить себя, ему нужно было только понять, что потянется от него в дальнюю даль грядущего. Прежде он пребывал в твердой уверенности, что его жизнь, его тяжелая работа приносит пользу,— этого было достаточно, чтобы чувствовать прочность и оправданность своего существования в мире, даже брать на себя смелость делать предсказания. Да и его фундаментальный труд «Единство процесса» давал основания для такой уверенности. Он машинально взял с полки свою книгу; это было хорошее издание: темно-зеленый коленкор, золотое тиснение; пробежал несколько страниц, увлекся, но чем дальше читал, тем сильнее в нем

крепло ощущение, будто он входит в здание с прекрасным фасадом, настоящий дворец; все в этом дворце оставалось на своих местах, создавая впечатление завершенности. но чувствовалось: половицы прогнили, на стенах и потолках обозначились трещины, штукатурка начала осыпаться...

Он закрыл книгу и подумал: надо обновить некоторые главы, время идет быстро, и слишком многое меняется в их науке; но понял — дело не в отдельных главах, а в основной мысли, в фундаменте, на котором держится постройка. Пройдет не такой уж долгий срок — и его теория отстанет от практики, ее забудут, а если и будут вспоминать, то как что-то отжившее. А что придет на смену? И без труда отыскал ответ: идеи Антона Дубцова, высказанные им в той самой книге, в предисловии к которой Кордин высокомерно писал: «обочина», «тропинка»... А ведь она, эта «тропинка», не только исключает доменный процесс, но и ломает древний, установившийся порядок, открывает возможность создания замкнутого цикла, в котором человек почти не будет принимать участия, возможность освобождения его от тяжкого труда. И Антон не просто сумел предугадать появление «чистых заводов» в будущем, а сам изобрел их.

Только сейчас Семен Петрович по-настоящему осмыслил слова, которыми заканчивалась книга Антона Дубцова: «Чтобы преобразовать мир, необходимо не предсказывать будущее, отвлекая словами внимание людей от главных забот, нет, не предсказывать, а изобретать это будущее, переходя границы сегодняшних возможностей». Поначалу, когда Семен Петрович прочел эти слова впервые, он снисходительно усмехнулся, а теперь сообразил: в них нет ничего абстрактного. они конкретны.

Он курил одну папиросу за другой; когда заломило виски, подошел к окну, открыл его — влажный воздух полился в комнату. «Бросить бы все к черту и рвануть отсюда!» — подумал Семен Петрович, испытывая необоримое желание оказаться как можно дальше не только от института, но и от этого огромного города, отрешиться от всех обязательств и начать новую, иную жизнь, непохожую на нынешнюю, в повседневной суете которой давно забылось: зачем, ради чего живет он?

При мысли о побеге он увидел слепящий простор моря и белый песок пляжа. «В Пицунду, — подумал он. — туда, где Алена... Вот взять и немедленно поехать в аэропорт, улететь».

Сейчас Алена возникла перед ним такой, какой он увидел ее, когда приехал после смерти Антона к ней на квартиру, гонимый странной потребностью убедиться, что Дубцова и в самом деле больше не существует...

На столе включился селектор, послышался жесткий голос Марии Ованесовны:

— Семен Петрович, звонят от замминистра, спрашивают, будете ли вы на совещании. Оно начнется через полчаса...

Будни были сильнее его, они не давали сосредоточиться, засасывали, втягивали в свой водоворот...

— Передайте, что буду. — вздохнул он.

Совещание было недолгим, замминистра, человек молодой, провел его энергично, останавливался только на главном.

Выходя из кабинета, Семен Петрович чуть не столкнулся с Узелковым.

— Куда спешим, Юрий Иванович? Так человека сбить можно...

— А-а, — поморщился Узелков, и мясистые щеки его недовольно дернулись. — День какой-то нелепый задался. На электричку поспеть надо...

— А что, у директора завода уже машину отобрали?

— Да поломался по дороге сюда, понимаешь, — сердито сказал Узелков. — Пришлось на попутке добираться.

— Может, починился, пока мы заседали?

— Нет, я уже справлялся. Ты извини, Семен Петрович...

Всем своим видом Узелков давал понять: он так спешит, что отнять у него минуту — это больше чем отнять жизнь. Глядя, как он весь подался вперед в широком своем пиджаке, в таких же широких брюках, выставив согнутые в локтях пухлые руки, словно намереваясь ими проложить себе дорогу, Семен Петрович внезапно подумал: «А не махнуть ли с ним?» Его срочный отъезд в Торск с директором завода ни у кого не вызовет недоумения, решат: в Торске срочная работа... Ему же эта поездка даст возможность хоть на время вырваться из круга повседневных забот, и он все сможет на досуге додумать до конца без помех. Эдакий самовольный отпуск... Узелков уже сделал шаг вперед, но Семен Петрович успел ухватить его за локоть.

— Обожди, Юрий Иванович.

Узелков повернулся к нему, посмотрел умоляющими глазами: да отпусти ты, мол, меня.

— Я тебя подвезу,— сказал Кордин.

— Да тут такси навалом,— отмахнулся Узелков.

— Зачем такси? Я тебя довезу,— усмехнулся Семен Петрович.

— Шутить?! — удивился Узелков.

— Нет,— серьезно ответил Семен Петрович и увидел: Узелков поверил, но насторожился:

— Дело какое? У нас?

— Дело,— кивнул Кордин.— Хочу новых родственников поглядеть.

— Из-за этого? — недоверчиво спросил Узелков.

— Из-за этого,— подтвердил Семен Петрович.— Только подожди немного — мне надо секретаря своего предупредить. Сразу же и поедем...

Глава десятая

1

Они ехали уже более часа, и Семену Петровичу начало казаться: поездка эта обычная, ничего особенного, захотел поехать — и поехал; видимо, и Узелков пообвык, утрелся и, обтянув себя ремнем, сидел широко, как привык сидеть в своей машине.

— Поесть мы где-нибудь сможем? А, хозяин? — весело спросил Семен Петрович.

— Не советую,— ответил Узелков.— А что, до Торска не дотерпишь?

— Можно и дотерпеть,— сказал Семен Петрович, доставая папиросы и на ходу закуривая.— Ночевать-то меняпустишь?

— Почему не пустить? У нас главковская квартира пустует. Был ведь, должен помнить... Ну вот и живи.

— А если и надолго останусь?

— Живи.— разрешил Узелков.— К нам высокое начальство с ночевкой очень редко приезжать стало... А ты не дубцовскую установку поглядеть?

— Я же сказал — родственников.

— Ну, родственников так родственников. Только зачем же на них несколько дней глаза пялить?

Семен Петрович расхохотался — все-таки Узелкова, хотя он и казался внешне спокойным, мучали сомнения: с чего это, мол, Кордин сорвался в Торск? Узелков, как и многие его коллеги, привык искать объяснение любому поступку, и если он оказывался недоступным его пониманию, настораживался иногда даже помимо воли своей, почти инстинктивно.

— А может, у меня есть тайная мысль,— сказал Семен Петрович,— на завод к тебе податься навсегда, с переменной места жительства.

— Не получится,— спокойно ответил Узелков.

— Это почему же?

— Ну, ты меньше чем на директора претендовать не можешь... Нет, не потому, что академик, а по складу характера. Но в директора ты, Семен Петрович, извини, не годишься... Ты только не сердись на меня. Я ведь знаю, как ты на Лещиновском в морозы командовал. Да это все, считай, знают...

— Что, плохо командовал?

— Нет, отчего же? Нормально. Так примерно в войну командовали, ну, некоторые и после. Своего добивались. Сила и воля, если им власть дать, они что хочешь перетрут. Вообще-то правильно, что Семенова с Лещиновского сняли. Командовать сейчас, Семен Петрович, нельзя.

— А что же можно?

— Советоваться и находить решения.

— Такой демократизм?

— Нет, Семен Петрович, это называется — управление... Ну, если мы сейчас об этом с тобой начнем, так до утра не кончим... Ты лучше на дорогу смотри. Видишь, грузовик как выхлает. Я пьяных издали чувствую...

— Обгоним,— успокоил его Семен Петрович и повел машину вперед, а когда грузовик остался позади, спросил: — Значит, в директора не гожусь?

— Лет двадцать назад, может быть, еще и годился,— сказал Узелков и решительно добавил: — А сейчас — нет. Да ты не расстраивайся...

— Ну как же не расстраиваться,— усмехнулся Семен Петрович,— когда тебе отвод дают... Ну а если на техотдел?

— Это подумать надо.— Юрий Иванович хитро блеснул глазами.— Да зачем тебе профессию менять? Или сейчас модно стало? Вот послушай, что я тебе расскажу.— Он устроился поудобнее и, не спуская глаз с дороги, заговорил: — Ты в Дутове на заводе был? Не был... Там директорствовал один с такой грозной фамилией — Захваткин. Однако мужик хороший, да и руководитель толковый, специалист классный. За границей, в Америке, на стажировке был. Смеялся все: у них вести дело — детская забава. Любой их администратор у нас на первом же месяце с круга сойдет... Но завод поставил будь здоров как. И поселок построил. Любили его в Дутове, считай, все... И вот представляешь, такой мужик вдруг берет и бросает все. Ну, конечно, не пускали, но он правдами-неправдами, а все же уволился и на Байкал уехал рыбу ловить. Я не поверил. Дай, думаю, смотаюсь к нему в отпуск, посмотрю, как мужик живет. Ведь я же Захваткина прекрасно знал. Честно говоря, была у меня к нему претензия: уж очень он иногда эдаким пижоном выглядел. Аккуратист. Костюм с иголки, платочек в кармашке, галстук модный... Ну не могу как любопытство разбирает. Прилетел в Иркутск, оттуда пароходиком. Нашел этого Захваткина. Он небольшой рыбацкой артелью командует. Бородищу отращил, ходит в сапогах, в робе брезентовой. Счастливый, лучится аж весь, прямо, глядишь, вот-вот лопнет от счастья. Живет с женой и двумя детишками в огромной избе. Тайга рядом, охота. Травки, грибы, ягоды. И рыба... Он так обликом изменился, что я сначала и не узнал, подумал: все ясно, умом тронулся, потому его и отпустили. А пожил у него и, честно говоря, кое в чем позавидовал. Все допытывался: как, мол, решил взять да бросить такой завод — и сюда. А я, говорит, всю жизнь мечтал так жить, а вот закрутило, завертело, чувствую: никогда мечты своей не исполню, если сам же решительно круг не разорву. Спрашиваю: да разве тут твое место?

Он смеется: это там я на чужом был, а здесь на своем... В общем, понял я — туда он не на год и не на два приехал. Если хочешь, адрес дам, поезжай. Интересный случай и тип интересный. Может, так и надо жить?

— Ну, за чем дело стало? — усмехнулся Семен Петрович. — Бумага есть, ручка есть — пиши заявление. Новый почин...

— Нет, — качнул головой Узелков. — Я на своем месте сижу. Мне в Торске хорошо. Я там при деле. Вот если оттуда выше начнут тянуть — буду сопротивляться, потому что планов у меня еще ой как много, но все они с Торском связаны и ради Торска... А что, Семен Петрович, — я опять про Захваткина — это ведь большую волю надо иметь, чтобы взять да всю жизнь изменить... Бывает, случается такое из-за женщины. Семью меняют, дом меняют. Жизнь... Это понятно. А вот чтобы так... А? Силен мужик!

— Может, и силен, а может, и слаб.

— Это почему слаб?

— Да ты же сам говорил: вести завод в наши дни не каждому под силу. Что, молодежь-то в директора не идет?

— Не идет, — согласился Узелков. — Иногда тянут, а они упираются... Сейчас директором быть, Семен Петрович, непрестижно. Да и работа такая — нужно заботу проявлять о всех и обо всем. Круглосуточно. А человек нынче старается сузить пространство интересов.

— Вот твой Захваткин и сузил, а ты мне его как героя превозносишь.

Узелков помолчал, почмокал жесткими губами и вздохнул:

— Нет, Семен Петрович, тут, пожалуй, другое... Захваткин не сбежал, он сначала завод поставил — до него скверный был заводик. Навел порядок, теперь бы и гнать по накатанным рельсам, а он уехал... Тут потребность души.

— А порядок на заводе он тоже наводил по потребности души?

— Тоже, — убежденно сказал Узелков. — По-моему, Семен Петрович, такие люди сейчас наиглавнейшие. Без них ну никак... Если всерьез говорить, мы сейчас, после того, что наломала наука, можем делать все. И любую одежду, и любую обувь, и накормить всех досьта. А в жизни наблюдаем разрыв между возможностями и их реализацией. Можем все, а добываем крохи... Ну, мы, хозяйственники, тебе всякие причины на этот счет выставим. Но если хочешь знать, то главное в том, что мало, очень даже мало стало у нас людей, которые потребностью души своей считают ликвидировать этот разрыв. А чтобы его ликвидировать, надо жить, все время изобретая, находить такой путь, которого до тебя не было... А если ты по проточному идешь, то в тот же тупик и уткнешься, откуда вышел.

— Ты тоже изобретаешь?

— Я? Стараюсь, но результаты, увы, не всегда... Вот Антон — он так жил. Он без этого не мог. Потому ему и трудно было, хотя надо сказать, он этих трудностей чаще и не замечал. Даже на обиды умел внимания не обращать...

— Ну, его-то нелегко было обидеть. Он сам мог любому на ногу наступить. Да и не так-то его обижали.

— Обижали, Семен Петрович. И ты обижал.

— Ну уж...

— Не надо, — сразу перебил Узелков. — Если у нас разговор на чистоту, то вот мы с тобой тут вдвоем в машине... На тебе-то вина серьезная есть.

— Что имеешь в виду?

— А то, что отверг его... Вот ведь как в жизни получается: ты в прежние годы не испугался, перед комиссией его защищал, хотя тебе это по тем временам кое-чем грозило. А вот когда сам вес обрел, то побоялся его к себе взять. Это я много раз наблюдал: проявит человек смелость в серьезном деле, а потом, когда жирком обростет,

перед любой неприятностью, если она его благополучию или престижу грозить будет, спасует.

Только выработанное годами умение быть готовым ко всяким неожиданностям дало возможность Семену Петровичу ничем не выдать своего потрясения. Он спросил с нарочитой небрежностью:

— Откуда про комиссию знаешь? Антон рассказал?

— Нет, Антон об этом никогда не вспоминал, да, может, и не знал. А вот работает у нас некий Лука Спиридонович...

— Я его помню еще по Крутоговору.

— Да, в годах, серьезных годах, но здоровья крепкого. Он у нас в отделе кадров. Должность у него маленькая — пенсия не позволяет на хорошей сидеть, — дома ему тоскливо. Один. Ни семьи, ни родственников, даже собаки не держит. Вот среди людей и суетится. Польза от него есть, даем ему возможность проявить себя... Дай-ка мне твою «казбечину», сигареты надоели.

Семен Петрович притормозил машину; они закурили, и этой паузы было достаточно, чтобы Кордин вновь обрел уверенность; теперь уж он мог ответить Узелкову.

— Ну, Юрий Иванович, надеюсь, ты не такой наивный человек, чтобы полагать, будто это — то, что не взял я его к себе в институт, — повлияло на судьбу Антона.

— И на его судьбу повлияло, — строго сказал Узелков. — И на твою. Ты-то постарше меня будешь, но поколение, считай, одно. А нас совестливыми воспитывали. Это сейчас такой отказ ничего не значит. А для нашего брата — камень на душе. С камнем-то жить неудобно. А приспособливаться надо... Ну, ты на меня сейчас обижаться будешь или потом? — Узелков хитровато взглянул на Семена Петровича.

— Обижаться я на тебя не буду. Только на кой ляд ты этот разговор завел?

— Да как-то само на это повернуло. Заранее не загадывал. Ну а потом — оно и лучше, что сказал. А то когда бы еще пришлось...

Выслушав это, Семен Петрович сообразил — Узелков дает понять: завод и в самом деле создаст все условия для Зиновия, если тот не останется в институте. Мальчик легко обойдется без Кордина. Он вспомнил, каким решительным выглядел Зиновий во время последнего разговора, и внезапно понял, за что воюет его младший сын: он воюет не только за себя, за свою самостоятельность, а за нечто большее, он, видимо, твердо решил не допустить повторения давней истории с Дубцовым.

— Ну что же, может, это и справедливо, — неожиданно сказал он вслух и пошел на обгон большого, забрызганного грязью рефрижератора.

— Справедливо, — твердо сказал Узелков. — Абсолютно справедливо. Ты вот не спрашиваешь, а другие спрашивали: почему я у себя дал возможность заняться «чистым заводом»? Ни плана, ни престижа, одна морока... Да и вообще... Я Дубцова хорошо знал, любил его. А вот нет его, и я думаю... О чем эта дубцовская история? Думаю, о том, как же беспощадны люди! Даже к идее, способной облегчить им жизнь, беспощадны, потому что не могут понять непривычное. Эх, мне ли тебе говорить, сколько гибнет в ваших архивах бесценных мыслей, а ведь все это — талант, напряжение, ум, воля. Труд, в конце концов... Неоценимые богатства гибнут. Даже страшно делается.

— Страшно, — усмехнулся Семен Петрович. — А сколько мы тебе разработок предлагали для внедрения, а ты отворачивался?

— Значит, не те разработки. А чтобы были те, мне и нужно: вы работаете у нас, мы у вас и не делим — это мое, это твое.

— Потому-то ты и решил прибрать Зиновия к себе, — неожиданно зло сказал Семен Петрович.

Узелков не ответил. И Семена Петровича внезапно охватила тяжкая усталость от этого разговора, ему захотелось только одного — покоя.

2

Лишь на другой день Наталье Львовне удалось выяснить, что Семен Петрович в Торске, и связаться с ним. Она не знала причины его столь внезапного отъезда и потому решила быть осторожной.

— Я понимаю, у тебя на заводе что-то срочное... Но когда тебя ждать?

— Посмотрим,— неопределенно ответил он.

— Но тут...— растерялась Наталья Львовна.— Сегодня мы получили известие: ученый совет состоится через два дня и в повестку включены выборы нового завлаба...

— Ну и что?

Этот вопрос ее озадачил, хотя она знала, что Семен Петрович уже предпринял кое-какие шаги, чтобы выборы прошли так, как он того хочет, но сегодня выяснилось: есть серьезные основания опасаться неудачи; но она не знала, как все это объяснить мужу.

— Я думала, ты побеспокоишься...

— Нет,— сразу же ответил он.

— Но ведь кто-то должен этим заняться.

— Занимайся.

Ответ ее смутил, но она не стала требовать, чтобы он высказался определенной, потому что почувствовала: ее настойчивость может вызвать раздражение Семена Петровича и лучше бы на время отступить. Она поговорила с ним о разных домашних делах и, когда опустила трубку, сама попыталась понять, что же значит это «занимайся»...

Сегодня у нее был нелегкий день. Как только она узнала о созыве совета, то сразу же разыскала ученого секретаря Киру Владимировну, с которой всегда поддерживала хорошие отношения, разыскала, чтобы получить информацию об ученом совете. Кира Владимировна ошеломила ее:

— Не все просто, Наталья Львовна, не все просто... Директор решил: необходимо заслушать доклады претендентов. Ожидается нечто вроде турнира.

— Это зачем же?

Кира Владимировна понизила голос до шепота и произнесла:

— Реваз Михайлович настоял...

И сразу же повеяло тревогой... Профессор, доктор наук Реваз Михайлович Габуния был кумиром институтской молодежи, да и ему самому было сорок пять; стройный, подтянутый, с насмешливой улыбкой, он зимой и летом ходил в джинсах, кожаном пиджаке и больше походил на разбитного интуристского гида, чем на ученого; говорил с чуть заметным грузинским акцентом, и это делало его речь особо привлекательной. У него была большая лаборатория, состоящая главным образом из молодежи, жили они весело, летом ходили в походы, устраивали капустники; лаборатория приносила немалый доход институту, заключая договоры со многими заводами,— у них было верное дело: Габуния окончил в свое время два института и на стыке разных наук находил неожиданные и оригинальные решения.

У него не было прямых столкновений с Семеном Петровичем, да и вообще Реваз Михайлович ни с кем не конфликтовал, а если и возникали конфликтные ситуации, отделялся шутками; он был остроумен, его остроты ходили по институту... Столкновений у них не было, и все же Наталья Львовна чувствовала — Габуния относится к Семену Петровичу со скрытым презрением. Держался он независимо, ни с чем к Семену Петровичу не обращался, а если же у Кордина

находились дела к Ревазу Михайловичу, то тот обычно откликнулся охотно, но, оказав услугу, никогда не напоминал о ней, словно ничего и не было. Наталья Львовна знала, что именно это больше всего настаивало Семена Петровича. И если такой человек, которому вообще-то должно быть безразлично, кто будет заведовать лабораторией в отделе Кордина, настоял, чтобы ученый совет выслушал доклады претендентов, то за этим кроется нечто серьезное.

Наталья Львовна не была так близко знакома с Габунией, чтобы подойти к нему и прямо спросить: в чем тут дело?.. Она задумалась: возможно, у Реваса Михайловича есть какие-то свои отношения с Кадкиным?

Конечно же, Семен Петрович легко бы распутал этот узел, если бы удосужился выслушать ее, но он бросил это свое «занимайся» и тем самым все заботы переложил на плечи Натальи Львовны.

Она повела скверную ночь; утром пошла было к директору, но в приемной ей сказали, что она вряд ли сегодня к нему попадет. Теперь Наталья Львовна окончательно поняла: все происходящее не случайность, кто-то действует против Семена Петровича, и действует организованно. Она тут же стала настойчиво звонить в Торск, через каждые полчаса, но телефон молчал. Она сердилась на мужа: бросить все в такой момент! Неужто он не понимает: если провалят Александра, то это будет сильный удар и по самому Семену Петровичу, его авторитет в институте пошатнется: к нему в отдел провели завлаба, которого он не признавал!.. Вообще в последние дни Семен Петрович казался ей странным, и она сначала беспокоилась — уж не заболел ли; пыталась несколько раз начистоту поговорить с ним, но он от подобных разговоров уклонялся, а она по опыту знала: лучше его в таком состоянии не трогать. Однако состояние состоянием, но ведь должен же он понимать, что нельзя пустать дело на самотек... Она так взвинтила себя, что решила действовать немедленно. Чем бы ни закончился «турнир», но решаться все будет голосованием, и потому необходимо успеть за эти два дня обзвонить или обойти всех членов ученого совета, которые хоть чем-нибудь обязаны Семену Петровичу, заручиться их поддержкой и дать им понять: Семен Петрович обид не прощает... Конечно, так прямо и грубо вести разговор нельзя, вообще не следует обнажать суть, нужен такт, вежливость и изворотливость, нужно находить ту интонацию и те слова, которые не задела бы самолюбия человека. Каждый член ученого совета считает себя личностью, причем самостоятельно мыслящей и независимой, и полагает, что решения принимать должен только он сам и никто иной, потому и роль Натальи Львовны должна свестись к тому, чтобы человек убедился, поверил: да, это он сам так решил, а не она... Все это ей предстоит проделать, и она это проделает, но прежде всего необходимо встретиться с Луговинным. Все-таки председатель конкурсной комиссии многим обязан Семену Петровичу.

Она нашла его в кабинете; он сразу же поднялся из-за стола, пошел навстречу, улыбаясь косеньким ртом, поцеловал руку.

— Я к вам,— сказала она, усаживаясь в кресло,— по конкурсным делам...

— Догадался, догадался,— закивал Луговинов.— Через два дня все решится.

— Тогда скажите мне, дорогой Константин Алексеевич, откуда эти нововведения? Отчего это вдруг решили: нужны какие-то доклады?

— И вправду, вправду нововведения,— засмеялся Луговинов, но смех его показался Наталье Львовне искусственным.— Хотя, между прочим, такое уже бывало в академических институтах... Видите ли, Наталья Львовна, некоторые товарищи считают, что два претендента — вроде бы темные лошадки.

— Объяснитесь, Константин Алексеевич, я что-то не понимаю... Разве Александр новый человек в институте?

— Что вы, что вы,— замахал обеими руками Луговинов.— О нем самые лестные отзывы и независимо от авторитета Семена Петровича. Все знают — он хороший ученый и организатор. Но... Тут есть одно «но»... Дубцовская лаборатория не по его прямой специальности. И потому было решено заслушать доклад Александра Семеновича, чтобы он доложил ученому совету, как, в каком направлении думает вести лабораторию, какие у него планы. Естественно, что этого потребовали и от Кадкина и от Зиновия Семеновича... Я пыгался протестовать, но мой голос не имел решающего значения. Однако смею вас уверить, Наталья Львовна, это чистая формальность. К Александру Семеновичу все хорошо относятся. А этот Кадкин — человек напористый и скандальный. Да, да, он и мне пытался угрожать. И если не дать ему высказаться на ученом совете, он такой грохот поднимет... Да и не верю я, что он может сделать доклад лучше Александра Семеновича. Не забывайте — он производственник, у него нет опыта научных докладов. Так что вы напрасно беспокоитесь, Наталья Львовна. Я уверен: через два дня мы будем поздравлять Александра Семеновича.

В том, что говорил Луговинов, была своя логика, и ему можно было доверять, но Наталья Львовна покинула кабинет с усилившимся чувством тревоги. Ей некогда было размышлять, что же на самом деле происходит, достаточно было самого ощущения опасности, нависшей над их семьей, а беду можно отвести только одним: действием.

Она приехала домой, наскоро выпила кофе и прошла в кабинет Семена Петровича; едва села в его рабочее кресло и перед ней раскинулось коричневое поле добротного письменного стола, как почувствовала уверенность. Для начала она позвонила Александру, спросила, готовится ли он к докладу. Тот ответил, что именно этим сейчас и занят. Его усталый, вялый голос, в котором сквозило раздражение, ей не понравился, и она, стараясь быть ласковой, сказала:

— Сашенька, я хочу, чтобы ты понял: твой доклад — это не формальность. Это очень серьезно. Поверь мне, от него слишком многое зависит.

— Я понимаю,— уныло ответил он...

Потом она взяла узкую длинную записную книжку, куда Семен Петрович записывал телефоны; нашла служебный справочник, в котором были фамилии всех членов ученого совета, выписала их на отдельный листок и на него же переписала из записной книжки домашние телефоны этих людей. Но прежде чем начать звонить, внимательно проглядела список и галочками отметила, кого считает надежными союзниками. Начинать надо не с них; главное — заручиться поддержкой тех, в ком она сомневается и кто может выступить против Александра.

Пожалуй, лучше всего начать со старика Кульбитова, хмурого, желчного человека; он не скрывает своей неприязни к Кордину, но у него есть свои приверженцы, человек пять, а это уже сила, и если ей удастся сговориться со стариком, то перевес будет явно на стороне Александра.

Она решительно набрала номер, трубку сразу же сняли, старческий хриловатый голос недовольно сказал:

— У телефона.

— Добрый вечер, Станислав Андронович... Вас, наверное, удивит мой звонок, мы не так близко с вами знакомы. Это говорит жена Семена Петровича Кордина...

Она не договорила — Кульбитов ее тут же прервал:

— Напрасно, напрасно, Наталья Львовна, вы считаете меня своим дальним знакомым. Напротив, я весьма расположен... — Он закашлялся, и пока он кашлял, она пыталась сообразить: что означает эта необычная вежливость старика?.. Скорее всего он ждал звонка, если

не от нее, то от Семена Петровича.— Как, осмелюсь спросить, здоровье вашего уважаемого супруга?

— Благодарю вас. Все в порядке. Но он в отъезде.

— Жаль. Я собирался его потревожить, но коль в отъезде...

— Я рада, если он нужен вам,— быстро произнесла Наталья Львовна, сообразив, что у Кульбитова и в самом деле может быть какая-то просьба к Семену Петровичу.— Мы созваниваемся с ним, и если что нужно...

— Ну, сейчас его не стоит затруднять... Да и дело пустяковое... Внучонок мой получил направление в наш институт. Речь идет об аспирантуре в отделе вашего супруга. Конечно же, сущий пустяк. Но это потом, когда Семен Петрович отыщет свободную минуту.

— Я ему скажу об этом завтра, Станислав Андронович, и думаю, он тут же распорядится... Вы, конечно, будете на совете в четверг?

— Намерен.

— Вот там я и сообщу вам о результатах...

Больше ничего не надо было добавлять; еще раз обменявшись с Кульбитовым любезностями, она, довольная, положила трубку и подмигнула сама себе: «На ловца и зверь бежит».

Она сделала отметку в списке, передохнула и набрала новый номер...

Наталья Львовна не смогла обзвонить всех нужных людей за вечер: кто-то еще не вернулся, кто-то вообще уехал. На следующий день она занималась только этим, а потом подвела итоги. По ее подсчетам выходило, что почти две трети членов ученого совета должны без всяких колебаний голосовать за Александра. Подсчет ее успокоил, но, измученная суетой, она долго не могла уснуть, не помогло и снотворное, голова кружилась, поташнивало; намаявшись, она поднялась и среди ночи решила выпить чаю.

Сидела на кухне в ночной рубашке, не зажигая света, ждала, когда закипит чайник. За окном шел снег, его мелькание особенно отчетливо было видно под мертвенно-бледными уличными фонарями; она смотрела на его мельтешение и думала о том, что пришлось перенести ей за два этих дня. Сейчас ей все это казалось унизительным — не только для нее, но и для Семена Петровича и для Александра, хотя ни тот, ни другой не знали о ее действиях. «Как нищенка, с протянутой рукой... Зачем?» — устало подумала она, но тут же успокоила себя: каждый исполняет свой долг как может...

Разбудил ее телефонный звонок, она торопливо схватила трубку, так как была уверена — звонит Семен Петрович, но услышала чужой, хоть и знакомый голос, и никак не могла вспомнить, чей же он.

— Наталья Львовна, Наталья Львовна, вы слышите меня?

Она взглянула на часы (было начало десятого) и вспомнила: на двенадцать назначено заседание совета,— а вспомнив, тотчас узнала, кто звонит:

— Да, да, Константин Алексеевич... Слушаю вас.

— Я ничего не понимаю, Наталья Львовна... Совершенно ничего!

У нее сжалось сердце в предчувствии беды, но она все-таки взяла себя в руки и потребовала:

— Объясните, в чем дело!

— Вы не в курсе?

— Нет!

— Тогда тем более странно.— Голос Луговина бился в телефонной трубке.— Пятнадцать минут назад Александр Семенович пришел ко мне и потребовал, чтобы я вернул документы.

— И вы вернули? — ахнула Наталья Львовна.

— Я не мог иначе. Он заявил, что снимает свою кандидатуру.

Он еще что-то говорил, но она, не слушая, положила трубку; нечто серое, как дождь со снегом, который шел за окном, заструилось перед глазами, мозг сверлила мысль: «Что же будет? Что же теперь будет?»

Но эта растерянность продолжалась недолго. «Да что же это я сижу-то?» — изумилась она себе и торопливо стала собираться: ей нужно в институт как можно быстрее, все успеть, все уладить до начала ученого совета.

Когда она ворвалась к Александру, он сидел над какими-то бумагами, что-то торопливо черкая в них. Он вздрогнул, услышав, как хлопнула дверь, поднял глаза — и от жалости к нему у Натальи Львовны защемило сердце, она увидела, как он постарел за эти дни: залысины его стали шире, обнажились бугры выше лба, под глазами обозначились нездоровые полукружья; она больно прикусила губу и опустилась на стул рядом с ним.

— Саша, зачем ты это сделал? — с трудом выговорила она.

Он улыбнулся; улыбка у него вышла болезненная и жалкая.

— Так нужно, — сказал он. — Впрочем, я все объяснил отцу.

— Он здесь? — вскинулась Наталья Львовна.

— Нет, — ответил Александр. — Я звонил в Торск и сказал ему, что забираю документы.

— А он? — тревожно спросила она.

— Он сказал — это мое дело. И еще... Еще он сказал, что сейчас на моем месте поступил бы так же.

Она лишь растерянно проговорила:

— Да, но через час ученый совет...

— На нем не будет рассматриваться это дело. Директор снял его с повестки дня, узнав, что отец на совет не приедет. Все-таки речь идет о лаборатории в его отделе.

— Боже мой, — выдохнула Наталья Львовна и не выдержала, прижала ладони к лицу и расплакалась, ее трясло от этих слез, но она не могла их унять; все собралось вместе: и напряжение последних дней, и бессонница, и тревога за Семена Петровича и детей, и отчаяние от невозможности ясно понять, что же происходит кругом.

Александр успокаивал ее, гладя широкой ладонью по волосам; она была благодарна ему за эту ласку.

3

Он проснулся и сразу же увидел за окном пушистый снег на необлетевших листьях березы; снег лежал и на соснах, и на траве, и на шиферной крыше небольшого домика, он сверкал, искрился, от его белизны ломило глаза... Семен Петрович быстро поднялся и голым пошел в душ — перемены в его жизни не сказались на многолетних привычках.

Еще стоя под душем, подумал: «Вот сейчас и пойду к ним. Пора... А то и в самом деле неловко».

Через час он уже выходил из дома, где помещалась главковская квартира, прихватив с собой сверток, приготовленный накануне, в котором лежали бутылка коньяка, бутылка шампанского и коробка конфет, добытая с переплатой в местном ресторане «Лада».

Он прищурился, взглянув на ослепительную шапку снега, наметенную за ночь на крышу «Волги», открыл машину, положил в нее пакет и достал веничек... У него давно не было такого бодрого настроения, и, работая, он с удовольствием насвистывал марш из оперы «Кармен». Все-таки недаром прошли эти безмятежные дни в Торске, нет, недаром, хотя заполнены они были ленивыми и необязательными делами... Он просыпался в трехкомнатной главковской квартире, где имелось все необходимое для нормальной жизни, шел на рынок; ему нравилось бродить меж прилавков, брать на пробу приглянувшееся, торговаться с разбитными тетками — все это отдаленно напоминало молодость, послевоенные годы, когда казалось, что все лучшее еще впереди...

Он бродил по городу, заглядывал в магазины, вслушивался в разговоры людей, иногда подходил к пивному ларьку, брал кружку пива, пил, сдувая пену, среди хмельных и шумных мужиков, а то шел на вокзал, садился на скамейку, наблюдая за подходящими электричками и как высыпали из них на перрон жители Торска,— он определял их по туго набитым авоськам и сумкам, в которых виднелись консервные банки, горлышки бутылок, пачки масла. Но более всего ему нравился старый парк с высокими липами и корявыми черными осоками возле пруда; даже в дождливый день здесь было хорошо. Семен Петрович забирался под навес дощатого павильона, который, видимо, работал только летом, и оттуда смотрел сквозь деревья на воду. Слева в пруду отражались цехи завода, а справа и на том берегу стеной стоял лес. Он не мог бы вспомнить сейчас ни одной мысли, которые нарождались в нем в те часы, они возникали и исчезали, наверное, почти бесследно, и было такое ощущение, будто течет над ним легкий, прозрачный ручей, который уносит с собой все заботы, все тревоги его будничных дней.

В первый день его еще назойливо мучил этот вопрос: что остается? Но однажды, когда он сидел под навесом, глядя на рябую от дождя поверхность воды, его осенило: да ничего не остается, и что может остаться-то?.. Идеи, которые он выдвигал? Они могли удивлять людей лишь сначала, потом быстро тускнели, устаревали, становились никому не нужными; такое происходило не только с ним, но и со многими, очень многими учеными, потому что подлинных открытий, которые по-настоящему могли бы преобразовать мир или хотя бы улучшить какую-то часть его, так немного. Но и они, чтобы остаться и существовать, требуют свежих фактов, все новых и новых данных, а когда становится невозможным их добывать, идея обращается в тень минувшего... Он знал об этом, он догадывался об этом и прежде, поэтому и избрал для себя одновременно два пути. В конце первого маячило общественное признание, и он всю свою настойчивость и волю направил на добычу степеней и званий; он спешил, пока идея еще не потеряла блеска новизны, выставить ее напоказ, шел от защиты к защите, от выборов к выборам и добился своего. Второй путь — книги; он вовремя сообразил: идеи, выдвинутые им, не могут долго просуществовать по отдельности, их надо связать друг с другом, объединить под крышей единой теории... «Единство процесса»... Оба пути привели его к успеху, но сейчас обнаружилось — это не может иметь продолжения во времени: после его смерти степени и звания превратятся в пустой звук, такое случилось уже не с одним академиком, а книги... книги так же стареют, как и идеи... Остаются дети, только дети, потому-то он и придавал такое значение семье; заставил детей выбрать его профессию, чтобы, когда его не станет, они сумели продолжить его труды, не дать им кануть в небытие.

А что случилось?.. Зиновий ушел и продолжил труды не его, а Антона, и поэтому, если судить по духовной преемственности, Зиновий не его сын, он сын Антона, хотя никакого кровного родства между ними нет. Александр?.. Здесь уж он сам, академик Кордин, повинен, что сотворил из него человека, покорно бредущего по его следам.

Где-то он слышал однажды: детей любят не за сходство с собой, а за отличие. Да и не может быть подлинной любви к тому, что каждый день видишь в зеркале, это ненормально. Настоящая любовь держится не на кровном родстве, не на долге или уважении, она должна быть свободна, как и все на свете... Так что же остается?..

Сидя на веранде возле барьера, на котором облупилась краска, он вдруг почувствовал ужас, ему сделалось страшно, потому что осознал: если оглянется назад, то там окажется пустыня, выжженная его волей, напором, его властной силой, его стремлением добиться того, что, может быть, ему и не принадлежало; пустыня, в которой он не способен заново возродить жизнь. Сколько же он видел некогда

именитых, а затем ставших бесплодными ученых! Они не признавались в своем бесплодии, страшились потерять должности и, чтобы удержать их, делали многообещающие заявления; им не всегда верили, но оставляли на местах, отдавая дань уважения прошлым заслугам. А лаборатории, отделы, а то и целые институты разваливались у всех на глазах. Неужто и он придет к такому?.. Нет, не придет! Не допустит!

Понимание этого принесло ему раскрепощение. Он почувствовал — сейчас нельзя возвращаться в Москву, ему вообще никуда нельзя возвращаться, и это, как ни странно, успокоило его, он вдруг ощутил: душевное равновесие приходит к нему...

Дом Сорокопудовых он нашел быстро. Оставив машину у ворот, он отворил калитку и увидел большую черную собаку — она внимательно смотрела на него умными незлобивыми глазами, но он понял: если сделает еще шаг, этот могучий пес может кинуться на него, — и потому крикнул в глубину двора, уставленного разными сараюшками:

— Эй, есть тут кто-нибудь?

Из-за угла веранды вышел парень в нейлоновой куртке, при пегой бороде; щурясь на солнце, он обтирал ветошью руки. Лицо бородатого показало Семену Петровичу знакомым, но он не мог вспомнить, где его видел и при каких обстоятельствах.

— Мне Сорокопудовы нужны. Туда я попал? — спросил Семен Петрович.

— Сюда попали, сюда, — ответил бородатый. — Проходите, товарищ Кордин. Акселерат, уступи дорогу академику!.. Прошу, Семен Петрович. Меня Николаем зовут, я брат Вали. А по отношению к вам в каком родстве состою, в силу забвения народной генеалогии вычислить не могу... Проходите, только я сначала мать с отцом предупрежу, а то от растерянности с ними что-нибудь нехорошее приключится.

Николай исчез в доме. Семену Петровичу не очень-то понравилось его болтливое ухарство, но что поделаешь — он тут гость. Пока не спеша шел по дорожке к крыльцу, вспомнил, что Зиновий и Антон как-то рассказывали о Николае, что тот одарен способностью мгновенно определять сущность любого механизма и что лучшего механизма для экспериментальных работ не найти.

— Ну вот, — выскочил на крыльцо Николай, — я же им с утра говорил: нынче гость будет, оденьтесь по-человечески. Мать поверила, она в мои экстрасенсные предчувствия верит, а отец, он всю жизнь из сомневающихся, потому и сидел в кальсонах, смотрел телевизор... Вот сюда проходите. Зала у нас вот здесь...

Семен Петрович перешагнул порог, и навстречу ему поплыла широкая круглолицая женщина с веселыми, очень похожими на Валины глазами, пропела:

— Милости просим...

На пороге соседней комнаты появился худощавый человек с плутовским морщинистым лицом; на ходу застегивая брюки, он умудрился обогнать Алевтину Владимировну и первым протянул руку. Семен Петрович почувствовал, какая у него она крепкая. Заскорузлая, словно подошва, он взглянул на нее, увидел множество шрамов на пальцах — и эта рука вызвала у него уважение.

— Рады, что заглянули. давно слышали, что вы в Торске.

Семен Петрович удивился ему казалось, что о нем знает только Узелков. Юрий Иванович сначала звонил, приглашал к себе на завод, но Семен Петрович объяснил, что никуда не пойдет, и просил Узелкова не тревожить его, потому что ему необходимо побыть одному, и еще он просил никого не извещать о его приезде. Узелков — человек слова. Значит, слухи о приезде Кордина в Торск распространились помимо директора завода.

— Ну и что же вы слышали?

— А все болтают! — махнул рукой Иван Дмитриевич. — Однако один слушок любопытный, к нему народ с большим понятием относится. Будто вы, Семен Петрович, в запой ушли и по этой причине из Москвы смылись. Меня, честно, интерес взял, и я не сдержался, Валентине в Москву позвонил. Она меня за это крепко обругала... Ну что, неверный слушок? — Он плутовски шурился на Семена Петровича.

— Да что ты, окаянный! — прикрикнула на него Алевтина Владимировна.

А Семен Петрович рассмеялся, развернул пакет; открыв его содержимое, сказал:

— А мы сейчас проверим.

Увидев бутылки, Иван Дмитриевич посерьезнел, строгим голосом произнес:

— Мать...

— Да без тебя знаю, — отмахнулась Алевтина Владимировна и быстро пошла из комнаты.

А Николай не выдержал, расхохотался, сгреб в ладонь бороду и сунул ее в рот, словно хотел заглушить смех.

— Да ты же, папаня, коньяк презираешь?

— Верно, — сказал Иван Дмитриевич. — Для здоровья лучше водки нет, и она у меня в заначке имеется... Да что стоим? Давайте все к столу. Алевтина — она быстрая. И чихнуть не успеем, полон стол будет...

Пока они рассаживались, пока закуривали, Алевтина Владимировна принесла большой поднос с закусками, с овощами. Иван Дмитриевич на мгновение исчез и вернулся со своей поллитровкой.

— Однако рано начинаем, — садясь за стол, сказала Алевтина Владимировна. — Сегодня Валюша с Зиновием придут, утром у них в загсе расписка. Думала: сядем, отметим. Свадьбы, вишь, они не хотят. Нынче вообще не разберешь, кто чего хочет... Ну да ладно. Со знакомством вас, Семен Петрович...

Они выпили; он с самого начала, как только переступил порог этого дома, не чувствовал никакой неловкости, и сейчас ему было легко среди этих людей, будто и прежде он их знал, давным-давно сидел с ними за этим круглым массивным столом.

— А ты, Семен Петрович, на войне-то был?.. Это ничего, что на ты? Сродственники все же...

— Ничего, ничего, — кивнул Семен Петрович. — На войне был.

— В начальниках небось? — ухмыльнулся Иван Дмитриевич, блеснув золотым зубом.

— Нет... В разведроту. А до того связистом в пехоте.

— Ну? — недоверчиво протянул Иван Дмитриевич. — И дырка есть?

— Есть. Из-за нее и списали раньше срока.

— Покажи!

— Брюки снимать придется, — рассмеялся Семен Петрович.

— Ты что, охальник, делаешь! — возмутилась Алевтина Владимировна.

— Это да... Это я от растерянности... Извини, Семен Петрович. Я, понимаешь, как-то по привычке, если человек в чинах, то он и в войну в чинах или же при них... Извини. Однако же ты крепко, если в разведроту. Это ты и меня обштопал. Я в артиллерии был. На «сорокапятке» воевал. Знаешь, «Прощай, Родина» звалась?

— Помню.

— Эх, Семен Петрович, не умею объяснить, а чем старше становлюсь, тем мыслями ближе к тем годам военным. И не я, заметь, один. С кем из старых знакомцев ни встречаюсь — все о том же. Да и народ... Недаром же о ветеранах шуму столько. Вроде бы после войны чего только в моей жизни не было, а на фронте я всего-то два года был, а все же мыслью туда все время возвращаешься. Товарищей своих,

кто не дожил, вспоминаю. Иных и как звать забыл, только и осталось в памяти, что из одного котелка с ним ел. Но то, что они мне в той жизни сделали или я им, помню и за это любовь к ним чувствую, словно они родные... Раньше вроде про это не вспоминал. Вкалывал, оглядываться некогда было... А тебе война-то не снится?

— Нет,—признался Семен Петрович.—Прежде снилась, когда с нее пришел. А сейчас... Нет.

— Ну, значит, еще не дожил. Доживешь,—пообещал он.—Я ведь долго думал: отчего это вдруг такой возврат души во мне произошел?

— Ну и что удумал?—спросила Алевтина Владимировна.

— Обыкновенное дело,—сказал Иван Дмитриевич, вращая стопку в пальцах, но не смея ее поднять.—В ту пору, в войну, значит, мы истинность и смысл жизни как на ладошке видели. И чище их у нас, пацанов седых, не было. А потом она, эта истинность, за суетой сует теряться стала. А как из суеты выскочил, стало быть, снова в нее взглядеться захотелось...

— Ну что вы, папаня,—хмыкнул Николай.—Это что же выходит, если мы войны не нюхали, значит, и смысла жизни не узнали? Так, что ли?

— Э-э нет,—блеснул золотым зубом Иван Дмитриевич.—Ты меня на это не подцепишь. У вас — ваше, у нас — наше. Ты про свою истинность думай, если, конечно, способный к этому. А я про свою думаю. И где затуманил ее, тоже ищу. Но это опять же мое дело...

— Да брось ты, Ваня, куда-то тебя повело,—сказала Алевтина Владимировна и обернулась к Семену Петровичу.—С ним и верно что-то в последнее время случилось. Гляжу — день трезвый, второй, потом неделя. Уйдет к своим — и снова трезвый возвращается, хоть и задумчивый. Посчитала — захворал. А потом гляжу, вроде бы ничего, только и вправду все войну вспоминает...

— А вот сейчас выпью,—сказал Иван Дмитриевич и лихо опрокинул содержимое стопки в рот.—Споем!

И неожиданно запел хоть и не сильным, но хорошо поставленным голосом:

— Соловей кукушку уговаривал...

Семен Петрович знал эту песню, то была старая уральская песня, он подхватил ее, и Алевтина Владимировна стала подпевать и Николай; Семен Петрович пел и неожиданно вспомнил, когда услышал ее впервые, и от кого ее услышал — тоже вспомнил...

Это было за рекой Великой, на пяточке. Там траншеи вырыли в плотном песчанике, за побитым снарядами сосняком. Землянка в три наката. Со стен, забранных жердями, и с бревенчатого потолка при обстрелах сыпался песок, шуршал по плащ-палаткам. На этом наблюдательном пункте они жили долго, готовясь к наступлению. Там и сдружился он с тихим парнишкой из уральской деревни Илюшей Громовым; тот знал множество песен и стихов, больше старинных, видимо, у них в деревне читали старые, очень старые книги — ни прежде, ни потом Семен Петрович не слышал таких стихов, какие слышал от Илюши Громова. И еще он вспомнил слова, которые сказал этот парнишка, глядя на оттаявшую на припеке землю: «Эх, пройти бы по траве на рассвете...» Семен Петрович не знал, была ли то строка из стихотворения или просто вздох, в котором выплеснулась тоска человека по чему-то сокровенному, любимому, но утраченному. Слова, однако, запомнились... Случилось так, что его вызвали в роту; он пополз от траншеи в тыл, уже добрался до сосняка, как вдруг начался артобстрел. А потом, когда затихло, поднялся и обомлел — вся траншея разворочена. Его пронзило предчувствие беды, и он, хотя ему нужно было в роту, все же повернул назад. Когда добрался до наблюдательного пункта, то увидел — прямое попадание. Из песка, перемешанного с черным снегом, торчали расщепленные, обнаженные, белые, как кости, бревна... Он долго тосковал по Илюше Громову;

других ребят, что погибли там, не помнил, а вот этот парень остался навсегда в памяти. И когда потом, после того как прорвали немецкую оборону, они шли раскисшей дорогой мимо побитых монастырских стен, а возле могилы Пушкина стояли, застыв в почетном карауле, солдаты в плащ-палатках, и те, кто двигался мимо, бросали еловые ветви, курган из них все рос и рос, он вспомнил Илюшу и его слова: «Эх, пройти бы по траве на рассвете»...

Они еще поговорили, вспомнили о детях, выпили немного, и Семен Петрович почувствовал — пора уходить.

— Ну что же, спасибо, что заглянули,— говорила Алевтина Владимировна,— все же внуков-то одних нянчить придется. Да и рядом будете — заходите, всегда рады...

Николай проводил его до калитки, предложил:

— Все-таки вы выпили, может, мне вам машину отогнать?

— Не беспокойся,— кивнул Семен Петрович.— Торск не Москва. Я осторожно, да тут и недалеко...

Он и в самом деле повел машину медленно, но до дома, где жил эти дни, не доехал; остановился неподалеку от заводской проходной, в том месте, где начинался парк. Вышел, прошел по дорожке в сторону пруда. Снег согнало, но местами, где долго держалась тень, он еще сохранился и поражал белизной. Семен Петрович вышел к пруду, сел на скамейку, закурил и сидел так долго, глядя, как отражаются лучи от воды, как неторопливо скользят по ее гладкой поверхности желтые листья; тени сместились, а он все сидел и сидел, словно сам был частицей покоя, который объят все, что было вокруг. Ему было хорошо, и он знал почему: еще в доме у Сорокопудовых в нем окончательно созрело решение, а теперь оно укрепилось, и ничто не могло изменить его. Мир, из которого он совершил побег, вращался в отдалении, там шла своя, неясная и странная непосвященному жизнь; шла без него, она будет и дальше двигаться без его участия, потому что не нуждается в нем, но стоит ему вернуться — и опять он потребуете всем и каждому, как будто и в самом деле так необходим им, но теперь он знает — это обман, потому возвращение невозможно. Да он и не хочет его, он хочет каждый день видеть рассветное небо, теплый туман меж деревьями, хочет идти по мягкой зелени трав или, выйдя в морозное утро, сжать в ладони режущий холодом снег, омыть им лицо,— он понимал: за этим желанием простоты и ясности бытия стоит нечто большее и это большее должно вырвать его из круга повседневной суеты, увести с дороги, которая последние годы вела его в никуда. За спиной зашуршали шаги, он узнал их; не поднимая головы, сказал:

— Садись.

Зиновий сел рядом, и он почувствовал его теплое плечо.

— Ты не замерз, отец?

— Нет.

Зиновий молчал, закуривая сигарету. Тогда он повернулся к нему: солнце вызолотило волосы сына, которые выбивались из-под кепки.

— Все в порядке? — спросил Семен Петрович.

— Все в порядке,— ответил Зиновий.— Только мама беспокоится, когда ты вернешься...

— Зачем беспокоиться? — не сразу ответил он.— Беспокойства наши кончились... Не так ли?

Зиновий не отвечал, он смотрел, как медленно скользят по гладкой поверхности пруда желтые листья.

МАРТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ



ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМЕНА»

* * *

Сколько вложено доверья
В эти строчки, закорючки.
Слаблю лет гусиных перья
И чернила авторучки.

То элегия, то драма,
Но рука неумоима —
И вонзилась эпиграмма
В толстый панцирь мещанина.

Если нет клочка бумаги,
Но в огне душа и разум,
Кто-то в сизом полумраке
По стеклу писал алмазом.

Выцарапывал ногтями
На тупой тюремной стенке
И предсмертными словами
Заставлял стенать застенки.

Языки огня оближут
Груды книг, в огне нет брода,
Только вырвать не могли же
Никогда язык народа.

И папирус и пергамент —
Душ рентгеновские снимки
Не умрут. Но бросим в пламень
Плагиат и анонимки.

Слаблю тех, кому не спится,
Тех, кто пишет до рассвета
С прилежаньем летописца,
С вдохновением поэта.

На бумаге, на салфетке,
На песке, на небосводе —
О земле, цветущей ветке,
О любви и о свободе.

Язык

Полнокровие Волги и Дона,
Напряженная мышца воды, —
Долгожданный спасительный донор
И защита от знойной беды.
Пруд глазастый, степная криница
И живые, как пульс, родники,
И вперед неустанно стремится
Дальнозоркое око Оки.
Почва мучится засухи зудом,
Никнет леса зеленая новь,
Но течет по подземным сосудам
Голубая прохладная кровь.
Замутят ли, пропустят сквозь трубы,
Как текучую плоть языка.
Я спешу опустить свои губы
В полноводное слово — река.
Пусть под страхом опасности грозной
Вьется наша земная стезя,
Оросительной и кровеносной
Этой жиле иссякнуть нельзя.

Краткой жизни бездонные годы
 Отдала бы без грусти, как миг,
 Чтоб не сделались горькими воды,
 Не засох разговорный родник.
 Над землей горы облачной пены
 Всё плывут неизвестно куда.
 И полны жизнетворные вены —
 Речь и речка, душа и вода.

* *
 * *

Что прочитать смогу на небосводе я —
 Знак зодиака, тайну бытия?
 Созвездие Кирилла и Мефодия —
 Единственная азбука моя.

Вступать ли с небесами в состязание?
 Природы слог бессмертен и высок.
 А я — всего песчинка мироздания,
 Но это, видно, золотой песок.

Травинка спорит с выжженными скалами,
 А птица — с облаками в вышине.
 Где грань между великими и малыми?
 Мы все творим друг с другом наравне.

Все записать бы, что из сердца выльется,
 Все, что вокруг, успеть в себя вобрать.
 А в темном небе светится Кирилица,
 И звезд осколки сыплются в тетрадь.

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

Море

Памяти боевых кораблей Черноморской эскадры, затоплен-
 ных в Цемесской бухте в 1918 году.

1

Над лазурными водами Свод небес ослепительный... О, эсминец «Пронзительный», Миноносец «Стремительный»... На веранде решетчатой Абрикос в пальцах греючи, Как на выстрел — на шепот чей? —	Флаги плещут, — но не сдаюсь!»... И в ушах — этот долгий залп, И в глазах — этот водный столб, И рука — среди вен — штурвал — Бескозыркой отерла лоб... Мое дело в лото играть, Соль морскую с волос смывать Да краснеть ввиду кителя — Каб не плач удивительный: «О, эсминец «Пронзительный», Миноносец «Стремительный»...»
---	---

2

Взяты в недра бессветные, В дикой бездне оглохшие, Вы, железные, бедные, Ровно дети утопшие. А кому я свой плач скажу? Нет отверстых для слуха дыр. Я в сиротстве таком живу, Что, должно, обрету весь мир.	Опершись на мостках сырых О спасательный дряхлый круг, Прошепчу я свой первый стих В твой, о море, гигантский слух: «Дай и жить и пропасть в борьбе, Чтобы, пробуя кровь на вкус, „Погиба...” — прохрипеть судьбе И, чуть тише, — „но не сдаюсь!”».
--	--

* * *

Я вышла к прожектору. Над бирюзой
 Лишь флаги да чайки блистали...
 Я целую жизнь прожила на морской
 Заставе. На горной заставе.
 Табачную дымную розу волне
 Воздушной дала — и забыла...
 По нашей скале на прошедшей войне
 В упор артиллерия била.
 Сколь раз создавала я бедный уют! —
 Норд-остом весь тюль изорвало...
 Мужик! Я в разлуках тельняшку твою
 И гладила и целовала!..
 Все плац, и беленые стены, и сад,
 И флаг, и учебные классы...
 Всю жизнь мою к вышкам уходит наряд...
 Все запах карболки и ваксы...
 Каких стали в армию брать огольцов!
 Что дети — солдатики наши...
 Мужик, а твое дорогое лицо
 С годами становится краше.
 Ты понял, что с нами такое стряслось? —
 И общее наше дыханье,
 И наше почти умиранье поврозь,
 И наше — на людях — молчанье...
 Ах, тем, кто живет, по тщите не скорбя,
 Людские пусты разговоры.
 Я думала — замуж иду за тебя,
 А вышла — за море, за горы...

НИНА ГАБРИЭЛЯН

ИЗ ЦИКЛА «АРМЕНИЯ»

* * *

Пусть исполнится срок, пусть, как семя тяжелое, кану
 В плодородье земли, в уготованный мне чернозем —
 Я восстану цветком, сильным стеблем, травой восстану,
 Я воспряну тугим крутолобым упрямым плодом,

Чтоб налиться опять этой солнечной силою зрелой,
 Чтобы вновь ощущать сочный рокот густой бытия,
 Чтобы терпкий расцвет мой
 Своею рукой загорелой,
 Безмятежно смеясь, поутру оборвало дитя.

Вечерняя пастораль

Вечер черной отарой спускается с гор,
 И внизу за костром расцветает костер —
 Растворяясь друг в друге, плывут в небеса
 Бестелесно-белесые их голоса.
 А лиловые буйволы грузно бредут
 В остывающей красной вечерней пыли
 И ноздрями лиловыми медленно пьют
 Бессловесную темную мудрость земли.

* * *

Выщвел воздух, и сад обескровлен,
И отрекся от песен ручей.
Сквозь небесную ветхую кровлю
Льется олово тусклых лучей.

Дует ветер холодный, промозглый,
Зябких веток суставы кроша.
Отсырела и стала громоздкой,
Непомерной для тела душа.

Что с ней делать, с такою тяжелой
И разбухшей, как зрелый плод,
Что под собственной тяжестью желтой
Оборвется и упадет?

* * *

Это вена моя, темно-синяя сильная вена,
Голубая река, равномерный тяжелый поток.
И по руслу ее — сквозь века, сквозь гроба — неизменно
Свою красную мощь неизбывную катит Восток.
Где источник ее? И в каких ей веках затеряться,
Этой древней реке, среди каких ей иссякнуть песков?
Но течет, и течет, и гудит у виска и в запястье
Этот огненный зов, эта сильная воля веков.

ЗОЯ ВЕЛИХОВА

из цикла «ПОД ЧУЖОЙ ЛУНОЙ»

Стамбул

Около столь вожделенного рая,
В мире скорбей и обид
Старый торговец, товар начищая,
Медью кувшинов звенит.
И невозможно по улочкам узким
Мимо пройти стороной.
Мальчик на пестром базаре стамбульском,
Ты зазывала лихой!
В ночь торопливую нехотя канет
Дня делового угар.
И небывалые щупальца тянет
Шумный стамбульский базар.
Там, где купается в воздухе сером
Полупокинутый храм,
Весело распродавать киоскерам
Прямо на площади хлам.
Знати дворцы вдоль воды протянулись,
Жизнью пустынно-скупы.
И безмятежно цветы улыбнулись
В сонных дворах Топ-Капы.
В этом свиданье случайном и скором,
В странной и новой дали
Медленно птицы парят над Босфором,
В дымке стоят корабли.

Под чужой луной

Здесь, наверное, никогда уже не бывать.
В этом городе одиночество — благодать.

На какой-то час оказавшись вдруг не у дел,
Выбираю путь от парламента вдоль Пелл Мелл.

Пригвожденная взглядом к нижнему этажу,
Этой улицей щепетильною прохожу.

Окна в завесах, с переплетами, плавный свет.
И за стеклами в отдалении силуэт.

Как звучит в ночи эта замкнутость всех дверей.
Черный строй машин, хищность низких спин — сон зверей.

Этот серп чужой молодой луны — чуткий страж.
Этот пышный и нескончаемый бельэтаж.

* *
* *

Ржавые торжественные каравеллы
Продаются в лавочках Барселоны.
И редко какую-нибудь из них
Купит как сувенир иностранец,
Чтобы поставить потом в кабинете
Рядом с трубками и кисетом,
Пряно пахнущим табаком.
Он станет медленно вспоминать,
Как там, вдалеке от зябких широт,
В пестроте и гомоне юга,
У причала, где ждет туристов фиакр,
Среди прогулочных яхт
Стоит одинокий фрегат Колумба.
И лазурное небо слепит глаза,
И спокойно осеннее море.

ЛАРИСА САЕНКО

СОНЕТЫ

Московский день

Взошел ты до неба и вровень с небом встал,
московский день, чьи звонари на колокольнях,
чьи дети стянуты ремнями ранцев школьных,
чей птицелюб в четыре пальца засвистал

своим белейшим голубям, и чей вокзал
глядит в сто стекол сотней глаз бессонных,
и чьи афиши ряд концертов сольных
сулят тому, кто посетит концертный зал.

Ты оглушил меня, московский день,— и прав!
Что значит голос мой в сравненье с ростом трав
и распродажей уцененных шляп и сумок,

в сравненье с тысячью вновь созданных семей,
с ребенком, ручкой неумелою своей
свой самый первый нацарапавшим рисунок?

Корни

Я корнями в тебя, мое детство, вросла,
чтоб шуметь переливчатой кроной.
Ты сочишься водой родниковой —
и студена она и светла,

та вода, что меня берегла.
Рожь над нею и звон васильковый,
и какой-то щегол бестолковый
яро булькает горлом щегла.

Я из детства. Могла ль из другой стороны
я прийти? Не ищите иной старины
кроме этой — сочнее травинки.

Я оттуда, где всякий отзывчив и зряч,
где мой красный и синий резиновый мяч,
ударяясь, бежит по тропинке.

ГАЛИНА СИНЕГУБКО

Дочка

Воды раскуются,
Лопнет почка,
Обнажится для любви земля,
Да придирчиво оглянет дочка
В зеркале нескладную себя,

И как будто никаких событий,
Никакой особой новизны...
Но душа срывается с орбиты
По веленью тайному весны.

* * *

А мама, я знаю,
Хранила поверье,
Что счастье сопутствует
Дочери той,
Которая свет увидала в апреле,
Когда журавли прилетают
домой.

Ошибки — на выбор,
Обиды — все впрок мне,
Не портят удачи —
Сумела снести...

И мне повезло —
Родилась в этот срок я.
И сколько живу,
Продолжает везти:

Да что там везенье!
Всем людям весенним
И людям осенним,
Рожденным зимой,
Даны воскресенья,
Дано птичье пенье
И даже подсказки
Природы самой!

СВЕТЛАНА КНОПОВА

Чехов

Военные уходят маршем,
Вновь станет в городе пустынно,
И смотрят вслед им Ольга
с Машей
И младшая сестра Ирина.
Как символ света, с болью споря,
Обнявшись, в платящах
старинных

Стоят три женщины, три
горя —
Мария, Ольга и Ирина.
И будут так стоять от века:
И свет и боль — неистребимы,
«Зачем живем?» — искать ответа
Мария, Ольга и Ирина.

Любовь, и Вера, и Надежда — Вы неразрывны, вы едины, Вас исповедовали прежде Мария, Ольга и Ирина. Все повторяется на свете: Пусть взяты техникой вершины,	В расчета век любовью светят Мария, Ольга и Ирина. Среди суеты и спешки нашей, Три хрупкие, как бы с картины, Глядят с надеждой Оля с Машей И младшая сестра Ирина.
---	--

Арбат

Очертанья старого Арбата Проступают сквозь покров зимы, Здесь лет сто тому назад, когда-то, На углу с тобой встречались мы. Были мы такими молодыми, Жизнь казалась вечной и простой, И еще не знали, что должны мы	Расплатиться с жизнью за постой, Что на свете все лишь преходяще И что время не течет назад В юность, от которой в настоящем Сохранился лишь один Арбат.
---	---

СОФЬЯ ПОЧАПОВСКАЯ

ИЗ ЛИРИКИ

* *

На ветвях снежинки полусонные, Вечер зачарованно затих; Звезды так нежны И так покорно Отражаются в глазах твоих.	Можешь без меня иль нет, Не знаю. Почему твой голос грустно-тих? Все сейчас по звездам прочитаю, Вот по этим, Что в глазах твоих.
---	--

* *

От снега белеет тропинка, Узор в потемневшем окне. И нежно кружатся снежинки И падают словно во сне. И вспомнила я на минутку Усталость в глазах голубых. Не плачьте, мои незабудки, От слов неразумных моих. Наверно, обидела снова И сердцу прибавила боль,	И вспомнилось каждое слово, Что сказано было тобой, И утро настанет неволью, И вечер в работе уйдет, И будет мучительно больно, И сон до зари не придет. Украдкой мелькнула слезинка И скрылась опять в глубине, Печально кружатся снежинки И падают словно во сне.
--	--

* *

Не видно ягод и цветов В потемках этой ночи, Но среди сумрачных лугов Их запах дик и сочен.	И тает в сердце тишина, Грозою дышат росы. О эта ночь! О ночь без сна, Гуляние в покосах!
--	---

ТАТЬЯНА БЕК

* *

Все кромешней, все безлюдней, Все свежей была зима, Либо цитрой, либо лютней Нас лишавшая ума.	К вечеру и пополудни Изнывала от любви Песня цитры, песня лютни, Как ее ни назови.
---	---

Сердца воробей нехитрый
 Был, как солнцем, отогрет,
 Может, лютней, может,

цитрой —

Разницы сегодня нет.

...А когда вернутся будни,
 Незачем друг друга клясть.

Ни на цитре, ни на лютне
 Больше не играет страсть.

Ну довольно! Слезы вытру.
 Твердолоба и горда,
 Эту лютню, эту цитру
 Не забуду никогда.

* * *

Ты неверно живешь. Ты не видишь ни грушевых веток,
 Ни грошовых сандалий старухи, сидящей в кино.
 Одинокий охальник, ничей ни потомок, ни предок,
 Опечатка, зиянье, забытое цепью звено.

Как безжалостно небо! Душа оступилась — и крышка.
 Потеряла дорогу, своих не находит начал.
 А ведь был — и очкарик, и школьник, и чей-то сынишка;
 И высокие звезды подзорной трубой приручал;

И капустниц любил и лимонниц; и карта Европы
 Волновала, как тайна; и бабушка пела про степь...
 Я живое лицо различаю под ретушь злобы:
 Это просто усталость —

еще восстановится цепь.

Поездка в Пушкин

Послезавтра, при входе в лицей
 Надевая музейные тапки,
 Я пойму, как протяжны и зябки
 Коридоры отчизны моей.

Замечаем: огни не потухли —
 Просто мы не вполне высоки.

Муза глупая навеселе...
 Но лежит,

как на карте,

дорога

Нерадивые ученики,
 Приходя к Александру и Кюхле,

От пустого до зрелого слога —
 С пересадкою в Царском Селе!

ЭЛЬМИРА БЛИНОВА

Казань

Дверь открывается в город,
 в котором — дома и люди,
 заборы, деревья, птицы,
 тени и облака,
 город, знакомый до каждой
 трещинки на асфальте,
 родной до любой морщинки
 на незнакомом лице,
 любимый не оттого, что
 лучше других и красивей:
 такой же, как все другие,
 и все же — прекрасней всех,

мой молодой и древний,
 столичный, провинциальный,
 гордый — всеми камнями,
 кроткий — всею водой,
 праздничный, деловитый,
 тихий и громкий — город,
 который, во мне отразившись,
 меня отражает в себе,
 город, что я открываю,
 словно огромную книгу,
 читаю шагами, годами...
 Дверь открывается — в мир.

ИРИНА ГОЛОТИНА**ИЗ ЦИКЛА «ГОРОД»**

* * *

Мы одни с тобой, город, одни...
 Что ты смотришь в глаза мои с грустью?
 Раскрути отошедшие дни,
 Как на пальце ключи. Пусть не хрустнет
 Ни суставчик на крепкой руке
 Неуемного работяги...
 В колыбели скрипучей, в тоске
 Ни заснуть, ни проснуться отваги.

Снег, как пепел сухих сигарет,
 Погребают в ночи, погребают.
 Сук березовый к небу воздет.
 Указует. А что понимает?..

* * *

Мой город, мой натурщик, мой портрет...
 Сизиф упорный, он работой занят,
 Он говорит усталыми глазами:
 Услады нет, успокоенья нет.

Не обольщаюсь. Только подмастерье —
 Неверный штрих, сгущенные тона.
 Не потому ли ты бывал растерян
 Перед мольбертом моего окна?

Доверься мне. Я на тебя похожа.
 Я напишу твой одержимый лик.
 И рядом остановятся прохожие
 И скажут мне, что ты похож на них.

* * *

И все-таки, мой город, ты красив
 Какою-то девчоночьей красюю,
 Девчонкой, на асфальтовый опływ
 Ступающей своей ногой босою.

Доверчива, открыта, молода,
 На мальчика нескладного похожа,
 Идет, победы спорные итожа,
 И думает, что юность — навсегда.

А где-то подрастают города...

ЛОРИНА ДЫМОВА**Мгновение**

Не верь ни снам, ни людям,
 прощаться погоди.
 Еще все это будет,
 все это впереди:

прощанье, и прощенье,
 и полдень голубой.
 Но целое мгновенье
 еще у нас с тобой.

Не так уж это мало —
мгновение за жизнь!
Весь век под небом алым
нам врозь потом кружить

и сердцем возвращаться
назад, судьбу кляня...

Так подожди прощаться,
не торопи меня.

Немыслимой ценою
я верю одному:
сегодня ты со мною —
и вечно быть тому!

* * *

Я ночи лунные люблю
хотя бы потому,
что речи тополя в хмелю
я в этот час пойму.
И потому, что в этот час
тайн у деревьев нет,
и странно связывает нас
волшебный лунный свет.
И тополь бредящий и я —
под струнами луны
лишь две частицы бытия,
и мы во всем равны.

Пускай он ветками поник,
но грусть его легка,
как лунный свет, как лунный
миг

и как моя тоска.
И ветка ивы у пруда
от света тяжела...
К разгадке жизни никогда
я ближе не была.
Мне остается только шаг,
чтоб разгадать секрет.
...Но гаснет месяц в камышах,
и настает рассвет.

ИРИНА АНТОНОВА

В дороге

Все виднее на желтых откосах
Напряженные вены корней.
Первый лист прикипает к колесам
И лицо обжигает сильней.

И, целуя давно по привычке,
Расстаюсь и встречаюсь без слез
И гляжу из окна электрички
На простертые руки берез.

Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь —
Верстовые столбы на пути,
Где конечная станция — осень.
Я б желала чуть раньше сойти.



ЮРИЙ НАГИБИН



БОЛДИНСКИЙ СВЕТ

Рассказ

1

Мне хотелось добраться до Болдина путем Пушкина: через Владимир, Муром, Арзамас, Ардатов, Лукояново. Пушкин ехал на тройке, я — на машине, на моей стороне было преимущество скорости, на его — проходимости: никакой вездеход не сравнится с русской лошадкой. Поэт предсказывал, что хорошие дороги будут в России лет через шестьсот, минуло всего лишь полтора ста с дней зловещего пророчества, но это не остановило ни меня, ни моих отважных спутников: инженера-журналиста Маликова и водителя Геннадия. Безумству храбрых!..

До Мурома, где заночевали, мы катились как по маслу. Утром на выезде из города застряли часа на два у переправы через Оку — понтонный мост был разведен, чтобы пропустить грузовые пароходы, нефтевозы, самоходные и влекомые буксирчиком баржи. Время прошло незаметно: приятно было смотреть, как громадные суда проскальзывают в казавшуюся с берега очень узкой щель, и прекрасен был наш, муромский, крутой зеленый берег. Среди плакучих берез, ветел, уже замраморевших кленов белели старые церкви с почерневшими куполами, над которыми вились птичьи стаи.

А потом мы переехали на ту сторону Оки, борзо промчались десяток-другой километров, и в смущенной памяти ожили вещи слова поэта. Шоссе, да еще асфальтовое, знай себе тянулось полями, болотами, погорельями губительных торфяных и лесных пожаров начала семидесятых: среди черных, будто обгрызенных стволов пенилась кустарниковая поросль (не вырастали деревья на пожарище, лишь кусты и высокая слабая трава), — но ехать по этому шоссе было нелегко: сплошные ямы, колдобины и черные глубокие лужи. Лишь бы до Арзамаса добраться, а там начнется превосходное шоссе на Саранск через Лукояново, откуда до Болдина рукой подать.

Нервическое состояние, пользуясь старинным слогом, в которое повергла нас боязнь завязнуть и бог весть сколько дожидаться подмоги, слегка скрашивало однообразие и одуряющую незаполненность пути. Расстилающаяся вокруг равнина с уже убранными полями, с купаи деревьев по горизонту не давала зацепки глазу.

А как чувствовал себя Пушкин в своем подпрыгивающем на ухабах, переваливающемся с боку на бок возке? Мы-то и по бездорожью меньше тридцати—сорока не держим, а с какой скоростью тащили его заморенные лошададки? Верст десять в час, не больше. Да ведь эдак с ума сойдешь! А Пушкин любил ездить, и если жаловался в стихах на скуку и удручающее однообразие дорожных ви-

дов: «...тишь да глушь. Навстречу мне только версты полосаты падаются одне», — то это была чисто поэтическая жалоба, литературная скорбь, не имеющая отношения к тому живому удовольствию, с каким он пускался в путь. Он наездил за свою короткую жизнь тридцать пять тысяч верст. Пушкин был на редкость легок на подъем, причем любил ездить один — ямщик не в счет. Легкий, общительный, он радостно вверял себя долговому дорожному одиночеству. Ему не приедался даже известный каждым поворотом, каждым ухабом, каждой будкой, шлагбаумом, верстовым столбом Московский тракт. Но будь я Пушкиным, мне бы тоже не было скучно. Разве гению может быть скучно наедине с собой? Теснятся мысли, образы, неисскающая внутренняя наполненность преобразует окружающее, делает его участником твоей напряженной душевной работы. Хорошо быть гением!.. И как странно, что на самом деле Пушкин не мог ни упиваться собственными стихами (просто не мог читать Пушкина), ни ощущать свою исключительность как непрерывное наслаждение. Он любил дорогу — хорошо думалось в карете, — но и ему бывало скучно, томительно, отчаянно, и он вовсе не помнил о том, что гениален.

А вообще люди прошлого, воспитанные на других скоростях и ритмах жизни, обладали иным ощущением времени. Они жили на дни, как мы — на часы.

Миновали шесть километров. Мыслей никаких не было. Оставалось — томление скуки. Читать невозможно из-за тряски, разговаривать нам с Маликовым было не о чем — мы знакомы пятьдесят лет и за это время уже все обговорили, выяснили и пришли к согласию по всем пунктам. Нужно какое-то событие, толчок извне (толчки на ухабах не в счет), чтобы у нас появилась тема хоть для короткого разговора. Иначе стоит одному открыть рот, как другой уже знает все, что тот может сказать. Водителя нельзя отвлекать — дорога слишком опасна. С некоторым раздражением вспомнилось о Пушкине, пославшем нас в путь. Ведь результатом вояжа должен быть альбом о Болдине: нынешние виды в фотографиях и рисунках и литературная реставрация тех ошеломляющих дней болдинской осени 1830 года, после коих невзрачное, никому не ведомое село Нижегородской губернии, Сергачевского уезда стало синонимом вдохновения. Да не просто вдохновения, а невиданного в истории вулканического извержения творческой силы.

И тут я стал припоминать, зачем и в каком состоянии ехал Пушкин в Болдино. Он ехал улаживать материальную, как сказали бы сейчас, сторону предстоящей женитьбы. Никак не мог он сладиться с матерью Натали, в которой разнуздилось все самое скверное, что от века является сутью сварливой, злобной и глухой тещи. Она ставила непременным условием, чтобы от жениха было приданое, а где взять? Холодно-слезливый и скупой Сергей Львович расщедрился и отдал сыну «часть недвижимого имущества, состоящего в сельце Кистеневе» — двести «мужеска» душ, — заодно обязав его разобраться в губительно запущенных делах родовой вотчины — Болдина. Довел зажиточное село до разора приказчик Калашников, крепостной человек Пушкиных. Предстояло столкнуться — впервые — со страшным чернильным племенем — крючкотворами-чиновниками, способными запутать и простейшее, самоочевиднейшее дело, а дела беспечного Сергея Львовича пребывали в удручающем беспорядке. Словом, впереди не светило. А позади светила несказанная прелесть юной невесты, но на любимые нежные черты, словно нанесенные тончайшей китайской кисточкой на розово-золотую гладь, наплывали досадно схожие, огрубелые, искаженные алчностью и недоброхотством черты Гончаровой-матери, и мерк последний, нагоняющий издали свет. Нет, не в благодати, не окрыленный

надеждой ехал Пушкин к родовому гнезду в разболтанной карете, то подпрыгивающей, то кренящейся на ухабах, то грозящей опрокинуться. Мимо окошек неспешно влеклась великая пустота российских полей, и откуда-то из глубин этой пустынности уже надвигалась холера, которая запрет его в Болдине, и он будет метаться, как зверь в клетке, рычать и плакать от беспомощности, пытаться бежать и расшибаться лбом о карантинные заставы. Из скрута болей, тревог, надежд, промахов и каких-то еще неразгаданных тайн мы получим дивную лирику, последние главы «Евгения Онегина», маленькие трагедии, «Повести Белкина»...

Я все-таки задремал. А когда очнулся, мы уже не тащились обочь дороги, а мчались по иссиня-лиловому, недавней заливки шоссе навстречу чуду. Как назвать то, что явилось нам меж землей и небом на вершине холма, будто преграждающего дальнейший путь?.. Впрочем, есть палочка-выручалочка у русских писателей, когда им нужно передать потрясенность от внезапного явления прекрасного города, — сказочный Китеж... Это действует безотказно. Не потому, что у каждого сложился с детства чарующий образ волшебного града, встающего из лона вод, не в подмогу и громоздкая опера Римского-Корсакова — ее почти не ставят, — все дело как раз в неопределенности, смутности образа. Представляется что-то белое, сияющее, струистое, зыбкое, величественное, манящее и завораживающее. Так вот не буду зря томить читателей: на взлете дороги, врзаясь возглавиями в небесную синь, вознесся Китеж-град. Посредине высился громадный собор, перед ним, чуть ниже по склону, раскинулся то ли монастырь, то ли обширное церковное подворье, еще один собор выглядывал золотыми крестами из-за спины главного, в курчавой зелени, обрамлявшей эту картину, белели портики старинных зданий, синее безоблачное небо поблескивало ослепительными кристалликами.

— Господи, да что же это такое? — воскликнул я.

— Арзамас, — хладнокровно ответил мой друг Маликов. — Город на холмах.

Этот город проезжал Пушкин, здесь позже отплясывал на балу.

Когда Пушкин въезжал в Арзамас, он видел великолепный Вознесенский собор, заложенный в память войны 1812 года, еще в лесах, а достроен собор был уже после его смерти. В первый раз Пушкин не задержался, только сменил лошадей и помчался дальше, торопясь разделаться с докучными делами. Потом он не раз бывал здесь, но неизвестно, свел ли знакомство с замечательными местными людьми: зодчим Коринфским, строителем Вознесенского собора, «приволжским Воронихиным», и еще более удивительной личностью — художником Ступиным, «боярским сыном», байстрюком, учившимся из милости в Санкт-Петербургской Академии художеств и создавшим первую в России провинциальную художественную школу, в которой учился и академик Коринфский...

Но уж верно слышал Пушкин, что в пору расправы над разинцами виселицы и шесты с насаженными на них головами стояли от Ардатова до Арзамаса; через Арзамас провезли в клетке Пугачева, и когда местная купеческая женка накинулась на него с проклятиями, узник так зыркнул черными цыганскими очами, что та грохнулась без памяти.

На обратном пути мы задержимся в Арзамасе и проведем здесь целый день; старожилы, хранители и накопители духовных и вещественных ценностей отчего края, приблизят нас к душе необыкновенного русского города, заслуживающего особой песни.

А сейчас вперед, чтобы засветло добраться до Болдина. Мы держим путь на Ардатов, оттуда на Лукояново. Здесь мы с душевным огорчением узнали, что прямая дорога в Болдино, всего тридцать—сорок километров, непроездна. Вот досада — так долго следовать за

Пушкиным, можно сказать, колесо в колесо и потерять его почти на финише. Выходит, что три живых лошадиных силы мощней, чем шестьдесят, сжатых в автомобильном двигателе. Нам надо ехать в сторону Саранска, а перед железнодорожным переездом свернуть налево. Дорога хорошая, лишку в шестьдесят километров и не заметим.

Сгоряча мы промахнули поворот и спохватились, когда пейзаж резко изменился: вместо лощины — округлые всхолмья, покрытые черными квадратами хорошо возделанных полей. Мы поняли, что, проморгав пограничный знак, вторглись на территорию соседней Мордовии, поставлявшей в пушкинские времена смелых и выносливых кулачных бойцов на деревенские ристалища.

По календарю мы прибыли в Болдино почти в одно время с поэтом, но если учесть разницу между новым и старым стилем, то дней на десять раньше. Осень тронула желтизной березы, пустила морморные прожилки по пятерням кленов, подсмуглила листья осин, но до золота и багреца, столь любимых Пушкину, еще далеко, в просторе царит зеленый цвет под чистой синью. И все это хорошо освещается теплым розовым солнцем, начавшим снижение над Лукояновом, откуда полтора столетия назад примчался Пушкин, чтобы осуществить предназначения рока: добыть денег для женитьбы, сочетаться браком с первой красавицей России и подставить грудь под пулю...

2

Я не собираюсь описывать мемориальную усадьбу и все музейные достопримечательности. Существует немало весьма квалифицированных брошюр, где обо всем этом сказано обстоятельно, любовно и лукаво, ибо нигде прямо не говорится, что предлагаемое взгляду экскурсанта всего лишь возможный вариант пушкинского гнезда.

Усадьба Пушкиных не стоит наособь, как в Михайловском, а прямо посреди села, ставшего ныне крупным районным поселком с кварталами высоких типовых домов, административным, весьма представительным центром, с великолепным кинотеатром «Пушкин», где идет «Петровка, 38», с рестораном, магазинами, в том числе очень неплохим книжным, там продавались «Петровка, 38», «Повести Белкина», публицистика Евтушенко с богатым иконографическим материалом и множество книжек и брошюр, посвященных Пушкину. Мы жадно и бегло осмотрели райцентр, но в его новостроечную часть, где жила сотрудница музея Лада, с которой мы связывали надежды на устройство, проехать не удалось по причине иссиня-черной грязи, натасканной на бетонные плиты уличного покрытия колесами тракторов. Этот край входит в черноземную полосу, но многие авторы утверждают, что крестьяне самого Болдина мучались на скудном суглинке, впрочем, черноземные кистеневцы бедовали ничуть не меньше. Мы кинули жребий, кому идти за Ладой, без нее нам крышка: в гостинице готовились к приему научной делегации, прибывающей в Болдино в честь столетия со дня завершения «Евгения Онегина», и поэтому отключили воду — для срочного ремонта водопровода. В должный час вода будет — до сессии еще два дня, — но с дороги мы не могли столько ждать. Жребий пал, как водится, на меня, но в путь отправился, натянув сапоги, длинноногий Маликов.

Вскоре появилась в сопровождении Маликова румяная Лада в высоких сапожках, она ловко, как козочка, проскакала к машине по каким-то лишь ей приметным бугоркам и кочкам, почти не запачкавшись, и повела нас на постой в другую часть поселка.

Мы попали в сельское Болдино, лежащее на взлобке. Длинная улица, затененная старыми липами и вязами, была тщательно заасфальтирована и чиста.

Оказывается, в конце улицы поселился главный инженер крупнейшего болдинского предприятия, человек серьезный, умеющий требовать и с самого себя и с других; он поставил условием, чтобы подъездной путь к его гаражу был приведен в порядок, а трактора и прочая сельхозтехника объезжали стороной магистраль, связывающую его с производством. Требование специалиста было уважено.

Болдино четко разделилось на тонущую в грязи новостроечную часть и чистую, пахнущую травой и древесной листвой сельскую. Соединяются обе части поселка через образцовый центр, где запрещено всякое движение, кроме пешеходного; там, разумеется, есть Доска почета, куда, на мой взгляд, должно навсегда поместить портрет Пушкина.

Симпатичная и застенчивая Лада, не забывавшая краснеть хотя бы раз в минуту, привезла нас к дому тети Веры, о которой мы были слышаны еще в Москве как об искусной рукодельнице, певунье знаменитого болдинского хора, гостеприимной хозяйке и вообще замечательном человеке. У нее всегда останавливается талантливый график, иллюстратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по альбому Энгель Насибулин, создавший удивительные циклы маленьких гравюр, посвященных Пушкину; один из этих циклов представляет собой как бы раскадровку болдинского дня Пушкина от раннего пробуждения до отхода ко сну: Пушкин встает с постели, ежится, окатывает крепкое тело ледяной водой, одевается, кушает чай, пишет, досадуя на ускользящее слово, скачет на лошади, отдыхает под стогом сена, заглядывается на смазливую поселянку, обедает, читает... Ты с умилением наблюдаешь живого, теплого Пушкина, а не беженца с гранитного или бронзового пьедестала и не литературного генерала, прочитавшего посмертно все статьи о себе в энциклопедических словарях. Блестящий график, потомок тех, кто веками пробовал Русь на прочность — от Калки до поля Куликова, — не речист, свое отношение к тете Вере он выразил на городской летней улице гортанным возгласом «о!».

А мне тетя Вера поначалу «не показалась». Я был настроен на встречу с уютной, певучеголосой бабушкой, а предстала рослая, жесткая, горластая старуха на длинных крепких ногах, с худым носатым лицом, тонкогубая, с глубокими глазницами, то выпускающими, то хоронящими острый, быстрый, пронизательный взгляд. Я вспомнил, что тетя Вера вместе с соседкой тетей Пашей по отсутствию в Болдине церкви и попа отпевает покойников и вроде бы совершает какие-то требы — в последнее не верилось, поскольку в православии не рукоположенным это строжайше запрещено. Но, может, они сектанты?..

— Разуйтесь! — испуганно шепнула Лада. — В избу нельзя в ботинках, наследите.

— Курить там не положено? — осведомился Геннадий.

— Боже упаси!

Пока мы раздевались и переобувались в сенях (Геннадий — высунув голову наружу, чтобы докурить сигарету), из горницы несло:

— Дверь плотней прикройте! Всю избу выстудите!.. Ты, Ладушка, чего шляешься взад-вперед, даром, что ль, я избу топила?.. Кошь входишь — входи! — Последнее относилось к Маликову, управившемуся раньше других. — Неча на пороге торчать!..

У тети Веры был очень низкий, почти мужской голос, ее узкое подвижническое лицо толкало мысль к старообрядцам, но эта чепуха отвеялась при первом же сближении с ней. Была она человеком современным, на редкость живым и заинтересованным и, как писал грузинский поэт, «познавшим мудрость, сведущим в искусствах». С этого и началось наше настоящее знакомство, когда тетя Вера вдосталь нашумелась по поводу грязи и беспорядка, неизбежно с-

путствующим постояльцам, равно скудости и тесноты своего жилища, неспособного угодить балованным московским людям. Тем самым она познакомила нас с правилами проживания в доме, а заодно и умалила свой быт, чем по контрасту привлекла внимание к его нарядности. Полы были застланы чудесными домоткаными дорожками, полосатыми, бахромчатыми по краям. В расцветке и подборе полос обнаруживался такой тонкий и точный вкус, что это натолкнуло наблюдательного Маликова на еще одно открытие: он углядел в ромбовидном окошечке одеяльного чехла жар-птичью красу.

— Это лоскутное одеяло? — вскричал он.

— Она самая, — подтвердила тетя Вера. — Ишь глазастый какой!

— Вашей работы? Можно посмотреть?

— Во дает! — Черноглазая тетя Вера обвела нас усмешливым взором. — Не успел в дом ступить, а уже все высмотрел. Как звать-то?

— Анатолием.

— Ага, Натоль, значит. А тебя? — Это относилось к водителю.

— Геннадий. Гена.

— Ты рулишь? Будешь Автогена — для отличия. — Она обратилась ко мне: — Ты по волосам старшей, представляйся полностью.

— Юрий Маркович.

— Маркыч, значит. А я тетя Вера — тебе и Натолю. Автогена может бабушкой звать. Нет, я ему в бабушки не схожусь. Тебе к сорока, поди? А мне и семидесяти нет, я еще молоденька. А теперь глядите мою работу. Нешто вам Андель про нее говорил?

Едва ли тетя Вера знала, что точно перевела с немецкого слово «энгель», служившее именем сыну кочевого племени.

— Мне говорил, — честно признался Маликов. — Я, как вошел, все принохиваюсь. И половики вашей работы я у Энгеля видел. Да он о вас всему свету раструбил.

— Это ж надо! — засмеялась тетя Вера. — Вот не думала, что мое художество так знаменито!

Неожидан и удивителен был ее легкий смех при аскетически-скорбном лице. Смеясь, она разительно преобразалась: древнее, иконописное исчезало без следа, щеки разрумьянивались, из темных глаз искры сыпались, уголки тонких губ приподнимались, и что-то бесовское появлялось в ней. Небось лиха была тетя Вера в юные годы! Потом мы узнали, что в отличие от большинства своих соседок-вдов она прожила полную женскую жизнь, вот только детьми не больно ее бог побаловал, одной всего дочкой наградил, а той и вовсе детей не дал. Каждый год с наступлением дождливой осени она уезжает в Иваново, где живет ее замужняя дочь. Поэтому не держит никакой живности, ведь пребывание ее в селе — сезонное. Тетя Вера в городе не бездельничает: шьет одеялки из лоскутьев. А половики тетя Вера здесь ткет, у нее в сарае станочек.

— А как вы подбираете лоскутья? — спросил Маликов.

— Прыткий у тебя умок, — одобрила тетя Вера. — В самый корень смотришь. А как подбираю — секрет производства, — она радостно рассмеялась, — секрет от меня самой. Берешь лоскут, к нему другой, нет, чегой-то не сходится. А чего — убей бог не знаю. Меня раз Андель пытал насчет этого, так мы оба чуть не до слез дошли. Дикие у тебя, говорит, сочетания цветов, тетя Вера, все не по правилам, а красиво. Откуда ты знаешь, что так можно? А я и не знаю, только вижу, что это хорошо, а это плохо. Андель даже пригорюнился. Неужто, тетя Вера, ты всю эту одеялку распеструщую заранее видишь? Нет, отвечаю по всей правде, ничего не вижу, это душа моя видит. И я ее слушаюсь. Он задумался и говорит: может, ты гений? Чего?.. Обратно лоб наморщил. Пушкин — гений, поняла? Поняла, говорю, значит, я — лоскутный Пушкин. Сроду так не смея-

лась, как с энтим Анделем. Андель три одеялки увез. Совсем меня разорил.

— Да ведь приятно, поди, что ваше искусство по свету расходится?

— Как тебе сказать, — притуманилась тетя Вера. — И приятно и больше — жалко. Я вот за зиму только пять одеялок пошила. Две ушли, одной, самой скромной, я сама накрываюсь, две для гостей: сильно веселенькая и задумчивая. Пусть в доме останутся.

— А ты хитрая, тетя Вер, — заметил Автогена. — Умеешь цену набивать.

Почему-то тете Vere необычайно польстило обвинение в прижизненности и деловой сметке. Она так смеялась, что вынуждена была присесть на кровать, крытую «сильно веселенькой» одеялкой, которую я твердо решил приобрести. Между нами произошел тяжелый торг, тетя Вера положила за одеяло пятнадцать рублей, я давал двадцать пять и не намерен был уступать. Нас едва развели...

— Опять я без одеялок! — ужаснулась она, хлопнув себя по коленям большими кистями. — Ловко же вы меня окружили!..

Коммерческие трения не помешали тете Vere позаботиться о самоваре, и когда предметы народного творчества обрели новых владельцев, она предложила попить чайку. Конечно, мы с радостью согласились и стали вываливать на стол свои припасы. Я оказался богат консервами, сыром «виола» и колбасой. Геннадий украсил стол овощами, фруктами, крутыми яйцами и бутылкой коньяка — у него сегодня день рождения, о чем он со свойственной ему скромностью помалкивал. Кстати, лишь праздничные обстоятельства помогли нам усадить за стол тетю Веру, уже отобедавшую. Она не могла отказаться выпить рюмочку за здоровье Автогены.

Тетя Вера принципиальная противница чревоугодия: она не ест мяса и наотрез отказалась не только от Натолевой «убоины», но и от колбасы, сардинок, баночной ветчины и даже от вовсе безобидного сыра.

— Зубов, что ль, нету? — спросил прямолинейный Автогена.

— Зубов полно и своих и чужих. Внутренность не принимает. Я как приучена: утром бокальчика три чайку попою с хлебушком, вечером — тож, а днем картошечки вареной пожую — мой порцион. Больше не требуется.

Чаек тетя Вера сластила только кусковым сахаром, пиленный слишком быстро тает. Тщетно пытались мы соблазнить ее нашими разносолами.

— Я своим хлебушком сытая, — отнекивалась тетя Вера. — Видали, какой у нас хлебушко, небось такой выпечки и в Москве нету.

Хлеб в самом деле отменный — и мякиш и корочка, он ручной выпечки, и пекут его по старинному рецепту. Болдинцы любят свой хлеб.

По ходу застолья рассеялись наши подозрения религиозного толка. Конечно, никаких служб тетя Вера с подругой своей тетей Пашей не служат, только отпевают покойников, поскольку наделены голосами и много лет пели в знаменитом местном хоре, гастролировавшем по стране. Сейчас от хора лишь прозвание осталось: главная запевала тетя Алена померла, отошел и один из певцов-мужчин, другой обезножел, а звонкоголосую тетю Пашу замучил кашель.

— Только и осталось что покойников отпевать, — усмеяется тетя Вера. — А раньше мы и в Ленинград ездили, и в Москву, и в Горький, и в Саранск, и в другие хорошие города. Нас в Питердвор возили, и в Троице-Сергиеву лавру, по телевизору показывали и на фотографии сымали. Но вам мы обязательно споем, не сумлевайтесь, а сейчас давайте лучше за Автогену выпьем, за его здоровье.

— Закусить надо, — сказал виновник торжества.

— Ты меня не неволь. Я чарочку выпью и хлебушком закушу. Лучше налей мне еще бокальчик чайку.

И все-таки один продукт мы тете Вере навязали: Автогена прямо в рот ей вложил крошечный бутерброд с мягким сыром «виола», тетя Вера ненароком жевнула и одобрила закуску:

— Масло не масло, а мягкая, маленько присолено и с привкусом. Это вы мне, ребята, угодили. Пожалуй, я энтой замазки еще пожую.

Застолье пошло веселей, «виола» способствовала сближению. Мы надеялись, что разговор сам собой свернет к тому, ради кого мы приехали, но тетя Вера держала себя так, будто Пушкина тут сроду не видали. Слишком явным нажимом легко было ее вспугнуть, я пытался исподволь направить беседу в нужное русло. Эта тактика быстро наскучила Маликову, у которого несомненно есть мичуринская жилка: он не любит ждать милостей от природы.

— Да-а! — протянул он ни к селу ни к городу. — Как ни хорош болдинский хор, а раздавались отсюда песни позвончее!

— Это чем же тебе наш хор не угодил? — озадачилась тетя Вера.

— Не единым хором красна болдинская земля!..

— Это точно! У нас гончары исключительные. В Казаринове, тут недалеча. Цельное производство. Работают цветочные вазы прямо на Горький. Но главный их талант — посуда из черной глины. Такой нигде больше нет.

— Мне Энгель говорил! — вспомнил Маликов. — Она на металлическую похожа и даже звенит!

— Чего тебе еще Андель нагородил?.. В этой посуде продукты не портятся, и запаха она не держит. Вот в чем ее секрет.

— А где бы такую достать? — загорелся Маликов. — Мне необходимо... жене на годовщину свадьбы подарок.

— Очень у тебя, Натоль, живой ум, — одобрила тетя Вера. — Вот сразу и годовщина подошла. Коли вспомню, сведу.

— Вы бы нам чего о Пушкине рассказали, — бесхитростно брякнул Геннадий.

— А что?.. Мы к Лексан Сергеичу претензиев не имеем. Под него нам и промтовары закидывают и продукты кой-какие... — Тетя Вера откашлялась. — Страна о нас не забывает... как мы, значит, земляки.

Надо было не дать ей укрепиться в этой интонации.

— Может, легенды какие есть? О Пушкине, — перебил я.

— Да это сколь хошь! Вон брошюрки на окне — сплошные легенды. Лыгенды, как Андель говорит.

— Вранье, что ли?

— Да это он в шутку! Нешто дедушка Михай Сивохин чего врал? Все правда. Только с комариный нос. Почему роцу Лучинником прозвали и чего Пушкин сказал, когда кистеневские у него лошадь увели. Нету настоящей памяти. Это ведь теперь: Пушкин, Пушкин, великий гений! В школах проходят. А тогда как? Ну, приехал барский сын. Народ об одним надеялся, что хоть сволоча-старосту Михайлу Калашникова сменяют. Он же и господ своих как хотел общицал. А когда до краю дошло, перевел его из Болдина в Кистенево. Тутощние мужики маленько вздохнули, а тамощние захрипели. Но главное вы усечь должны, что народ дюже неграмотный был. На все Кистенево, к примеру, только один мужик буквы рисовал. Никто стихов Лексан Сергеича не знал, да и кому они нужны были? И что он где-то исключительный гений — это все мимо. И что он в Болдине насочинял вагон с тележкой — тоже мимо. Был у него брат Лева, очень, говорят, с ним сродственный. Он сам только раз здесь поживился, а вот сын его и внук всегда жили. Те были да сплыли, а этого весь мир чтит. Ну и подарили ему чужие грехи и баловство.

В одном народ не ошибся, что оценил Лексан Сергеич болдинскую красу... За твое здоровье, Автогена, чтоб тебе баранку еще сто лет крутить, а посла у Ильи Пророка колесницей править. Там небось раздолье — дорожных показателей нету, катай по всем небесам хоть по левой стороне. Мазни-ко, рулевой, мне малость этой венолы, оно хорошо пищепровод смазывает.

И тетя Вера, уже не понуждаемая, сама вернулась к пушкинской теме.

— Ученые люди, конечно, глубоко копают, только в стороне. Народные пушкинисты, это которые малограмотные, вроде деда Михея, свою ямку роют, и мне очень любознательно, что тут между Лексан Сергеичем и девой Февроньей было.

— А было чего?

— Надо полагать — любовь. Мы, конечно, по-научному не знаем, как там положено, это вам Ладушка скажет, а по-нашему он засватать ее за себя хотел. И Михей Сивохин тех же мыслей. А он налично знал Лексан Сергеича. Натоль, протяни руку, за тобой книжка про болдинскую старину... Натоль, ты грамотный? Прочти третий рассказ Сивохина.

Маликов откашлялся и с выражением прочел:

— «Во время пребывания в Болдине Александр Сергеевич ходил на прогулку к леваде. На этой леваде находился пчельник зажиточного крестьянина Вилянова Ивана Степановича. Здесь стояли пчелиная сторожка и колодец. Здесь и увидел Александр Сергеевич дочь Вилянова Февронью Ивановну, которая приходила днем на пасеку. По слухам, Александр Сергеевич ходил в эту сторону на свидания к Февронье, привез ей в подарок шелковое платье и будто хотел засватать за себя».

— Ну вот, — сказала тетя Вера, — коротко и неясно. Когда он ей платье дарил? Ежели в первый раз, откуда платье взялось? Что он, за ним в Лукояново или в Арзамас ездил и сам покупал? Глупости какие! А ежели во второй или в третий — так он уже оженился и поздно ему было Февронью сватать. Мёбли, — тетя Вера с французским проносом выговорила это странное слово, — он ей, верно, подарил, из дома, а платье... Отец мог Февронье сто платьев купить, дюже богатый мужик был. Он Лексан Сергеичу десять тысяч рублей занял, а тот, не отдавши, помер. Пришлось папаше его землей расплачиваться. Мы так полагаем, что Февронья знала о приезде Пушкина и нарочно ему у пчельника стрелулась. Ей уже под тридцать было, а все в девках — перестарок. А за кого ей выходить? А тут молодой человек из столицы, да еще стихи красивые про любовь сочиняет, Февронья-то грамоте знала. Едва ли она под венец метила... Я видела Анделя рисунки — маленький, верткий, курчавый. А Февронья мало что красавица — и высока и величава, что твой белый храм на заре. Поди, и Лексан Сергеич обомлел: откуда это чудное видение? Иван Степаныч Вилянов ни в чем дочери не отказывал, наряды ей с самого Нижнего привозил, украшения всякие, пудру — Панпадур. Она всему была обучена и под гитару пела — про черную шаль. Это, конечно, посла узналось. А тогда глядели молча друг на дружку два человека.

— Как же они все-таки сладились? — спросил Геннадий. — Вы говорили, что любовь между ними была.

— Была. Да еще какая любовь! Он ей мёбли из своего замка подарил и десять тысяч денег у ее отца занял, Февронья так замуж и не вышла, хотя в Арзамасе — они с отцом туда переехали — считалась по купечеству первой невестой. Прожила она сто три года, а ни одному человеку про Пушкина слова не сказала.

— Чем же Пушкин ее взял? — недоумевал Геннадий.

— А он — Пушкин, нешто мало? — спокойно сказала тетя Вера и, видя, что Автогена не усекает, снизошла до объяснений. — Нам...

хору нашему, как на первую гастроль ехать, лекцию читали, чтобы не осрамились в случае, если насчет Пушкина пытаться начнут. Был он хоть невеличка, а грозной силы: палку о пять пуд и таскал и кидал, как соломинку. На коне лучше цыгана-угонщика скакал, а разговором мог кому хошь мозги завить. Чего еще надо? Телом крепок, а сам нежный, дыхание чистое, белозуб и стихи читает. Пушкин даже с царицей роман крутил, за что царь ненавидел его люто и сам все его сочинения проверял. Разве устоять было простой деревенской девушке?

— Жалко Февронью! — от души сказал Геннадий.

— А чего ее жалеть? — с достоинством произнесла тетя Вера.

3

На другой день мы поехали по окрестностям. Начали с Апраксина, где жило дружественное Пушкину семейство, заглянули в Кистенево. Нас сопровождал сотрудник музея, прежде работавший в райисполкоме, умный и обаятельный человек — Алексей Петрович. По дороге во Львовку, перешедшую от Льва Сергеевича к старшему сыну поэта, Александру Александровичу, мы испили из того заветного родничка, где любил освежаться Пушкин во время своих пеших и верховых прогулок, и навестили рощу Лучинник (см. путеводитель по болдинскому заповеднику).

Деревня числится за совхозом, когда-то здесь находились телятники, но сейчас их нет. Экономически Львовка равна нулю, что упрощает, по словам Алексея Петровича, превращение ее в мемориал. Тут дотлевают несколько старух и девяностотрехлетний старик, а сезонно обитают в бывшей школе каменщики и плотники, восстанавливающие барский дом. Сельпо давно закрыто, но дважды в неделю сюда привозят хлеб, спички, соль.

Деревня красива: огромные старые вязы, липы — не обхватишь, клены, одичавшие яблони, груши, ягоды; заброшенная каменная церковь, повитая вьюном, снаружи кажется целой, но внутри все разможено, что затруднит ее превращение в мемориальную «точку». Тут сохранились избенки более чем полуторавековой давности, иные даже обитаемые. Когда мы проходили мимо крошечной избы, у дверей гомозились две старухи: одна лет восьмидесяти, другая — разменявшая век. Приметив нас, столетняя костлявая богатырша уперлась лбом в притолоку и обратила к нам большое меловое застылое лицо, вдруг очнувшееся интересом к окружающему. Не забыть мне этого слабого света, мелькнувшего по белой маске и сделавшего ее лицом.

Девяностотрехлетний Матвей Иванович Коноплев, проживающий под присмотром двух дочерей, живая летопись здешних мест, еще недавно крепкий, как кленовый свиль, резко сдал после смерти жены, с которой отпраздновал бриллиантовую свадьбу. Доконала же его потуга дочерей сводить его в баньку. Повели, вернее сказать, поволокли обезножившего старика дочери-старухи и уронили посреди двора. А он тяжеленек, даром что на самой скупой пище живет: утром каши с молоком похлебают, в остальной день только чаем пробавляется, — не поднять его дочерям. Кинулись — помогите, люди добрые, старичка уронили! Пришли каменщики, подняли Матвея Ивановича и отнесли в избу. «Все, — сказал он и утер слезу, — отмылся!» Ныне он встает только по нужде, но дочери содержат его чисто: протирают теплой водой. Сейчас старшая домой отлучилась глянуть на хозяйство, а младшая всю жизнь при родителях прожила.

Мы подумали, что неудобно тревожить спящего старика.

— Да он все время спит, — сказала Даша (по паспорту Варвара Матвеевна, но так прозвали ее в детстве, и на другое имя она не откликается). — Раньше до чего поговорить любил, а сейчас, коли

раскроет рот, так только об одном: доченьки, не продавайте корову, христом богом прошу.

— Кормить нечем? — спросил Геннадий.

— Ясное дело. Нешто по нынешнему году могли мы сена насушить? Старики какой заботы требовали, а силенок у нас с сестрой — вдвоем комара убиваем.

— Варвара Матвеевна... Даша, — проникновенно сказал Алексей Петрович, — вы не сомневайтесь и ни о чем не думайте, мы все возьмем на себя: и машину дадим, и людей, и... — Он изобразил руками тот продолговатый ящик, в котором наше бесчувственное тело отправляется в место вечного успокоения.

— Спасибо, Алексей Петрович, завсегда вы нам были как отцы. На мамины похороны триста рублей ушло, и это когда водку мы загодя купили!

— Не беспокойтесь ни о чем. Матвей Иванович заслужил. Он лично знал Александра Александровича, сына поэта, боевого генерала, героя Плевны.

— Не знаю, как и благодарить... А теперича пошли в избу папаню слушать.

И мы последовали за Дашей.

Матвей Иванович лежал на кровати под одеялом одетый — виднелись носки толстой домашней вязки и заправленные в них брюки. Подойдя ближе, мы обнаружили косой ворот синей ситцевой рубашки и седую спутанную бороду. Лица не видно — спасаясь от мух, старик глубоко зарылся головой в подушку. Он не двигался и вроде не дышал. Все остальное воспринималось как воскрешение Лазаря. Дочь стала раскачивать его за плечо, приговаривая не слишком громко:

— Папаня, проснись!.. Гости приехали!.. Открой глазки, родной!.. Ну жел..

Даша наклонилась и протерла подолом глаза отцу. Ему это было неприятно, он пытался отпихнуть дочь. А потом долго моргал, утирался кулаками, кряхтел, охал и вдруг отчетливо сказал:

— Посади!

Отвергнув помощь Геннадия, Даша привычно и сноровисто привалилась к отцу, обняла, потянула на себя, переведя в сидячее положение; за спину ему сунула подушку, а ноги спустила с кровати.

— Никого не знаю! — радостно сообщил старик, оглядев нас голубым чистым взором. — И тебя не знаю! — Это относилось персонально к Алексею Петровичу.

— Не придуряйся, папаша, это же Алексей Петрович. Ты его сто лет знаешь, он заместителем советской власти был.

— Чегой-то он другой стал? — сказал Матвей Иванович. — По-старел, али приболел, али во грустях?..

— Все тут, Матвей Иваныч, — вздохнул Алексей Петрович.

— А у меня зубы прорезываются, — пожаловался Матвей Иванович. — Накой они мне? Молочну кашку жевать?.. Я тебя, Петрович, вспомнил, ты человек у власти. Не вели Дашке корову продавать. Нешто можно без коровы?..

— Ладно, Иваныч, вопрос поставлен. Не волнуйтесь. Тут к вам гости из Москвы приехали.

— Не знаю их... Кто такие?

— Вот и познакомьтесь. — И Алексей Петрович поочередно представил нас старику.

Тот каждому сунул холодную слабую руку.

Он совсем очнулся, взыграл, в нем пробудилась присущая здешним людям словоохотливость, издавна подогреваемая любопытством бесчисленных паломников в эту святую землю. К сожалению, его подъем пошел в ущерб отчетливости речи да и мысли, и я с моим

тетеревиным слухом улавливал лишь отдельные, окрашенные сильным чувством выкрики:

— Воин наш отважный... Лексан Лексаныч, царствие ему небесное, всех турков побил... Он да Скобелев, белый генерал, — опора трону, щит отечеству!.. Вот бы Лексан Сергеич порадовался, кабы дожил... А шебуршной был... и нащет этого самого... — старик, хитро глянув на дочь, поманил нас пальцем, — первый ходок... Сейчас кликнет: байню истопить!.. Я уж понимаю и по военной присяге: рад стараться!.. Как, ваше превосходительство, прикажете: пару — кваском али пивом?.. Натоль Львович пиво признавали, а Лев Натольич — шампанское... Гроб на руках несли до церкви... В глубокой скорби... Он к пиву всегда раков заказывал... Черненьких, однако, больше уважал, особо мордочек... Курносенькие, спинки окатистые... Крепкий народ мордва, наших пластали... Лексан Лексаныч исключительно переживал: русский солдат знает одну команду — вперед!.. Сытый солдат крепше воюет... Уполовник в щах должен стоять, а валится — гони вон... пусть и андели с личика.

Я чувствовал, что у меня ум за разум заходит. Но глухота здесь ни при чем. Тетя Вера предупреждала, что в сознании прежних поколений — стало быть, и нынешних Мафусаилов — перепутались все Пушкины: поэт, его сын, брат и потомство брата. Но пусть с годами Матвей Иванович как народный пушкинист несколько сдал — ярк на нем болдинский свет. Его воодушевление, преданность пушкинскому роду и горящий в дряхлом сердце патриотизм вызывают искреннее восхищение.

И когда, распрощавшись с приуставшим стариком, мы вновь оказались на улице, то сказали Даше-Варваре самые добрые и уважительные слова об ее отце.

— Он хороший старик, — она коротко всхлипнула, — но, конечно, памятью ослабемши. Праправнучка Пушкина из Архангельска приезжает, случая не было, чтобы папаню не навестила. Она и надысь приходила, а он ее не узнал. И никак не мог понять, кем она Пушкину приходится, раз у нее сейчас другая фамилия.

— А вы так всю жизнь здесь и прожили? — спросил Маликов.

— Ага. Я же не девка — не баба. Только перед войной замуж выскочила, как мово забрали. Так и осталась я при родителях. Разве после войны второй раз замуж выйдешь? Тут такие красоточки на всю жизнь запаровали. Что уж мне говорить. Я не жалуясь. — И улыбнулась.

Чему могла она так мило, нежно, так молодо улыбнуться? Лишь своему внутреннему свету...

В этот день мы побывали и в других хороших местах. Прежде всего в Казаринове, где посмотрели гончарное производство, пожали руку главному мастеру и приобрели — за бесценок — кучу милых вещиц из обычной красной глины. Что касается кринок и кувшинов из черной глины, то тетя Вера оказалась права: их надо заказывать загодя. По форме они просты и незамысловаты, красоту им придает цвет — исчерна-стальной — и фактура: это не грубая накладная гладкость обливных изделий, а естественная, будто изначально присущая материалу ласкающая прохладная шелковистость. Мы спросили гончара, почему в изделиях из черной глины не портятся продукты. Видать, это принадлежит к секретам ремесла, он ответил резко:

— А я почем знаю, я не Пушкин!

Маликов попросил уточнить, какого Пушкина он имеет в виду.

— Ясно, какого, — серьезно ответил гончар. — Льва Анатольича, что Болдино в казну продал. Он тут все, поди, разнюхал.

Поплутали мы и по разбросанному, взъерошенному какому-то Кистеневу. Дома стоят по солнцу — то боком, то задом к улице. Здесь некогда жил озорной народ, о чем говорят названия улиц:

Бунтовка, Самодуровка, Стрелецкая; лишь одну улицу, приютившую тихое, не бойцовое население, так и оставили без названия: Улица. Правда, управляющий Калашников в свое царение так «изнурил» кистеневцев, что поубавилось у них воинственного духа. И все же мы испытали легкий трепет, когда на Бунтовке, а может, Самодуровке, нас огарнули возбужденные бабы, принявшие нас за скупщиков телят. Нетерпеливо ожидали кистеневцы богатых гостей из-под Казани, чтобы сбыть им нетелей и бычков, добиравших последнюю вялую, пожухлую траву с выгоревших летом пастбищ. Сена заготавливали с воробьиный нос. Но торговые люди почему-то запаздывали. Обнаружив свою ошибку, кистеневские жительницы отнеслись к ней с той легкостью, что кажется разлитой в болдинском воздухе, и вступили с нами в радостное и открытое общение.

Отсюда мы поехали к роще Дубровского, лежащей на холмах, омываемых чистыми, незамутненными водами речки Пьяны. Поднялись на холм... Не стану врать, что меня волнует зрелище мест, связанных с великими литературными произведениями, будь это Ауэрбах-келлер в Лейпциге, двор в районе Сенной площади или роща на взлобке холма. Надо бы замирать от восторга: здесь творил свои чудеса Мефистофель, здесь мыкался Раскольников, сюда горюющие разбойники унесли атамана, раненного пулей князя Верейского. Меня все это не умиляет, скорее злит. Ведь читая «Фауста», «Преступление и наказание», «Дубровского», я создавал — по авторским подсказкам — свой мир, свою обстановку действия, естественно, не совпадающую с настоящим ауэрбаховским погребом, где я не раз пил пиво, с нынешней Сенной и, наконец, с тем лесом, который тихо шелестел листьями перед нами. Зримая однозначность прообраза разочаровывает. В воображении все это зыбче, размытее и... богаче. Готовая, окончательная тяжеловесность материи не может тягаться с видениями, разбуженными поэтом в сопереживающей душе.

И я повернулся спиной к легендарной роще и стал смотреть на клонящийся под ветром ковыль, на излучины Пьяны, на всю окрестность, которая с этого нерослого всхолмья открывалась поразительно широко, совсем как у Гоголя в «Страшной мести», когда «вдруг стало видимо далеко во все концы света». Ничто не потрясает меня в самой страшной, ужасной и самой поэтической повести Гоголя, как эта необъяснимая, таинственная фраза. Из какого опыта родилась она? Даль не дает себя так проглядеть, даже если не загромождена ни лесами, ни горами, ни тучами, она ограничена линией горизонта, а это не столь далеко, как у Гоголя. На некоторых полотнах Петрова-Водкина очень далеко видно, даже ощущается кривизна земной поверхности. Но ведь Петров-Водкин был художником нашего времени, когда зрение человека бесконечно расширено авиацией, техникой и знанием о мире. Но и нам во всеоружии нашей дальнорзости даль туманится, а у Гоголя и самое отдаленное так отчетливо, как и самое близкое, и это невероятно, дивно и страшно, аж дух захватывает. С холма, поросшего ковылем, тоже очень далеко видно, с полной отчетливостью, лишь в последнем отдалении легкий кур создает преграду зрению. И все время, что мы провели здесь, тянул ровный, мягкий, теплый ветерок.

— Странное дело, — сказал Алексей Петрович, — здесь всегда, в любое время веет такой вот легкий ветер. Только в крещенские и сретенские морозы замирает.

Может, этим таинственным веем и насыщается на Болдино тот легкий воздух, от которого люди взмывают над бытом, начинают петь, рукодельничать, лепить загадочные сосуды, фантазировать, сочинять — устно и письменно?..

Тетя Вера не забыла о своем обещании устроить вечер хорового пения и пригласила к ужину двух главных певиц: соседку тетю Пашу, запевалу, и тетю Настю с неутомимым горлом. В елейных брошюрках о Болдине тетя Паша изображается степенной, многомудрой старухой, что никак не соответствует ее живому образу. Ума и жизненного опыта ей не занимать стать, но степенности — никакой: маленькая, круглая, как мячик, быстрая и улыбчивая, тетя Паша — озорница и насмешница. Мы уже не раз виделись, но тетя Паша всегда куда-то торопилась и не позволяла затащить себя к столу. Сейчас она явилась принарядившаяся, немного торжественная, только в крошечных зеленых глазках бегали чертенята, и с достоинством заняла почетное место во главе стола.

— Кашлять не будешь? — озабоченно спросила тетя Вера.

— Не, сперва чайку попью, спою песню-другую, а там уж покашляю, — заверила тетя Паша.

Наша тетя Вера тоже не ударила в грязь лицом: надела красивую черную юбку, новый платок повязала, а на плечи кинула шаль с крупными цветами по лиловому фону. Подруг подобрали по старому, проверенному способу контраста, безошибочно рассчитанному на добрую улыбку: Дон Кихот и Санчо Панса, Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, Пат и Паташон. И, как перечисленные герои, они различались не только обликом, но и внутренней сутью: длинная, худая тетя Вера — сплошная духовность; сдобная пышка — тетя Паша воспаряет лишь в пении. Вне этого она вся принадлежит земле, охотно отдавая дань ее плодам, впрочем, тут ею движет скорее любопытство, нежели чревоугодие. Хочется всего попробовать — она набрала гору снеди в тарелку и почти все оставила. Подошедшая **чуть** позже — внуков укладывала — тетя Настя, монументальная и довольно угрюмая с виду старуха, оказалась на редкость заводной, иронично-затейливой.

Хлебнув хорошо заваренного Геннадием чаю, тетя Паша со смаком определила:

— Индейский! — И вдруг запела на немыслимых верхах:

Не смотрите вы на нас,
Глазки поломаете.

И подруги подхватили:

Мы ведь пушкинские были,
Разве вы не знаете?..

— О, частушка! — обрадовался Маликов. — Я столько слышал о болдинских частушках!

— Засохни! — прикрикнула тетя Вера. — Слушай песни, Натоль, и помалкивай.

И сплелись, как тугая, девичья коса, три голоса:

Эх, любит меня милый, да не по-прежнему-у-у!..

Сомкнулись сухие старушечьи губы, а долгая высокая нота все текла, замирая, но не замерла, а унеслась в открытое окошко и стала частицей жизни пространства.

Это трио стояло целого хора, никого больше не нужно, было все: и звень, и стон — птицы, ветра, вьюги, — и «грома грохотанье». Октава тети Веры создавала тревожный, трагический фон, словно то не женская, а вселенская боль тщится себя размыкать. Что за чудо такое — тетя Вера? Пушкин, что ли, дохнул на нее из своего далека? Или старая крестьянка и давно ушедший великий поэт овеяны одним легким вестерком, тем самым, что серебрит ковиль на холмах, омываемых Пьяной? Ветерок веет на простых людей и при-

общает их души к чему-то высшему, он опажнул гения — и взметнулось пламя.

Никогда еще я не чувствовал так сильно и сердечно все очарование старинного, медлительного, околдованного и завораживающего напева:

Не ругай-ка, милый, да не брани меня,
Эх, я и так горька-несчастлива, что... что люблю тебя!..

У них был благородный обычай: не домогаться долгих упрасиваний перед очередной песней — не успеет замереть последняя нота, а тетя Паша уже заводит новую. И какая энергия была в ее прибалывающей груди, когда она, ничего в себе не жалея и не щадя, сразу подняла в поднебесье слезную жалобу:

Ивушка-ивушка, ракиновый кусток,
Травушка-травушка, лазоревый цветок...

Они поют много и долго. Прихлебнут из рюмочки, кинут в рот хлебного мякушка, освежатся глотком «индейского» чая — и опять к песне. И все-таки тетя Паша перетрудила грудь — закашлялась. Тетя Настя стала колотить ее увесистым кулаком между лопаток, тетя Вера развела в кипятке меду и дала выпить.

— Очистило, — улыбнулась тетя Паша. — А всежки я отпелась.

— Все мы, милка, отпелись, — отозвалась тетя Настя. — Но по-каместь земель не засыпят — будем горло драть.

Упрямый Натоль снова вспомнил о частушках, посвященных Пушкину.

— Экой ты настырный! — укорила его тетя Вера.

— Да ну тебя, воспятательница с детского сада! — отмахнулась тетя Паша и каким-то расхристанным голосом прокричала:

Алексан Сергеич Пушкин,
Мою Ниночку не трожь.

— Тыфу на вас! — разъярилась тетя Вера. — Прогоню, ей-богу, прогоню. Разошлись, как с бормотухи!

— Мы ничаво. — без тени смущения сказала тетя Настя, возвращаясь на свое место. — А если ученый человек просит, почему не уважить. Ему небось для науки надобно.

— Какой он ученый? Обыкновенный инженер, как все.

— Будто сама их сроду не пела, — подколола тетя Паша.

— Пела, когда глупая была. А сейчас не люблю...

Тетя Вера выждала, пока я перестану брэнчать посудой, и поболдински, без разгона ахнула с диким напором:

Полюбил всей душой я девицу
И готов за нее все отдать.
Жемчугом разукрашу светлицу,
Золотую поставлю кровать...

Я-то считал это старым городским романсом, а тут — библейское: влюбленный грозит отомстить за измену так, что «содрогнется и сам сатана!». Тетя Вера пела с какой-то черной страстью, но едва приметная усмешка порой трогала уголки сухих губ — старая умная женщина понимала, что слова этой сильной, гибельной песни далеко не пушкинские. Но был на ней самой пушкинский свет, как был болдинский свет на Пушкине...

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ



В конце 50-х годов вдова Евгения Багратионовича Вахтангова Надежда Михайловна передала в дар музею нашего театра два стихотворения Марины Цветаевой, посвященных Вахтангову. Стихи набело переписаны рукой М. Цветаевой, и по тщательности отделки можно предположить, что это далеко не первый вариант.

Близость Марины Цветаевой к III студии МХТ очевидна. Имя Вахтангова порою вссхищало поэта, а иногда вызывало и чувство неприятия. Такая противоречивость, как мне представляется, есть одна из черт мятежного характера Цветаевой. Смена мнений и пристрастий была свойственна Марине Ивановне, и сегодня мы только поражаемся, с каким рвением и страстностью она всякий раз отстаивает свою точку зрения, внедряя заново рожденную мысль в душу читателя или слушателя! Круг самых близких друзей Марины Цветаевой — это круг лучших учеников Вахтангова. Они же являются главными действующими лицами «Повести о Сонечке». Это Юрий Завадский, Павел Антокольский, Владимир Алексеев и Софья Голлидэй. Можно себе представить, как часто на втором этаже дома № 6 по Борисоглебскому переулку, где в первые годы революции жила Марина Цветаева, произносились имя и отчество Евгений и Багратионович! На репетиции к Вахтангову от Цветаевой уходили студийцы, а после репетиций возвращались к ней! М. Цветаева подробно описывает, как читала в III студии свою стихотворную драму «Метель» в присутствии самого Вахтангова — «их всех — бога и отца-командира».

Я могу с полным основанием утверждать, что творчество Вахтангова и Цветаевой формировало вкус и воодушевляло группу молодежи вахтанговского театра, а иногда мне кажется, что Евгений Багратионович и Марина Ивановна даже втайне ревновали друг друга и заочно боролись за первое место и лидерство в группе.

Всю жизнь я прожил в одном доме с Павлом Григорьевичем Антокольским, часто наблюдал, как он в последние годы прогуливался по двору со своим старым другом Юрием Завадским, и невольно гумал, не являюсь ли я случайным свидетелем лирического эпилога «Повести о Сонечке». Иногда я набирался смелости и спускался вниз, во двор, и с величайшей осторожностью, чтобы не показаться навязчивым, заводил разговор о Цветаевой и Вахтангове. Ответ был всегда один и тот же — отношения были сложными и не ясными. В глубине души беспредельно ценили друг друга и признавали равенство! Поэтому мне вдвойне обидно когда некоторые критики, цитируя Цветаеву, приводят строчки, намекающие на некоторую отчужденность, якобы разделявшую поэта и режиссера.

Сейчас, когда мы отмечаем 90-летие Марины Цветаевой и 100-летие Евгения Вахтангова, стихи, бережно хранящиеся в музее нашего театра, красноречиво устанавливают истину и открывают еще одну страницу в одухотворенном творчестве Марины Цветаевой.

Главный режиссер Театра имени Вахтангова,
народный артист СССР
Е. Р. СИМОНОВ.

Евгению Багратионовичу Вахтангову

Серафим — на орла! — Вот бой! —
 Примешь вызов? — Летим за тучи!
 В год кровавый и громовой —
 Смерть от равного — славный случай.

Гнев Господень нас в мир изверг,
 Дабы помнили люди — небо.
 Мы сойдемся в Страстной Четверг
 Над церковкой Бориса — и — Глеба.

Москва, Вербное воскресенье 1918 г.

Марина ЦВЕТАЕВА.

Е. Б. Вахтангову.

Заклинаю тебя от злата,
 От полночной вдовы крылатой,
 От болотного злого дыма,
 От старухи, бредущей мимо.

Змеи под крестом,
 Воды под мостом,
 Дороги — крестом,
 От бабы — постом.

От шали бухарской,
 От грамоты царской,
 От черного дела,
 От лошади белой.

Москва, 27 апреля 1918 г.

Марина ЦВЕТАЕВА.

О ЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО



КОМБАЙН КОСИТ И МОЛОТИТ...

Сколько надо зерна — сказано: по тонне на человека в год. Раз 270 миллионов жителей, значит, 270 миллионов тонн. Продовольственная программа ближним пределом ставит сбор в 250—255 миллионов. Своих, ясное дело, доморощенных!

Земля давно в четких границах: 130 миллионов гектаров под зерновыми — предельный максимум. Надо бы и меньше, чтобы с парами жить. Грубо считать, так на каждого из нас — полгектара зернового посева. Бери, значит, только по 20 центнеров на круг — и продовольственные сложности исчезнут. Только!..

Ну а что, собственно, под такой хлеб нужно? Ясно, что трактора и комбайны, а — сколько? Извините, что значит «я почем знаю»? Проблема харчей не кого-то касается, а лично вас. И как это «чем больше, тем лучше»? Техника есть цена, уплачиваемая обществом за хлеб, а как может здравый член общества желать цены побольше? А если платим, скажем, комбайном, то разве лишне самому знать, что он за монета, какого достоинства? Раз зерновой клин — величина постоянная, а программный сбор определен, то и число комбайнов, наверно, имеет ясный оптимум?

Вот и давайте рассчитаем оптимальную потребность советского народа в комбайнах. Да-да, именно мы и рассчитаем. Бросьте, никакие мы не профаны. Ну, совершим такое путешествие дилетантов. Ошибемся — невелика беда. А в случае чего скажем, что это была гимнастика для чувства хозяина. Ведь никаких данных мы ни у кого не брали, так? Множить-делить станем только всем известное — экономическая самодеятельность, не больше.

В самом деле, уборочную площадь знаем? Как же: 130 миллионов гектаров. Время дано? Да в каждой осенней газете: «Уберем урожай за десять дней!» Эти десять дней и примем нормой, а режим установим щадящий: не больше десяти рабочих часов в сутки. Останется и на починку машин и на отдых людям — курорт, а не страда. Десять раз по десять — сто часов, или 360 тысяч рабочих секунд комбайна.

Производительность — она тоже на каждом бункере «Нивы». СК-5 — это и значит, что комбайн самоходный, пропускает пять килограммов хлебной массы в секунду (масса — колосья и солома вместе). Известно, что «Колос» мощнее «Нивы», «Сибиряк» тоже превосходит ее, но мы эту надбавку пока не тронем.

Итак, один агрегат, промолочивая пять кило в секунду и работая в осень 360 тысяч секунд, пропустит 1,8 миллиона килограммов массы. Теперь только узнать, сколько этой массы всего.

Наш девиз — реализм и оглядка. В самом удачном 1978 году намолот достиг 18 центнеров на круг — с некоторым даже гаком. Эти-то восемнадцать и возьмем в расчет, тогда с низшими урожаями справиться пустяк. На одну единицу зерна комбайну приходится пропускать полторы единицы соломы-половы. По уровню лучшего года — еще 27 центнеров на гектаре. 18 да 27 — уже 45 центнеров в среднем, а гектаров, вспомним, 130 миллионов. Всего, если перемножить, будет 585 миллиардов килограммов массы. Декадная производительность базового агрегата, мы посчитали, 1,8 миллиона кило, следовательно, 585 миллиардов : 1,8 миллиона — это 325 тысяч.

Такие дела. На обмолот высшего из достигнутых урожаев в одну декаду нужно иметь 325 тысяч серийных комбайнов «Нива».

Но мы не школьники — тертые жизнью калачи. Отлично знаем, как подводят эти

бумажные прикидки. Зарядит дождь через два дня на третий, а хлеб полеглий, а лебеда по теплу прет, валок ковром на сто метров тянется. Техника, увы, тоже иногда ломается, и люди еще местами нарушают дисциплину. Из страховки, из возрастной осторожности возьмем тот же соломённый коэффициент и увеличим расчетное число в полтора раза. Дорогонько, конечно, но такой резерв нам простят.

Тогда рассчитанный на общественных началах оптимум комбайнового парка СССР составит $(325 \text{ тысяч} \times 1,5) 487 \text{ тысяч}$ «Нив». Это разумная на любительский взгляд цена на зерно. Поскольку в парке числятся десятки тысяч «Колосов» и «Сибиряков» с их повышенной пропускной способностью, искомое число необходимо снизить, иначе — мотовство. Итак, все к тому, чтобы остановиться на 470 тысячах. Больше — транжирство, меньше — нельзя.

За любым, скромным или гигантским, делом стоят люди, которые считают. Я был в младших приятелях у старого военного, Федора Александровича, который воевал именно тем, что считал. Сколько снарядов, скота, солырки, лопат, бинтов, кухонь, танков надо перевезти железной дорогой, чтобы выиграть Курскую битву, сколько уже подвез Манштейн к Донцу и Ворскле, сколько мы потеряем от авианалетов, а враг — от партизан и т. д. и т. п. Считал Федор Александрович, видимо, дельно — в сорок лет был уже генерал-полковником, докладывал в Ставке. В отставные досуги он пересчитывал на полях журнальных сельских очерков нашу цифирь и присылал мне — часто с грозными резолюциями.

Так вот обратимся к людям, для которых большой и точный счет есть их общественное назначение. У них ЭВМ, тысячи данных и сотни поправок. Эксперты и координаторы, они знают и зоны, и климаты, и критерий использования сезонного времени, и реализацию пропускной способности, бездну прочих темных для нас материй. Спросим, я говорю, Всесоюзный институт механизации, Госплан, координационный совет по проблемам комбайна — какую цифру они назовут?

— Теоретически для уборки в десять календарных дней требуется около 470 тысяч комбайнов. Точнее — 469 960.

Не мистика ли, а? Не фантастическая ли точность для дилетантов?.. Дай бог Госплану таких попаданий! За радостью удачи мы можем забыть, что коэффициент 1,5 взяли наудалую, но все равно: логика есть логика и не боги горшки... Чувство хозяина, наверно, потому и может быть всеобщим, что обсчеты такого класса доступны и при нашем с вами кругозоре.

Но ликовать не будем — опять же из-за своей тертости. Значит, теоретически нужно 470 тысяч, а есть? Уже есть, утверждает справочник ЦСУ, 722 тысячи. Это как, раза в полтора больше нужного? Выходит — с лихвой хватает?

Нет, не хватает. Потому что длится уборка не десять, а двадцать шесть дней. И в 1971 году тянулась двадцать шесть, и в восьмидесятом продолжалась двадцать и шесть.

Долгота молотбы есть выражение потерь в поле. Уже на пятнадцатый день уборки, настойчиво пишут эксперты, теряются 17—20 процентов исходного урожая. Дождем смочит, пленочка в колоске раскроется, ветер заиграет красивыми волнами — и потекло зерно в чернозем. Двадцать шесть дней — срок усредненный, тут и кубанские темпы уборки действительно за декаду, и сибирские кампании, где страда растягивается часто месяца на полтора-два. Долгая уборочная — хуже хлеб: угорает клейковина, теряется стекловидность хороших семян уже не жди. Но и сама количественная сторона! Двадцать процентов при валовке порядка двухсот миллионов тонн — это ж сорок миллионов тонн брошенного зерна. Столько и даже больше, чем уходит на семена. Столько и даже больше, чем мы съедаем хлебом-мукой-макаронами за целый год! Нет, не годится, раскладка абсолютно неприемлема — дилетанты отвергают ее с порога и начисто.

Дело, возможно, в том, что старые они комбайны, морально одряхлели? Нет, за десять лет парк обновлен технически именно выходом на новое семейство «Нива» — «Колос» — «Сибиряк». Две последние марки — двухбарабанные, для особо соломистого и влажного хлеба. (Барабан — это то, во что ныне преобразован древний молотильный камень, ребристый каток. Естественно катится он уже не по круглому току, влеком не лошадыми обороты иные, но принцип — ударом выбить зерна из колоса — прежний. Да и при отделении зерна от плевел применяется древний, как Библия, ветер...)

Обновлен парк и в натуре: бюджет отчислил большие средства и с семидесятого по восьмидесятый год включительно заводы Минсельхозмаша поставили селу 1 085 тысяч уборочных агрегатов. Если учесть, что до войны было выпущено только двести тысяч комбайнов, миллион с гаком — это, наверно, много. Что ж, ведь наше комбайностроение — самое крупное в мире! По числу выпускаемых машин оно раза в четыре перекрывает США, про другие страны и толковать нечего. Рядом с массовой «Ростсельмаша» производства даже таких знаменитых фирм, как «Джон Дир», «Интернэйшнэл харвестер», «Нью Голланд», есть штучный выпуск, как бы индпошив.

Стоп-стоп-стоп, дайте понять. Выпустили миллион с гаком, а до этого было? Было к семидесятому году 623 тысячи. То есть вместе с прибылью 70-х годов парк должен был перевалить за 1 700 тысяч, а в наличии?

Сказано же: в наличии 722 тысячи.

А каков нормальный срок службы комбайна?

Тут понятие растяжимое. В 50-е годы у нас он, срок службы, составлял шестнадцать с половиной лет, до войны в МТС нормой было семнадцать лет. сейчас в Соединенных Штатах средний комбайновый век — девятнадцать лет. Критерий, как видим, подвижный. Практически в колхозах-совхозах уборочная машина служит не больше семи лет. И то сезон-другой стоит в полях, ждет списания.

Значит, тот миллион комбайнов, что выпущен в 70-е годы, ушел в никуда досрочно? Еще молодым?

Считайте как хотите. Он на списание ушел и переплавлен, тот миллион, а формулировки — вещь субъективная. Практически все десятилетие комбайновая промышленность, одолевая снабженческие, кадровые, транспортные тяготы, работала на восполнение ликвидируемой части парка. В семьдесят восьмом, скажем, году поступило от заводов 111 тысяч, а прирост у колхозов-совхозов составил семь тысяч; через год прислали сто двенадцать тысяч, а прибавилось фактически тысяч шесть.

Срок уборки не сокращен, а комбайновый парк никак не накопится — в чем же смысл такой мощности заводов? И откуда у села эта феноменальная проточность — сколько по одной трубе поступает, столько (или почти столько) в другую вытекает? И долго ли — вопрос целевой программы — бурлить первой трубе, чтобы наполнить бассейн?

— Это теоретически, — ответит нам тот же ученый синклит, — достаточно 470 тысяч комбайнов. Но пока рабочая смена используется в поле на 45—55 процентов. Хотя пропускная способность молотилок резко выросла (в сумме по всему парку чуть не удвоилась против 1966—1970 годов), фактическая производительность комбайна к 1976—1980 годам внушительно снизилась. Чтобы было ясней: в пятидесятые годы один комбайн убирал в день хлеб с 9,3 гектара, а к восьмидесятому сполз на 6,9 гектара. Поэтому рекомендуемое количество комбайнов намного больше расчетного: 892 920. А поскольку процентов сорок комбайнов занято на простейшей операции — косовице в валки, поскольку пятая часть парка вообще используется только под валковые жатки и в молотбе не участвует, то оптимумом мы считаем и от промышленности требуем не 470 тысяч, а 1 050 тысяч зерноуборочных комбайнов. Вопросы остались?

Схема понятна — подход неприемлем. Это, знаете, жок-комендант может вместо одного дивана заказать два с половиной (заявку урежут), когда же речь об одной из опорных машин экономики... Нет, вы потрудитесь разъяснить, кому это по карману — держать чуть не на шестьсот тысяч комбайнов больше нужного (пусть и теоретически)? Это трактор лишним не бывает, ибо всепогоден, не пашет — так возит, не возит — ковшом орудует, насос какой-то крутит — энергоблок! А комбайн умеет только две вещи: убирать и стоять. И стоит одиннадцать месяцев в году, хоть мотор его сделан на том же заводе, что и для трактора Т-150. Уж как дилетант ни темен, а поймет: замораживать в комбайновом резерве миллиарды лошадиных сил при низкой в целом-то энергооборуженности работника есть или недомыслие, или уступка чему-то нехорошему.

Затем, что это еще за комбайны, которые только косят? Явная ошибка, нас хотят провести. Даже по частушке

Комбайн косит, и молотит,
И соломушку гребет, —

ибо он combine, комбинация жнейки, молотилки, веялки, не так ли? Производительность СК-5 «Нива» даже в марке обозначена способностью молотить, и потому деталей в той «Ниве» двенадцать тысяч, а не один нож на двух колесах, как у жатки, верно?

Далее — что это за сорок или пятьдесят процентов использования смены? Простой? На полосе, в страду? Опять чушь: комбайн при спелом хлебе стоять не может, он одиннадцать месяцев перед тем отстоял, достаточно. По функции он схож с пожарной машиной (долго-долго стоять, а в критический час выручить), разве что по надежности, может быть, выше: пожар всегда внезапен, а тут заранее, по календарю, известно, когда будет в полном разгаре страда деревенская. И в силу долгого стояния и краткого — на протяжении года — использования комбайн обязан жить долго, иначе ему не оправдать себя. Так что же за эпидемии в парке должителей — мыслимо ли резать автогенном по сотне тысяч машин в год?..

Ну вот, для присказки — довольно. Вооружась умением слушать, дав слово верить своим глазам — за дело.

Можно знать, что комбайн изобретен задолго до трактора и автомобиля, еще в 1828 году, а можно и нет. (В музее Джона Дири в Иллинойсе я видел старинные фото: комбайн движут тридцать лошадиных сил в прямом, натуральном смысле. Кучер-комбайнер правит упряжкой из шести рядов лошадей по пятерке в каждом. Впрочем, компоновка, расположение хедера-молотилки-очистки почти такие же, как в нашем довоенном «Коммунаре». Верней, наш первый комбайн повторил изначальную схему.) Можно помнить, что первая в России «конная уборка на корню» построена в 1862 году — до написания «Анны Карениной», до «Братьев Карамазовых», — а можно и быть не в курсе.

Но что это великая машина бережливости, что в XX веке она сберегла Земле миллиарды тонн зерна и тем помогла человечеству перевалить за четыре миллиарда одновременно живущих — ясно и ведомо всем. Что наше комбайностроение — победа первых пятилеток, что после ленинских ста тысяч тракторов именно комбайн стал символом сельского преобразования, что индустриализация уборочных работ была рывком к аграрно-промышленному комплексу задолго до того, как вошла в употребление эта словесная формула, что имена Борина и Пятницы соседствуют в нашей памяти с именами Чкалова и Папанина — пока еще, слава богу, некому толковать. Темпы? В 1930 году выпущено 347 «Коммунаров», в тридцать пятом — 25 тысяч, в тридцать шестом — 42 тысячи машин. Наши комбайностроительные заводы, писала Большая Советская Энциклопедия в 1938 году, «по своему оборудованию и по размерам производства превосходят лучшие заводы США». Стратегически здравый курс: с самого начала зерновой комбайн приспособливается к уборке широкого набора культур — подсолнечника, сои, семян трав и т. д., — к тому же северные районы (хлеб влажнее, солоmistей) получили особый вариант комбайна...

Волею войны миллионы моих ровесников без книг знают, что такое цеп. Капица — не только фамилия, но и ременное кольцо, чтобы могло крутиться било цепа. Жалею, что не могу привезти домой из причерноморских усадебных оград два-три молотильных камня — память если не о царских скифах, так о гнезюках-запорожцах наверное. Знаю сам, как работает молотилка от локомотива, питаемого тут же промолоченной, свежей соломой. «Я тебе казав — ступай ты пид полову!» — грозил беспалый бригадир, посылая хныкающего верхового пацана под душный остюковый водопад.

За двадцать восемь рабочих осеней я стоял на мостиках (неловко же говорить — катался!) всех отечественных систем от «Коммунара-1» до «Дона-1500», видел уборку в разных странах Евразии, комбайновое производство и молотьбу в Америке. Самостоятельно не убрал ни гектара, но не дело упрекать журналиста в техническом невежестве. Он невежа тогда, когда перевирает услышанное, тушица тогда, когда ему не говорят правды, пустозвон, если не дошел до тех концов, до каких дойти мог и был должен.

Неизменного нет, это уж точно. Каким трудным был возврат от прямого комбайнирования к раздельной уборке, хотя тогда, в середине 50-х, еще добрая половина колхозников помнила и сноп, и крестец, и молотьбу зимой... Не исключено, доживем до отказа молотить на ходу, вернемся к здоровому дедову методу: убрать колос от стихий — а под крышей, на стационаре, молоти хоть до нового хлеба! Энергоемкая и комичная по тупости работа — заодно с колосом перебивать в труху сотни миллионов тонн солом — тоже будет в свой час прекращена. Как — пока не знаем.

Твердо можно говорить одно: в стране, сеющей пшеницы больше всех в мире, машины хлебной уборки никогда не перестанут быть отметкой развития общества. Каков

комбайн, таков и урожай — уже потому, что лучшего урожая, чем он сам, комбайн просто не пропустит. Вне комбайна, помимо уборочного комплекса хлебный сбор расти не будет — взвешивают ведь намолоченное, а не мнимости.

Впрочем, разве потери — мнимость? Что как не комбайн делит реальный, вызревший хлеб на валовой сбор и допущенные потери? Службы учета потерь (учета антинародного, скажем так, хозяйства) у нас нет, ЦСУ довольствуется только активом, брезгуя тем, что упало с воза. Никакая цифра оставленного на 130 миллионах гектаров зерна ныне не может быть объявлена точной, это так, но и с тем спора нет: свести потери до заявленного в характеристиках машин и технологий теперь на деле и значит выполнить Продовольственную программу по зерну.

Верю твердо, как в земное притяжение, что вся эта бессмыслица с комбайном и вокруг комбайна, способная озадачить (расстроить, взбесить) и дилеганта и, наверно, ученого, — аномалия. Временный сбой в зерновой истории страны. Все мнимосложное и убого-значительное так не вяжется с вековой мудростью земледельческого по рождению и по восприятию мира народа, что убеждать кого-то иля себя самого (непреречно, мол, перемелется, мука будет) — занятие пустое. Но пока живем мы (а живем все срок, увы, ограниченный) — это дело крупной жизненной драки. «Самые серьезные нарекания вызывают как технический уровень, так и качество многих выпускаемых машин...» — говорил на Пленуме ЦК в октябре 1980 года Л. И. Брежнев. — В новой пятилетке надо, просто необходимо, — подчеркнул Леонид Ильич, — создать и начать выпуск такого пропашного трактора и такого зернового комбайна, которые по своим характеристикам отвечали бы самым высоким современным требованиям».

Машина, считает словарь, есть устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии, материалов или информации.

Она же, машина, может быть запечатленным образом времени, оттиском отношений между людьми. Потому и возникла эта манера: памятником людям ставить машину — «тридцатьчетверку», «универсал» или трехтонку. Все тут разом: и производительные силы и производственные отношения.

...«Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что скажут иностранцы?.. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.

Н. Гоголь.

В цехах «Ростсельмаша» я решил бывать только без пропуска. Мальчишество — или похуже что? На руках командировка газеты, в кармане надлежащие удостоверения — стоит ли рисковать?

Но в кузницу входят без стука, верно? В поля, ради которых и дымят все кузницы — даже такие большие, как «Ростсельмаш», — вообще пропусков не требуется. Нет, поле — открыто. Оно чисто поле. Даже спутники, и отнюдь не только наши, видят и фотографируют состояние зерновых — какие уж там пропуска.

Словом, без маскировок. Ходить — так только таким, как всегда, как и для «Сельского часа» снимаюсь. Задержат — скажу правду: ишу, откуда возник комбайн номер 320808.

«Нива» под этим номером с патетической надписью «Лучшему комбайнеру Казахстана в честь 50-летнего юбилея «Ростсельмаша» поступила кустанайскому механизатору, лауреату премии Ленинского комсомола Николаю Ложковому, а он рассердился да и напиши в «Литературную газету»: «Ничего себе подарочек!» Согнут вал выгрузного шнека, рычаги набивателя половы приварены не в одной плоскости, в направляющей втулке выжимного подшипника не нарезана маслогонная резьба. В письме своем («ЛГ» за 31 октября 1979 года) он сдержанно, без истерик, взывал к совести всей донской Кузницы:

«...потери запланированы в самой конструкции комбайна. Но потери — это не только оставшееся зерно после обмолота в поле. Это и зерно с низким качеством при запоздалой уборке. Вы думаете, я и мои товарищи хотим этого? Ни в коем случае! Это же наш труд, наш пот, почти круглосуточная работа весной и осенью. Наша работа — не физзарядка для здоровья и удовольствия. И вроде бы в нашей бригаде нет

разгильдяев и транжир. Живем-то своим трудом, с рубля... А на практике получается, что мы сами себе вроде бы враги. Все-таки часть хлеба оставляем в поле.

И причиной этому то, что мы не можем работать, как надо бы, как нам хотелось бы. Когда все на ходу, работа не изматывает тебя. Намолотишь бункеров 30—40 и не падаешь с ног от усталости. А устаешь от разного рода безобразий... За всю уборку не было такого дня в бригаде, чтобы из-за поломок не стояли 3—4 комбайна.

Черный юмор адреса («лучшему комбайнеру») в том, что не лучшему на такой машине и делать нечего. Средняку с двумя-тремя уборками за плечами, не говоря уж о первогодке из училища, нипочем не углядеть, что дорожка для масла не прорезана, — и выжимной подшипник у него будет катиться к чертям методически, раз за разом, приводя в ярость и механика и бригадира: про свою мучку какой разговор. Не окажись дошлым следователем, не проверь опасливо, как минер, каждый узел, каждое крепление — уборка обернется наказанием. Кому флажки и заработок, а тебе садины на руках, немое сочувствие домашних и ненависть к железному мучителю.

Честно сказать, я допускал, что номер 320808 — мятый пар, давно осужденный и осужденный случай. Может, поэтому и не торопился в ОТК. В многотиражке продавали с песком всех виновных, целиннику вместе с извинительным письмом послан новенький комбайн, какому износа не будет, — баста, меры приняты, дорогой товарищ, где «прибыл — убыл» шлепнуть? И логический конец командировке — отрадный, только слишком скорый конец.

Ведь он все-таки вышел отсюда, злосчастный номер 320808! И как ни грешна железная дорога — не она лишила смазки выжимной подшипник. Что ни говори про Сельхозтехнику, не она косо-криво сварила копнитель. Завод виноват! И это отборный дареный конь, а что же идет в ширпотреб?

Не без умысла приехал в лучшее, спокойное для цехов время: середина января, декабрьская штурмовщина позади, до уборки еще ого-го сколько. Недаром проницательный потребитель ищет всегда машину, выпущенную в середине месяца.

Обременять бюро пропусков так-таки не стал: для начала меня провезли на территорию приятели-киношники, их «рафик» примелькался; потом проходил с какими-нибудь проверяющими (к ним охрана почтительна, а сами они решительны). Случалось и с конструкторами попадать — как бы в пылу спора, «давайте-ка в цехах поглядим». Не без того, иногда спрашивали, потолковав уже минутой пятнадцатой:

— А вы, собственно, откуда?

— Из комитета, — приучился отвечать я.

Из какого комитета? Народного контроля? Советских женщин? Еще какого там? Не уточняли. В сущности, и обмана с моей стороны не было: Гостелерадио — тоже ведь комитет. Ходил как на работу — загроможденными путями меж цехов, бойкой дорогой «на гору», куда трактора такими челюстями влекут столкнутые с конвейера «Нивы», напоминая настырных муравьев и безразличных ко всему личинок. Научился выбирать у главного конвейера безопасные места, завел знакомство...

Почему меня не выявили? Почему я мог в рабочее время спрашивать да спрашивать, разводя этакую пресс-конференцию, где журналист один, а отвечают десятки?

Потому что к массе проверяющих привыкли, они обыкновенны, как грохот на сборке или очередь в столовой. Потому что в цехах «Ростсельмаша» много не занятых делом. Работая не покалякаешь — для этого нужен простой.

Белой вороной, инородным гелом я, бывало, себя ощущал — но где? На поле у Кошкина, в кулундинском совхозе «Степной». Вроде и десятилетия знакомства, надо бы и повспоминать и даже стопарик выпить, но Кошкин взял обязательство намолотить тридцать тысяч центнеров (жутко произнести!), а молодые давят по всем флангам, а лет Петру Кошкину столько же, сколько и мне, и единственный наш козырь — тягучесть, потому и разговору за целый приезд — три-четыре минуты с виноватым «ты не сердчай» вместо прощания.

И еще кое-где. Но особенно — на комбайновом заводе фирмы «Джон Дир» в Илинойсе. Там ты весь как на ладошке! Даже ощущение наготы. Не потому только, что — русский (хотя глазок-смотрок, без сомнения, не дремал), а больше потому, что был не при деле, то есть не входил в какую-то «стэйшн» конвейера, не носился на электрокаре, как уборщик-негр, не летал в люльке с респиратором на физиономии, облудая металл распыленной фирменной краской, — только спрашивал. А спрашивать, естественно, мог только главного инженера, который и показывал линию (давно ус-

ловлен день, отложено совещание). Безработные — они где-то там, за проходной, на которой наглядная агитация: шляпка с дюжиной лихих гребцов плюс надпись насчет того, что «мы все здесь — одна команда, грести должны в одну сторону». Не гребущий, то есть склонный точить ляды или допускать прогулы, не только мастером будет выявлен, но и профсоюзом прижат — и выжат, ибо за коллективный договор с фирмой тягался тред-юнион и ему прогулявший смену без предварительной просьбы — лишний козырь у фирмы в руках. Кому толковать о беспощадности капитализма? О безработице и т. д.? Но организация, четкость, синхронность работ слагаются в ту надежность, какая и компанию «Джон Дир» чуть не полтора века сохраняет на плаву и нашими испытателями — при рабочих конкурсах в поле — подтверждается ежегодно.

Вот открытия, какие я сам для себя — с большим опозданием — сделал на «Ростсельмаше».

Комбайн не сходит с конвейера — его свозят. Самоходный он только по названию — учиться ходить ему придется в степи. А поскольку это сырец, полуфабрикат, то и про ответственность завода можно говорить лишь условно. Хороши ли котлеты в кулинарии? Да как сам их приготовишь... Под предлогом сложностей с перевозкой доделка машины переложена на покупателя. Внедрена неведомая прежде форма аграрно-промышленных связей, когда село с явно неравным потенциалом делается финальным соизготовителем машины. Ни в тракторо-, ни в автомобилестроении ничего похожего нет. О самолетостроении не знаю.

Собирают «Ниву» не ростсельмашевцы, собственно, а завод вкупе с «привлеченными»: четыре тысячи временных, необученных и, следовательно, безответственных рабочих постоянно доставляются сюда из всех регионов страны. За год сквозь завод протекает, таким образом, около 50 тысяч человек со стороны — больше стабильного состава. Дисбаланс между планом на комбайны, производительностью труда «Ростсельмаша» и наличием рабочих рук покрывается за счет страдающего от малолюдья аграрного сектора.

Принимают готовую продукцию на заводской территории — на глаз, уж точно «со стороны». Принимает на отстойной площадке (таково название) Сельхозтехника, которой нужно потом эти же комбайны ремонтировать. Тени на плетень наводить не станем, но ведь в объемах ремонта эта система заинтересована, не так ли? Правда, и при такой расстановке приемщики относят к браку 30 процентов продукции. Это еще ничего, прежде бывало и за сорок... А если завести моторы и прокрутить молотилки? До отгрузки не дать смазки на подшипник для Ложкового?

Кстати, комбайн номер 320808 среди рекламаций не значился. Ни шуму, ни извинений.

Явившись под конец в ОТК, я положенным образом представился, был принят заместителем начальника Юрием Федоровичем Милевским, инженером с двадцатипятилетним стажем работы на «Ростсельмаше», и выслушал лекцию — вариацию на тему «все хорошо, прекрасная маркиза».

Массовый выпуск, семьдесят восемь тысяч комбайнов за один прошлый год, — согласитесь, что какие-то экземпляры могут быть с недостатками. Индивидуальный подход немыслим, операции рассчитаны по секундам. Но коэффициент готовности СК-5 уже очень высок — объективно он равен 0,934. Это значит, это в 934 случаях из тысячи комбайн будет исправно работать и только в остальных шестидесяти шести попросит ухода или ремонта. Конечно, тут заслуга и технического контроля. Надо поднять этот коэффициент до 0,95 — и будет идеальная для реальности готовность. Во всех зерновых зонах созданы базы гарантийного ремонта, да-да, наши ростовские базы, их сто двадцать по стране. За год было только 156 рекламаций — согласитесь, мизер для 78 тысяч... Да, это получается по одной рекламации в год на базу, если округлять, но там занимаются и профилактикой. История Ложкового не зарегистрирована. Наверно, ограничился газетой, а формальную рекламацию не послал. Трудно сказать, с чем там у него действительно беда. Если бы жалобы на мост, вариатор ходовой, коробку — заранее согласен, это слабые места. Болтокрепеж — тоже можно согласиться. Ведь привлеченные — они те же комбайнеры, а комбайнером теперь берут и десятиклассника и парикмахера. Возврат с отстойника — дело субъективное. В хорошем настроении приемщик — пропустит, в плохом — вернет. Со второй сдачи машины, как правило, уходит. Словом, сложности есть — а где их нет? — но коэффициент готовности 0,95 будет достигнут.

И тут я распрямился, хлопнул блокнотом и отвечал инженеру так:

— Мы с вами, наверно, ровесники. И сейчас не в подкидного играем, где один дурак просто необходим. Какой ко-эф-фи-ци-ент? Он же не готовым уходит, комбайн, — о какой же готовности я буду писать механизатору? Я верю — вы не спутали и тысячной. И в искренность вашу верю. Не в то, будто вы всерьез думаете, что на отстойник волокут одно добро, а вздорный приемщик качает права. Цену товару вы-то знаете! Но знаете и то, как дошли до жизни такой. Вы искренне не позволяете делать ответственным за все завод. Потому что он — ваша жизнь. Такая ли, иная — другой у вас уже не будет. Как и у меня. Писарей, я согласен, много, пусть даже грамотных, а жизнь единственна. И вы не страха ради, не потому, узнают наверху про наш разговор или нет, а из уважения к прожитому, к ближним прикрываете не всегда благодарный к вам лично, однако же свой завод. Я ничего не имею и против чести мундира. Одежда уставная, чего ж на нее плевать? Но чтобы вы могли снисходительно внушать про ко-эф-фи-ци-ент, вам нужен проигравший в подкидного. А за что таковым вы делаете меня? Для этого ли столько мерз на целине, месил великие грязи Костромы и Вологды, собачился с редакторами уже трех возрастных категорий? Хватит мне коэффициента, сыт давно и по горло! У поэта хорошо сказано — вы уж простите цитату: «Я тридцать лет вынашивал любовь к родному краю и снисхожденья вашего не жду и не теряю!» Вот живые картинки, без пропуска добытые, у меня есть, и я, дайте срок, доложу их кому надо. Кошкину Петру, тоже наш ровесник! Чабанову Федору Васильевичу! Тому же Ложковому Николаю, хоть и знать его доселе не знал. Сейчас вас выслушал, а потом — доложу!

Сказал — и умолк.

Впрочем, и до того, разумеется, не раскрывал рта. Хорош бы я был с этими филиппиками в ОТК «Ростсельмаша»! Прицепился к коэффициенту готовности, вполне официальной мерке... Нет, в уме что-то похожее плескалось, а вслух — молчок. Неприлично.

«Неприлично, — учит классик, — автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше»¹.

А живые картины — другой разговор.

..Уже час прошел с начала смены, но табло пусто — ни единого. А 85 «Нив» в смену — душа винтом — согнать надо.

— Из-за чего стоим? — тоном завсегда спрашиваю мастера.

— Керагаз и балалайка...

Раз я здесь, то жаргон сборки знать должен.

— А потом будут нахлестывать? — стараюсь разговорить мастера.

— Неужели!.. До обеда хорошо, если двадцать сделаем, а потом пойдет круговерть — в гору глянуть некогда. И спрашивай качество... Вы откуда?

— Из комитета, — сказал я. — Как раз насчет качества.

— А-а... Крепить молотилку надо на весу, с крана — вот и начало качества. Есть у крановщицы время — она держит, ждет, запарка пошла — разбросает по кузовам, подгоняй потом, Ваня, выравнивай. А ведь и тонна весу бывает в железке.

Зовут его Юрием Дмитриевичем. Стало быть, тезки. Этот тезка на «Ростсельмаше» шестнадцать лет, диплом добывал заочно. Лучше становится? Ну не-ет. Даже при бригадном подряде? А что подряд — колдун какой? В бригаде сейчас двадцать восемь человек, и то уже двое привлеченных. Из Тулы. Нет, из Тюмени? Не запомнишь, они три дня числятся учениками, а потом месяц отбывают. Хорошо сейчас — студентов нет, те летом появятся, вот уж на кого нервы запасы — молодежь. Да и эти простои... Хуже нет — ждать и когда с тобой гонятя.

Несинхрон! Я бы мог рассказать ему, что в кино это несовпадение действия и звука. Актер уже упал, а звук выстрела не поступает. Передовик еще и текста не вынул, а фонограмма уже — «дорогие товарищи!». И прежде монтажа, еще до борьбы за высокую художественность режиссеру надо согнать синхроны, достичь совпадения двух главных материй, это предработа, но без нее — никак.

Ясное дело, опоздание на конвейере — несинхрон элементарный. Мне еще придется узнать, что и моторы подчас (временами) не поступают к сроку. Можно — их мчат автомашинами из Харькова (ближний свет!). Нельзя — стоняют комбайны «на

¹ Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в 7 томах. М. «Художественная литература». 1978, т. 5, стр. 212.

гору» без двигателей, чтобы потом д о с о б р а т ь некомплектную партию... Всем бюро обкома (рассказывал секретарь по промышленности) в иные периоды приходится выбивать от смежников аккумуляторы, резину — по десять телеграмм подписывают за день. Пусть колесо большое, а «корогаз» маленький — что с того? Несинхрон — киношный ли, индустриальный — не бывает большим или терпимым. Только так — да или нет, синхрон или несинхрон, все равно какой степени.

Но кому тут нужны байки-присказки, если уже полтора часа смены выдуло, а на табло только «З»?

Табельщица раздает расчетные листки, декабрьская зарплата. Можно мне на память? Та берите, жена и так знает. У Юрия, значит, Дмитриевича, мастера участка, 170 рублей 45 копеек. Ни у кого из рядовых сборщиков (а листков со счетной машины у меня уже пачечка) такой зарплаты за декабрь нет. У Сулейманова, слесаря, 351 € копейками, иные хлопцы и по четыре сотни получили. Тут, мне говорят, и черные субботы и полторы-две станции (сборщик совмещает операции), вообще бригадный подряд, заработок поднял. Что толковать — даром не платят. Когда нахлынут наконец «корогазы» и «балалайки», ритм воцарится страшный, вымотает в лоскуты. Да и однообразие заученных движений, тысячекратно повторяемых нынче, завтра, через год... Это тебе не пестрота аграрного сектора, где ни двух во всем схожих коров, ни двух нив, ни двух идентичных деревьев, где мозг ты никак не выключишь, автоматизмом не возьмешь, не сельский, говорю я, труд, какой пока еще нужно п о д н и м а т ь до уровня промышленного!

Но сборщик реализует синхроны. Несинхрон устраняет инженер — от мастера и выше. Чтобы получать сто восемьдесят в месяц, надо быть не просто, а в е д у щ и м конструктором. Чтобы чей-нибудь заработок в инженерном составе или в КБ достиг тех четырехсот, что получают парни на втором году работы, нужен, кажется, особый приказ министра.

Тут не мой монастырь — и чужие уставы. Есть целая литература о заводском инженере — от Анатолия Аграновского до молодого Валерия Выжutowича. Я могу сказать своим только элементарное: качество комбайна (нынешнее) идет от разнobia, люфта, простоя-спешки, а это зависит от инженеров самого разного ранга. «Надежность — это социальная категория», — сказал афоризмом главный ростовский конструктор Иван Киреевич Мещеряков. А заработная плата — нет?

— Мастер Петрухин, — вдруг проснулось радио, — четыре малых вариатора на обкатке.

— Ну, вроде начинается, — подтянулся Юрий Дмитриевич, и я отошел в затишек.

...Чтобы под куполом сборочного различить некий отдельный стук, нужен стук выдающийся. Такой и раздается. Яростный, мстительный — будто кто-то настиг, повалил и теперь добивает. Но кто? Мы не на главном конвейере, освещено плохо, вроде и не видать никого.

— Да вон он, внизу, — оборачивает меня конструктор Тищенко. — Вдогонку ставит чего-то.

Вытаскиваем. Потный, встрепанный весь, фигурой с подростка, видом — из Средней Азии, но в матросской тельняшке.

— Чего разошелся? Зачем молотком бил?

Отвечает, а не разобрать: и шум, грохот и с русским неважно. Ага, «не налазила»! Не налазила она у него, муфта шнека, а ставить заставляют вдгон, комбайн отползает, гляди уползет совсем, вот он и дал. Откуда?

— Каракалпакия.

— Зовут как?

— Уразов Сасенбай.

— Давно на заводе?

— Три дня скоро.

Погнул, изувечил он ту, что «не налазила», Уразов Сасенбай. Заменить уже не заменят, поезд ушел, аукнется в Кулунде. Наставник его, рослый подрядчик на двух станциях, у нас за спиной ведет воспитательную работу — «я тебе шо говорил, салага? Ш-ш-шо я тебе говорил?..».

Если Каракалпакия, то надо сначала привыкнуть к Ростову. После Ростова — к заводу. Первую неделю, говорят, мучит сильная жажда — потеешь. Любой сельский житель в метро и в московской толчее потеет — тут не жара, а нервы, гнет впечатлений.

Но в городе хоть молотилки над тобой не летают! Этому же сразу дали кувалду, он и отплатил за все... муфте!

Почему, однако, кувалда? Комбайн же надо собирать, а не сбивать? Не с собою же он привез это самое, в руке еще не молот, но уже и не молоток. И децибелы под кровлей цеха — они ж от кувалды!

Наставник долго воспитывать не может — две станции! Малый рукавом тельняшки утирает лоб. Надолго запомнит он это повышение квалификации.

Мы с конструктором идем дальше, и Тищенко продолжает нехстати прерванный разговор отчасти теоретического, может, и философского свойства:

— Как это вообще может быть — нехватка людей? Чтобы знному количеству людей самих себя не хватало? Ну, завези откуда-нибудь еще миллион, так и им не хватит самих себя отработать! Нет, при данном плане, при такой вот производительности труда, при данных производственных отношениях — я понимаю, а вообще — нонсенс...

Именно этот Тищенко, ведущий конструктор, Николай Михайлович, единственный потребовал было от меня пойти сначала добыть форменный пропуск. Но потом, правда, махнул рукой.

...Где кончается сборка — на конвейере? Ничуть. За стеной цеха? В Таганроге видеа: собирают (доукомплектовывают!) и за стеной. В Ростове убедился: и на площадке готовой продукции бригады слесарей (полевые, всепогодные) донизывают кораблям степеней какую-то архинужную сбрую. Так что, вплоть до приемки? И это неточно.

Приемка, оказывается, идет партиями. Выдано свидетельство о рождении на 37, скажем, «Нив». Главный приемщик Пирогов П. Е. осматривает этот взвод наружно, внешним осмотром, и...

— ...если дефекты незначительные, то в процессе приемки слесаря устраняют, если же в сварке брак или течет гидравлика, течь моста, по регулировке что серьезное — мы возвращаем цеху на доделку.

— Помилуйте, Петр Ефимович, ведь не лошади в табуне! Все внешне да наружно — там же и середка есть.

— А из каждой партии мы берем один комбайн на испытание. Прокрутка, взаимодействие рабочих органов, крепеж — и если выявлены серьезные дефекты, возвращаем всю партию. Пока в среднем возвращаем один из трех предьявленных.

— Но на нем же ни кабины, ни шнека, ни жатки! Значит, как он косит, выгружает, как приборы работают — вообще узнать нельзя?

Это нельзя, соглашается первый человек Сельхозтехники Пирогов П. Е. (уже двадцатый год на «Ростсельмаше», принял сотни тысяч комбайнов). По инструкции надо дособрать машину, шестьдесят часов обкатки ей дать, поменять масло — тогда пожалуйста.

Легко сказать — дособрать! Кабину водрузить на место — это же груз какой, без крана не обойтись, да шнек, ствол с винтом Архимеда, — тоже на пупке не пробуй, а...

— ...а всего к молотилке двадцать три комплектовочных ящика идет, да по жатке из Тулы еще следует семь мест. В ящиках навалом поступают две тысячи девятьсот крепежных болтов, винтов, гаек, без которых машину не сложишь. Ясно, что краны нужны, приспособленные помещения, люди. Сам «Ростсельмаш» затрачивает на одну машину 226 часов, а дособрать — еще, по расчетам, 120 часов работы.

— Так когда же кончается сборка, Петр Ефимыч?

— А как убирать начнут, — шутит приемщик. — Вошли в полосу — сборке стоп.

Многие инженеры считают: теперь кабина так связана с организмом машины, что досылать ее в поле — это как руку отправлять: дескать, на месте и вены и нервы сошьете. Допустим, что сравнение спорно. Но когда вещь, поглотившая 226 единиц труда и объявленная готовой, требует от купившего еще 120 единиц для своего оживления — тут бесспорный уникум.

...Веселая и наивная история о комбайне для самого себя, история Саши Ткаченко. Косая сажень в плечах, открытый и улыбочивый, он и в штормовке щеголеват, Саша из Усть-Лабы, комсомольский бригадир со сборки в Таганроге. Идея — собрать «Колос» для себя лично, начать уборку, скажем, в Молдавии, а кончать уже на целине. Ребят подобралось пятеро, молодожены, гроши всем нужны, только дай «Колосы» — пойдут считать меридианы.

— Во почин, правда? Следите за газетами! — светится радостью Саша.

Стой, а убирал уже? Хоть какой-то опыт есть?

Нет, только на курсах пока, зато ж комбайн знает как пять пальцев. И мастером был, и весь конвейер — свои люди.

А если обломаешься уже в Молдавии? Будешь маяться весь сезон?

Так в том и штука, что комбайн у него будет заговоренный, волшебный! Все кругом хоть гори, а они — топ-топ целую осень, рекордный намолот. А почему — секрет фирмы! Хотите — покажу? Сейчас стоим, и до обеда все равно работы не будет — пошли сначала.

Вот рама, так? Основа основ. На швеллере — квадратики, автомат пробил. Но смотрите, ка-ак пробил! То ближе к этому краю, то к тому, а чтоб посередине — ищи да ищи. И никому тут не докажешь, что — брак. Говорят: «Можно поставить молотилку? Ну и ставь». Можно-то можно — силой! Методом втыка, а оно скажется обязательно. Вибрация пойдет, напряжение — лопнет твой швеллер, и кукуй. На таком ехать в степь? Просто смешно. А найти себе раму можно! Десятки перебрать, мужиков озадачить, свою бригаду нацелить, до сердца дойти, а для своей инициативы сделать. Дальше — мост. Мост и коробка замечательны тем, что снаружи всегда все в порядке, роща-калина, темно, не видно, гадости только внутри. Так привлекли ты бригадира, даже знакомого конструктора — и живые люди такую коробочку тебе соберут, что в огонь с ней и в воду. И по молотилке обойти — что, не отзовутся? И жатку дома еще отладить, прокрутить, заменить все хоть капельку ненадежное. Кругом хруст, говорю, может стоять, а наша пятерка будет идти клином, во-от такие глаза будут у всех. Конечно, резерв запчастей полный, запас не тянет, посыпалось — в час заменил. Надежность у «Колоса» какая — ноль девяносто с чем-то? Так она ж в натуре будет, надежность: на сто часов работы — ну пять, ну шесть прстоишь, это ж радость, а не уборка. Конечно, собирать — так уж собирать, спокойно, с удовольствием, а не как на пожаре. Подождите, после обеда тако-о-ое начнется, еще тот увидите цирк.

Значит, всякий, кто сам отобрал бы себе узлы на комбайн и слепил их, в поле не знаа бы беды?

— Так для себя же! Следите за газетами, я серьезно!

Служебное положение — в служебных целях. И парень славный, и на почину в Ростове легки, а не верилось, что придется искать его в газетах. Какая-то подковырка, едкое что-то тайлось во всей задумке.

И точно. Приехал на другую зиму, отыскал его в цехе, даже камеру приготовили — авось придется снять. Ну что почин, Саша?

— Не вышло, знаете. Что-то, говорят, мы не так поняли. Выезжали, правда, ребята под Таганрог, но на рядовых машинах. Я и не просился — зачем?..

«А что скажут иностранцы?» Ведь мы продаем технику за рубеж, и даже комбайны покупают у нас сколько-то стран. Десять лет уже, как я стал в своих очерках — так ли, иначе — касаться качества техники, и всякий раз вопрос, даже текстуально совпадающий с ироническим гоголевским: «А что скажут...?»

Да ничего не скажут. Потому что вышеизложенное их не коснется. Потому что это совершенно особое производство — экспортный цех «РСМ». И это отдельная фирма — Запчастьэкспорт. Она тоже занимается техническим сервисом, но вовсе не похожа на Сельхозтехнику. Если в производстве, в цехе — простор, эргономика, диковинная опрятность, если и контроль и допуски, даже металл здесь не чета цехам обыкновенным, то на главных складах Запчастьэкспорта систематичность, напоминающая Ленинскую библиотеку, а замечательная и многим выдающаяся ЭВМ (я не готов понять, чем именно) знает и помнит, что нужно такой-то «Ниве» в Ираке и такой-то «Беларуси» в Иордании. Ощущение то самое: значит, можем?!

Если и скажет, что какой-то дотошный иностранец, то только одно: «А почему с внутренней продукцией не так?» И резонно, между прочим, спросит.

Цыган, лежа под шатром:

— Жинна, какие ж у нас с тобой дети
грязные! Этих отмоем — или новых наробим?

Украинская хуторская байка.

Юрия Александровича Пескова мы, киногруппа ЦТ, впервые увидели в большом ростовском ресторане. Гремели стереоколонки, немолодые пары танцевали — провожа-

ли на пенсию начальника литейного цеха. Что в литейке до пятидесяти пяти отслужить — ого-го надо здоровье, что тот, кого провожают, навел порядок будь-будь, это нам рассказал наш опекун Олег Игнатьевич, а в танцующем с женой юбиляра генеральном директоре тебе виделось одно: так и надо. Даже только так и надо! И не потому, что разделенный праздник перечеркнет выговоры десятилетий, не потому, что неминуемую горечь прощанья отчасти снимет, а — по-человечески все как надо. Сказано же: директора должны быть не чешковыми, а добрыми и доступными!

Песков и послужным списком никак не «человек со стороны»: вырос здесь от ученика на радиаторном до главного инженера «Ростсельмаша», и переход с СК-4 на «Ниву», и тысячи доделок на той «Ниве», и выпуск миллионшестисоттысячного комбайна, и перевыполнение последней пятилетки на целых 15 тысяч «Нив» — все при нем. От главного инженера уже одна ступенька до генерального.

Больше половины мирового производства уборочных машин — какой же еще генеральности! Концентрация личной ответственности просто немислимая для сельских мерок: восемьдесят процентов зерновых комбайнов страны, судьба урожая чуть ли не на ста миллионах гектаров. И генерал не штабной — фронтовик: самому своих сорок тысяч людей кормить надо. Ладно, пусть не совсем кормить — по д к а р м л и в а т ь, но продовольственная ситуация уже такая, что, если только заработком захочешь обеспечивать да жильем, недооценивая харчи, — пойдет перелив к соседям.

— Добыл шесть тысяч тонн картошки, — позже услышал я от Юрия Александровича. — Сорок часов в самолете без сна, облетели семь областей, зато зимний вопрос решен. Считай, по полтора центнера на каждого работающего.

Один из цехов завода — подсобное хозяйство. Глогает миллионы этот внутренний совхоз не хуже литейки и инструментального, противоестественность всех этих инородных тел внутри индустрии как-то затерлась, замаслилась — область уже около трети мяса производит в таких вот совхозах-цехах. Уж куда: «Атоммаш» развел огороды и подсвинков! И маятник пока идет в ту сторону, про счет, хозрасчет и специализацию еще разговоров не слышно.

В канун новогодья генеральный директор начинал день с содержимого съестных заказов: как там с финскими макаронами? решено наконец насчет пятнадцати тысяч плиток шоколада?.. Еще непривычно и муторно при таких разговорах аграрию. Людям прямой бы работой заниматься, а кто на макароны стаскивает? Ты, голубчик, твоя сфера. И кого стаскивает? «РСМ», локомотив прогресса в земледелии.

Кубанцы-друзья рассказывали, что Песков на испытаниях «Дона-1500» вел себя просто героически. Отравился где-то в дороге, заболел, но машин не оставил, жил на хуторе у Первицкого. Конструкторы спали в соломе, обучая ходьбе наспех склепанные первые образцы. «Дону» дали фору, сразу, через ступень — на государственные испытания, и все нескладухи-нелепицы одолевались перерасходом энергии. Собственной, ясное дело, нервной.

Показывая заводское училище — щегольское, в мраморе и полировке, — Песков вместе с нами заметил, что тянет аммиаком: неисправные туалеты душно себя ведут. И при гостях с непосредственностью Петра Первого разнес по первое число директора училища — починить сортир, тра-та-та-та, иначе то-то и то-то!..

Его сын здесь же, на заводе, кончал втуз и теперь мастером на алюминиевом литье. Цех не из здоровых — не жалко ли своего? Но кто-то же должен! Ничего, выдержит.

Впрямь сухи и черствы они у нас, что Чешков, что герой Ульянова в «Частной жизни». Человечного бы, простого и открытого лидера из сферы Кузнеца — в период, когда продовольственная ситуация, увы, диктует погоду! Не с неба же она упала — из чего-то собралась, сплусовалась? Можно, наверное, объяснить, откуда взялся каждый мазок картины, но ведь не о б ь я с н я т ь м и р в е л я т — п е р е - д е - л ы - в а т ь. Нам дана камера, и есть официальный доступ в цехи. Есть пленка под телецикл «Хозяин и помощники». Неужто не под силу кинопортрет увлеченного, полного азарта генерала аграрно-промышленного комплекса? Конечно, до типов вроде Горлова и Огнева из «Фронта» Корнейчука нам не тянуться, всяк сверчок знай свой шесток, но стараться-то надо...

Собственное представление о генералах почерпнуто в мальчишестве из «Теркина». Прежде всего редкость («...генерал один на двадцать... а может статься, и на сорок верст вокруг»), затем старшинство возрастное («...ты, ожегшился кашей, плакал... — он полки водил в атаку»). И наконец, основное занятие: «Города сдают солдаты — генералы их берут». Возрастное для меня улетело, но остальное вроде на месте.

Только не снимать н а г о р е! Была уже передача, Пескова бездарно представили

как военачальника: мост над отстойником, стоящий директор, за ним, «колыхаясь и сверкая, движутся полки», то бишь комбайны. И он не для батальной живописи — вон картошку добывал, у Первицкого спал в соломе, на заводе 15 тысяч ударников коммунистического труда, и чуть ли не всех знает. А меня та отстойная площадка наградила комплексом сельской боязни. Название условное, а комплекс вот какой. Нюра Чепурнова, соседка на целине, приехала к нам в такой людный Омск и обомлела: «Ой-о-ёй, это ж всех прокормить!» «Это ж всех прокормить» — почти неременная реакция председателей из Кулунды, Костромы или Заволжья, когда ты в короткой московской щедрости кажешь им людскую круговерть метро или разъезд с Лужников. (Что каждый из этой тьмы может и должен заработать себе на прокорм сам, у приятелей моих не укладывается.) Так вот и я: «Ой-о-ёй, столько д о с о б р а т ь!» А радости от лицемерия богатства, от прорвы наготовленного вроде и нет, робость. Нет, снимать — так в нетрадиционном месте!

Идеально — увлечь бы генерального в полевую бригаду, посадить лицом к деревне, за один стол с мужиками. Неравный уровень? Стратегия — и окопная правда? Так надо ж с умом, не топя разговор в мелочевке. Притом старый комбайнер — вполне самостоятельная боевая единица, а комбайн — чистой воды о б щ е с т в е н н а я машина: ни шабашек на нем, как на тракторе или самосвале, ни тебе домашних привилегий — только хлеб родине! С этим людом и являть мужественную прямоу, стратегическую зоркость командиров АПК. Да не хвалить за то, что человек должен делать по назначению своему! Комбайнер убрал за декаду — чему ж тут хлопать? Иронично прозвучит аплодисмент, даже язвительно. Ученый вышел на уровень мировых стандартов — дивья-то! Да д о мирового стандарта еще и не наука — школярство или ведьмовщина вроде лысенковского засорения видов. Конструктор сделал машину не хуже, чем делают и продают где-то, — так «гром победы»? Не изобрел же он ни кабины с искусственным климатом, ни гидравлической передачи, что без рывков, плавно и быстро сообщает колесам силу мотора, и сигнализатора о потерях не измыслил — все уже десятилетия на службе у земледельцев, он только возьмет лучшее оттуда, отсюда и соединит в новой машине. Но и то должен держать он в уме, конструктор, что взять у одного замечательный нос, у другого губы, у третьего уши или брови не значит достичь идеальной красоты, гогалевская невеста была образцово глупа! Ее методом вполне конструируется если не урод, так очень заурядная физиономия, а дело именно в подгонке, комбинации элементов, какие слились бы в органическое целое — допустим, в новый комбайн. Нужный именно д а н н о й технологии и д а н н о м у земледелию комбайн, потому что по кораблю и плаванье, по плаванию корабль. Азову не нужны супертанкеры, и тут не укор Азову — с него хватит своих достоинств. Сытный хлеб правды — реализм, а сегодня реализм — «Нива», и целинные мои дружки дослужат, увя, на этой «Ниве». Перегруппировка сил, пересмотр стратегии — да, на то и Продовольственная программа. Остро недовольна зерновая экономика машиной? Об этом и на Пленуме ЦК... Но машина — она всегда и только то, как ее придумали, как изготовили и как на ней р а б о т а ю т. Четвертого не дано. Значит?

Значит, самые общие, г е н е р а л ь н ы е вопросы, вместе с ответами и рисующие деловой портрет. Предположительно...

Сколько будет длиться варварское обращение с комбайном и в рабочее и, главное, в нерабочее его время, при так называемом хранении? Хозяин и борону не оставит в лопухах, смажет и под крышу, а сотни тысяч сложных и дорогих комбайнов открыты всем стихиям — их полощут дожди, точит коррозия, раздирают морозы, лень даже резину снять, приспустить шины... Разумно ли усложнять конструкцию, насыщать ее новыми системами, если сохранится массовое расточение парка из-за элементарного разгильдяйства и раскардаша?

Создатель техники не может не в р е з а т ь примерно таким образом пользователям: накопело.

С другой стороны.

Зачем столько недоделанных комбайнов, может, лучше меньше, да лучше? Зачем, скажем, те 15 тысяч «Нив» сверх пятилетнего плана, если в пять или семь раз больше машин не участвует в уборке, если серийный комбайн останавливается в пять — семь раз чаще, чем тот, что прошел государственные испытания?

«Комбайн — цэ тэхника вэчного ремонту», — определил один бригадный сторож

...² См. «Известия», 1 октября 1982 года (статья академика ВАСХНИЛ А. Никонова).

под Кустанаем. Почему «Ростсельмаш» не обслуживает свои машины сам? Когда у комбайнера будет столько запчастей, чтоб не мучиться? Когда конструкторы защитят здоровье человека?

Об этом заговорят наверняка, потому что об этом пишут методически! Все центральные газеты с «Правдой» во главе. Триумвират Минтракторосельмаш, Минсельхоз и Госкомсельхозтехника публикации не поощряет, совсем наоборот. После статьи «Модель у конвейера»³, пересказавшей протест двенадцати виднейших ученых против волевых (болевых?) приемов в решении машиностроительных проблем, ученым ВИМа, ВИСХОМа, ГОСНИТИ и пр. было строго запрещено иметь дело с пишущим людом! «Извините, но на беседу мне нужно разрешение министра», — отвечал восьмидесятилетний патриарх комбайностроения И. С. Иванов, а полный сил и энергии В. К. Фрибус, начальник главка новой техники Госкомсельхозтехники, отказывал прощю: «Я состою на службе и без прямого указания свыше ни-че-го вам говорить не буду!»

Но есть ведь четыре с половиной миллиона механизаторов. А на них приходится около четырех миллионов в Сельхозтехнике и у других аккомпаниаторов села. Вот уж точно хорошо информированные круги, и здесь рекомендация держать язык за зубами никак не пройдет. Пригласили ростовского комбайнера А. Лилейченко, Героя Социалистического Труда, за «круглый стол» с генеральными директорами двух комбайновых заводов, а он и рубанул:

— При таком отношении к своей продукции не выручит никакая, самая современная, конструкция!⁴

Чего там, костяк драмы идей ясен, остается вдохнуть душу живую — живую и деятельную душу когда-то заводского паренька, а ныне руководителя крупнейшего в мире завода сельскохозяйственного машиностроения.

М-да. Человек предполагает, а... Возник перекосяк. Как бы двойная бухгалтерия. Доброта-сердечность проходила по одной статье, взгляд на качество — по другой. После некоторого доверительного разговора нечего стало и думать о поездке в бригаду. Сбиралось, правда, совещание по надежности в Сальске, но такие — с вылизанным сценарием — мероприятия к художеству не расположат.

«Освежительной трезвости уединения» нам не досталось: всюду при нас был Олег Игнатьевич, заместитель главного инженера «Ростсельмаша», компанейский и всем интересующийся человек. Разумеется, нельзя пускать на самотек целую киногруппу. Есть минусы в смысле чистоты, элементы захламленности, завод ведь немолодой, но разве для этого нам выдана пленка? Но мы и не собираемся шарить по задним дворам. Опека шла, пожалуй, с большим перевыполнением. Мы в Таганрог, на завод вполне самостоятельный, с независимым КБ — Олег Игнатьевич с нами. Точней, вроде как мы при нем. Пригласили меня в обком, не успел вернуться — что да как, а зачем, а тот что сказал? Товарищи, да нам с нравственным капиталом вещать, а вы — такую любознательность!..

Но это цветики. Собрались мы в дальнюю дорогу, в степь Северного Кавказа — на Кубань, в Ставрополье, — а генеральный директор:

— С вами поедет Олег Игнатьевич. И еще начальник службы надежности Иван Георгиевич Войтов.

— Как, и в колхозы? Но ведь мы же надолго!

— Они предотвратят ошибочную информацию.

— Но, Юрий Александрович, у товарищей, очевидно, хватит дел на заводе! Я на Кубань езжу двадцать лет и вполне мог бы без провожатых.

— С вами поедут Олег Игнатьевич и Войтов, — отрезал директор.

Запись телебеседы мы сделали, но без всяких изысков и «граней характера»: директорский кабинет, полированный стол, вопрос-ответ — и баста.

А теперь наш «рафик» жмет строго на ост, впереди Олег Игнатьич — сзади Иван Георгиевич, фильтры от ненужной информации. Мы ли едем, нас ли везут? Вот тебе и хозяин и помощники. Соскучиться не дают, Иван Георгиевич буквально набит интересными сведениями, для занимательного журнала просто клад, что ни километр, то афоризм:

— Надежность — это свойство машины определенный срок работать по назначению... Гарантия — это юридический скол надежности... Моральная устарелость машины зависит от общего уровня общества.

³ «Советская Россия», 14 февраля 1982 года.

⁴ См. «Социалистическая индустрия», 7 апреля 1981 года.

А мне перед молодым режиссером Сережей совместно — жуть. Явная моральная устарелость, да не чья-то — моя, моя.

А Сережа, молодо-зелено, толкает локтем — и краем рта:

— Повезло как, а? Теперь все от вас. Сворачивайте в бригаду.

Неймется же. Весь цикл наш накренился, того и гляди оверкиль, а худрук хохочет анекдотам, мурлычет песенки, локтем пихается...

— Целых два кита. Есть знакомая бригада? Я сразу же ставлю свет...

Стоп, а что? Мы сворачиваем пообедать на полевой стан, комбайнеры в любом месте издавна подготовлены — хотите, ремонтники, встречу с самим «Ростсельмашем»? Вот вам надежность, а вот инженерия, выкладывайте. Ай да Сережа. Кто там врет, что молодежь инфантильна?

— Олег Игнатич, как бы на часок в бригаду Клепикова? Старый знакомый, герой — и дело есть.

Нет проблем. Какой Клепиков, тот самый?

Да какой же еще — один на Кубань и на Союз, пожалуй, Клепиков, бригадир, депутат, член Центрального Комитета партии.

Только нет сейчас Михаила Ивановича, узнаём — на курорте по зимнему делу, но и коренники-механизаторы и весь знаменитый колхоз «Кубань» налицо. В Усть-Лабинском райкоме прошу: нельзя ли начальника сельхозуправления и шефов Сельхозтехники на часок — для полноты круга? Что ж, для доброго разговора... Секретарь райкома Морозов в далеком начале нашего знакомства был еще колхозным зоотехником, и тут уж никаких дипломатий:

— Ну скажите, чего они боятся?

— А вот в бригаде вам скажут, — смеется секретарь.

Этот «круглый стол» транслировался и по первой программе телевидения и по второй. Народу было снято много. Отсутствовал по уважительной причине старый комбайнер Виктор Харин. Он рядом, за стеной красного уголка, третью неделю маялся с новеньким «Колосом» («Машина — инвалид от рождения!») и служил как бы камертоном разговора.

Конечно, мы мечтали о простецкой, заурядной, а не лучшей в стране бригаде. Весь машинный двор в асфальте, техника хранится образцово, но уж если здесь... Впрочем, запись уже идет.

— Эта бригада в прошлом году ячменя намолотила по семьдесят три центнера, а центнеров двенадцать наверняка оставила на полосе. Только и исключительно по вине комбайнов! — говорит Георгий Иванович Лысых, начальник райсельхозуправления. — Трижды перепаживали поле после такой уборки, чтобы скрыть качество, и все равно оно зеленое от падалицы! Какие еще аргументы нужны? Завариваем вторую скорость, чтобы механизатор не мог, если бы и хотел, гнать быстро, но разве это мера? В районе пятьсот пятьдесят три комбайна, стремимся убрать за семь — девять дней, но агрегат убирает по три-четыре гектара за световой день — куда дальше идти? Зачем мучить нашу кубанскую землю?

— Комбайн перегружен, — парировал И. Г. Войтов. — Он не рассчитан на такой урожай. Мы с вами не можем по сто мешков перенести? Так и машина.

— Коллектив завода «Ростсельмаш», — поддержал его Олег Игнатьевич, — прекрасно понимает, что урожай непрестанно растут, об этом говорилось и на Пленуме ЦК, и коллектив сейчас усиленно работает над созданием новой машины повышенной производительности.

(Я сейчас переписываю прямо со стенограммы, твердо помню, что никакой бумажки у нашего опекуна не было, а каков стиль!)

— Вот тут товарищ по надежности, — гнет свое устьябинец Георгий Иванович. — В прошлом году получили двенадцать «Колосов» и «Нив», из них сезона не выработало, вышло из строя — пять! Две «Нивы», три «Колоса». Ремонтировать? Да когда же их ремонтировать, если мы стараемся убрать за семь дней! Есть заводской представитель где-то в соседнем районе, так за семь дней дай бог его только найти. Вот автомобилестроители — у ВАЗа свой сервис, у КамАЗа свой. А почему комбайновая промышленность свой сервис обрывает как раз на сельском хозяйстве? Если бы фирма отвечала за своих детей, имела бы на них запасные части — был бы совсем другой разговор. А то как кукушки — лишь бы яйцо закинуть.

Ю. А. Песков (стенограмма ответа о фирменном ремонте):

— Мы сегодня не готовы к этому вопросу. Чтобы создать станции техобслуживания, нужно затратить не одну сотню миллионов рублей. Комбайн — это не автомобиль «Жигули», он имеет не ту скорость, не те возможности перемещения по дорогам нашей большой страны. Поэтому опорных баз, станций технического обслуживания потребуется в несколько раз больше, чем, значит, для автомобиля. А с другой стороны, этот вопрос поручен сегодня Сельхозтехнике, так решили три министра. У нас есть организация при Сельхозтехнике, где производится стопроцентный ремонт. Харьковский завод «Серп и молот» дает запасные части, сто процентов дает на эти станции, а мы двигатели восстанавливаем.

Пояснение для Виктора Харина, который мучился с новеньким и никого не слышал... Меня удивило, что Юрий Александрович Песков ни на одном из зарубежных комбайновых заводов, делающих погоду в этой отрасли, сам не был, с организацией фирменного ремонта не знакомился и мировой принцип «кто делает машину, тот за нее и отвечает» не имел возможности пощупать. Еще любопытнее, что генеральный директор «Ростсельмаша» не бывал на ВАЗе и КамАЗе, составивших, что спорить, этап в машиностроении страны. Что про аграриев ни говори, а в нашем секторе такие пробелы (или контакты с коллегами) немислимы. Насчет первого (поездки за рубеж) дело несколько поправлено: Н. Н. Смеляков позже рассказывал мне, что Ю. А. Песков был таки командирован в США и вернулся с массой ценных наблюдений. Про Волжский и Камский заводы еще не знаю, но знаю твердо, что ссылки на большие траты для сети фирменного ремонта анекдотичны: Сельхозтехникой уже растянута такая густая и дорогая ремонтная сеть, уже издержаны на заводы и мастерские такие гигантские суммы, что речь может идти лишь о том, как загрузить этот невод. Дело в принадлежности готовой сети — в решении то есть трех министров.

Комбайнер Александр Васильевич Сырцов, 1929 года рождения, стаж работы тридцать пять лет:

— Я, когда на молотье, по три пятилитровых бачка воды в день выпиваю, такая в кабине жара. Ваше дело — требовать производительной молотилки, а я скажу, как человеку работается. Очистление воздуха не происходит, та ваша губка сразу забивается, остается только маленький вентилятор, он тебе дует пыль и остюки в глаза...

— Права комбайнеры, условия в нашей кабине на «Ниве» очень тяжелые, — ответил Олег Игнатьевич. — Поэтому в новой машине особое внимание уделено кабине. Она разработана по ГОСТам, по всем требованиям эргономики. Предполагается поставить кондиционер для охлаждения воздуха.

— Кондиционер — он обещание или реальность? Когда его можно ожидать?

— Ну, он частично уже стоит на тракторе Т-150, но...

Далее в стенограмме неразборчиво, да неясно оно было и в устах Олега Игнатьевича. Тот испаритель, что ставится на часть харьковских тракторов, есть создатель особой влажной атмосферы, и большой услугой механизатору его никак не сочтешь. А с настоящим фреоновым кондиционером — о нем впервые удалось написать уже десять лет тому — практически неясно, ясно же, что запечатывать человека на жаре в непроницаемую кабину без специального охладителя воздуха нельзя.

Пригласили Виктора Ивановича Харина. Вот живой человек, ему подкинули такой комбайн, на котором он семью не прокормит, он зиму с ним возится, а лето может стоять — кто виноват?

— Это «Колос», таганрогский, — цитирую Олега Игнатьевича, — а у нас с «Нивой» не бывает, чтоб были претензии. Почему он собирает? Есть два приказа министерств, Госкомсельхозтехники и сельского хозяйства, о предпродажном сервисе, они обязывают Сельхозтехнику проводить досборку, обкатку и под ключ отдавать комбайнеру готовую машину. За то она и получает двенадцать процентов наценки.

— Я чувствую, у вас неправильное представление об этих двенадцати процентах, — протестовал А. А. Василенко, главный инженер районной Сельхозтехники. — Двенадцать процентов — это не досборка, а содержание нашего аппарата, погрузка, доставка, а что касается сборки машины, то на это заключается с хозяйством отдельный договор. Захотели, чтоб вам отремонтировали и отдали, — заключайте договор и перечисляйте.

Значит, это колхоз не захотел, чтобы ему дали работающий «Колос»?

— Первый раз слышу, — откровенно смеется главный агроном «Кубани» Ф. В. Краснев.

Виктор Харин мрачно добавляет, что инженеры Сельхозтехники уже были, пожали плечами, сказали, что дело дрянь, и уехали. Добавляет и еще кое-что, но это стенографистке отдавать нельзя. Ситуация «плюй в глаза — божья роса», спор сползает на тему запчастей.

— Мы уже привыкли ремонтировать сами, — беру из стенограммы тираду Георгия Ивановича Лысых, — но вы хоть дайте то, из-за чего человек стоит!

— Система гарантийного обслуживания, — объясняет представитель Сельхозтехники, — помогла изъять все запасы запчастей, которые копились в хозяйствах многие годы.

— Я сам работал три года механиком, — смеется Олег Игнатьевич, — и знаю, что если у механика нет ничего в кладовке, то разве это механик, разве бригадир?

— Так плановые запчасти идут на заводы Сельхозтехники, — перебивает бригадир «Кубани» Василий Васильевич Орехов. — А для обслуживания не остается ничего, надеются на гарантийный комплект. Цепи, ремни, аккумуляторы, подшипники — это ж самая дорогая валюта для механизатора. А расходы на ремонт растут, как лавина.

Ю. А. Песков (на вопрос о лавинном нарастании ремонтов):

— Мы не можем согласиться с тем, что, значит, лавинно растет ремонт машин. Мы ведь следим за ремонтом и эксплуатацией наших машин через объемы расхода запчастей. В начале организации опорных баз мы засылали на базы Сельхозтехники сто шестьдесят наименований запасных частей, сегодня отправляем туда только шестьдесят, то есть от ста наименований сами отказались, так как по ним нет вопросов... Мы раньше расходовали на опорных базах порядка двух миллионов рублей, сегодня мы скатились до пятисот тысяч, что тоже говорит кое-что. Мы открыли ворота — катите на нас что угодно, мы выпускаем теперь запчасти сверх лимита. Лавина ремонта складывается из-за того, что не организовано хранение комбайнов, вот это главный вопрос. У нас есть масса снимков грубейшего нарушения технических условий, когда мы снимали комбайны с гарантии... Есть машины, которые стоят зимой под снегом, с натянутыми клиновыми ремнями, не приспущенными скатами, а когда приходит уборка урожая, уже никто ни с чем не считается, все забывают о нарушениях, и требуется колоссальное количество резино-технических изделий, узлов гидравлики, подшипников, чтобы машина ушла в поле работоспособной.

..Передо мной лежала свежая «Правда» со статьей смоленского механизатора, где говорилось о партнерах хлебороба: «Казалось бы, общим делом занимаемся на одной земле. Но зачастую как в той басне про лебеда, рака и щуку. Каждый тянет в свою сторону»⁵.

— Олег Игнатьевич, — спрашиваю перед камерой нашего опекуна, — в этой крыловской троице что, по-вашему, символизирует машиностроение?

— Ничего. У нас содружество с Сельхозтехникой и контакт с селом.

Тот же вопрос представителю ремонтного ведомства — и тоже солидарное:

— У нас ничего похожего на эту басню. Мероприятия согласованные, снабжение плановое и гарантированное.

— А сельская сторона? — спрашиваю устьябинца.

— А село и остается тем возком, что и ныне там! — к общему веселью отвечает Георгий Иванович Лысых.

Сережа сияет: какой откровенный вышел разговор! У всех душа нараспашку.

Ну, тут-то вы ошибаетесь, коллега. Потому что у автора вашего никакой р а с п а ш к и. Стоило б мне здесь выложить одну позицию Ю. А. Пескова, и все полетело бы вверх тормашками, ор бы пошел и новгородское вече, черта бы лысого вы записали.

А позиция это такая: «Ростсельмаш» пробивает «Ниве» государственный Знак качества. Понимаете? Солдаты тут судят-рядят, как не сдавать, а генерал утверждает: город уже взят!

У Юрия Александровича целая книга на столе, Красная Книга Славословий. Куйбышев, Горький — «претензий не имеем, комбайн стоит на мировом уровне», Подмосковье — «аттестовать на Знак», Узбекистан — «от имени всех трудящихся выражаем...», Могилев, Осетия... Истинный г л а с н а р о д а! Не тот глас, что у Ложкового, Сырцова, Орехова, Лысых, а тот, что у Сельхозтехники, получающей 12 процентов и прочее. Первый глас звучать может, но в зачет не идет, пускай твердят про лебеда и щуку, а бухгалтерия плюсует н у ж н ы е восторги!

⁵ «Правда», 24 декабря 1981 года.

Поэтому, Сережа, я и не шибко добивался встречи на простецком полевом стане. Appetit пропал. Чешков и сух и черств, да заставляет хорошо работать. Тысячекратно прав тот, кто не равняет бюрократизм с бумажной волокитой. Похоронить письмо, мурьжить дельную бумагу? Это неопрятность, канцелярская грязнота, при чем тут высокий бюрократизм? Да, можно ответить на жалобу прежде ее поступления, навестить имярека не только что в больнице, а за три дня до инфаркта. Иные главным проявлением бюрократизма считают тягу сажать всех на ставки, крестьянина — и того на оклад. Отчасти — пожалуй... Но в чем, Сережа, главный знак узнавания, каков общий пароль у сильных столом (бюро — это ведь просто стол)?

Мне сдается, жест — большим пальцем за плечо: ищи там. Переброс ответственности. Отбой взыска. Указующие за спину в конце концов замыкаются в круг, в огромное кольцо, а у кольца нет конца, искать наивно. Знак этот не укоризна, не выявление, скорей круговая оборона, знак поруки, как крик Маугли: «Мы одной крови, ты и я!» Запчасти? Спрашивайте Сельхозтехнику. Мгновенный износ? А глядите, как хранят. Недогруз молотилок? Так жаток широких не дали. Фирменный ремонт? А куда же тогда Сельхозтехнику?..

А почетную эмблему — ее сюда, на чело, она нужна, необходима как всесоюзное ручательство, что так и должно быть. Тогда уже раздражение Ложкового — Лилейченко — Сырцова будет направлено против государственного знака. Вы что, не верите, что Иванов, Петров и Сидоров справедливо удостоены звания Героя? Что завод внедряет АСУП, что введен коэффициент напряженности плана?

Нет, отчего же, мы берим всему. Иванов заслужил — и направили, но его именно, и Сидорова лично, при чем же тут комбайн?

Знак качества — вы можете понять? — поможет коллективу морально и материально устранить оставшиеся недостатки! Он для дела нужен! Но сколько еще у нас формализма! Один старый замминистра затвердил свое: «Дай большой бункер, дай ведущий мост, надежность, а до того ко мне ни с какими знаками не суйся!» Вот кого надо доставать, вот где пресса могла бы сыграть свою положительную роль.

Вы напоминаете мне, Сережа, наше условие: если журналисту не говорят правды — он тупица. И намекаете, будто правды-то нам и не сказали. Протестую! Свою правду глава Кузницы как раз и выложил.

За время, отданное «Ниве», мне довелось слышать безоговорочное «я виноват».

— Я виноват в том, что широкозахватные жатки не выпускались столько лет, комбайны использовались на косовице, а молотилки были нагружены, — прямо сказал Александр Александрович Пивоваров в Госплане СССР. — Не один я, понимаете, это было бы маньер величия, наш подотдел — не министерство. Но где зависело лично от меня — нужного я не сделал.

Опять-таки — аплодировать, что ли, госплановцу? Был конструктором в Таганроге, на партийной работе был, отрасль знает насквозь. А мы сами так уж ничего и не знаем? За двадцать лет пропускная способность комбайнов повысилась с 3 до 5—8 килограммов в секунду, а захват — каким ты был, таким остался: 4—6 метров. Поэтому средняя загрузка комбайнов составляет сорок процентов, в сухие годы ниже. Основное в ускорении уборки — повысить среднюю загрузку сотен тысяч готовых комбайнов, наладить выпуск сравнительно дешевых широких жаток и хедеров, да сначала наладить этот выпуск, а потом наращивать пропускную способность молотилки⁶. Что, мы с вами этого не знали? А ну-ка, целинники, не пятнадцать ли лет назад пошел по великой степи шум-гром о десяти-, даже пятнадцатиметровой жатке? А десяти выступлений — просительных, резких, яростных — главного агронома целины Александра Ивановича Бараева? Академик битых десять лет воевал и воюет с явной дурью: машинища весом в восемь тонн бегают долгими неделями ради стрекота ножа, а когда расстреплет в лоскуты молотилку — перестраивается на подбор! Не-ет, тут не в знании, а в сознании, даже в осознании дело — осознании вины. В судьбе жатки? Не только. В продовольственной ситуации.

Слышал и «виноват» с оговорками. В частности, от земляка, серьезнейшего инженера Александра Тихоновича Коробейникова — он директор Кубанского института испытаний и по функции своей как бы крестный новых машин.

— Да, мы дали добро на «Ниву». Видно, поторопились. Но тогда пропускная способность ее была чуть не высшей в мире, и мы уступили в позициях надежности

⁶ См. «Тракторы и сельскохозяйственные машины», 1981, № 11.

и условий труда. Напор был такой, что нам бы и не удержаться — смяли бы и сняли. Вылечить «Ниву» было нельзя. Нужны были новые цыганские дети...

Почему, однако, смяли бы? Отчего бы непременно сняли? Ведь государственно-му контролеру иммунитет как-никак обеспечен? Ведь последующая надежность комбайна или чего другого проистекает из предыдущей надежности (честности, независимости) службы испытаний?

Она Сельхозтехнике принадлежит, служба испытаний! И КубНИИТиМ, и Коробейников, и самая дальняя МИС (машинно-испытательная станция) входят в систему продающего и ремонтирующего, а отнюдь не работающего на данной машине. Права и прерогативы Пахаря переданы одному из секторов сферы Кузнеца. И несмотря на личную порядочность, компетентность испытателей, несмотря на оснащенность их контрольной техникой настолько сильную, что и мышь отсталости не проберется, достать Коробейникова вполне легко, воздействовать на него очень даже способно. Это когда у потребителя есть из чего выбирать, тогда производитель (Кузнец) в чужой службе оценок не нуждается. Зачем? Ему самому выгодно выявить даже малые минусы, чтобы перед потребителем предстать защищенным. Есть Войтов — им завод и ограничтся! А раз за массового Пахаря решает (оценивает) кто-то иной, то остается напираться — и «Нива» сдаст экзамен и своевременно и успешно.

В таких-то условиях даже «полувиноват» заслуживает уважения.

Вариант «виновных нет вообще, все в полной норме» интереса не представляет: он может к тому привести, что на каждом из 23 ящиков с «Нивой» пойдут выводить отдельный Знак качества.

Иное дело — указательный палец и восклик: «Вон кто виноват! И вот в чем!»

Дело это небезопасное. Донос? А если докажем, что — клевета? И сам-то ты кто таков, чтоб обличать? Что сам ты сделал, когда другие вкалывали? Или ты позицией обличителя и ограничишься?

Именно в таком уязвимом положении оказались многие институты ВАСХНИЛ, вступив в спор о «цыганских детях». Десять НИИ с пятью филиалами, более 14 тысяч человек в их конструкторских бюро, опытных производствах и хозяйствах, а десятилетия тратятся вхолостую, больше половины выпускаемых Минсельхозмашем образцов уступает зарубежным по надежности, металлоемкости, условиям труда, даже технологии сбора соломы до сих пор решить не могут...⁷ И как раз из этого лагеря — критические залпы против «Дона-1500» как базового комбайна, машины в место «Нивы»! За единственный квартал одно-разъединное ростсельмашевское конструкторское бюро сделало новую машину, а двенадцать мудрецов — НИИ заняты сомнениями, опровержениями, обличениями.

«...предложение Минсельхозмаша по постановке на производство в ПО «Ростсельмаш» нового комбайна «Дон-1500» с выпуском 75 тысяч комбайнов в год вместо модернизированной «Нивы» экономически неоправданно и приведет к увеличению себестоимости зерна в 1,5—2 раза, к дополнительному расходу топлива.

Внедрение в сельское хозяйство комбайна «Дон-1500» может быть рационально только для южностепной (высокоурожайной) зоны... Применение такого комбайна в других зонах вызовет увеличение затрат на уборку, что составит убыток в 450—500 миллионов рублей»⁸.

Это вроде как итоги, а подступы к ним — они тоже заставляют задуматься! Пропускная способность — вовсе еще не производительность, как одна молотья не есть еще уборка: сейчас тормозят косовица, очистка и сушка зерна, реализация незерновой части урожая, то есть соломы-половы... В стране к 1980 году свыше ста миллионов гектаров, или около 80 процентов общего посева зерновых, имеют урожайность ниже двадцати центнеров с гектара. Средневзвешенный намолот на этом массиве — 12,2 центнера, и комбайн класса 5—6 килограммов в секунду вполне с такой хлебной массой справится. За прошлые пятилетки урожайность увеличивалась не более чем на полтора центнера в среднем. Пусть в одиннадцатой пятилетке прирост окажется даже вдвое выше — разве «Нива» не справится с намолотом в пределах 17, даже 20 центнеров? Почему же не сохранить, модернизовав, машину класса 5—6 килограммов, то есть «Ниву»? Зачем скромному полю гигант в тринадцать тонн весом и в четырнадцать тысяч ценой?

⁷ См. «Правда», 29 октября 1982 года («Разработки на полку?»).

⁸ «Советская Россия», 14 февраля 1982 года («Модель у конвейера»).

Согласитесь: одним запрещением рассуждать эти аргументы не отобьешь — если даже выкладывает их научный люд без практической амуниции. Может, и не выдают годами на-гора ничего пригодного — разве уменьшит это степень правды там, где они правы? Разве не правы были критики харьковского тягача Т-150 в части условий труда, и сочтешь ли победой, что так и печатают этот трактор без кондиционера?

Критический реализм засталяет с собою считаться, и окрик «разговорчики!» тут звучит как знак отсутствия контраргументов.

Но как ровен и мощен гул целой чертовой дюжины «Донов» в полях КубНИИТиМа! Второе лето испытаний. Молотят озимую. Я устроился на машине 0000013, кабина просторная, удобная, обзор просто замечательный, герметизация — я тебе дам. Правда, фреоновый кондиционер (пока японский) забился, нужны аппараты пылеустойчивые, но комбайнер Виктор Сазонов, испытатель от ГСКБ, в целом доволен:

— Хлеб-то сорный какой, пополам с суданкой. А ни разу не забилось нигде, не намотало, гудит с утра до ночи.

Удивлен КубНИИТиМ. Поражен Василий Васильевич Нагичев, тот главный з а б о й щ и к, к которому ни под каким видом не должен был нас подпускать опекун Олег Игнатьевич.

— Значит, можем?! — кричит, потирая руки, довольный «забойщик».

Во-первых, объясняет диво Василий Васильевич, они (делающие «Дон») не отбиваются, как оно заведено было, а признают и мотают на ус. Во-вторых, быстро исправляют и делают молча больше, чем от них просят. В-третьих, что задумают, то доводят до конца.

«Осуществить в одиннадцатой пятилетке модернизацию и повысить надежность зерноуборочных комбайнов «Нива», «Колос», «Сибиряк»... Начать в 1986 году серийный выпуск зерноуборочных комбайнов с повышенной пропускной способностью». Так записано в Продовольственной программе, и на этом конец спорам. Модернизация и надежность привычных «Нивы», «Колоса», «Сибиряка» названы (как задачи) прямо, а повышенную пропускную способность — ее время покажет.

А что ж, однако, сам автор: и вашим и нашим? И «Дон» вроде — глаз не оторвать, и критики его правы? Какой-то нсвый вид принципиальности... Нечего финтить: выпускать 75 тысяч «Донов» взамен «Нивы», менять базовую модель или нет? Завели разговор — отвечайте!

А это, знаете ли, не авторова ума дело. Он достаточно великовозрастен и терт, чтобы не потешать честной народ пустыми словесами. Зато он твердо и точно знает, почему веками смеются на хуторах близ Диканьки над условным цыганом. Не потому, что тому завести новую кучу детей легче, чем кому-либо другому, нет! Но дети «в шатрах изодранных» непременно станут грязными — бытие определит внешний вид.

И еще автор крепко знает — не из машиностроения, из жизни вообще, — что вещь (машина это или другое изделие) может быть только такою, 1) какою ее придумали, 2) какою ее сделали и 3) насколько верно ею пользуются. И тут одно другим не перекроешь: если придумано на пять с плюсом, а изготавливается на три с минусом, то в итоге будет вовсе не четверка, а та самая отметка, когда «три пишем, два в уме».

Машина не может быть лучше придумавшего ее — правило старое. Его нужно дополнить: и сделавшего... То, как работает, не отмести, не объявить — «не считается». Машина вырастает из машины, и уж тем-то, как их делали, они похожи одна на другую. Не стареют слова Маркса: «...степень искусности наличного населения является в каждый данный момент предпосылкой совокупного производства, — следовательно, главным накоплением богатства, важнейшим сохраненным результатом предшествующего труда»⁹.

Хочешь иметь «Дон» — научись делать «Ниву».

— Ну, что он тебе тут травил? — подсаживается к нам в тени Федька.

— Кто? — не поняв, косится на меня Виктор, мой комбайнер. — Ты про кого?

— Да этот... корреспондент он или кто. Рассказывал же что — давай делись.

Хорошо, значит, отделало меня в кабине — не узнаёт! А Федька теперь всегда трезвый, два раза уже в Армавире лечили.

Виктор хмыкает и деликатно уходит пить квас. На комбайне сейчас настоящий штурвальный (я стажер, что ли), он обойдет круга два. Господи, как же хорош мир вне комбайновой кабины! Воздух какой, прохлада, тишина — и целых два круга от-

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 26, ч. III, стр. 306.

дыха. Мы с Федькой, замяв его оплошность, начинаем толковать про нее. Про нее, проклятую. Не пить-то он не пьет, но — думает. Видать, постоянно. Был тут, на левом краю Прочноокопской, ларек Бриллиантовой Руки, такой бессонный был дедок, в полшестого открывал, когда еще на работу едут, и белой никогда не держал, а бормотухи бутылок по пять-шесть в сумку давал, на двоих вполне на день хватает. Бригадир Андрей Ильич дожал-таки Бриллиантового, рассчитался дедуля, в Армавире теперь, и чтоб достать — с шоферами теперь надо.

Федор не то чтоб алкаш полный, но когда пил — пил серьезно, и жена прогнала, в материн дом вернулся, и на технику его берут с опаской. Давно за тридцать, а все шестерка, сейчас штурвальным у Черныщука, но тот особо руль ему не доверяет, держит на посылаках. А чаще Федька в позе усталого руковода ездит в кабинках самосвалов. Он чудик, но не шукшинский, без пунктика.

Не ломаясь Федор выразительно излагает мне, как оно крутит по утрам, когда надо принять. Только об ней и думаешь, ни до чего больше и дела нет, и уж в лепешку расшибешься, на уши встанешь, чтоб до обеда таки достать. И тогда — челове-ек...

Человек Федор плоскоспинный и художаздый, разболтаны шарниры, никак не похож на медвежатых, размеренных мужиков на технике. Он полон едкости, из осторожности скрываемой; единственный в бригаде за глаза смеется надо мною, притворщиком и неумолим. Мне же любопытно одно его убеждение: что все таковы! Все поголовно только об ей и думают, но одни начальства дрейфят, других жены жмут, третьи — жмоты. Но если на чистоту — все одним миром... Кажется, это единственное его убеждение, но ему-то он верен твердо.

— Погоди, но Виктор-то не пьет, — возражаю я.

— Ему нельзя — в начальство лезет.

— Тоже мне начальство: звеньевой!

— Недилько с ним ручкается. Ты вон тоже — в кино его звал.

Звал, положим, не я, а сам Недилько, первый секретарь райкома. Показывали нашу «Надежду и опору», я сам банки с пленкой с «Мосфильма» привез — как бы в плату за возможность поработать на уборке. Крутили в клубе, Недилько велел позвать и моего шефа — чтоб только агрегат работал. Виктор же после сеанса и увез меня в бригаду.

Есть люди, излучающие невидимую веселость. Это отлично чувствуют собаки и дети — псы увязываются за ними, носясь кругами и повизгивая, а ребятишка ждет от них каких-то штук и вообще насыщенной жизни. Люди же работного возраста к обладателям такой ауры относятся бдительно, настороженно, потому что те, с аурой, — дотошные, не прощающие начальники. Это хотелось бы такому веселому куролесить и духариться, а натурой своей он обречен вкалывать и работать может только хорошо, инструменты отточены и чисты, моторы у него гудят пчелкой, а без дела он как бы унижен. Отработав свое лет до шестидесяти (если бог веку пошлет), такой, с аурой, и среднему возрасту становится приятней: пар вышел, он терпимей и к своему, и к чужому безделью. Это, наверно, самый хороший людской тип в любой нации.

Виктор Карачунов, механизатор и сын механизатора, знаком мне со страшной весны шестьдесят девятого, когда здесь, в армавирском коридоре, пылью затемнило дни, заносило фермы и лесополосы — жуткая репетиция какой-то невиданной войны. Недилько водил тогда академических лекарей почвы по свежим курганам чернозема, успокаивал народ в бригадах. Настроение должно было быть похоронным, а свели меня с этим ловким, сутуловатым, с чем-то от степной хищной птицы человеком — и не только проклюнулось явное чувство «ни черта, еще поживем», но и какие-то шальные мысли пошли в голову. Хорошо бы, допустим, как-нибудь махнуть в Ахтари на таранку, интересно бы и на Черное, в Джубгу... Нет, собаки и дети наделены верным чутьем.

Это факт, что за столько лет знакомства у нас не нашлось и часа для прощительных слабостей. Не у нас — у Виктора. То у свеклокомбайна обивает грязь, то вылезет из кабины «Нивы» заматанный марлей, как марокканская вдова, пожалеем вдвоем, что не получается, а вообще-то здорово бы и то и это, вытряхнет свою панджу — и поехали.

Работает на всех машинах и все машины вроде знает еще до появления их в Прочном Окопе. Первым на севе протягивает свекольные рядки, потом их культивирует, косит люцерну, молотит горох, хлеб и подсолнух, настраивает норовистые ко-

силки ботвы — универсален как мужик. Он первый на консилиумах у барахлящих двигателей, и давно уже забыто, что всех дипломов у него — удостоверение давнего училища механизации. На гостевых днях в КубНИИТиМе он рассматривает сиятельные «Кейсы», «Джоны Диры» и «Интера» со скромным, но точным пониманием, испытатели охотно дают ему пояснения, чувствуя в этом колхознике своего, а Недилько аттестует Виктора интеллигентом в механизации. Не знаю, надолго ли, навсегда ли, но эрозию в бригаде подавили, уже тридцать лет не просыпается, а такое само не дается.

Карачунов — вожак. Не руководитель, а вожак, сам тянущий лямку, обмануть его нельзя, а хамству не уступает. Утром у «шифанэра», где переодеваются в рабочее, случаются такие перебранки, что я ухожу подальше, не смущая Виктора. Речь — если этот взаимный обмен можно назвать речью — чаще всего о бормотухе, которую исподтишка завозят, и о ее последствиях. Недавно близорукому Овсяникову помяло щеком хедера руку. Заело подборщик, тот хедер не выключил, наклонился, уронил очки (а был поддатый) и полез за очулярами. В больнице врач решил проверить на алкоголь — и наш потерпевший бежать, насилие в огородах удержали. Уходит Виктор с планерок у «шифанэра» бледный и злой, но неизменно затевает их снова.

Шофер «Волги» Ашот, везучий человек, столько раз отвозивший меня к самолету, говорит, что они с Виктором кинты (друзья) и что Виктор — трудяга. Взыскательный Ашот себя к трудягам не причисляет, хотя начинал вместе с Карачуновым, вкалывал еще на «ХТЗ». Но однажды заводной ручкой ему дало так, что треснула кость, это навсегда отговорило его пахать-сеять: пока носил руку на перевязи, выучился на шофера. Дальше серия везений. Вез скот по Военно-Грузинской дороге, и ночью нашел военный португаль, красный такой, носить на боку, а в нем двадцать пять тысяч — старых, конечно, тогда новых не было. Купил у сельсовета дом себе. Второй дом строили для дочери на арбузы. Свои семнадцать соток Ашот давно занимает только арбузами — прочноокопская специализация, в Армавире продают по два, полтора, последние — по рублю кило. Даже удивительно. Смеется он, как люди по семь, по десять рублей отдают за такую ерунду — арбуз! Один «жигуль» отвезешь — рублей пятьсот выручил. Крутно повезло и с младшим зятем, ему сейчас двадцать четыре, русский, расторопный — поискать: на двух работах, преподает в училище и на гитаре играет электрической. Получили участок для второй дочери — зять с Ашотом его тоже под арбузы, за два лета кирпичные стены окупилась, а клал такой мастер, что все удивляются узорам (я тоже дивился, вспоминал дом французского посольства на Якиманке, но за той кладкой стоял когда-то просвещенный миллионщик-купец, а Ашот — шофер).

— Мы с ним кинты, но Виктор — трудяга!

Штурвальный Юрий Павлович, учитель физкультуры, росший с Виктором на одной улице, перед уборкой заявил приглашавшим:

— К Карачунову на комбайн пойду, к другим — нет. Даром пьель глотать?

Помощник получает 80 процентов от заработка комбайнера.

Месяц перед уборкой Юрий Павлович занимался шелкопрядом (трону раздают по домам) и так сдал коконы, что начислили 824 рубля. Конечно, с листом на корм было возни, пол-дома пришлось отвести под червей, но машина своя, не ленились — вышло неплохо. Юрий Павлович тоже смолodu не пошел в механизаторы, окончил где-то в Сибири институт физкультуры, теперь дом у него большой, «Москвич» всегда на ходу, а комбайн он водить научился у Виктора уже в зрелые годы: нужно зерно для поросят и птицы.

Федька — люмпен-пролетариат (иные имена я из техники безопасности меняю). Таких в Прочноокопской пока не густо. А жизненное соревнование, зачет успеха людей среднего возраста идет по трем, пожалуй, статьям: качество своего дома (многоэтажек колхоз не строит), марка машины, устройство детей. У Карачунова домишко простецкий, машины нет вообще (купил было, да расстался — некогда ездить), и по станичным меркам к удачливым его не отнести. Свой венок на Дне урожая он получит, на ВДНХ его пошлют, а в остальном он неоснователен.

— Да и мы-то! — смеется и машет рукой Ашот, возобновляя вчерашний разговор о ветвраче.

История с тем целителем скота взбудоражила станицу. У себя за забором ветеринар развел песцов, шкурка из трехсот рублей не выходит, но промысел требует мяса, вот и стал коровий эскулап выбраковывать животных, с могильника таская ту-

ши себе в холодильнике. Финорганы обсчитали — то ли восемнадцать тысяч в год выручки, то ли больше — и припаяли такой налог, что ветврача свалила стенокардия! Шофер у него тоже песцовщик (нельзя ж специалисту без личного водителя), тот от налога схлопотал инфаркт... Смеются внезапным хворям — не разнице доходов человека на тракторе и промысловика.

В нашей бригаде на тринадцати комбайнах только четыре настоящих комбайнера: Карачунов, Машкин, Черныщук, Калмыков. Остальные народ временный, взятый откуда только можно. (Это ж на моих глазах, на моих — в весну пыльных бурь у всех комбайнов еще были хозяева!) Настоящий и имеет в виду квалификация, а не профессия, комбайнерской профессии как таковой давно нет в помине. Поскольку речь мне вести о кадровой эрозии, я и позволил себе определенные нескромности — откуда, стало быть, ветер и какой силы.

Бригада наша не рядовая, а хорошо оснащенная. Разумеющему будет довольно узнать, что комбайны по утрам моют, пылевые фильтры обдувает не выхлоп, а специальная воздуходувка, людей на обед возят особым автобусом, после смены все принимают горячий душ, у колхоза мастерская едва ли не лучшая в Новокубанском районе, зерноток оснащен автопрокидывателями — заторов транспорта нет, почти до самого стана идет хороший асфальт. Не слишком удачный урожай озимой пшеницы здесь нынче превышал, однако, тридцать шесть центнеров. Нагрузка на комбайн — 130 гектаров.

При сумме этих превосходств уборка шла настолько медленно, что в печальный день 28 июля 1982 года были позваны варяги. За две недели с начала молотбы только у двоих — Машкина и Карачунова — намолот был между пятью и шестью тысячами центнеров, а девять агрегатов взяли меньше трех тысяч, пять «Нив» — меньше двух. И впервые за всю историю колхоза имени Кирова Новокубанского района было произнесено: «Земля велика и обильна, порядка нет, идите и княжите»... Разумеется, ни комбайнеры Викторова звена, ни в конторе колхоза так не заявляли. Пришло в бригаду восемь «Нив» из Северского района — меньше заработок своим, хуже окупались расходы на технику, о престиже что и говорить. Но отстали — и край через район прислал помощь.

— Доработались! Шпагоглотатели! «Рятуйте, SOS!» — разорвался, узнав о буксире, грузный зычный Черныщук.

29 июля, первый день молотбы на буксире.

Погода — как здоровье: пока хороша — ее не замечаешь. В небе ни облачка, на траве роса. Автобус от клуба отходит в шесть, значит, подъем у всех был никак не позже пяти. Дорогой — тары-бары про руку Овсяникова (сухожилия целы, еще повезло), про едва не случившийся пожар на комбайне у Неумываки (электрооснастка при пороховой осотной вате постоянно грозит красным пегухом, хорошо — огнетушитель был свежий), про сегодняшнюю получку.

Все комбайны ночуют на стане: ремни и аккумуляторы надо охранять. Часа полтора уходит на обдув фильтров, обтяжку, долив масла, а Виктор считает нужным — ради московского стажера, что ли, — окатить водой из шланга и нутро кабины. Но у бочонка под трапом в пыли пророс ячмень, мойка ему на пользу — анкерок лежит в зелени, как пасхальное яйцо в засеянной овсом старой площадке. Выходов мы не трогаем, пусть с нами ездят.

Нашей «Ниве» шестой год. Этой зимой Виктор поменял ей коробку, перебрал сепарацию, поставил угольники на кожух («Заводское все трепещет»), и теперь остановок мало. Ремонтировал он в Сельхозтехнике на краю Новокубанска, справился в девятнадцать дней, досрочно, за что и был премирован тридцатью рублями. Эта тридцатка и какая-то ничтожная зарплата (рублей сорок пять, что ли, Сельхозтехника оформила его в р е м е н н ы м р а б о ч и м) пошли целиком на достижение того, что Виктору «все склады были открыты». Если бы Карачунову не шли навстречу, если бы у него не было возможности таким вот образом потратить премиальные и т. д., он бы сейчас, как вечно хнычущий Захарченко, мучил бы механика или, как Калмыков, швырял бы в ярости ключи и молотки. Но что значит — если бы? Виктор есть Виктор. А пишу я о водке так легко потому, что этой весной руководство в районной Сельхозтехнике сменилось и вымогательства персонала следует относить в прошедшее время. Что юридически все выглядит так, будто районный агросервис принял от колхоза подношенную «Ниву», быстро и грамотно восстановил его ресурс

и вернул хозяйству с гарантией удач,— про это мы, естественно, не говорим. Веселить некого. Зимняя работа Виктора в чужих мастерских при райцентре была фактически займом у летних уборочных получек.

К восьми мы в загонках. Валок еще влажный, и можно смаковать блаженные минуты, пока есть и степь, и запах донника, и редкое «пить пойдем». Самолет-стекольщик оставляет алмазный след на юго-востоке кантом по горизонту — то ли розовые тучи, то ли снега Кавказа. Лицо твоё сухо и чисто, а скоро... «я тебе казав — ступай ты пид полову». Пацан хныкал: чего это он один, а не все? Ничего, тут — все. Самым пыльным, остистым, жарким местом на Ставропольском плато вот-вот станет кабина нашей «Нивы», в этой точке и надлежит провести день. «Ты только подыши день со мной, не работай — сядь и подыши!» — обычно кричит Виктор экономисту, когда у них спор о заработках.

Я уже сбился, во сколько десятков раз запыленность воздуха на уровне груди комбайнера превышает допустимую гигиеной норму — испытатели считают и так, и этак. Да и велика ли разница между превышением в пятнадцать и в двадцать семь, скажем, раз? Жена Виктора, медсестра, каждый день готовит ему чистую марлевую фату, и вечером этот фильтр годится разве обтирать двигатель СМД Харьковского завода. У меня марли нет, и я пришел к еретическому выводу, что на юге комбайновая кабина — проделка дьявола, от нее лишь вред. На целине — другое дело, там холод, ветер. На «Доне-1500» при полной герметизации и при настоящем кондиционере — другой коленикор. одно удовольствие работать. А этот серийный стеклянный ящик — суета сует и растрата здоровья.

Варяги северские нетерпеливо пробуют, им не стоит, и Виктор издали грозит: заставлю перемолачивать! Ох эти варяги... Их звеньевой, ловкий и бойкий Лазебный, утром смущал наших разговором о своих расценках и, следовательно, заработках. И, видно, не врал, потому что послал домой на мотоцикле привезти выписку правления. Они могут выбирать, привлеченные, по своей системе получить или по чужой. Считается, что краевые органы ввели одни расценки на всех, но это только наружное, механизатор глядит в корень — и этот бойкий Лазебный уж усек, почему тут, на плато, хнычут перед механиком, бросают молотки: его гонец уже мчит домой на «Яве».

Кажется, подсохло. Тронули. Первый круг обходит Виктор. Наш № 15, как флагману и положено, полову аккуратно собирает, а солому разбрасывает — потом можно запахать. Конечно, эту нашу солому могли бы затюковать себе ивановские-липецкие, они, бедолаги, вечно прессуют тут и волокут к себе через пол-Европы. Что ж, пускай поспевают, раз вечно дома своевременно пожгли, нам хватает мороки с половой.

Все ладится, все урчит и крутится. Сплошной, для меня монолитный шум Виктор расчленяет на десятки отдельных партий. Характер стука — это и есть пока способ предупреждения о возможном отказе. Приборы?.. Указатель потерь, зелененький коробок внизу слева, работал два часа за все пять уборок. Сигнал, что бункер полон, действует, но его нужно включать самому, то есть постоянно помнить о нем наряду с крупными вещами. Хороший стук наружу выйдет, сулит ироничная пословица. Вообще комбайновая уборка, как и всякое серьезное дело, обросла некоторым фольклорным слоем. Я вчера «медведя поймал»: забил молотилку на неровном, халтурном валке. Проворачивая ломом замерший барабан, Виктор объяснял, что на Кубани это — «медведь», белгородцы говорят «роя поймал», а на Украине он слышал «будэмо казаты ж...», потому что — нагнувшись.

Полчаса молотбы — и первый бункер. Шофер Леша Помидор, рыжий армавирец, протягивает нам розовый квиток, мы ему — белый.

— Есть на пиво? — блещет своей медной гривой.

— По бутылке, — вежливо кивает в мою сторону шеф.

Виктор преувеличивает. Есть не на пиво, а на пепси-колу. За намолот тонны напрямую тут платят 41 копейку, в бункере — две тонны. Тридцать бункеров в сутки — это надо молотить минимум до полуночи — дадут нашему экипажу шестьдесят бутылок пепси, или тридцать пачек приличных сигарет. Негусто? Если учесть, что шестьдесят тонн зерна есть годовая норма потребления для шестидесяти человек, норма роскошная, изобильная, то скорей даже мало. Я еще нахожусь в привычном заблуждении, будто комбайнер — элита, лейб-гвардия, хоть и глотает пыль, но за месяц обеспечивает себя на год. Чуть, отсталость, было да сплыло.

Недавно смененное руководство края памятью о себе оставило борьбу с курением,

вышки у кукурузных полей (будто початки охраняют), мужские рубашки с оттиском «миллион тонн кубанского риса» и повсеместные плакаты против сорняков. Помимо этих несомненно полезных новшеств внедрена и предельно путаная, петлистая оплата комбайнерам: и за намолот просто, и за намолот контрольный, и за выполнение двух норм, и какие-то ночные, и половина — экономист тут копейку прибавит, там две убавит. Заячьих петель столько, что даже человек Викторова уровня не может сам рассчитать, сколько же он заработал. Ясно только, что больше трехсот кило зерна за уборку не дадут. И тому Федьке леченому (лишь бы агрегат, при котором он значится, выполнил сезонную норму) и Виктору, всем поровну — на кур. А зерно здесь — как чеки «Березки», единственная валюта. Деньги, как и слава, — дым. В этой же бригаде некоторое время назад я состоял договорником на свекле, работал первобытной тяпкой, весь день в тишине, чистоте и на свежем воздухе — и по 28 рублей обходилось вкруговую нашему брату! А на комбайне заработать столько — ого-го как надо вкалывать в условиях совершенно несопоставимых!

Нашего экономиста Виктор называет «еще та устрица». Ловкий то есть человек. В свой час и я пытался выпросить и хотя бы для себя прояснить, почему так затейливо начисляется оплата главному лицу страды, почему комбайнер лишился финансовых привилегий, но, несмотря на университет, на известный опыт анализов, ни черта понять не смог. Экономист посмеивался над моими разглагольствованиями, что работник должен сам рассчитывать свой заработок, а зарплата обязана быть простой, стабильной и понятной человеку — иначе материальной заинтересованности нет, ее не реализуешь. Главный экономист, я говорю, усмехался, считая это наивностью и ерундой: нормы и расценки поступают свыше, действуют единые условия, а народ, конечно, теперь жаден бесконечно, удовлетворить запросы просто невозможно.

В инструкциях — ладно. Но я приводил ему случай из практики. Александр Николаевич Энгельгардт, автор писем «Из деревни», рассчитывает неграмотных крестьянок — и любая свой заработок знает заранее! «Каждая баба отлично помнит, — выписываю я сейчас из книги, — сколько она когда намяла (льна), и при окончательном расчете отлично знает... сколько приходится получить денег. «Ты сколько намяла, Катька?» — спрашиваю я при расчете. «Вам по книжке лучше видно, А. Н.» — «По твоему счету сколько?» — «Три пуда двадцать два фунта.» — «Так. А сколько денег тебе приходится?» — «Вы лучше знаете.» — «Сколько приходится?» — «Рубль, да шесть копеек, да грош.» — «Получай рубль семь копеек, грош лишнего, свечку поставь...»¹

Катька счесть могла, интеллигент от механизации Виктор — не в силах.

Но вот инструкция особого права и значения. Майский Пленум ЦК партии опубликовал постановление: бесплатно выдавать бригадам и звеньям 15 процентов сверхпланового зернового сбора. Дальше: выдавать в счет заработной платы по полтора кило зерна за вышолненную нормо-смену. И еще: за совмещение профессий рабочему платить 70 процентов ставки. В применении к Виктору: он наверняка стал бы работать один, без штурвального, а после уборки получил бы несколько тонн зерна. Сколько точно? Не знаю. Но днями в Новокубанск приезжали соседи — советские работники из Ставрополя, из Новоалександровского района. Зашли с визитом к Недилько. Спрашиваю гостей (не без прицела), правда ли, что ставропольский механизатор может и две и три тонны хлеба заработать. Отвечают, что один человек у них прошлый год восемь тонн получил, а по пять-шесть тонн — многие.

Районы разделяет только Кубань — да экономическая служба. Если даже один год для дела потерян, так ведь и это — целый год! А наказан за промедление может быть только колхозник Прочного Окопа. Люди потянулись «за речку»: хлеб...

Вот оно — Виктор уступает руль мне. Сам он устроится на ящике, «ноу хау» обеспечено, однако и мне пора уже без фортелей, без «медведей», «роев» и прочего, потому что мое дилетантство явно лишает Виктора скольких-то бункеров в день.

Самое трудное — включить скорость. Физически, говорю, трудное: отжать педаль сцепления — как пудовик выжать (отключить молотилку — и двухпудовиком пахнет). Попасть рычагом именно в первую пониженную тоже и сила и сноровка нужны. То, что в автомобиле делается незаметно сотни раз на день буквально пальцами, здесь требует атлетических усилий. Кому она нужна, слоновья эргономика, зачем и так облитого потом человека заставлять упражняться с гириями?..

¹ А. Н. Энгельгардт. Из деревни. М., «Сельхозгиз», 1960, стр. 215.

Уже пошла щедрая дневная пыль, забивает короб над радиатором мотора, затягивает и переднее стекло. Повернулись спиной к ветру — «ничего в волнах не видно». А сегодня надо гладить без морщинки: Недилько сказал, что приедет на нас посмотреть.

Подмаренник переплел пшеницу, и валок тянется издали, метров за десять. Вообще хлеб сорный. В окошечко справа мне видно, сколько кисточек осота, головок молочая, черных зернышек повилики скатывается к борту. А нам все равно! Да-да, нам с Виктором совершенно без разницы, что в бункере. Хоть песок морской туда сыпется — нам-то отчет по бункерному весу. Этот бункерный вес, абстрактное искусство, и на тока ляжет, и в официальную отчетность, и — позже — в синие тома ЦСУ. А сколько в том бункерном сора и воды, на сколько миллионов тонн отягчают хлебный баланс H_2O и «мертвые отходы» (термин такой энергичный) — убирающему плевать. Кубань много сделала для отбора сильных пшениц, это верно и всеми признано, однако Виктору — и в данный момент мне — вполне безразлично, какого качества пшеница поступит на элеватор. На заработок наш это не повлияет. Любопытная ситуация, не правда ли? Скажете: «А вы и повлиять не можете». Кто ж тогда, извините, влияет, если не тот, кто пахал, сеял и ныне молотит? На целине у Бараева родилось слово «мореплавание», возможно потому, что все на судне заинтересованы в сохранности корабля. Что ж, верно. А вот мы, сборщики урожая, безразличные к зерну или плевелам, мы личности сомнительные, отчасти, наверно, социально опасные.

Но Виктора с утра взбудоражила гордая информация варяга Лазебного. Если правда, что у них в предгорье за центнер намолоченного дают по 420 граммов зерна, а тем, кто без помощника, и целые полкило, то в день можно ведь заработать три центнера хлеба. Не в сезон, а за день! Разве держали бы тогда в звене разных леченых и физруков — да отбирай себе лучших из лучших в Прочном Окопе. Конкурс будет!

Я невольно подливаю масла в огонь. Зимой на Ставрополье, в Красногвардейском районе, беседовали чин чином, перед телекамерой, со старым комбайнером Яковенко, и он ясно сказал, что заработал шесть тонн хлеба. Хозяйство держит, детям харчами помогает — на то ж и зерно, мы ж хлеборобы...

— Шесть тонн. С ума сойти. Кто б тогда ковырялся с арбузами! Надо восстанавливать комбайнёра!

Виктор произносит «комбайнёр» — по-старому.

А пока, видим, комбайны восстанавливают: Захарченко обломался, у Водяного простой, Калмыков опять загорает. К полудню из семи агрегатов на нашей полосе в строю осталось три.

К обеду на стан явилась экономистка — зарплата за вторую половину июля. Молотили четырнадцать дней, у Машкина — 235 рублей, у Ященко — 123, у Неумывако — 63 рубля 59 копеек, у Водяного... аж 59 целковых. Вот тебе унифицированная по всему краю оплата! У Виктора выше всех, 237 с копейками, но ему идет за классность. А тут еще какая-то умная голова к окну раздачи пришила объявление: «Кому нужен ковер 3 × 4 стоимостью 1200 рублей, обращайтесь в магазин сельпо». Да всем звеном на коврик тот не намолотили! Гул, ор, шум, экономистка что-то про полу: дескать, еще дочислят. А варяги миски с борщом в воду, чтоб скорее остыло, и марш-марш к своему кутору Ляпину.

— Если приедет Недилько — скажу, — словно уговаривает себя Виктор. — Нет, честное слово, вот подойду и скажу. Ну надо же восстановить комбайнёра!

Но не сказал. И было почему.

Берьба с потерями у нас идет не тем путем, чтоб бракодела — с поля вон, не с помощью приборов (я уж говорил про злосчастный указатель, а юридическим, что ли, методом. Заведены контрольные обмолоты. Один агрегат начал поле — показал, скажем, 39 центнеров. Значит, другие комбайны не имеют права выдать с гектара меньше 39. Вроде резонно. Я, правда, всерьез подозреваю, что наш бригадный бухгалтер выводит эти контрольные намолоты постфактум, потому что никаких замеров в натуре отнюдь не наблюдалось. Но дело в идее: сама придумка, краем насажденная, так возьмет тебя в оборот, что и филоны ты и разгильдяйничай, а все выйдет чин чинарем.

Косил нам Орлов. Его «Нива» уже, считай, без молотилки, используют только хедер. Я толком никогда Орлова не видел, Виктор же отзывается о нем крайне сдержанно. И валок неровный, весь в копешках, и линия — как бык прошел. Но сейчас, в самое пекло, в пылуке, забившей и нос и глотку, не до прямизны. Мне дан руль, дана

возможность лично намолотить себе по тонне зерна на каждый год оставшейся жизни. Потом — и внуку надо ж хоть до конца института! Виктор репетирует непривычный для него шкурный разговор с секретарем, речь, кажется, складывается, и мы ни в чем не виноваты, а нечистый не дремлет: сигнал-то от бункера не включен! И вот он, миг моего позора: переполнен бункер, пшеница прет через верх! Виктор ахнул, кошковой метнулся отключить молотилку, освобождать забитый шнек. Я же, проклиная себя, вылезаю собирать в ведро и расплесканное по комбайну и внизу, под машиной, — ведра два нагреб. Солому, я говорил, наша «Нива» бросает на место валка, и криводушно, униженно я охажкой соломы скрываю то, что сгresti уже нельзя — в земле.

Поднимаю глаза — Недилько! Суров, не на шутку рассержен.

— Куда ж ты смотришь, а, звеньевой? — холодно спрашивает Виктора. — Глаза-то на месте?

Неужели под соломой заметил? Или это чертово ведро? Провалиться бы...

— Ты глядишь под солому? — терзает секретарь.

Но — удивительно — не мой блуд под комбайном вскрывает, а... отворачивает место, на котором лежал обмолоченный нами валок. Под валком пшеница не скошена! Придавило массой, ежик подборщика что мог поднял, а сантиметров пятнадцать стеблей так и остались несжатой полосой. Под каждым валком, под каждым!

Нужен наметанный глаз — не районщика, не партработника, нет, — агронома, чтоб выявить так заделанный брак. Оно и Недильке не в радость: вот вам и контрольные обмолоты, вот и «до единого колоса». Мой грех секретарь даже замечать не стал — что, дескать, взять, а тут в самом деле потери: целые чучалы зерна остаются в стерне. Кто косит? Значит, делитель у него, растакого и этакого, пригибает колосья, стелет их — отсюда и срез. Как можно поправить? Где ходит агроном? Надо передать председателю. Наколбасили — выкручивайтесь. Я проверю. Еще до лущевки проверю!

— А вас я забираю, — говорит мне.

— С вещами?

— Нет. Дадим исправиться. Небольшой хурал в райкоме, руководители хозяйств. Езжайте примите душ.

Федька из кабины самосвала слушает и цветет: интересней хоккея!..

...Речи — по две-три минуты. Главные темы: качество техники и трудности со сдачей урожая (зерна, овощей). Но география претензий такая, что Недильке надо быть минимум союзным министром, чтобы реагировать не сочувствием, а делом. Один степной район, а какие выходы, переплетения! Как же связана вся страна с судьбой урожая в Новокубанке! Господи, даже седем людям пока надо объяснить, что аграрно-промышленный комплекс — это не давилка томатов при большом огороде, а взаимосвязь Кузнецца, Пахаря и Мельника, чтобы всем экономно кормиться. Еще внушать, говорю, надо, что АПК не здоровый свинарник и не скотный двор на тыщу коров, а он вон уже сколько проблем нагородил, узлов навязал, тромбов наделал, реальный, скрипучий, действующий АПК!

Наш колхоз имени Кирова. Пшеницу следом вывозим, по ночам, но зерно идет очень влажное, большой сброс с веса. «Херсонец-200» (особый кукурузный комбайн — «Нива» початки не молотит) получили в декабре — нет аккумулятора, фар, инструмента, взяли скелет, будем ковать в своей кузне. Два ленинградских «К-700» стоят без аккумуляторов. Новый «Т-150» получили даже без паспорта — ящик под пломбой, а гарантийного обязательства нет.

И гниют, всюду гниют помидоры.

Колхоз имени Жданова. У двух новых «Нив» вышли из строя топливные насосы. Гарантийщики разрываются. Двигатели получаем — практически ни один исправно не работает... Легче вырастить 20 тысяч тонн хлеба, чем сдать 200 тонн! Очереди у элеватора на три часа.

И портятся, гибнут помидоры.

«Родина» — на току три тысячи тонн зерна, а сдать удастся не больше трехсот в сутки; шоферы делают по одному рейсу, элеватор не оплачивает простой. Агрономы стали толкачами по сбыту огурцов и кабачков. Экономически грамотный человек отдал бы овощи скоту... Завод «Гомсельмаш» присылает машины без жаток.

Кроме того, гноим томаты: ни тары, ни холодильников.

Совхоз «Хуторок» — из шести тульских жаток «ЖВС-6» работает только одна.

Опытное хозяйство КубНИИТиМа — молотить хлеб некуда! Тока забиты, хранилищ нет, каждое утро дискуссия, начинать ли обмолот и сегодня. Хлебосдача — первый тормоз.

И т. д. и т. п.

Андрей Филиппович Недилько, старейший из кубанских районных вожаков, выпросил у некоего замминистра личный фонд аккумуляторов, за обедом выпросил, в минуту неформальную, — и теперь мысленно делит. С резиной иное. «Резины нет — а чего ты молчал? Черт-те когда бы тебе дали!» Это ирония такая, означает — глухо, ноль.

Порядок, вспоминаю где-то читанное, бывает двух родов: статичный и динамичный. Показывают как правило, статичный: убранный зал, павильон, пирамиду Хеопса. Но о жизни расскажет именно порядок динамичный — когда все в движении, элементы гармонии должны разумно сходиться, совпадать, создавать новую мощь — и новое движение. Это в «Ниве» нашей двенадцать тысяч деталей, а в убирающем районе, который есть сумма бригад, токов, элеваторов, больниц, подстанций, мостов, мастерских, столовых, за действованы миллионы компонентов, и, находясь снаружи, вне действующей машины, степеней динамичного порядка постигнуть нельзя. Чаплин в «Новых временах» влез меж зубьев гигантских шестерен — вот образ! Не важно, что помяли бока, — мы-то с вами во-он как все поняли, сколько лет помним. Нет, извне, со стороны, без зависимости — ничегошеньки! Из меня очень плохой штурвальный, но и я несравненно лучше прежнего понимаю, что динамичный порядок уборки оценивается степенью потерь, а они очень и очень большие. Позже округленно сочтут сотни тысяч тонн погубленных томатов (у нового — плодоовощного — министерства не оказалось тары и вагонов), пропавший на лозах виноград (ящичков нет), пока же — только зерно. И когда Недилько, отпустив своих и готовый уже отправить меня в бригаду, спрашивает: «Ну так как впечатления?» — я осведомляюсь: можно ли откровенно?

— Нужно. Только так и нужно. Как я вам с Виктором.

Отлично. Значит, два узла: непаритет с индустрией — и хлебозаготовки. От первой зависимости вы стараетесь освободиться любым способом: автономия прежде всего. Тут и свои колхозные мастерские в пику техническим дворцам казенного агросервиса. И передача нового, едва наживленного комбайна на сборку самому Виктору. И ремонт калеченых аккумуляторов, добытых где-то в Москве. Было бы разрешено — вы посылали бы на железнодорожные платформы своих сторожей с дробовиками остановить вселенский хапок, не давать стянуть для «Запорожца» колеса с точной сеялки или фары, стекла, инструмент с беззащитного трактора.

Каков в этой сфере идеал? Ты поставляешь машину — изволь, голубчик, обеспечить ее работу. А если у тебя методически выходит гроб с музыкой, то иди, дорогой, скорее, прямее, подальше и никогда не возникай больше в наших производственных отношениях. Да, пока достичь этого вам не дают, ибо «Нива» — одна, выбирать не из чего, а Сельхозтехника — монополист железок и резинок.

Но зачем уровень сложностей возводить в квадрат? Хлебозаготовки в нынешнем их виде, в виде выгребания концкормов, — они же привязывают хозяйства к ненадежным секторам АПК крепче Сельхозтехники, они взвинчивают негарантированность, не так ли? А какой партийный пленум предписал, что фураж нужно или можно сдавать в качестве товарного хлеба? Да есть ли хоть какая инструкция, на которую можно опираться при выкачке фермских запасов? Нет, напротив — вас прямо обязывают крепить кормовую базу и максимально обеспечивать фермы со своей земли. И первая заповедь колхоза в давнем, простецком ее понимании — через МТС отдать то зерно, какое отдавать предписано, — давно уже трансформировалась в выполнение плана по зерну, молоку, мясу, шерсти, овощам и т. д. и т. п. и молоко-мясо в этом перечне звучит ныне в силу продовольственной ситуации весомей и строже зерна. Известное дело: «За хлеб меня раз в году спросят, а за молоко — 365 раз».

Во вторую зависимость вы погружаетесь сами! Я говорю, конечно, о селе в целом, о сфере Пахаря, а не о Новокубанке с ее первым секретарем, человеком мне нужным и ценным.

Подъедем-ка к элеватору, станем в километровый хвост — будет время поговорить без спешки.

«Наша главная задача — уборка и хлебосдача!» — кричат плакаты. И вы только что руководителей хозяйств примерно так наставляли. И очень странно, что они, убежденные седины, технический бедлам клеймят и порицают, а тут суету приемлют равнодушно.

Уборка — акт естественный и по-здравому спешный. Потому она и страда, и страдания в ней самой заключено ровно столько, чтоб не опошлять ее газетным пафосом, не усугублять бодряческой егозливостью. Что натурального в хлебосдаче, откуда лихая торопливость при этом занятии?

Слово пришло из поры военного коммунизма, оно близко понятиям «продотряд», «кулак», «мешочник». Но даже при рождении своем оно не ставилось в ряд со страдой: сперва надо дать убрать, а уж потом, когда обмолочено, разворачивать хлебосдачу. Именно с дачу, ибо тогда деньги ничего не значили. Скажи сейчас, как и следует называть, «хлебпродажа» — и распадется плакатный стишок: с чего б это продающему в уборку торопиться, куда это он не поспеет? Продразверстка-то в прошлом...

Впрочем, разве о продовольственном зерне толкуем? Разве сильные пшеницы Кубани, степной янтарь Заволжья, рожь Белоруссии, рис Таврии в повестке дня? На еду собственно ныне идет едва ли одна тонна из четырех собранных, речь о фуражном зерне! И острейшая проблема хозяина — зимовка после фуражесдачи, после комбикорма, не взмытые за уродливые слова.

С целинных еще времен я четко знаю почему нельзя. Никак нельзя распилить: эту тысячу тонн, товарищ директор, ты поставишь в сентябре, а эти три продержишь у себя до февраля. Одно дело — у товарища директора и ссыпать фураж путем некуда: амбаров не дали построить, чтоб поактивней был в рассуждении первой заповеди. Другое, почему нельзя, — он скормит то фуражное зерно скоту. Продовольственное сvez, а ячмень и початки использует по тому самому назначению, какое и было в уме, когда кроил структуру посевов и стад. И не нужно ему полutorной цены за сверхплановую вынужденную сдачу, никаких приплат ему не надо — лишь бы скот не ревел, не терзали доярки, не истощали убытки от покупных кормов. Скормил — и чист! Во-первых, оно ж и в плане у него значилось концкормами: как за своеволие судить? Затем — себестоимость у него такая ладная, интенсивность так захорошела, падеж упал, а привес так поднялся, что хоть на Доску почета растратчика! Поголовье тому директору обычно — как кукушкин птенец малиновке: и не свое и не прокормить, а крутись, казись, не выпихнешь. А тут вдруг и то поголовье на «первое-первое» налилось, как груша в августе, зоотехник заплотность свою потерял, не плачет, не просит, смотрит этаким гоголем. А директор даже подпускать стал в выступлениях, что, дескать, не создавая трудности — так и помощь не нужна, и соседям нечего на зеркало пенять, кто лучше пашет, тот и живет с кормами и без инфарктов. А таскать в заготзерно и обратно — то дурачья работа, мертвых с погоста не носят.

Стоп, дорогой, хватит: носят! Приходится. Как без государственных кормовых ресурсов? Вон свинокомплексы при миллионных городах — они на чьем коште состоят, а? И зона засух звон как размахнулась! Хорошо калякать, если у тебя уродило, а откуда ж давать помощь, если при уборке не заначили? И потом — диплом-то есть, должен понимать, что кормление зерном, пускай даже дробленным (а сельские умники умудряются миллионы тонн цельного, нетронутого зерна стравливать), и применение сбалансированного по белку и микроэлементам, адресованного поголовью именно данного вида и возраста концентрата — вещи принципиально разные. Кто этого не понял, тот не руководитель, а музейный экспонат, пережиток.

Внешне тот директор согласен, вздыхает, кивает, но внутренне проявляет упрямство, даже затаенный консерватизм. Верно, что дерть с витамином и дрожжами лучше ячменя, но не четверо же! Почему же ячмень уходит туда по пятерке, а обратно — по двадцать? Миллиардные прибыли комбикормовой промышленности — они что, вновь созданная стоимость? Обложение! Разновидность налога, порождающая убыточность мяса и молока. А гарантии какие? Отвечает ли комбикормовый завод за паршивые привесы? За болезнь, за падеж? За регулярные, наконец, поставки крупным фермам, где перебой с кормами даже в один день родит многотысячные убытки? Нет и нет, взятки гладки, партнер густо смазан салом юридических уверток.

Тетка в венгерском кооперативе, получая по заборной книжке корма для пятисот индюшат, растущих в старой конюшне, непременно отдерет пристроченный к бумажному мешку сертификат: ярлык есть гарантия государства, Венгерской Народной Республики, что в гранулах именно столько белков и прочего добра, сколько обозначено

но, и, следовательно, она, хозяйка, и на этот раз не прогорит. А наши зоотехники непременно анализы делают, не то так подкузьмят, что и скотомогильника не хватит! Господи, да простенький свой кормоцех и тонна-другая БВД (белково-витаминных добавок) на год — и кто бы связывался с тем комбикормовым казенным заводом! Засуха — она случается или выпадает, а сдача фуража обеспечит суховой всегдашний и стабильный, финансовый и зоотехнический. Если скот тратит на единицу продукции в полтора-два раза больше бионормы, если перерасходы по транспортным статьям — не ищи причин, госконтроль, полистай осеннюю газету со сводкой хлебосдачи!

Что же до страховки на сушь, до резервов, то разве степной хозяин такой уж раззява, чтоб не оставить себе загарник от урожайного года? Если животноводство, конечно, ведет сам и за экономику отвечает... А симпатию этого директора комбикормовому заводу нужно завоевывать, помня, что и тут насильно мил не будешь.

Планирование посевов и поголовья снизу — оно что развивает, чувство хозяина? Никак нет, пока только работника. А хозяйское чувство мужает и растет при благой обязанности давать толк плодам своих трудов.

И все доказательства полезности отъема фуража у хозяйства есть та же притруска соломой на поле, которое косил Орлов. Отталкивание колхоза, его специалистов, колхозников от распределения добытого молотьбой — самое рудиментарное в сельской жизни. Того паритета, хозрасчета, принципа взаимной выгоды, на которых надо возводить АПК, в фуражевыкачке нет и в помине. А Продовольственная программа психологически не может выполняться без уверенности хотя бы в близком будущем (квартал, полгода), без выгоды действительно лучше пахать, чтобы жить с кормами. Не видя конца квартала, как увидеть год 1990?

К чему, однако, столь долгая декламация?

У меня был на носу юбилей. Личный, маленький, но все же двадцатилетие деятельности. Какой? А как начал писать про выгребание зернофуража в заготовки. Осенью 1964 года в «Советской России» напечатал статью «По кораблю ли плаванье?» — именно о Кубани, о вихляниях штурвала, о липовых миллионах пудов и отзвуке на фермах. Писал про друга-председателя Николая Неудачного с хутора Железный, хозяина божьей милостью. Его послали в командировку в США, а дома тем часом вывезли весь зимний запас фуража. Николай не переживал наружно — он просто умер. Скончался от инфаркта миокарда вскоре после памятной зимовки, в возрасте тридцати семи лет.

Два письма сохранил я с той поры, два несхожих отзыва. Одно — от читателя Пономарева из Владимира: «Вы что, умнее Первого секретаря крайкома? Очнитесь, это ж мания грандиоза, безответственность. Хоть на секунду сопоставьте — кто такой вы и кто Первый секретарь крайкома!» Второе — от Овечкина из Ташкента. «Согласен с каждой строкой Ваших оценок и выводов... Как читатель заинтересованный, не сетую даже на обилие цифр. Без них разговор был бы менее доказательным, острым, так как цифры... просто убийственны, — писал Валентин Владимирович, живший тогда у сынов в Средней Азии. — Давно пора литераторам взяться за экономические вопросы... поскольку сами экономисты ни черта в этой области не делают. За что ни возьмись — все надо нашему брату начинать! Ну что ж, такова уж наша участь — лезть наперед батьки в пекло».

Словом, годовщина, надо отметить — а как? Лучше всего производственными успехами. А тут картина запускается на «Мосфильме», мы со сценаристом Будимиром Метальниковым переложили на киноязык белгородские наблюдения.

Ради чего тянулся изо всех молодых сил герой «Надежды и опоры» Николай Курков, ровесник председателю с хутора Железный? А чтоб жить лучше тех, лучше кого он работает. Разве нельзя? Тут его самоутверждение, выверка характера, служение ближним — в припасе всего нужного для плаванья в свином комплексе на своих кормах. Так вот пускай сыграют это молодые умелые актеры в цветном и широком кино — отъем припаса перед отплытием! Давайте взглянемся в молодого капитана — что он думать, что чувствовать будет, как слушать станет рацеи и доводы, в силу которых ему опорожняют трюмы? Бой с одноклассником, локровителем, первым секретарем райкома за пять тысяч тонн фуража — первый бой у везучего председателя. «Ты меня зарезать хочешь? Зачем возить пять тысяч тонн туда и обратно? Причем туда по четыре, обратно — по двенадцать...» Эти простейшие аргументы любой, кого зарезают, выпалит непременно. «Пойми, хлебан баланс не сходится», — внушит ему районщик. Будто то, что у Николая, не есть баланси! «Мы не дадим подохнуть ни одному твоему свиненку... Выкручи-

ваться нам! Москва просит!» Да-да, непременно палец за спину — ссылка на Москву, — а я бы лично даже и оставил, шут с тобою, зимуй! И элемент местного патриотизма — вот выкрутимся, выручим страну, пострадаем за други своя. Понимай так, что колхоз Куркова не та самая страна, а сам он, тутошний рожак, не есть народ! «Чтоб вбить себя в сводку! — вскроет суть все разумеющий Курков. — Всякий хочет быть хорошеньким перед начальством». Почему его, искреннего, делового, грамотного, в самом деле надежду села Черемошного (потому что лучшего хозяина, чем он, в реальности тут пока нет), ставят этаким зажимщиком хлеба перед праведным продотрядовцем, разве что не в шинели?

Ладно, это тысячекратно думается, если не говорится, а вот вольность игрового кино... Курков может драться чужим оружием — словесами, лозунгами — и на решающем бюро потребует записать для публикации, что он обязуется сдать государству пять тысяч тонн фуражного зерна. Ишь как!.. След в документе? Не-ет, это нашему «ловкачу» не пройдет. Потому что ни разу и нигде в рапортах не говорилось, сколько в заготовленном собственнo хлеба и сколько занятого на время (пусть так) у ферм. И гнев сверкнет со стороны своего же брата-председателя, который сам сдал и фураж и позиции и другому не даст «вываргываться!»

На роль Куркова утвержден актер товстоноговского театра Юрий Демич. Ладный сложением, динамичный темпераментом, щеголеватый (родятся такие, хоть «куфайку» надень — будет фирмá), но горожанин полнейший, ни молекулы сельского. Затащил его к себе домой — хоть коротенько рассказать, что Курков с тем фуражом теряет. Говорит, не надо. Опрятно и аппетитно ест, пересмеивается с партнершей Надей Шумиловой (им придется пожениться, никуда не денешься), но мотает головой: «Не надо. Я был». Где был-то? «В Тюмени. На нефтепромыслах был и видел». — «Юрий Александрович, это совсем не то». — «То. Самое то, уверяю вас».

Председатель Курков, этот супермен-счастливчик, плачет, бьется головой о капот, считая объем зерна пожаром, опустошением души, — Демича актерская воля. Виктор Карачунов, посмотрев картину, сказал: «Если б все так переживали, ни одного бы здорового председателя уже не было». Что ж, его зрительское право. Но я видал, как оставленные в зиму без фуража смеются, хохочут, гогочут, и это, честно сказать, позабористее слез.

Алтай, осень семьдесят девятого. Год здесь не только не сухой, а почти урожайный: где четырнадцать, а где и пятнадцать центнеров берут. Вкальвает народ до петухов. Кошкин в совхозе «Степной» никогда за два ночи не забирается, но Семен Вдовин молотит и до шести. Потом часов с девяти утра вяло, обессиленно возится у «Нивы», чтобы с одиннадцати опять пойти — до нового света. И так суток по сорок! Останется ли фураж — вовсе не бухгалтерское, а социальное кулундинское дело. Получат зерно на заработанные рубли; фермы — это работа женам; пойдет строительство... Зерно Кулунде — как вода Араратской долине. Каждая тонна фуража — это подпорка цистерне-другой алтайского молока: ведь миллион тонн молока вынь да положь! Засуха миновала, но хлебнo-фуражный баланс как еще обойдется?

На этот баланс вызывает первых секретарей райкомов. Середина дня, у белой лестницы в крайкоме — группа знакомых степняков. Завьяловский секретарь только что оттуда и, протирая очки, бодрясь, рассказывает притчу. Александр Македонский взял город и шлет солдат: «Ну, что они там?» «Плачут». «Тогда ищите, трясите — есть!» Вояки бросаются снова — и правда, находят и золото и прочее. «А теперь как?» — «Смеются!» — «Кончай, ребята, больше нет ничего».

— И мы смеемся! Семнадцать процентов фуража оставлено — это ж свиной побоку, птицеводство по ветру, а налаживали сколько — одну, думаете, пятилетку?

Уже другой выходит, из Топчихи, лихорадочно достает сигарету, та прыгает в его пальцах, говорит: «Девять процентов» — и после затяжки излагает историю. Как Александр Македонский взял город, как там плакали, а потом стали смеяться.

Сочувствующий круг и тут хохочет. Табуны, Родино, Благовещенка, сама Кулунда — всем по Македонскому, и на каждого Александра достает громогласного смеха. Засуха Юга никого там не оставила без тридцати — сорока процентов фуража, а Алтай-батюшка выговаривает: семнадцать, девять... Сообщено, что в Оренбуржье за саботаж заготовок (то есть отставание тех самых цифр, что в промфинплане) сняты руководители таких-то и таких-то районов. Исключение потом заменят строгаком, но это уже не работник...

Смех — расставание с прошлым. Но что-то уж долго смеются!

И я что-то долго читаю рацеи в очереди на элеватор...

Есть, впрочем, край и в праве на вымысел!

Первое. Не я пригласил — меня привезли к элеватору: Недилько выяснял, как тут создана очередь. Очередь — это универсальный инструмент понижения запросов. Очереди не возникают, это суеверие: их делают. Долго ждешь — ты рад сдать зерно рядовым, к черту прибавки за сортность, силу, по ячменю — за годность на пиво. «Рядовым принимать, все рядовым!» — велят хлебоприемному пункту Высшие Интересы Ведомства, а накачка в райкоме жару поддала, а сводка лупит по всем по трем — так строй их в очередь, умный заготовитель!

Второе. Не я озарил Недильке петлистые пути хлебосдачи, а он меня методично, все длинные пятилетки знакомства просвещает и наставляет. Если колхозы армавирского коридора при вечном биче эрозии доят на корову в среднем больше, чем теперь доит малахитовое Подмоскovie, то, значит, в науке о фураже давний секретарь имеет негласную докторскую степень.

Третье. Не я привез на Кубань кино о выкачке хлеба, а Недилько выхлопотал у генерального директора «Мосфильма» пленку раньше всех премьер, а я был при ней прилагательным. И до всесоюзного показа с положенными миллионами зрителей и гвоздиками «Россия», «Ударника», «Октября» были тысячи безбилетников в станицах Прочноокопская, Советская, Бесскорбная. Явное финансовое нарушение, но виноват тут местный райком.

Итак, юбилей место имел. Он проведен за государственный счет, и теперь при элеваторе — заговенье.

Хлебный баланс — кривые дороги... Нет здесь у нас с Недилько двух мнений, потому что он сдает — ему и «мнить», а мне слушать. Только надо зазубрить: подразверстка — дело отжившее.

...Въезжая в Прочный Окоп, мы с шофером Ашотом шарахаемся от прущей, как зубр, пожарной машины. Горит? Где, что, скорей...

— У Карачуна в звене комбайн, позвонили... Та не, не наш, это кто-сь с приезжих. Казали — как свечка! — живописует охранница при гараже.

Этого еще не хватало! В середине что-то оборвалось и никак не поднимется. Летим в бригаду. Только-только село солнце. Наверно, издали факел увидим. Чего доброго, еще в огонь начнут кидаться, наделают беды.

Но кто ж горит-то? Пожарники толкутся, гутарят возле «Нивы» Толи Лазебного, варяга-удальца, а тот мирно, деловито выгружает из бункера зерно.

— Это я горел. Медаль за спасение на пожаре положена, — дурашливо тычет себя в грудь. — Вон как разукрасили двигун! Три огнетушителя вылили. Понимаете — зад стало жечь, оглянулся — ночь в Крыму, все в дыму...

Ломается, дурачок, реализует выказанную смелость. А парень такой ладный, что торс, что голова белокурая... Представить, так полыхает, что уже и дверь кабины не распахнуть, — и опять в середине что-то обрывается. Черт знает какая связь между теми полутора тоннами зерна, какие этот Толя получил еще дома, и его поведением, повадкой, самооценкой, но орел, храбрец, лейб-гвардия!

Виктор узнал про пожар даже позже пожарников: Федька весть разнес, интересно.

Молотили мы до одиннадцати. отгрузили 29 июля двадцать восемь бункеров — годовую норму потребления пятидесяти шести человек. Это, потом оказалось, был рекордный день за всю историю Прочного Окопа: 359 гектаров убрали за день, намолотили 1294 тонны зерна.

Спать надо, но и реализовать Юг тоже. Сходить на берег, минуту постоять под звездами, поздороваться с Орионом, наскоро, не теряя дна, искупаться в опасной Кубани.

Река шумит, «плещет мутный вал». На отмели колеблется в течении рогатая коряга, напоминающая рассказ о казаке Лукашке и убитом им абреке. Реки Кавказа так же полноправны в отеческой словесности, как Ока, Цна, Сейм.

На этом самом галечнике меня раз обругали. В засуху семьдесят девятого, ранним

утром, до солнца. Тетка таскала воду с Кубани, отливая до работы свои помидоры, я... реализовывал Юг. «Надо же — людям с утра делать не черта!» — в глаза сказала мне тетка.

А я тогда бездельником не был. Ей казалось, что с утра у реки огинается пожилой шалопай, а я и рукопись сдал в срок, и кино снимал без пролонгации, и, главное, свои рядки свеклы в бригаде Андрея Ильича прорвал как заправский договорник. Все может быть вовсе не так, как замотанному человеку кажется! Вот только кажется, что солнце нырнуло в стороне Кропоткина, чтобы подняться от Ставрополя. На самом-то деле повернулась Земля!

Вот и мне, и Виктору, и Недильке только кажется, что отстает сельское хозяйство. Это внушено нам за годы проработок, а вращения Земли под ногами сами мы не замечаем. Вполне возможно, что ни от чего Виктор не отстает, а его просто тащат назад. Промышленность — когда шлет 2900 болтов и велит собрать себе «Ниву». Агросервис — паразитизмом могоарычников. Ссыпной пункт — очередями на три часа. И т. д. Словом, не производительные силы — производственные отношения! Они даже не отстают, а именно обременяют Виктора: он все время должен, должен и то, должен и это, а они взыскивают долги. И если движение все-таки есть, так это не приемщика Пирогова, не элеватора, не хватких кладовщиков заслуга, а Виктора, Андрея Ильича (бригадира нашего) и Недильки. Виктор и есть та производительная сила, ради которой стоит делать «Дон», а Недилько — он сам по себе аккумулятор, и нельзя ничего жалеть на его подзарядку, а то он до Одессы доезжал, а на Дунае так и не был. Липкого хранителя запчастей надо, наоборот, скрывать, приемщиков на отстойнике — прятать, страгетов с элеватора — таить как позор дома, семейное несчастье типа олигофрении...

Радуюсь этой веселой мысли, я бегу к койке, торопясь заснуть.

Всякий раз, когда осуществляется разделение в географическом, технологическом или административном отношении, система разрывается. И где бы ни произошел разрыв, мы можем обнаружить там такие вещи, как очереди, заторы, емкости, буферные запасы, обратные связи, триггеры, клапаны, регуляторы, аварийные бункера, груды документации, резервы, пустоты, простои, неисправности, замкнутые контуры, колебания, скопления людей, кипы перфокарт, измерительные приборы, негэнтропию, затраты капитала и ругань.

Ст. Бир, «Кибернетика в управлении производством».

Все дело в том, что Сельхозтехника ремонтирует машину для передаточного акта, а нам на ней — работать.

И. Ляшенко, тракторист («Правда Украины»).

— Александр Иванович, — спрашиваю начальника Новокубанской райсельхозтехники, — что станет с вами, если район провалится вдруг в тартарары?

— Весь?

— Колхозы и совхозы. Со всей техникой, конечно.

Думает.

— А край останется?

— Краснодарский край пускай останется.

— А Армавир? — почему-то уточняет он.

И город Армавир решено не трогать.

— Тогда особой беды не произойдет, — говорит Александр Иванович. — В ряде позиций даже легче станет. Ведь мы на каких китах стоим? Вал в рублях, то есть реализация. А тут мы в основном работаем не на район, а на край. Ремонтируем навозные транспортеры, кормораздатчики, пропашные трактора. Затем — прибыль. Тут район со своей мелочевкой — комбайнами, ботвоуборщиками и прочим — нам скорее помеха. Ведь на ремонтах двигателей один убыток, как ни крутись, а полтинник (пятьдесят рублей) ущерба каждый движок тебе даст. Не будет района — уйдет и невыгодная номенклатура. А насчет Армавира... На миллион рублей я должен выдать продукции вообще несельской. Добыть заказы, проявить себя коммерсантом. И хорошо, что Армавир под боком: можно договориться с заводами, там вечно нехватка рук. Так что и по «прочим работам» мы без района будем румянее.

— О какой вы прибыли, Александр Иванович? Разве можно требовать прибыли от больницы, клиники, санатория? Вам лечить машины — откуда ж взяться прибылям? Ведь чем больше ваши доходы, тем убыточней молоко и мясо в колхозе, верно?

— Ничего сказать не могу... Моя больница должна быть доходной.

— А если вашу Сельхозтехнику вдруг унесет нелегкая — удержатся колхозы на плаву?

— Запчасти как продаваться будут?

— Обычные магазины вроде прежнего «Гутапа».

— Поставка новой техники?..

— Да напрямую: заказал — получил. Как я «жигуль» покупал: без наценок, но с гарантией.

Думает.

— Тогда они и не заметят, пропало ли что-нибудь, — приходит он, наконец, к выводу. — Ремонтная база — своя, конкурентная нам, — давно есть в каждом хозяйстве. Мастерские теплые, с хорошим станочным парком, налажено восстановление деталей. Домашний ремонт обойдется дешевле. А покупать без наценки — это ж двенадцать процентов выгоды!

— Спасибо, Александр Иванович. Теперь понятна абсолютная необходимость Сельхозтехники в цепи научно-технического прогресса.

— Нет, а третья? — длит интервью Александр Иванович. — Вы ж и про третью сторону должны спросить, если у вас Сельхозтехника пропадет.

— Да какая ж третья-то? Вы и колхоз, а третий, наверное, лишний?

— Нет, три министра, три стороны — Минсельхозмаш забываете! А что будет с сельским машиностроением, если исчезнет Сельхозтехника? Сядет на мель. Не бочком, а плотно, всем корпусом. Вы вот все про «Ниву». А комбайн — частный случай, уровень его собранности еще сравнительно высокий. Семьдесят процентов машин поступают с заводов несобранными — более или менее в виде детского «конструктора». Вот тебе, дядя, вагон железок, поломай головку, покажи, какая ты умница. И без такого дяди, надежного, как заземление, Минсельхозмаш тотчас включит все сирены «SOS», рев пойдет на всю страну.

Разговор наш возможен потому, что с Александром Ивановичем Стояновым мы в приятелях не один пяток лет. Он долго работал в Новокубанске предриком и только этим летом брошен на самый узкий участок — вытаскивать агросервис по-овечьински, с в о и м и р у к а м и . Так что личной вины Александра Ивановича в гололомотках и заворотах кишок нет. Наоборот, взялся он засучив рукава, прогнал ленивых хабарников, набрал молодых инженеров (из села в агросервис уходят охотно), внедряет деловитость, индустриальный стиль. На том уборочном совещании ни единого упрека в адрес Сельхозтехники не было, на все дела-обычаи Стоянов еще смотрит с сельской точки зрения, и разные заклинания, шаманские слова — «концентрация», «специализация», «интеграция» и т. д. — силы над ним пока не имеют. Пока он настолько энергичен и тверд, что пробел операцию «Плуг», сделавшую его известным как дипломата. Поскольку она имеет прямое отношение к третьему, не заданному мною вопросу, ее придется хотя бы бегло очертить. Тем более что ее косвенным участником оказался приехавший на испытания «Дона» Ю. А. Песков — значит, за границы края секрет вышел.

Итак, прибыл Очень Ответственный Работник, подкованный практически и знающий в области механизации, можно сказать, все. Времени у него было немного, а выяснить он хотел главное. После майских (1982) постановлений руководители предприятий агросервиса и совхозов должны получать премии с учетом прироста продукции и прибыли в обслуживаемых хозяйствах. Эта мера, правда, не коснется прямых исполнителей (слесаря, кладовщика и т. д.), но все же шаг к стыковке сделан. Как обстоят дела в натуре?

Александр Иванович вел гостя надраенной территорией неспешно — и жара все-таки, и сопровождающих кучка собралась немалая, не побегуешь. К тому ж то то, то иное оставалось. Сялка румынская стоит без колес — что, почему? А разбой на железной дороге, норовят снять и вам же потом продать. Кто? Трудно сказать. Элементы! Вот и трактор «Т-150» отделали, как помещицью усадьбу: стекла выбиты, что мож-

но снять — снято. Министерство путей сообщения охотно платит за стекло пятерку, но кто такую машину купит?..

Дальше — больше, и наконец цех досборки. Посреди двора на широком асфальте и стоял тот самый плуг, и возились вокруг него сборщики. (Плуг этот, «ПТК-9,35», может быть интересен как авангардистская скульптура. Этакое страдание, корчи материи, нежелание покоряться гармонии, бунт против рации или черт там еще знает что — накручивают вокруг таких опусов всякое.)

Слесарь Бреславский, дядя Гриша, вообще сказануть умеет, а тут их плужок не на шутку вымучил — он и выдал Очень Ответственному Работнику на всю катушку. Мол, извините, конечно, я должности вашей не знаю, но только все наше колувание — мар-тышкин труд. Впятером уже две смены бьемся, а за сборку начислят шестнадцать рублей, получишь восемьдесят копеек в день при пятом разряде — красота? А плуг никогда работать не будет. Отрегулировать его вообще невозможно. Он от роду горбатый и ноги носками назад — какой же с него работник? Посмотрите, предплужники стоят поперек хода — можно ровной пахоты достичь? Глядите, какой болт: заваренная на резьбе коронная гайка! Это ж додуматься надо. Стержень не входит в обойму. Скоба не приварена, а закрашена. Подшипник роликовый смазки не видел, зато краски навидался — весь облит... Нет, вы уж подтвердите, товарищ представитель, что такую каракатицу и даром никто не возьмет.

Гость молча гонял на скулах желваки, слесаря не обрывал, а тот и рад был. Дескать, говорили ж Александру Ивановичу — на кой их, одесские плуги, собирать, отправить бы россыпью обратно, а Александр Иванович — какой, мол, толк, все равно они деньги с нас сняли, как только загрузили в вагон, так и гроши со счета, а продашь ты колхозу, нет — твое дело. И почему вообще заведены эти цеха досборки? Чтоб мы чужие грехи прикрывали? Говорят — вагонов не хватает. А когда из-за границы везут, немецкие машины или чехословацкие, хватает? Вроде и дальше, а целенькими ведь приходят, если по дороге не раскулачат. И зачем вообще этот девятикорпусный плуг стали делать — одна радость, что больше металла идет, — а восьмикорпусный навесной, прежний плужок люди до сих пор жалеют и берегут, с новым уродом нигде ж не развернешься...

Гость был человек сдержанный и себя соблюл. Только продиктовал Александру Ивановичу:

— «Одесса, завод «Октябрьская революция», директору Жилко. Немедленно прибыть Новокубанск». Подпись моя. Пошлите срочной. А сами позаботьтесь о прокуроре. Надо оформлять дело о вредительстве.

Песков потом только головой мотал: «Н-ну мастера, разыграли! Как по нотам». А Стоянов уверял, что ничего и не готовили, само сложилось.

Жилко Александр Сергеевич, одесский директор, прибыл безотлагательно, но вызвавшего уже не застал. Прокурора тоже не было, и дискуссию вели без него, но все время напоминая, что перед отъездом гость настаивал на уголовном деле. Плуги вылечить нельзя, это директор признал с ходу, но вредительство отметал, а предложил такой мотив:

— Происки.

Чьи именно и какие такие происки, одессит не уточнял, но глазами поводил и голос понижал так, что оно должно было стать ясно без подробностей. И сразу же завел речь о замене — вместо этих прислать еще партию.

Одесский директор признал, что предприятие у него металлоемкое, уходит по тысяче тонн чугуна и стали в день. Помочь добрым людям — его долг, и он его исполнил. Даже охотно, не упираясь. Не сказать, что ободрали его, как белку, но что смогли за тот плужок выкрутить — выкрутили до капли. И оставили собранный слесарями плуг стоять на широком асфальте — не заложником, конечно, а все-таки...

Что ж, пусть единичное, в чем-то комичное, а проявление принципа гарантии. Удалась рекламация — и взяли штраф с пойманной фирмы. Не тем, что она подсовывала, а своим интересом. «Покупатель всегда — король!» — по-русски заявил президент одной японской компании Като-сан на творческом вечере в Центральном доме литераторов. По-королевски и поступили!

Но вот промысловой ипостаси Александра Ивановича мне не понять. Этот миллион рублей вне номенклатуры — на чем его делают? Солонки гонят, корыта

железные, потом — какие-то призмы для весов. Есть завод тяжелых весов в Армави-ре, он и выручает заказами. Значит, промысловая практика? Да. И Новокубанское отделение ничем не отличается от Сельхозтехник Ферганы, целины и Карелии: от со-рока до шестидесяти процентов дохода им планируется, промфинпланом предписыва-ется получать не от прямого своего дела, а побочно, от шабашек.

Уже один этот факт — промысловая опухоль у строго специализированной сис-темы — должен был предписать организму Сельхозтехники срочную диагностику и пол-ную диспансеризацию с анализами по всему списку. Тревога! Опасность! Откуда воз-можность делать призмы, корыта, вязать сетки и получать миллиардную валовку у сельского технического при д а т к а? Откуда избытки рабочей силы, какие нуж-но рассовать куда угодно? — ведь у села людской дефицит острейший, шефством вон сколько народищу у городов берут. Сапожная мастерская и та носков не штопает, со-рочек не стирает, строгая специализация на каблуках и подметках. Если мало заказов, одну из двух мастерских просто прикроют, но не станут терять присущего сапожни-кам профиля.

Это подсобный промысел! Сам автор, кажется, еще лет пятнадцать назад начал витийствовать за сезонные цехи и мастерские, способные аккумулировать вре-менные избытки трудовых ресурсов. Но извините — автор витийствовал за кол х о з-ные и совхозные промыслы, получая за то не одни пироги да пышки. Агитиро-вал за аккумуляцию зимнего сельского дня в товаре — чтоб и народу дать заработок, и полю добавочный капитал. Замысловат сюжет колхозного промысла, сколько ярких биографий он оборвал! На Старом Арбате идет судебное дело, разыгранное опытными мастерами: академическим Вахтанговским театром — пьеса А. Абдулина «Тринадцатый председатель». В основе — судьба председателя колхоза из подмосковной Балашихи Ивана Андреевича Снимщикова. Редкий в искусстве случай, когда один из сидящих в партере (а Ивану Андреевичу устраивали билет) может с полной точностью сказать, какой приговор вынесут главному герою и сколько лет придется ему платить по ис-полнительному листу.

Между колхозным промыслом и «прочими работами» Госкомсельхозтехники раз-ница полярная. Первый — это здоровые мышцы, во втором случае — опасная опухоль. Первый — натурален, ибо снимает пики-провалы трудового напряжения в регионах, где полгода, увь. поля под снегом. Вторые обнаруживают, что у сельского хозяйства взя-то больше ремонтников, чем можно занять, что здоровая двойственность сельского механизатора (летом он пахарь, зимою — ремонтник) расколота и армия чуть ли не в полтора миллиона человек (по многоядности наш агросервис в несколько крат пре-восходит аналогичную службу Штатов) путем призм, корыт, сеток выносит пита-тельные элементы из сельской экономической почвы.

Однако же, повторим, и согласие собирать машины за сельскохозяйственное машиностроение, и узаконенная, стимулируемая жизнь с шабашки — только наружные проявления аномалий агросервиса.

За двадцать лет только «Правда» напечатала около двухсот статей и писем по проблемам, рожденным Сельхозтехникой. — пухлая история болезни, тут и рентге-нограммы экономистов и кардиограммы инженеров, и диагнозы хлеборобов класса А. В. Гиталова (его речь на XXV съезде партии). Один наблюдательный инженер-эко-номист — С. Л. Авербух из Киева — собрал эти вырезки и составил обзор типа «Белой книги»: захватывающее чтение! Если учесть, что за каждым выступлением «Правды» по хозяйственным вопросам обычно стоят десятки статей в областных, республикан-ских, ведомственных органах печати, то налицо тысячи и тысячи филиппик, вешняя река обличений.

В десятках статей с самых разных ракурсов освещен главный узел гигантской ма-шины: соединение в одних руках торговли и ремонта. Сервис поставлен над хозяином, торговец получил монополию на запчасти, он заинтересован в выручке — а он к тому ж и ремонтник. Ему легко заставить чинить технику только у него, и бурно развивается починочная база. Идея «ремонтизации» всего железного, курс на охват капремонтом всего и вся неуклонно внедряются в жизнь. Таковы общие места выступлений обличи-тельных — цитировать их можно без конца.

Гораздо меньше публикаций защитительных, оправдательных — они и в изданиях появляются скромных и обычно лишены задора. Самоодобрение — вот их пафос. «Предприятия и организации системы Госкомсельхозтехники СССР вносят весомый вклад

в развитие сельского хозяйства», — пишет зампреда ведомства В. Швидько («Экспресс-информация», 1979, № 7, ЦНИИТЭИ по тракторам и сельхозмашиностроению). За семнадцать лет, указывает он, основные фонды предприятий увеличились в 10,3 раза, численность работников — в 3,3 раза, общий объем работ и продукции для колхозов и совхозов вырос в 8 раз, объем товарооборота — в 4,3 раза. **Восьмикратное увеличение ремонтов!** Что лучше этой гордой цифры подтвердит, что обличители абсолютно правы? Но агросервису нужны ашуги, бояны вещи — и он выдвигает их из своей среды. «Ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин превращается в самостоятельную отрасль народного хозяйства, масштабы и значение которой по меньшей мере равны масштабам и значению производства новых тракторов и сельскохозяйственных машин», — это из дуэта В. Кривобок и В. Лосева в «Трудах ГОСНИТИ», 1967, том 12. Те же «Труды ГОСНИТИ» через пять лет предложат создать особое ведомство (министерство) ремонта, которое объединило бы все ремонтные службы...

А ведь и тут плагиат! У Гоголя. Вспомним: Чичиков подъезжает к деревне полковника Кошкарева, и первое, что бросается ему в глаза, — это вывеска: «Депо земледельческих орудий!» Полковник-реформатор, как выясним мы потом, вычленил в особые подразделения: 1) главную счетную экспедицию (т. е. статистическую службу), 2) комиссию построения, в которой отмечается, состоять выгодно, 3) комитет сельских дел, 4) комиссию всяких прошений и т. д. Но на первом плане сатирической картины — депо земледельческих орудий!

Тысяча сто пунктов обслуживания тракторов. Четыре тысячи двести ремонтных мастерских. Триста заводов! Тысяча двести станций обслуживания автомобилей. Четырнадцать крупных научно-исследовательских институтов, не считая сети испытательных станций и десятков КБ. Полтора миллиона специалистов десятков профилей. Вот что такое сейчас Госкомсельхозтехника! Саморазвивающаяся система, она ежегодно вкладывает в улучшение своей базы многие сотни миллионов рублей — это при том, что в колхозах и совхозах параллельно и независимо действует 46 тысяч ремонтных мастерских.

Автор той «Белой книги» С. Л. Авербух сам прошел все ступеньки агросервисной лестницы, долго работал в глубинке, знает приемы, повадки, обычаи людей Сельхозтехники и суммирует ситуацию так:

— В последние годы в стране создана беспрецедентная по своим размерам индустрия по ремонту и обслуживанию техники. На 3023 тысячи механизаторов, которые работают на тракторах и комбайнах — пашут, сеют и убирают хлеб, — приходится полтора миллиона специалистов Госкомсельхозтехники и столько же в совхозах и колхозах, обслуживающих эту технику и делающих с трактористом выработку (ведь новая стоимость создается только в поле). Общая мощность мастерских и заводов Госкомсельхозтехники равна трем миллионам условных ремонтов. Один условный ремонт оценивается в 300 нормо-часов. Изготовление нового трактора «ДТ-75» требует 600 нормо-часов. Каждые два условных ремонта — это один новый трактор. А все вместе — полтора миллиона тракторов. Столько примерно выпускают тракторов в год все заводы мира, вместе взятые!

Ничего себе депо, не правда ли?

Создав себя, оно простаивать не может и не будет. Объемы возьмет с бою. «Восстановленный трактор стоит почти столько же, сколько новый, а работает меньше и хуже» («Правда», 5 января 1967 года). «Сорок — сорок пять процентов всего металлопроката тратится в тракторостроении на изготовление запасных частей, стоимость которых составляет 1900 руб. на каждый выпущенный трактор» («Правда», 12 июня 1969 года). «Ресурс капитально отремонтированных тракторов и комбайнов не превышает 35 процентов от ресурса новых машин» («Правда», 28 февраля 1974 года). «При увеличении ресурса новых механизмов окупаемость капиталовложений в 4-5 раз выше, чем при повышении ресурса тех же агрегатов в процессе капитального ремонта» («Правда», 3 декабря 1979 года). А вот уже и совсем наши дни: «Только на первый взгляд кажется, будто пытаться с помощью многочисленных ремонтов удлинить жизнь наших «железных помощников» — дело выгодное. Это иллюзия...» («Правда», 3 марта 1980 года).

Не иллюзия вот что. Только стоящий вне номенклатуры сельских дел и понятий может верить, будто крестьянину важно и нужно спасать урожай, лечить скот, чинить машину. Суеверие, власть тьмы! Конь лечёный — как табак мочёный, а трактор

чинёный — их обоих хуже. Удача и радость сельской работы даются не тем, что как-то одолели бурую ржавчину или исцелили от ящура скот, а тем, что растение от всходов до молотбы мчит зеленой улицей, оно и м м у н н о, что бычок прет к своей полутонне веса без болезней, отесов и переломов, потому что здоров воистину как бык, что машина верой и правдой выслужит свой век и проводят ее во вторчермет с печалью, как часть бригадной жизни, как понятливого, надежного слугу, которому, увы, пришло время.

Пришло время говорить о сущем, действительном в прошедшем времени. Именно в «Правде» (двести обвинительных выступлений!) читаешь подписанное работником Госплана:

«Функции хозяйственного руководства комплексом дробились... Выявилась организационная неупорядоченность: в каждом районе было создано по несколько специализированных подразделений, выполняющих однотипные работы... Из-за обременительных условий хозяйства нередко отказывались, например, от услуг Сельхозтехники, развивали свою ремонтную базу. В то же время специализированные организации значительную часть работ выполняли для других отраслей народного хозяйства. Предприятия же и организации, обслуживающие сельское хозяйство, не считали себя ответственными за урожай. Они выполняли и перевыполняли планы и получали высокие прибыли даже тогда, когда в колхозах и совхозах снижались урожаи, сокращалось производство мяса, молока и других продуктов» («Правда», 6 августа 1982 года).

Помилуйте, да это же август 1982 года! Виктор Карачунов по-прежнему мается из-за аккумулятора, а главный инженер Прочноокопской мотается из-за железок по окружности радиусом в двести верст! Ничего ведь еще не изменилось! Откуда же это за у п о к о й при явном пока з д р а в и и?

«То, что обо всех перечисленных выше недостатках мы говорим в прошедшем времени, отнюдь не означает, что они уже преодолены», — признает тот же автор из Госплана. Вроде бы путаница во времени (утверждать б ы л о при том, что оно е с т ь) легко родит иронию и ехидство.

И все-таки — б ы л о!

Минский моторный завод требует системы фирменного ремонта для своих двигателей. Сам слышал от директора и главного инженера, водивших по цехам:

— Мы в свою продукцию верим и готовы отвечать перед потребителем сами, без посредников и нахлебников! Но Сельхозтехника не отдает нам ответ за двигатели: у нее останоятся ремонтные заводы.

Диковинно и сладостно слышать.

Красногвардейский район Ставрополя три года испытывает новую систему отношений агросервиса и колхоза, в которой узнаешь многое от прежних МТС (механизатор остается колхозником, но работает в межхозяйственном предприятии, где сосредоточена вся техника), и новый порядок видишь: прибыли уже не выносятся Сельхозтехникой а делятся меж хозяйствами-пайщиками. Район засушливый, сильно кредитован, половина хозяйств еще убыточна; богатому и крепкому, по мнению многих, такая метода служит слабо, но слабому, малолюдному уже помогла внушительно — по тридцать центнеров зерна научились получать районом на круг! Двенадцать заместителей министров побывали здесь за один только год: «Чего вы хотите?»

Иного порядка хотят, чего тут таить!

«Разработать проекты нормативных актов о совершенствовании экономических взаимоотношений сельского хозяйства с другими отраслями», — потребовали от плановиков, финансистов юристов ЦК партии и правительство в подкрепление Продовольственной программы. Предписано внесение «изменений в действующий порядок планирования и использования прибыли предприятий и организаций, обслуживающих сельское хозяйство и их взаимоотношений с бюджетом».

Чтоб ставить глаголы в перфекте, надо хоть в самых общих чертах видеть победу Фильм «В шесть часов вечера после войны» можно было снимать только после Курской дуги: она ввела в обычай салюты и показала, каким будет вечер Москвы-победительницы.

Тут ни прибавить, ни убавить: было! Была пора — производительные силы оказались предметом наживы, хлебную машину обложили ремонтным налогом, сказала

охота сделать л е ч е н ы м каждый трактор — комбайн, и это сильно сказалось на уро- жаях и на человеке земли. Нужда заставила осознать, вникнуть — и перед хлеборобом открыла фольклорные т р и д о р о г и .

Первая — чини сам! Выгодно — покупай железки, старайся старинным мужицким образом.

Вторая — найми кузнеца, мастера, он за сходную цену скует, отладит, починит, он не благодетель и не нахлебник — сотрудник и соучастник.

Третья — не чинить вовсе, не лечить совсем, а вкладывать деньги и труд в та- кие машины, какие весь рассчитанный век, от звонка до звонка, проводят в безотказ- ной работе. Дорого? Да ведь мило — и выгодно! Мозгуй, выбирай среди трех дорог, на то ты и хозяин.

Ноябрь 1982 года.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН



«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»*

Главы из книги

ГЛАВА IV. ДЕВЯТЫЙ ТОМ

28 ноября 1818 года: «Описываю злодейства Ивашки».

9 февраля 1819-го: «Пишу об Ивашке».

8 января 1820 года. Карамзин опять с большим успехом читает из IX тома в годичном заседании Российской Академии. Через день царь на Фонтанке встречает Екатерину Андреевну и поздравляет ее с успехом мужа.

25 мая. Увлечен работой: «...все еще жалею, что утро коротко».

27 июня: «Видно... ему [Карамзину] так же трудно описывать царствование Ивана Васильевича, как было современникам сносить его» (шутка Д. Н. Блудова).

Октябрь: «Выезду отсюда [из Царского Села] Ермака с Сибирью и смерть Иванову, но без хвоста, который еще требует добрых недель шести работы».

10 декабря 1820 года. IX том окончен — настроение хорошее, и в Москву к Малиновскому просьба выслать «все материалы для описания Феодорова царствования».

Меж тем Екатерина Андреевна рождает в девятый раз (дочь Елизавету), и граф Каподистрия шутит, что Карамзин «считает годы новорожденными детьми и томами российской истории».

В Петербурге слухи, будто IX том уже запрещен.

9 мая 1821-го. IX том поступает в продажу (через шесть дней его уже читает Николай Тургенев, через шестнадцать — возвратившийся с очередного конгресса император).

В IX томе 472 страницы текста и почти 300 страниц примечаний. Цена одной книжки — 15 рублей.

Том начинается словами: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства».

Прежние историки и публицисты не решались откровенно описывать эту эпоху. М. М. Щербатов хорошо знал, но в соответствующих книгах своей истории многое обходил... Только в потаенном своем сочинении «О повреждении нравов в России» сообщил некоторые мрачные подробности об Иване и других: ведь русские цари XVIII—XIX веков постоянно подчеркивали преемственность в отношении прежних правителей, и тем самым «обида» Ивану Грозному становилась политическим делом и для Петра I, и для Екатерины II, и для Александра I.

Карамзин же пишет свободно и страшно. Об «изверге вне правил и вероятностей рассудка», о «шести эпохах душегубства», когда царь, в очередной раз казнив своих сподвижников, набирал новых: «...сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем».

Почти на каждой странице — казни, казни, сожжение пленных при известии о гибели Малюты, приказ уничтожить слона, отказавшегося опуститься на колени перед царем, семь жен Иоанна, опричные игры... Страшные десятилетия (когда, между прочим, и начался дворянский род Карамзиных).

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 2 с. д.

И все же при всех доказательствах не сгущены ли краски? Не преувеличены ли ужасы? Можно ли верить в беспристрастность летописцев? Первым поднял голос все тот же скептик Каченовский (за что был несправедливо заподозрен друзьями Карамзина, будто он «нравственный защитник» Ивана Грозного).

Позже русские, советские историки писали о той эпохе немало и действительно нашли, что в ряде картин краски сгущены: например, зимой 1570 года в Новгороде истребили не десятки тысяч (как пишет Карамзин вслед за современниками событий), а несколько тысяч человек; к тому же отмечались и прогрессивные черты в политике Ивана — централизация, ослабление боярства, присоединение новых земель, Судебник... Наконец, Карамзина упрекали за то, что он судит грозного царя по моральным меркам своего просвещенного времени, тогда как в XVI веке подобная резня — дело обыкновенное (чего стоит Варфоломеевская ночь 1572 года в Париже!).

Дискуссия не окончена, здесь нет возможности в нее углубляться. Но все же предложим несколько соображений насчет карамзинского Иоанна IV.

Карамзин был первым, следующие уточняли, уже основываясь на его IX томе.

Число жертв действительно завышено, но и без того достаточно велико (в стране ведь 5—6 миллионов жителей); в советское время академик С. Б. Веселовский и другие исследователи показали, что и та кровь, которая пролилась на самом деле, многое подорвала в стране, имела неизмеримые моральные последствия; когда Карамзин цитирует летописцев, свидетелей описываемых зверств, то он как бы исходит из впечатлений того давнего современника событий... Преувеличение? Но, значит, очевидно, многим очевидцам именно так казалось; это было их мнение — но притом и социальное впечатление. Если современникам представлялось все в крови и они удесетерили число жертв — здесь мало воскликнуть, что ошибаются! Надо понять, отчего они ошибаются именно «в эту сторону»; и тогда явится истина не менее, а, может быть, более важная, чем точная статистика казней: предстанет общественная атмосфера террора и крови.

Что касается прогресса, то Карамзин постоянно, даже подчеркнуто говорит и о верных, разумных действиях Грозного, а если эти слова все-таки тонут в предшествующих и последующих кровавых сценах, значит, так представлялся историку общий «колорит» этого царствования, то, чего он не желал принять ни при каких «оправданиях».

Наконец насчет того, что в XVI веке зверства расценивались иначе, чем в XIX. Но ведь обвиняющий, даже преувеличивающий голос современников как раз говорит о том, что террор был непривычен, далеко выходил за рамки «допущений» той эпохи. Впрочем, в 761-м примечании Карамзина к IX тому находим: «Людовик XI не уступал Иоанну в свирепости. Вот одна черта: в 1477 году казня герцога Немурского, он поставил его детей внизу эшафота, чтобы кровь несчастного отца излилася на них!.. Платон говорит, что есть три рода безбожников: одни не верят существованию богов; другие воображают их бесчеловечными, равнодушными к деяниям человеческим; третьи думают, что их можно всегда умиловить легкими жертвами или обрядами благочестия: Иоанн и Людовик принадлежали к сему роду безбожников».

Сравнений же с Варфоломеевской ночью, столь любезных некоторым публицистам, Карамзин как человек сведущий, объективный, конечно, не приводит: Иван Грозный резал — и в ночь с 23 на 24 августа 1572-го в Париже резали. Так! Но во втором случае была гражданская война: пусть подлое нарушение перемирия, но все же не «простая» казнь беззащитных; кроме того, Франция, не зная татарского ига, в 1572 году имела ряд преимуществ: начавшийся капитализм, буржуазия, вольности, городские парламенты, университет — то, что Россия еще не скоро узнает (расплата за черные, подневольные века). Иначе говоря, страшную резню 1572-го общественный, государственный организм Франции перенес все же куда легче, чем более отсталая российская структура — террор Ивана Грозного. Здесь разные контексты внешне сходных событий: трудно доказать, что после Варфоломеевской ночи во Франции произошло усиление деспотизма, были задеты некоторые коренные моральные устои; о России же 1560—1584 годов историк имеет право сказать, что террор «губительную рукою» касался «самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то без сомнения не возвысило его и царствование Иоанново»¹.

¹ «История Государства Российского», СПб, 1821, т. IX, стр. 440.

Поэтому карамзинские обвинения при многих частных неточностях верны в целом.

Но остался еще один вопрос вопросов: можно ли было такое переносить даже в XVI веке; как же не восстать? Карамзин видит проблему и пишет о сопротивлении: «Еще некоторые говорили о долге и чести; их не слушали — но они говорили, что думали, и явили пример, достойный лучших времен Рима»².

Карамзин приводит примеры пассивного сопротивления: Адашев, Сильвестр не роняют чести и отказываются участвовать в кровавой вакханалии; бывший митрополит Филипп не желает благословлять палача: «„Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля государева!“ Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил св. мужа; но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келье. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви Российской, украшенного венцом мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего»³.

Карамзин взволнован — и сейчас не желает холодного измерения, кто больший или меньший герой; подобно Алеше Карамазову, он близок к тому, чтобы прошептать крайние, «революционные» слова: «Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве! Не изменились россияне, но царь изменил им!»⁴

Царь — изменник!

Карамзин затем «спохватывается», но не изменяет написанного: «Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя; устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что бог посылает и язву и землетрясение и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую»⁵.

Сохранился черновик этого листа: Карамзин после Екатерины вписал Александра, вычеркнул, снова вписал. И наконец сделал так, как и попало в печать: «...чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (История не любит именовать живых)».

Намек всем понятен, но никто не обвинил в «ласкательстве»: фраза даже несколько двусмысленна — «История не любит...», то есть будущее еще оценит. скажет по-своему, и неведомо как...

Но вообще в приведенном отрывке монархическая идея Карамзина представлена резко, сгущенно и страшно. Довод «в пользу самодержавия» — что даже против Ивана не восстали, даже его терпели!

Хорошо это или плохо? Историк находит громкие доводы в пользу естественности самодержавия, но отнюдь не умиляется, что все сошлось с ответом... Противоречия собственного рассказа его не смущают. Живые чувства, столкновения человеческого и «государственно-исторического» от этого становятся горячее, правдивее...

Но почему же он, монархист, консерватор, не остановился перед описанием тирании? Цель свою историк не скрывает: он дает отрицательный образец — в назидание, в поучение...

«Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселяет омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истинно дееспособный может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои иступления»⁶.

К этим строкам Карамзин дает примечание 762-е — и читатель легко находит в

² Там же, стр. 266.

³ Там же, стр. 147.

⁴ Там же, стр. 315—316.

⁵ Там же, стр. 437.

⁶ Там же, стр. 439.

конец книги: «См. историю французской революции». Пессимизм, возможность и опасность повторения соседствуют, как видим, с оптимистической надеждой («предупреждает иногда...»), с верой, что просвещение делает тиранию все менее возможной...

Карамзин оканчивает IX том. Вот последние строки:

«В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмили новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя; чтит в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!

Конец IX тома»⁷.

Вот как писал и печатал Карамзин в 1821 году.

Больше всего именно этот девятый том подтверждает пушкинское: «...несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий...»

Интереснейшее тому доказательство — отклики современников...

Восторженный Рылеев (20 июня 1821 года): «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»⁸.

Тремя днями раньше высказался настороженный Николай Тургенев: «Карамзин хорош, когда он описывает. Но когда примется рассуждать и философствовать, то несет вздор. Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана царя»⁹.

Тургенев слышит критику справа — не задето ли самодержавие «ужасами» одного из самодержцев?

Пять лет спустя на процессе декабристов несколько членов тайного общества на вопрос о происхождении вредных мыслей ссылались на «Историю...» Карамзина, особенно на том IX. К этим показаниям присоединился с другой стороны великий князь Константин Павлович, видевший в карамзинских описаниях соблазнительный источник крамолы. Как же это пропустили в столь горячее, преддекабристское время? Царь, точно известно, сделал несколько замечаний на полях IX тома, и Карамзин спросил, следует ли здесь видеть приказ. Александр, однако, боялся задеть своего историографа и предложил «печатать, как есть в рукописи»¹⁰. Успех восьми томов, общественная и литературная репутация Карамзина не позволяли остановить IX (который прозорливо не был включен автором в первый комплект — тогда «ужасы» могли бы задержать издание!).

Но Карамзин, разве он не понимал, что революционеры воспользуются? Время было такое... Неожиданно в одной точке, на одной книге сошлись желания разных читателей увидеть отрицательный образец тирана, деспота (как в римской истории отыскивали Тиберию, Нерона); или мечта историка (очевидно, внушенная Александру), что здесь образец, как не надо царствовать, урок всяким царям, полезное подспорье просвещенным монархам...

Последние главы IX тома — вольница Ермака — как бы выходят за пределы жутких казней и опричного мрака: оставляют надежду. Ермак почему-то особенно раздражил Карамзина-художника.

21 июня 1820 года (Дмитриеву): «Между тем я в Сибири: пишу о твоём герое Ермаке... ищу и не нахожу ничего характерного: все бездушно — а выдумывать нельзя».

Благодаря записи Сербиновича мы знаем, какие характерные, то есть художественно-типические детали искал Карамзин в Сибири 1580-х годов: «...интереснейший эпизод нашей истории, с такими картинами, каких еще в ней не бывало. Здесь он

⁷ «История Государства Российского», т. IX, стр. 471—472.

⁸ «Русская старина», 1871, № 1, стр. 66.

⁹ Сб. «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». М.—Л. Изд. АН СССР, 1936, стр. 349.

¹⁰ М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М. 1869, стр. 63.

[Карамзин] несколько распространился о характере Ермака, о превращении его из разбойника в героя и о тех высоких нравственных условиях и обетах, которыми он обязал своих сподвижников и чрез которые получил столь блестящий успех».

Чувство художественно-историческое Карамзину редко изменяло: его могло за-
я о с и т ь (по нашему понятию) далеко от настоящего объяснения, но он верно чувст-
вовал, где, в каких сюжетах д о л ж н ы б ы т ь важнейшие ответы.

Ермак действительно чудо, вернее, первое звено в цепи чудес: невероятное освоение Сибири, через невысказанные дебри, невообразимые морозы, расстояния, лишения, опасности. Пушкин скажет семнадцать лет спустя: «Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри реки, впадающие в Ледовитое море, были открыты казаками, и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. Выявились смельчаки, сквозь невероятные препятствия и опасности устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на их ясак и бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках».

Чисто пушкинское столкновение разных понятий: в одной фразе эпитеты «неимоверный», «высокий», «бесстрашный», «жалкий» и все относящиеся к одним и тем же, казакам, открывателям, землепроходцам.

Тут была тема народа.

Правда, она присутствует в любом томе — от Юрика до Ивана Грозного. Но так всегда у Карамзина — народ плюс власть (князя, цари, управляющие народом); роль самодержавия, мы знаем, представлялась Карамзину исключительной, творящей («российский палладиум»).

Но Ермак — случай особый: российский человек на воле, без царей, воевод, приказных. И горстка казаков, сотни, редко тысячи вчерашних крестьян, оказывается, несут в себе неслыханный заряд энергии, которая в д р у г ведет их за тысячи верст и позволяет учетверить размеры Российского государства.

Автор «Истории Государства Российского» приглядывается к народу внимательно, художественно. Действительно, «какая сила в нем сокрыта?». Вынесли многовековое иго, поднялись, свергли, побили мощных соседей, распространились на два континента, а через тридцать лет после Ермака, когда страна, казалось, рассыпается, когда царя нет и в Москве неприятель,— вдруг за Мининым и Пожарским (как во Франции за Орлеанской девой) поднимутся, спасут и — п о д ч и н я т с я...

Кажется, все мог великий народ, заряженный особенной исторической энергией, все мог — всех разбить, все освоить и даже самого себя закабалить.

Наверное, можно было бы сравнить его с бурлящим потоком, способным все препятствия размыть, всюду пробиться; но являются строители канала, плотины — и вся сила воды им уж принадлежит.

Карамзин о том и говорит — декабристы о том и говорят, но «с разными знаками». Для поклонников древних вольностей царская власть (сначала Рюриковичи, потом Романовы) вознеслась народною силою, и за то народ поработился — самодержавием и крепостным правом.

Карамзин же приветствует превращение «разбойника в героя» — соединение дикой казацкой вольницы с московской властью и отсюда удесятерение их общих сил.

Пишется о Ермаке, но, по сути дела, и о Разине, Пугачеве...

Крестьянский бунт, восстание против царей для Карамзина «бессмысленны и беспощадны» (хотя не он эти слова напишет); декабристы тоже не хотят Пугачева, но полагают, что главным виновником новой пугачевщины будет Аракчеев.

Зато Карамзин находит плоды своеобразного союза власти с народом в 1812-м...

Тема, важнее всех других, п о с т а в л е н а.

Ермак в IX томе сражается с Кучумом и посылает гонцов к Ивану Грозному.

Карамзинские герои, описанный им народ, отправятся вскоре на страницы пушкинского «Бориса Годунова».

Но до того еще несколько нелегких лет.

ГЛАВА V. ПОСЛЕ ГРОЗНОГО

Три с лишним года читатели с нетерпением ожидают продолжения — следующих томов. Сегуют на медительность Карамзина: за столько лет ни одной новой книги.

1821—1824-е годы: Шампольон расшифровывает египетские иероглифы и

дарит миру целую древнюю цивилизацию; революции в Испании, Португалии, Пьемонте, Неаполе, Греции, Латинской Америке («Газеты снова интересны,— кажется, радуется историк.— Как бы хотелось знать, что будет с греками»).

«...венец слетел с головы Фердинанда VII [Испанского], а остался на ней один колпак, почти шутовской»,— так почти весело писано Александру Тургеневу.

Улыбки, печаль, надежды и в других письмах.

«Поздравляю с новой революцией (португальской). Скоро ли пройдет эта мода? Или мы пройдем скорее?»

«В Америке рождаются новые государства: Мексика и Перу могут со временем быть великими державами, богатыми и приятнейшими для жизни; но это еще далеко. Между тем видим Испанию в судорогах разрушения. Наше время заставляет более мыслить, нежели веселиться».

Попадают, однако, строки куда более нервные, горячие: «Век конституций напоминает век Тамерланов: везде солдаты в ружье...»

«Между тем шумят о конституциях. Сапожники, портные хотят быть законодателями, особенно в ученой немецкой земле. Покойная французская революция оставила семя, как саранча: из него вылезают гадкие насекомые. Так кажется. Впрочем, будет, чему быть надобно, по закону высшей премудрости».

Эти сапожники, портные — действующие лица будущей «славной» шутки графа Ростопчина (во Франции граф понимает революцию: «Сапожники захотели стать князьями»; в России же 14 декабря не понимает: «Князья пожелали стать сапожниками»).

Российские князья все крепче и опаснее закладывают мины для будущего взрыва... Почти на глазах Карамзина — семеновская история 1820 года, «мирный бунт» важнейшего гвардейского полка.

Историк знает, предчувствует 14 декабря — и огорчается: не верит, отрицает для России этот путь.

Отношения с царем, с царицами по-прежнему хорошие. Все хорошо — и все печально... Старшую дочь Софью делают фрейлиной, его самого — действительным статским (генерал Карамзин!). Царь, зная нелюбовь историка к чинам, подчеркнул, что награждает историографа, а не Карамзина. Награжденный благодарил изысканно и ехидно — за признание заслуг историографа и «чин для публики».

Награды, чины и в то же время над другими очень близкими — черные облака, как некогда, в 1792—1793-м, над тогдашним Карамзиным. В опалу и отставку попадает друг-брат Петр Вяземский; Александра Тургенева, можно сказать, съели темные клерикальные силы, набиравшие голос возле трона. Карамзин горячился, пытался примирить с царем старинного друга, который никогда не был радикалом, заговорщиком и смотрел на вещи сходно с историком. Александр I, кажется, готов был уступить, но сам Тургенев понял, что ему с новым курсом не ужиться. По этому случаю Карамзин жалуется Дмитриеву: «Тургенев спокоен в чувстве своей правости; а я, любя его как брата родного, любя искренно и доброго царя, был грустен, и все еще жалею, очень жалею».

Порою нелегко сдержаться, соблюсти дистанцию. Однажды запишет о придворных: «Больше лиц, нежели голов; а душ еще менее».

Внимательно следят за историком-фаворитом многие могучие недоброхоты, крайние мракобесы — Магницкий, Рунич, Фотий, только и ждут сигнала, чтобы освистать, выкинуть. «Ты говоришь о нападках Булгарина: это передовое легкое войско, а главное еще готовится к делу, как мне сказывали: Магницкий etc. etc. вступаются будто бы за Иоанна Грозного. И тут ничего не предпринимаю: есть бог и царь!» (Карамзин — Дмитриеву).

Раньше, до 1820 года, историограф много спорил и направо и налево. Теперь все чаще находит и это бесполезным; удаляется: «...ось мира будет вертеться и без нас». Он стар для молодых, молод для стариков: о чем говорить? Уже все сказано...

«...мне уже ничего не надобно. Я простился даже и с мечтой быть полезным в государственном смысле; не простился только с историею: вот мое дело, вопреки нашим кастратам и щепетильникам».

То есть ему говорят, намекают, что есть дела поважнее, посовременнее его «Истории...»; или, наоборот, стоит ли так писать, например, о злодеяниях Грозного?

«...вот мое дело...»

Такая позиция обрекала на одиночество. Одиночество обострялось и распадом «Арзамаса»: одни уходят в декабристы, другие уезжают в дальние края, третьи —

в деревню, в частную жизнь. Вяземский восклицает: «Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках... Арзамас рассеян по лицу земли, или, правильнее, по <...> земли»¹¹

Одиночество. И сочувствие немногих избранных: «Мне кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы все поем вполголоса и живем не полною жизнью, оттого и не можем быть довольны собою». Так писал Александр Тургенев Вяземскому¹².

Вяземский соглашался: «Карамзин... создал себе мир светлый и стройный посреди хаоса тьмы и неустройства».

И Вяземский и Александр Тургенев не принадлежат к тем соратникам Рылеева, Пестеля, Николая Тургенева, кто решился, кто нашел смысл жизни, и поэтому не согласятся, будто один историограф живет светло и стройно.

Но мы уже говорили, что моральную силу, чистоту души Карамзина признавали и большинство критиков.

Само существование такого человека, с такой позицией среди вихрей и столкновений 1820-х годов было уже событием, целым «политическим течением». Он же вслед надолго уезжающему за границу Александру Тургеневу шлет примечательное напутствие: «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует: все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека: есть только двуногое животное с брюхом и с знаком пола, в навозе, хотя и цветами убранном. Так мы с вами давно рассуждали».

Одиночество — и свое дело. X том — время царя Федора Иоанновича, конец XVI столетия. XI том — Борис Годунов, Лжедмитрий. И постоянные попытки сегодняшнего года, века вторгнуться в мысли историографа, направить перо...

«Хотелось бы дописать до Романовых: тут конец поэмы — остальное наследникам. Еще бы два тома, и поклон истории».

3 марта 1821 года — Малиновскому благодарность за присылку из московского архива «двух ящиков» для X тома; сообщает, что написал первые «несколько строк».

30 сентября: «Я бреду вперед; описываю теперь убиение Димитрия».

5 декабря — просит приготовить «все о Годунове»: «...хочется отделать его цельно, не отрывком... На сих днях встретилось мне в бумагах 1597 года описание двадцати или тридцати блюд царского стола — находка любопытная!»

Позже просит планы зданий, космографию, в которой находится древнейшая карта России, времен Годунова.

31 марта 1822 года: «...кончил 4 главу 10-го тома и примусь за Годунова, описав судьбу России под скипетром Варяжского дому».

X том окончен; отправляющемуся на Венский конгресс царю историограф вручает тетради «в дорогу».

Царь, вернувшись, делает несколько замечаний, очевидно не настаивая. Карамзин в двух только местах «взялся поправить».

16 июня — жалуется Дмитриеву, что трудится над «Историей...» по пять часов в день, «иногда и бесплодно или почти бесплодно».

Друг Дмитриев оставляет «Воспоминания», и Карамзин их с наслаждением читает, требует еще и еще, но сам даже и не думает о чем-то подобном.

«История...» — это и есть его мемуары. Из своих старых веков он, понятно, хорошо видит дух своего времени и существо сегодняшних обстоятельств.

Но все ему мало, мало... Не оставляет бес современности, тянет к сверхсекретным политическим бумагам XVIII — начала XIX века, к тем годам, до которых его «История...» не дойти... Дмитриеву сообщается: «...как любопытно! Вижу перед собою и Долгоруких и Голицыных, и Бирона и Остермана... Недавно читал я также допросы Лестоку и Бирону, жалея, что не буду писать истории сего времени. Прелесть! Прелесть — присоединим и мы свой голос, оценивая только что приведенные строки. Карамзин — чувствительный, сентиментальный, очень чуткий к нравственному началу — забывается: наслаждение ученого явно берет верх над ужасом потомка перед допро-

¹¹ «Остафьевский архив князей Вяземских», в пяти томах, СПб. 1899—1913, т. III, 1908, стр. 73.

¹² См. там же, т. I, 1899, стр. 294.

сами, казнями, кошмарами бироновщины; прелесть! — восклицает Карамзин, воображая, как бы хорошо можно было заполнить двухвековую пропасть между его «Историей...» и его современностью.

«Вообще я так много читал здесь о происшествиях петербургских, что этот город сделался для меня уже историческим: Нева, крепость, дворец напоминают мне столько людей и случаев! Отживая век для настоящего, с каким нежным чувством обращаемся к прошедшему».

Осмелимся поправить историка: именно оттого, что не отжил для настоящего, обращается он к вчерашнему; не жалеет времени и, добившись специального царского разрешения, погружается в дело Вольнского («...две кибы и сундук. Гнусно и любопытно»); тянет к родному XVIII, к пожару Москвы — но где силы взять на все века?

«Осталось бы написать XII том и соизр d'œil [взгляд, краткий обзор] до наших времен. для роскоши...» Мечта эта высказана в письме А. Ф. Малиновскому. Брату чуть иначе: «Заключу мою Историю обзорением новейшей до самых наших времен».

Вот для чего он читал из XVIII века... Но постоянно сам себя опровергает. Летом 1825-го он, например, объясняет Жуковскому, Вяземскому и Сербиновичу о французской революции (и, понятно, вообще о новейшей истории, которая так притягивает, что приходится крепко отталкиваться!): «...писать ее историю еще рано; предмет богатый, но слишком близкий к нашему времени. Современники требуют более подробностей, а история должна быть разборчива».

Нет истории без типических подробностей, но нельзя обнародовать подробности о недавнем: заколдованный круг — как выйти?

Пушкин скажет, что надо вести записки, чтобы на нас могли ссылаться; сам несколько раз будет за них приниматься, плоды четырехлетнего труда сожжет, снова возьмется — и не успеет...

Карамзин отпускает вежливый поклон XIX, XVIII и, не прекращая чтения записок, документов, удаляется в 1600-е...

22 сентября 1822 года: «...начинаю описывать гонение Романовых, голод, разбой, явление самозванца: это ужаснее Батыева нашествия».

28 сентября: «Теперь пишу о гонении Романовых, а самозванец стоит у дверей. Предмет любопытен: лишь бы удалось описать хорошенько».

30 октября: «...читал императрице Марии Ф. главу об избрании Годунова в цари вместо главы из романа Вальтер-Скотова и Гатчинское общество не дремало. Хорошо, если бы удалось еще с некоторою живостию дойти до конца, мною предполагаемого, чтобы высокоблагородное потомство, дочитав, могло сказать: „ж а л ь!“».

Сегодняшний историк, возможно, удивится такому вниманию к форме: лишь бы «описать хорошенько... с некоторою живостию». Сохранившиеся листы черновиков насыщены стилистической правкой. Художественность рассказа для Карамзина-ученого — цель. Форма в определенном смысле важнее содержания, ибо без нее нет содержания, то есть былой жизни.

11 декабря: «Теперь пишу о самозванце, стараясь отличить ложь от истины. Я уверен в том, что он был действительно Отрепьев-расстрига. Это не новое, и тем лучше».

14 января 1823 года — в торжественном ежегодном заседании Российской Академии Карамзин читает отрывок об убиении царевича Дмитрия и об избрании на царство Бориса Годунова.

Николаю Тургеневу не понравились «эти слезы, эта тоска народа при смерти Федора Ивановича и при просьбах Годунова о принятии престола».

Историк читает, декабрист оспаривает, а главный истолкователь еще не знает, не подозревает — «в глуши Молдавии печальной»...

«Пушкин, говоря о Карамзине, рассказывал мне однажды: часто находил я его за письменным столом с вытянутым лицом — вот так (при этом слове он вытягивал сам свое лицо). Он отыскивал какое-нибудь выражение для своей мысли...»¹³.

Пушкин со многими пытается разделить тоску по Карамзиным; просит Вяземского не забывать прозы — «ты да Карамзин одни владеют ею»; брату Льву Сергеевичу: «Напиши мне нечто о Карамзине, ой, их».

Отголосок старых споров, эпиграмм... Карамзин только лучшему другу Дмитриеву написал откровенное мнение о «любезном Пушкине» (25 сентября 1822 года):

¹³ «Литературное наследство». М. Издательство Академии наук СССР. 1952, т. 58, стр. 351 (запись М. П. Погодина).

«Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия». Сам же любезный Пушкин за тысячи верст, конечно, тонко улавливает отношение одного из самых уважаемых им людей...

Сегодня, когда мы вольно или невольно расставляем российских писателей «по рангам», Пушкин, разумеется, главнее и нам, право, неловко за карамзинское мнение, будто у Пушкина «в голове ни малейшего благоразумия». Но что же делать, Карамзин в ту пору был читателям не менее важен, чем Пушкин; Карамзин так думал; Карамзин Пушкина несколько лет не видел — и судил по старинке. Пушкину карамзинский упрек, самый несправедливый, был все равно полезнее пошлой хвалы. И наконец, самое главное: Пушкин делом опроверг этот вздох историографа о себе... Смерть Федора, избрание Бориса — здесь он, Пушкин, вскоре произнесет главные слова!

Тема Бориса, самозванцев была; как видно, созвучна напряженному неустройству, ожиданию 1820-х — и малейшие сведения о карамзинском замысле будоражили молодых.

29 августа 1823 года дерптский студент и славный поэт Николай Языков пишет, что с нетерпением ждет карамзинских страниц о самозванце, ибо та эпоха «может дать хорошие матерьялы для романиста исторического». Пушкин же умом, душою, сомнениями, поэтическим опытом приближается к истории — и будто только ждет X и XI томов, чтобы приняться за «Комедию о настоящей беде Московскому государству...».

Как все просто выглядит сейчас, когда мы знаем то, что сбилось. И как все было зыбко летом 1823-го!

12 апреля Карамзин еще уверял брата, что работает усердно: кончил Федора Борисовича, начинает Лжедмитрия, осенью надеется начать Шуйского.

А затем так навалилась лихорадка, так худо было, что разнеслись слухи о смерти, — все лето приходил в себя и 6 августа открылся брату: «Я был действительно при дверях гроба... умер бы легко, не чувствуя смерти».

Умри Карамзин (не дай бог — хочется вдруг сказать), умри летом 1823-го — и выход XI тома (да, наверное, и X, с ним связанного) задержался бы, конечно, на несколько лет. И не написал бы Пушкин своего «Бориса» в 1825-м — а после 14 декабря совсем иная обстановка — и, вероятно, не написал бы совсем.

Страшно даже о таком подумать; но — обошлось...

Х и XI

1823-й, 18 октября: «Дописываю теперь самозванца... После болезни имею к себе менее доверенности: не ослабела ли голова с памятью и воображением?»

Конец ноября — начало декабря: рукописи X и XI томов уходят в типографию. «Хуже всего то, что на меня часто находит грусть неизъяснимая, без всякой причины, и нервы мои раздражены до крайности». «Хорошо, если они [X и XI тома] так же разойдутся, как 9-й том. Кроме авторского честолюбия, это могло бы поправить и наши экономические обстоятельства».

21 января 1824 года. X том отпечатан.

С 4 марта X и XI тома рассылаются подписчикам.

14 марта (А. Тургенев — Вяземскому): «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина «Истории». Уж 900 экземпляров в три дни продано»¹⁴.

В столице, как бывало и прежде, книжки прямо на квартире Карамзина продает Афанасий Иванович — «грамотный рядовой из сторожей департамента духовных дел».

Тома разошлись, но все же не так стремительно, сенсационно, как в 1818-м. Карамзин видел — что-то переменилось в воздухе; одни устали, другие далеко ушли.

Всего продано 2000 экземпляров — втрое меньше, чем в 1818-м, — но отказываться от «Истории...» рано было, и Карамзин, кажется, это вскоре почувствовал.

Восемь томов в 1818 году, как и IX том в 1821-м, как и X, XI в 1824-м, каждый раз становились значительным культурным, общественно-политическим событием, вызвали волну откликов, споров, ответов, подражаний, новых замыслов...

В напряженной, усталой атмосфере 1824-го, когда миновали надежды на реформы,

¹⁴ «Остафьевский архив князей Вяземских», т. III, стр. 19.

когда окончились европейские революции, когда «либерал Пушкин» оставляет в черновике —

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От саркосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы.

В этом-то «остановившемся времени» бурные, живые страницы родной истории были свежим воздухом, признаком настоящей жизни.

Языков в Дерпте жадно читает новые тома, «эти любопытства полные доказательства великого таланта нашего Ливия. Дай бог, чтоб он сколько можно продолжал писать русскую историю, хотя бы до смерти Петра».

Грибоедов летом 1824-го находит, что «стыдно было бы уехать из России, не выдавши человека, который ей наиболее чести приносит своими трудами».

Александр Бестужев, обдумывая разные способы исторического описания русской жизни, вздыхает: «...но что скажешь после Карамзина?»¹⁵

Наконец, Пушкин: «Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета».

Карамзин, кстати, хорошо знает от Вяземского, что Пушкин пишет «Бориса», просит рукопись, но — не успеет прочесть. Слишком мало времени, слишком много событий...

«Мы не рады тому, что бог не дал нам видеть этого общего бедствия».

Карамзин, всегда стремящийся в «минуты роковые» сам быть историческим свидетелем, жалеет, что не видел великого петербургского наводнения 7 ноября 1824 года. В Царском Селе та буря, что гнала обратно Неву, «ломала и рвала с корнем давнoletние деревья».

Царь скажет Карамзину слова, которые позже попадут в пушкинский «Медный всадник»: «Мой долг быть на месте... Воля божия; нам остается преклонить голову пред нею».

Наводнение это немалому числу мыслящих людей показалось близким предвестником других роковых минут и роковых лет.

ГЛАВА VI. ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Карамзин — Дмитриеву. 22 октября 1825 года:

«...я точно наслаждаюсь здешнею тихою, уединенною жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом: в девять утра гуляю по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, не туманного озера... в 11-м завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег: трясусь, качаюсь — и весел... знаешь ли, что я с слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве; я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей Истории: она есть, и довольно для меня. Одним словом, я совершенный граф Хвостов по жару к музам или музе! За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты,

Как лебедь на водах Меандра,
Пропев, умолкнет навсегда»...

Прекрасная проза, исповедь. Через год без малого после наводнения, за два месяца без малого до восстания. Ровно за семь месяцев до смерти.

О смерти заговаривает все чаще; брату признается, что смотрит на здешний свет «как на гостиницу». Меж тем работа «опять сладка», перед прощанием.

Жуковский и Александр Тургенев рассказывают (а Сербинович записывает) о недавно обнаруженном двухсотлетнем старце: появился на свет около 1620 года — в то самое время, куда вплотную подошли тома «Истории Государства Российского». Старец прожил «недостающую часть»...

¹⁵ «Литературное наследство», М. 1956, т. 60, кн. I, стр. 200.

А старинный знакомец, старше Карамзина на девять лет, граф Хвостов (на ужасных стихах которого оттачивает сатирические перья вся русская словесность),— граф Хвостов в отличие от Карамзина вовсе не унывает и восхищает историка не хуже того двухсотлетнего старца...

Жена умоляет лечиться — поехать за границу, снова увидеть мир «русского путешественника». Николай Михайлович, однако, никак не желает «трястись в карете или шататься на корабле».

Путешествие, да! — но по времени, в XVII век, к Шуйскому, Тушинскому вору, Семибоярщине, Минину и Пожарскому.

Последний том

«Пишу мало, однако ж пишу, во всяком случае последний XII-й том: им заговорюсь для двух тысяч современников (NB по числу купленных экземпляров) и для потомства, о котором мечтают орлы и лягушки авторства с равным жаром» (Дмитриеву).

Брату сообщает, что «хотелось бы скорее кончить, прежде охлаждения душевного».

Посланы в Москву подробные вопросы о Шуйском, получены обширные ответы. Молодого историка Калайдовича просят побывать в Тушине и описать место, где стоял Лжедмитрий II; корреспондент присылает историографу подробный план.

3 сентября 1825-го Карамзин жалуется, что «История не двигается вперед: в 3½ месяца едва ли написал 30 страниц». Нужны помощники. наследники. Много лет в его работе участвуют Малиновский, Румянцев, Калайдович, Строев, Оленин, Александр Тургенев; теперь помогает Сербинович, все сильнее участие Погодина, Хомякова, историка донского казачества Сухорукова.

7 октября в Михайловском окончен пушкинский «Борис».

Карамзин дописывает в эти дни пятую главу XII тома: 1611 год, славная оборона Троице-Сергиева монастыря; еще немного — «и поклон всему миру, не холодный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно... Близо, близо, но еще можно не доплыть до берега».

15 ноября 1825-го: семья Карамзиных переезжает из Царского Села в город.

26 ноября из Таганрога прибывает курьер с сообщением о тяжелой болезни царя.

«Я, мирный историограф...»

Еще летом 1825-го Карамзин по просьбе молодой императрицы подобрал исторические справки о Таганроге — южном городе, куда собиралась царская фамилия. 1 сентября 1825-го историограф простился с Александром I, через день с царицей. Много лет спустя, уже во второй половине XIX века, вышла из архивных тайников запись Карамзина об одной из последних вечерних бесед с императором 28 августа с восьмью до половины двенадцатого...

«В последней моей беседе с ним... я сказал ему, как пророк: «Государь, ваши дни сочтены, вы не можете более ничего откладывать и должны еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала»¹⁶. Царь обещает...

Запись, поражающая и смыслом и краткостью.

Царю, как видим, делается прямое, недвусмысленное предсказание (впрочем, возможно, в ответ на его собственные предчувствия).

Историк знает — вот-вот нечто вспыхнет; а у царя уже доносы Шервуда и Бошняка о планах скорого восстания и цареубийства.

Александр обещает — но отчего же на другой день после его отъезда Карамзину «грустно, мрачно, холодно в сердце, и не хочется взять пера»?

Больше с этим царем не виделся. 27 ноября 1825 года в разгар молебствия во здравие во дворец примчался траурный гонец из Таганрога.

Открыли завещание Николаю — присягнули Константину — получили отказ Константина — готовятся присягать Николаю. Междоцарствие, какого не бывало со времен карамзинского XII тома.

¹⁶ Н. М. Карамзин. Неизданные сочинения и переписка. СПб. 1862, часть первая, стр. 12.

Минуты роковые.

Историк присматривается к странному, притихшему Петербургу без императора. «...вот уже целый месяц, как мы существуем без государя, и, однако, все идет так же хорошо, или по крайней мере так же плохо, как раньше». Эти слова одного из арзамасцев, сказанные при Карамзине, запомнил декабрист Александр Муравьев, брат Никиты: для мятежников в описанной ситуации это еще один довод, что самодержцы вообще не нужны. Карамзин иначе думает, но притом, разумеется, не скрывает своих опасений насчет ожесточенной России. В разговорах с императрицей-матерью и завтрашним царем Николаем приводит такие страшные подробности (и, надо думать, исторические параллели с Годуновым, Лжедмитрием, Шуйским), так «увлекся отрицанием», критикой правления Александра, что (согласно М. П. Погодину) Мария Федоровна просит историографа: «Пощадите сердце матери!» «Ваше Величество,— отвечает Карамзин,— я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать».

Вот таким был этот монархист, который не умел, не мог лгать во спасение и говорил любимым монархам страшные вещи, да еще так писал про их предшественников, что будущий декабрист-смертник восклицал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!»

14 декабря 1825 года с утра явился во дворец с дочерьми-фрейлинами: день присяги Николаю. Снаружи вдруг стрельба, крики, восстание! Историк видит оцепеневшего от страха Аракчеева и еще нескольких в и н о в н и к о в — ему нечего им сказать. Александра Федоровна, жена Николая, молится, Мария Федоровна повторяет: «Что скажет Европа!» «Я случился подле них: чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию моей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок и не смущает сердца».

Он должен все видеть сам — как в Париже 1790-го, в Москве 1812-го. Идет на улицу, к Сенатской — люди запомнили человека в парадном придворном мундире, без шляпы, «с его статным ростом, тонкими, благородными чертами, плавною спокойною походкой и развевающимися на ходу жидкими седыми волосами».

«...видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней 5—6 упало к моим ногам».

Он ненавидит мятеж, но все же, явно удивляясь самому себе, признается Дмитриеву: «Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

Из других писем и разговоров тех дней мы восстанавливаем горькие, противоречивые чувства, одолевавшие Карамзина. Он, оказывается, уговаривал каких-то солдат или обывателей не бунтовать, разойтись. Другим бы это не сошло — одному из таких агитаторов чуть череп не проломили прикладом...

Историограф «алкал», ждал пушечных выстрелов, негодовал: «Каковы преобразователи России: Рылеев, Корнилович...». Однако замешано, арестовано и множество своих, прежде всего близкие из близких — Никита и Александр Муравьевы, Николай Тургенев (он, правда, в Англии, но объявлен вне закона), Николай Бестужев, который один мог бы «продолжить... „Письма русского путешественника“»¹⁷; подписаны приказы об аресте Михаила Орлова, Кюхельбекера (переводившего «Историю...» на немецкий); в тюрьме и множество других старинных знакомых, читателей, почитателей — тех молодых людей, которые столь жадно ожидали его «Историю...» и которые там вычитали свое. В письме Дмитриеву Карамзин надеется: «Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много», с первых же дней обеспокоен, что теперь раздолье будет для аракчеевых, магницких, которые станут восклицать: «Мы же говорили!»

Декабризма Карамзин решительно не принимает, но он историк — и трудно не заметить широких причин, глубоких основ.

К а р а м з и н: «Каждый бунтовщик готовит себе эшафот»; «что ничего не доказывает», — отвечал Н и к и т а М у р а в ь е в.

Пришло время эшафота.

К а р а м з и н: «Преддадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению. Оно конечно имеет свой план...»

М у р а в ь е в: «...революция была без сомнения в его плане».

Нечестному легко помнить одно, забыв, желая забыть другое. Честному человеку — невозможно. «Я только зритель, но устал душою... — жалуется Карамзин Дмитриеву. — Авьось скоро возвращусь к своей музе-старухе».

¹⁷ «Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 181.

Но в XVII век теперь не скрыться. К тому же в течение четверти века работы над «Историей...» древность и современность в каждом томе привыкли «к смешению».

Главные свои слова о 14 декабря и декабристах Карамзин произнесет очень скоро: «Заблуждения этих людей есть заблуждения века».

Значит, прав был Никита Муравьев: революция в плане провидения, ибо заблуждения века не могут ведь быть случайностью, простым «злым умыслом» одного, десятерых? Они в природе вещей — и если так... Если так — надо на всю русскую историю, давнюю и недавнюю, взглянуть по-новому, заметить то, что высветлилось в минувших веках от вспышки 14 декабря.

Честному человеку менять свои убеждения значит менять жизнь. Если же сил не хватает — умереть.

Декабрь — май

Карамзин заболевает через несколько дней — простудился на улицах и площадях 14 декабря. В представлениях современников и ближайших потомков историограф стал еще одной, пусть неявной жертвой рокового дня.

Если не спрямлять события, не романтизировать, то можно бы, казалось, возразить: историк и прежде серьезно хворал, теперь же болезнь то наступает, то отступает, и в хорошие дни Карамзин еще пишет, пытается совершать прогулки по городу...

И все же действительно именно с 14 декабря Карамзин угасает. Подорвано не только здоровье, но и оптимистическая струна, на которой все держалось. Это подтверждают и некоторые его попытки выйти из кризиса, ожить.

Еще накануне восстания новый царь просит Карамзина написать манифест о вступлении на престол.

Историк пишет, причем дважды обращается к «тени Александра I»: во-первых, упомянув «дела беспримерной славы для отечества», случившиеся в прошлое царствование; во-вторых, предложив Николаю I формулы «да будет наше царствование только продолжением Александрова!». Да исполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для отечества Александр...».

Новому императору это не пришлось по душе. Он крепко недолюбливал старшего брата (а после восстания вообще едва сдерживался, сетовал, что Александр I «распустил» народ); карамзинский намек на ожидавшиеся, но не сбывшиеся государственные реформы тоже раздражает Николая. Историографу было сказано, что царю «неприлично хвалить брата в манифесте» и что решительно не нужно «излишних обязательств».

Тут настал час Сперанского. Автор старых проектов государственного преобразования России теперь приглашен для составления документа, где о преобразованиях ни слова! Консерватор Карамзин отвергнут как либерал, левый. И он оставляет «секретную запись» обо всех этих делах: «Один бог знает, каково будет наступившее царствование. Желая, чтобы это сообщение было любопытно для потомства: разумею, в хорошем смысле»; историк, как видно, опасается (и справедливо), что в истории с манифестом есть и дурной смысл...

С этим царем диалогу не быть: «Новый государь России,— пишет Карамзин брату,— не может знать и ценить моих чувств, как знал и ценил их Александр. Я слишком для него стар и думаю только кончить, если даст бог, 12-й том Истории, чтобы куда-нибудь удалиться от двора, в Москву ли или в немецкую землю для воспитания сыновей».

Врачи объясняют Екатерине Андреевне, что легкие очень плохи, что грозит хроническое воспаление и отек (пенициллина еще не изобрели, спасение маловероятно). Больного не беспокоят, но в дни ухудшения он требует друзей и новостей. Иногда принимает в саду — «...люблю солнце и греюсь; да оно меня что-то не очень жалует»...

Последние беседы записывает Сербинович, который теперь только по воскресеньям может забегать к Карамзиным: его взяли на службу в следственный комиссию по делу декабристов, где он разбирает и сличает сотни бумаг, переводит с польского и т. п.

Постоянно приходят Жуковский, Александр Тургенев, Блудов, Дашков — а р з а м а с с ы.

Месяц за месяцем идет секретный процесс над сотнями «государственных преступников» — за себя историк, разумеется, совсем не боится, не то что за других...

Еще раз вспомним, приведем в контексте примечательные воспоминания об историографе (декабриста Розена): «...журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: „Ваше Величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!“».

Один Карамзин... Мы знаем, что не он один просил, но репутация у него такая; и ведь нет сомнения, что при редких последних встречах с Николаем он говорил нечто подобное не столько для облегчения участи отдельных декабристов, сколько для вразумления царя на реформы.

Боязнь Аракчеева не оставляет Карамзина — и то, что сам граф Алексей Андреевич теряет фавор у нового царя, ничего не меняет. Он предчувствует (и ведь верно предчувствует!), что, взойдя на трон через подавление, аресты, трупы, Николай I выберет другую форму правления, нежели его старший брат в 1801 году; ведь выходило, что брат недосмотрел, распустил, что просвещение не оправдалось, что необходим новый курс.

Но притом Николай много боится — и революции, и народа, и дворянства: ведь задет ряд видных семейств, арестованы родственники.

Поэтому курс на подавление сочетается с объявлениями и действиями «умиротворяющими». Да и в будущем, даже в самые жесткие годы николаевского правления, были министры, генералы для основного курса — и несколько сановников (Киселев, Перовский и другие) для смягчения, уравнивания. Понятно, в первые месяцы неустойчивого положения подобное «раздвоение» было куда более сильным.

Тут-то и нужен был Карамзин.

Авторитетная фигура, уважаемая на разных общественных полюсах, — символ просвещенного курса, человек, немислимый среди казней, крови, каторги; привлечение Карамзина без сомнения повышало авторитет нового царствования; поэтому неудача с манифестом не уничтожила большого интереса Николая I к историографу. Немалую роль тут играла, конечно, императрица-мать, весьма привязанная к Карамзину и посещавшая его во время болезни.

Еще в декабре 1825-го царь послал историку новое предложение — участвовать в составлении «бумаг государственных». Речь шла либо о должности статс-секретаря, либо о каком-нибудь министерском poste.

Карамзин решительно отказался, сославшись на здоровье и XII том, но уверенно предложил замену: два важнейших министерских места, внутренних дел и юстиции, были к этому времени заняты людьми больными, престарелыми и явно требовали укрепления. Карамзин рекомендует двух старинных друзей, помощников, арзамасцев — Блудова и Дашкова: просвещенные люди, способные, по его мнению, политически уравнивать аракчеевскую угрозу. Царь согласился. Блудов и Дашков тоже. Их повысили, и вскоре они станут николаевскими министрами...

Другое же ходатайство Карамзина, одно из последних, наоборот, покрыто такой тайной, что и полтора века спустя мы представляем подробности довольно смутно.

Дело в том, что, по всей видимости, Николай Михайлович вместе с Жуковским убедил царя вернуть Пушкина. Согласно данным западных дипломатов «по настоятельным просьбам историографа Карамзина, бывшего друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта».

Карамзин объяснил царю всю выгоду, которую первый дворянин может получить вследствие амнистии первого поэта¹⁸. Так или иначе — лучшей официальной версией сочтена была личная царская инициатива: иначе от упоминания карамзинско-жуковской подсказки роль Николая I снижается, возникают подозрения, что он не знал или почти не знал о национальном гении...

Так Карамзин в последний раз помогает, пытается помочь...

Оставалось еще рассчитаться с самим собой.

XII том замер в междуцарствия 1610—1613 годов и после междуцарствия 1825-го.

11 января 1826 года: «Начинаю снова заниматься своим делом, т. е. Историею».

¹⁸ См. об этом: Н. Эйдельман. Пушкин и декабристы. М. «Художественная литература», 1979, стр. 370.

Март — много читает по XVII веку, но не только: «...имею часто сладкие минуты в душе: в ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная».

«Смерть медлит» — последние слова в последнем историческом сочинении Тацита.

Однажды Карамзин признается, что «привык думать с пером в руке», но нет сил, а диктовать не любит. Тем не менее письма приходится диктовать дочерям. На всякий случай оставляет Блудову и Сербиновичу подробные инструкции — об окончании XII тома, о примечаниях, архивных бумагах... А тут — кашель с кровью, воспаление легких, похудел «так, что не узнать». Врачи не надеются; единственный зыбкий шанс — Италия.

Денег нет, даже долги. Никогда не просил за себя и прежнего царя, тем более этого. И все же приходится: как видно, настояли домашние заодно с Жуковским, Александром Тургеневым, Блудовым, Дашковым. Заходит и старинный противник — Сперанский, говорит, что «все в России принимают участие» в болезни Карамзина. Царь меж тем сам справился о здоровье, спросил о нуждах.

«Имея понятие о политических отношениях России к державам европейским», Карамзин 22 марта 1826 года просит царя о должности русского резидента во Флоренции: Италия нужна для здоровья, должность — для обеспечения заграничного житья.

Царь Карамзину 6 апреля 1826 года: «...место во Флоренции еще не вакантно, но российскому историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской».

7 апреля Карамзин благодарит царя. Надеется «в чужой земле беспрестанно заниматься Россией».

У русского путешественника и план поездки уже готов. В июне на корабле из Кронштадта в Бордо — на это уйдет около трех недель. Затем каретой до Марселя и снова на корабле в Ливорно. В Царское Село этой весной уж не поедет и просит, если возможно, в зданиях, принадлежащих Таврическому дворцу, «уголок скромный, сухой и теплый, чтоб еще недели 3 подышать там лучшим городским воздухом».

Царь обещает дать специальный фрегат для историографа...

В этот же день Александр Тургенев пишет за границу своему брату, «государственному преступнику» Николаю Тургеневу: «Семейство [Карамзина] не знает всей опасности. Он исчезает для здешнего мира, но еще думает кончить в чужих краях 12-й том»¹⁹.

В этот же день в Петропавловской крепости происходит сто первое заседание следственной комиссии: допросы Сергея Муравьева-Апостола, Бяргинского, Бестужева-Рюмина.

В этот день в Варшаве арестован Лунин. Рылеев просит жену передать ему в камеру 11 томов Карамзина — последнее чтение... Михаил Бестужев также делит заключение с «Историей Государства Российского» (девятым томом!) и на одной из страниц набрасывает схему тюремной азбуки — той системы перестукивания, которой воспользуется несколько революционных поколений.

Жуковский в эти дни собирается за границу — нет сил для Петербурга накануне приговора, казней. Почти каждый день он заходит к Карамзину, а уезжает, не простившись: не хватило духу, знал, что больше не свидятся.

Меж тем складываются чемоданы для Италии, и Екатерина Андреевна, знающая, что вряд ли поедут, непроницаемо сдержанна в своем горе.

13 мая. Рескрипт Николая I. Сохранились черновики, написанные Жуковским. После торжественных слов («...русский народ достоин знать свою историю... История, Вами написанная, достойна русского народа!») прилагался указ царя министру финансов, и его тоже набросал Жуковский. Указ о том, что особая пенсия будет выплачиваться самому историографу, жене и детям, причем сумма не зависит от того, сколько Карамзинных останется на свете, до выхода всех дочерей замуж, до получения всеми сыновьями офицерского чина.

Жуковский оставил место для годовой суммы, и царь вписал число — 50 тысяч.

¹⁹ «Русский архив», 1895, № 9, стр. 33.

Одиннадцать лет спустя, в дни пушкинских похорон, Жуковский напомнит Николаю I: «Так как Ваше Величество для написания указа о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Царь отвечал: «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал, как ангел». Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин²⁰.

Карамзин, получив неслыханную милость, вежливо благодарит за «благодеяния сверх меры», но посетивший историка в тот день Александр Тургенев дважды вспоминал о поразившем его редкостном явлении. Карамзин был разгневан, по-видимому, очень разгневан: он «рассердился за пенсию»²¹. Негодовал, потому что — слишком много, подозрительно много!

Карамзин разгневался — в последний раз в жизни, но сильно. Всегда чувствовал фальшь, живой тон — и точно так же, как некогда воспротивился лестному желанию царской сестры быть крестной матерью его ребенка («это для людей», «для „молвы“»), точно так же недоволен документом, несомненно гарантирующим будущее его семьи, но — не даром, не даром...

13 мая — последний гнев Карамзина.

22 мая 1826 года Карамзина не стало.

Жуковский — Екатерине Андреевне из Дрездена 28/16 сентября 1826 года: «Тот, кто был на свете Карамзиным, о том воспоминание не может иметь ничего обыкновенного. Все уроки земной мудрости, все, что на земле есть прекрасного, соединятся в горестно-возвышенном чувстве: он был! Видишь пред собою прекрасную чистую жизнь и утешаешься, возвышаешь себя мыслию, что такая жизнь на земле возможна. Вспомнить об ней — значит поверить сердцем всему тому, что так слабо сберегает в будущем рассудок. Дружба к нему (не с ним, ибо мы не могли быть товарищами), но способность понимать его и любить — была моим главным моральным достоинством. Не иметь его свидетелем жизни своей, одобрителем своих дел есть великая потеря; но тем дороже должно быть воспоминание об нем; с этим воспоминанием не уснет в душе ничто его достойное. Глаза не видят, а сердце помнит. Моя истинно деятельная жизнь, можно сказать, теперь только начинается; тут-то и нужен бы был такой Судья, которого присутствие давало бы силу одобрения, награду <...>. Теперь помнить его есть то же, что было прежде любить: действие должно быть одно и то же. Напишите, прошу Вас, сделан ли надгробный памятник, если нет, я постарался бы здесь приготовить рисунок. Надобно, чтоб был самый простой и величественный. Надобно бы посадить кругом деревьев...»

Такая была судьба у Жуковского — оплакивать друзей.

Памятник стоит сегодня на кладбище Александро-Невской лавры; на плите два имени: Николай Михайлович, Екатерина Андреевна Карамзины.

ГЛАВА VII. ПОСЛЕ...

Карамзин прожил две жизни при жизни и еще одну — после.

Блудов, Сербинович разобрали почти готовую рукопись XII тома, на это ушло больше двух лет: душеприказчики, впрочем, были очень заняты в ту пору по секретным декабристским и иным делам...

Последний том вышел в начале 1829 года. Он оканчивался словами о 1611 году: «И что была тогда Россия?..» Далее шла впечатляющая картина грабежа, разорения, завоевания, самоуправства. Как бы двигаясь с юга на север историк миновал беззащитный «полуденный край», десятки сожженных городов близ Москвы... «Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоили себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить Историю, — и где еще держался Лисовский со своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями Пскова и не впущенный в крепкий Ивангород, он взял Вороночь, Красный,

²⁰ См. сборник «Пушкин и его современники». Вып. VI. СПб. 1908, стр. 61 (запись А. И. Тургенева).

²¹ «Русская старина», 1875, № 3, стр. 564; «Русский архив», 1895, № 9, стр. 48.

Заволочье; напал на малочисленные отряды Шведов, грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях Новгородских; Орешек не сдавался».

Орешек не сдавался... Последние слова последнего тома.

В 1829 году — второе издание всех томов.

В 1830—1831 годах — третье.

Четвертое издание — 1833—1835 годы, пятое в 1842—1843, шестое в 1853-м. Затем еще и еще полные издания, а также сокращенные «для публики» (без примечаний). Последние издания — в начале XX века; отрывки, извлечения — во многих хрестоматиях, сборниках наших дней. Одновременно переиздавалось (а кое-что появлялось в первый раз) из наследия Карамзина — прозаика, поэта, журналиста, публициста, человека.

1860 год — публикуются письма Карамзина А. Ф. Малиновскому.

1866-й — письма Карамзина Дмитриеву.

В том же году — «Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников». Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина, в двух частях.

1897-й — «Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826».

1914-й — впервые полностью выходит «Записка о древней и новой России». Академия наук собирается издавать полное, академическое собрание Карамзина...

Суд потомства

Меж тем споры вокруг имени и наследия писателя-историка, начавшиеся при его жизни, делались все жестче. Споры о самых серьезных вещах: о прошлом и настоящем, об их взаимодействии в исторических трудах и в жизни Карамзина.

Литература огромная, и даже десятка работ вроде нашей не хватило бы для подробного ее разбора.

Но все же — когда дискуссии длятся столетие (а подчас продолжают и в наши дни), есть возможность вычлнить главное, увидеть некоторые общие контуры, не затемненные частностями.

Попробуем же...

Первая точка зрения, уже представленная в прежних главах, но с годами развивающаяся: критика научная.

То, что писал в 1829 году Николай Полевой, очень характерно и для его современников и для позднейших откликов: «Мы скажем, что никто из русских писателей не пользовался такою славою, как Карамзин, и никто более его не заслуживал сей славы. Подвиг Карамзина достоин хвалы и удивления. Хорошо зная всех отечественных, современных нам литераторов, мы осмеливаемся утверждать, что ныне никто из всех литераторов русских не может быть даже его преемником, не только подумав шагнуть далее Карамзина. Довольно ли этого?»

Отдавая должное новым материалам, слогу, общественному влиянию («Истории...»), Полевой верно отмечает, что Карамзин «угадал стремление времени», «шел впереди всех и делал всех более».

Однако — «не ищите в нем высшего взгляда на события... Придет по годам событие: Карамзин описывает его и думает, что исполнил долг свой, не знает или не хочет знать, что событие важное не вырастает мгновенно, как гриб после дождя, что причины его скрываются глубоко, и взрыв означает только, что фитиль, проведенный к подкопу, догорел, а положен и зажжен был гораздо прежде».

Историк осуждается за то, что в последних томах видна «усталость», что красноречие его — за счет мысли: критик видит здесь «общий недостаток писателей XVIII века, который разделяя с ними и Карамзин, от которого не избегал иногда и самый Юм. Так, дойдя до революции при Карле I, Юм искренне думает, что внешние безделки оскорбили народ и произвели революцию; так, описывая крестьянские походы, все называли их следствием убеждений Петра Пустынника, и Робертсон говорит вам это, так же, как при Реформации вам указывают на индульгенции и папскую буллу, сожженную Лютером. Даже в наше время, повествуя о французской революции, разве не полагали, что философы развратили Францию, французы, по природе ветреники, одурели от чада философии, и — вспыхнула революция! Но когда описывают вам самые события, то Юм и Робертсон говорят верно, точно: и Карамзин также описывает события, как критик благоразумный, человек, знающий подробности их весьма хорошо».

Тут у Полевого много верного. Действительно, как доходит до дела, до описания события, красноречивый рассказ Карамзина сильнее его теорий. Однако многие читатели и последователи покойного историографа не могли принять вывод критика, будто «Карамзин велик только для нынешней России и в отношении к нынешней России, не более», что «истинная идея истории была недоступна Карамзину».

Карамзина обвиняли, что в его «Истории...» «нет одного общего начала», нет «должной связи с историей человечества», есть масса мелких подробностей, но нет «духа народного»: он дает только «стройную, продолжительную галерею портретов, поставленных в одинаковые рамки, нарисованных не с натуры, но по воле художника и одетых также по его воле. Это летопись, написанная мастером, художником таланта превосходного, изобретательного, а не Историей».

Полевому, как известно, отвечал Пушкин. Мы отнюдь не собираемся сразу же присоединяться к гению, ибо речь идет не столько о соревновании талантов, сколько о столкновении идей.

В 1830 году Пушкин рецензирует первый том сочиненной Полевым «Истории русского народа» (название было тоже формой полемики с Карамзиным): «Приемлем смелость заметить г-ну Полевому, что он поступил по крайней мере неискусно, напад на «Историю Государства Российского» в то самое время, как начинал печатать «Историю русского народа». Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника. Он отдали бы от себя нареkania, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда, по указу эфоров, одним хиосским жителям дозволено было пакостить всенародно».

Вслед за этими строками и следуют афористические пушкинские определения: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике» (апофегма — сентенция, изречение).

Так через несколько лет после смерти историографа выявились два взгляда на его труд. Можно было бы сказать, что один — более со стороны строгой науки, другой — широкий, общественно-художественный. Не торопясь с присоединением или возражением одному или другому, сразу скажем, что у каждого есть своя доля правоты, как в любом серьезном суждении. Обе позиции тотчас после их провозглашения нашли сторонников; затем дискуссия продлилась, углубилась, обрстет новыми идеями, ответвлениями. Критические строки, сходные более или менее с тем, что написал Полевой, вдруг обнаруживаются у деятелей совершенно разного, порою и противоположного толка (так что внешнее совпадение слов часто лишь форма для очень непохожей сущности).

Вот несколько отрывков о карамзинской «Истории...».

Белинский: «...творение зрелое, монумент прочный и великий... плод глубокого изучения исторических источников, основательного и отличного по тому времени образования, творение таланта великого, труда добросовестного и бескорыстного». Притом, однако, если его творения отжили свое время, тем не менее имя его будет всегда знаменито и почтено, даже бессмертно».

Чаадаев, с одной стороны (в письме А. И. Тургеневу, 1837 год), пропел гимн Карамзину: «Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностию и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности!»

Последние слова, впрочем, отражают уже сложную историческую концепцию философа, который отчасти приписывает Карамзину собственные мысли; в другом же документе Чаадаев замечает, что «мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих переломов нашей истории не был добросовестно оценен». Дальше пишется не без иронии, что «Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни плохие писатели, неумелые антиквари и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни

ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов по национальной истории»²².

С. М. Соловьев, признавая себя и своих коллег наследниками Карамзина, тоже видит в нем все больше ревнителя прошлого; задача же историка — превращение своего предмета в науку.

Еще суровее специалисты в конце XIX — начале XX столетия. Вот как отзывался о карамзинской «Истории...» П. Н. Милюков: «...с своими взглядами на задачи историка Карамзин остался вне господствующих течений русской историографии и не участвовал в ее последовательном развитии... Не внося ничего нового в общее понимание русской истории, Карамзин и в разработке подробностей находился в сильной зависимости от своих предшественников»... От Щербатова Карамзин отстает «не к пользе истины в картинных описаниях «действий» и сентиментально-психологической обрисовке «характеров». Особенности литературной формы «Истории Государства Российского» доставили ей широкое распространение... Но те же особенности, которые сделали «Историю...» превосходной для своего времени популярной книгой, уже тогда лишали ее текст серьезного научного значения»²³.

Наконец, в специальной статье о Карамзине, опубликованной в начале 1917-го, А. А. Кизеветтер соглашается с Милюковым, что карамзинская «История...» — крупное событие «в ходе нашей образованности», но не «в развитии нашей науки»; он находит также, что у Карамзина «заглавие труда... не совпадает с его содержанием. Это и не история государства: это история государей»²⁴.

Итак, снова и снова серьезные упреки в недостатке философии, теории: «сказочки» вместо подлинной истории! Академическая критика нет-нет, а переходит и на деликатные политические проблемы: Милюков намекает на декабристов, когда пишет, что в 1820-х «интеллигентные кружки находили [«Историю...» Карамзина] отсталой по общим взглядам и тенденциозной», а позже — «„История“ Карамзина делается знаменем официально-«русского» направления».

Как видим, линия Полевого к началу XX столетия укрепились прежде всего успехами послекарамзинской истории — науки. Акции Карамзина-историка в глазах его коллег постоянно снижаются...

Однако не замирает и линия защиты Карамзина.

Вместе с Пушкиным и после него много и интересно говорят об «Истории Государства Российского» прежние личные друзья автора.

Вяземский хлопочет, может быть, более других о сохранении карамзинского наследия; он пишет Дмитриеву (17 сентября 1832 года): «Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свои драгоценности в сохранное место».

В 1837-м: «Век Карамзина и Дмитриева сменяется веком Сенковского и Булгарина».

Блудов заметил, что «против Карамзина говорили наиболее те, которые обильно в его источнике почерпали и в его школе образовались».

Позже Вяземский сердится еще сильнее, особенно на молодых: «Ныне слог причисляется к каким-то предубеждениям и слабоумиям чопорной старины. Хотят ли порицать сочинение... не находят... более убийственного приговора, как следующий: сочинение писано карамзинским слогом.. А между тем искусство существует».

«Для нас уж Пушкин стар, давай нам помоложе»²⁵.

Однако все чаще защита друзей сбивается на панегирик, на обвинение тем, кто осмелился о Карамзине толковать без должного почтения. Сам Вяземский однажды услышал упрек от жены историографа, что пишет биографию Фонвизина, а не Карамзина. Вяземский отвечал: «Ведь не нагишешь же биографии, например, горячо любимого отца»²⁶.

Иными словами, нет биографии без разбора сильных и слабых сторон...

²² П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. М. 1913, т. I, стр. 216; М. 1914, т. II, стр. 224—225.

²³ Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Спб, 1895, т. XIV, статья «Карамзин», стр. 442.

²⁴ «Русский исторический журнал», 1917, № 1-2, стр. 16, 19.

²⁵ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений в 12 томах. Спб. 1878 — 1896, т. VIII, стр. 309; т. XII, стр. 484.

²⁶ Сб. «Старина и новизна», книга вторая, Спб., 1898, стр. 5.

Меж тем один из больших почитателей Карамзина, П. А. Плетнев, заметил другому, Я. К. Гроту, что он не боялся бы писать биографию, например, И. А. Крылова: «Нечего церемониться, какой бы смешной случай ни пришлось рассказать. Попробуй это сделать с Карамзиным, например. Претензий не оберешься».

Цензура не пропускала некоторые вольные выражения историографа; «Записка о древней и новой России» полностью (после нескольких попыток) была напечатана только через восемьдесят восемь лет по смерти ее автора; Погодину «завернули» в 1846 году некоторые тексты, прежде — четверть века назад — уже пропущенные.

Карамзин, очищенный, упрощенный до одной ноты, идеализированный до блеска друзьями — из добрых побуждений, властями — «из видов», становится все более государственной, официальной фигурой («высочайшее согласие» на сооружение памятника дано еще в 1833 году). Собственно, это и закреплено николаевской формулой: Карамзин «...умирал, как ангел».

Все чаще и чаще в самых верноподанных изданиях мелькают обороты в духе — «священное имя Карамзина». С годами власть все сильнее его присваивает, а еще здравствующие друзья (Вяземский) идут навстречу официальному панегирику.

Революционный, демократический же читатель такого подхода решительно не признает.

«Карамзин решительно упал»

Катенин (1828): «История его подлая и педантическая, а все прочие его сочинения жалкое детство; может быть, первого сказать нельзя, но второе должно сказать и доказать»²⁷.

Кухельбекер, отдавая должное слогу, умению Карамзина, все же замечает — «покойный и спокойный историограф».

Герцен, человек совсем не карамзинских идей, но сам изумительный историк-художник: «Великое творение Карамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства, — это двенадцать томов русской истории... Но Карамзину не хватало того саркастического элемента, который от Фонвизина перешел к Крылову и даже к Дмитриеву — задушевному другу Карамзина. В мягком и доброжелательном Карамзине было что-то немецкое. Можно было заранее предсказать, что из-за своей сентиментальности Карамзин попадет в императорские сети, как попался позже поэт Жуковский. История России сблизила Карамзина с Александром. Он читал ему дерзостные страницы, в которых клеймил тиранию Ивана Грозного и возлагал императору на могилу Новгородской республики. Александр слушал его с вниманием и волнением и тихонько пожимал руку историографа. Александр был слишком хорошо воспитан, чтобы одобрять Ивана, который нередко приказывал распиливать своих врагов надвое, и чтобы не повздыхать над участью Новгорода, хотя отлично знал, что граф Аракчеев уже вводил там военные поселения».

Чернышевский, говоря о Карамзине, писателях XVIII века, призывает восхищаться «тем, что было у этих писателей лучшего», но в то же время находит, что «при появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала 30-х годов».

Проза карамзинской «Истории...», которую сам Пушкин считал образцовой, как видим, в расчет не принимается.

Мы выбрали несколько оценок с революционной стороны; еще красноречивее их отсутствие или почти полное отсутствие в конце XIX — начале XX века.

Тоньше других судит Аполлон Григорьев: он тоже отмечает «непонимание народности», но притом находит, что «образ мыслей и чувствований», как и язык Карамзина, улучшаясь с годами и с его «Историей...», все более и более приближается к языку старых памятников. Григорьев, можно сказать, вызываясь не последователен — и в этой противоречивости живая мысль, искреннее нежелание свети концы с концами «любой ценой».

Вот еще пример такого рода: «Карамзиным... и его деятельностью общество начало жить нравственно». Написав это, Григорьев затем продолжал «как многие»: «Для нас, людей иной эпохи, в Карамзине почти что ничего не осталось такого, чем бы мы могли нравственно жить хотя один день; но без толчка, данного литературе и жизни Карамзиным, мы не были бы тем, чем мы теперь» Однако автор при том чуть ли не берет обратно все сказанное, вспоминая с наслаждением свое «суеверное» уважение к Карам-

²⁷ «Русская старина», 1911, № 6, стр. 612.

зину: «...как только перенесся я в его эпоху и в лета собственного отрочества, как только припомнил «Письма русского путешественника»... Белинский попрекал эту книгу ее пустотою... Все это так... а все-таки «Письма русского путешественника» книга удивительная!..»

Григорьев принадлежит к тем немногим читателям Карамзина, кто желает взглянуть многогранно, уйти от «общепринятых» крайностей. Тут он продолжил линию Пушкина; к ней явно близок и Гоголь, который, разумеется, не мог принять карамзинской манеры письма, но притом все же полагал, что «Карамзин представляет... явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять». Гоголь надеется, что настоящая оценка Карамзина еще впереди.

«О Державине, Карамзине, Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами».

Ничего не сказали или отделались...

Только что обозначенная линия исторического, нравственного понимания — не скрываем — кажется нам наиболее близкой к истине.

Но в течение многих десятилетий ее почти не замечают, почти не слышат; тут отнюдь не упрек, а историческая констатация: российская мысль, политическая, идейная борьба второй половины XIX — начала XX века развивалась в сложном водовороте притяжений и отталкиваний, где для таких явлений, как Карамзин, часто находились категорические, крайние, страстные оценки: либо панегирик, либо «решительно упал». Между тем именно из-за такой черно-белой палитры потомки историографа, очевидно, и боялись публиковать больше чем «нужно».

Официальная версия ангельской жизни не должна быть замутнена — и, что греха таить, 50 тысяч ежегодной пенсии (за сорок лет более двух миллионов) тут играли свою роль, да не только и не столько в грубо материальном смысле (все равно же не возьмут обратно!), сколько в моральном: неудобно, невозможно при такой награде говорить вольно, «выходить из образа», представлять настоящего Карамзина, который хвалил только то, что мог и порицать, кто защищал монархический принцип описанием таких самодержавных злодейств, что читатели «шли в декабристы», кто не зря сердился за восемь дней до смерти, что пенсия чересчур велика...

В 1911 году многознающий редактор «Русского архива» П. И. Бартенев поместил в своем журнале заметку о богатом собрании неопубликованных бумаг Карамзина, находящемся у его внуков Мещерских в имении Дугино Сычевского уезда, Смоленской губернии.

В 1915 году известный пушкинист Б. Л. Модзалевский описал бесценный альбом дочери Карамзина Екатерины Николаевны Мещерской (где были, между прочим, и автографы Пушкина). Альбом был утрачен во время революции.

И девяносто лет спустя семья, как видим, придерживала архив, боясь, как бы Карамзин не высказался...

Бумаги Мещерских... Самое любопытное, что огромный архив именно тех Мещерских, которые (породнившись с родом Паниных) владели до самой революции смоленским имением Дугино, — этот архив сохранился.

В Центральном государственном архиве древних актов (фонд князей Мещерских) две с лишним тысячи единиц хранения: личная переписка, бухгалтерские счета того самого Дугина вплоть до революции.

Но где же бумаги карамзинские?

Как видно, в имении было два сундучка — один повседневный, хозяйственный, семьи Мещерских, другой с карамзинскими реликвиями.

Куда он девался? Сгорел — но ведь другой, рядом, уцелел!..

Вывезен за границу? Но там не было ни одной публикации...

Растворился в других собраниях — может быть!

Закопан в земле — возможно!

Требуется розыска? Без сомнения!

Двести лет спустя

Двести лет было тому старику, которому удивлялся Карамзин перед смертью... Два века, особенно последние два, — это очень много. Карамзин человек астрономически далекой эпохи, чей язык и убеждения считались глубокой стариной уже в 1840-х годах!

Но чудеса: статистика научных работ ясно показывает, что за последнее двадцатилетие после многолетнего спада (с конца XIX века) количество книг, статей, эссе, публикаций о Карамзине явно растет.

С немалым успехом «Бедная Лиза» явилась на сцену одного из лучших театров страны, Большого драматического в Ленинграде.

«Письма русского путешественника», в советское время печатавшиеся чаще всего в отрывках, в хрестоматиях, выходят в 1980 и 1982 годах полным изданием (и сверх того ожидаются в «Литературных памятниках»). Наконец, только что вышедшие «Избранные статьи и письма» Карамзина! И сколько сегований, что все это трудно достать — при тиражах, в сотни почти раз превышающих первые издания. И, разумеется, предполагающееся советское издание «Истории Государства Российского» разойдется мгновенно, хотя тираж будет, наверное, поболее всех дореволюционных, вместе взятых.

Значит, есть общественная потребность на книги того двухсотлетнего автора. Пусть притом и мода, поверхностное любопытство, но это ведь побочные дети спроса настоящего!

Отчего же?

Нелегко ответить, но попытаемся без претензий на исчерпывание темы. Снова повторим уже прежде бегло сказанное, что вклад Карамзина в отечественную культуру многообразен: реформа литературного языка, сентиментализм, наконец «История...», наш главный предмет. Историк — художник. Все это давно известно, важно, несомненно. В будущем, верим, произойдет новое «карамзинское» сближение исторического и художественного... Но еще и еще раз отметим тот вклад в русскую культуру, который именуется личностью Карамзина.

Высоко нравственная, привлекательная личность, которая на многих влияла прямым примером, дружбою, но куда на большее число — присутствием этой личности в стихах, повестях, статьях и особенно в истории. Пушкинское «подвиг честного человека» — это ведь моральная оценка крупного, многолетнего научного труда. За строкою великого поэта-историка ощущается новая «карамзинская» мысль о сверхчеловеческой трудности, подвиге — писать «Историю...», себе не изменить, не поддаться к сильным лицам или, наоборот, к молве, моде, «крылатой новизне»...

Решимся сказать (с некоторой опаскою), что это был и подвиг свободного человека: Карамзин ведь был одним из самых внутренне свободных людей своей эпохи, недаром среди друзей, приятелей его множество прекрасных, лучших людей; спокойно, никогда не споря с критиками, он свободно разговаривал и с царями и с декабристами, никого и ничего не боясь. Писал, что думал, рисовал исторические характеры на основе огромного нового материала — опытною рукою художника... Сумел открыть древнюю Россию, как Америку Колумб, и сообщить о своем открытии максимально возможному для эпохи числу людей. Притом сохранил достоинство Истории, достоинство историка.

«Карамзин есть первый наш историк и последний летописец».

Его любили, оспаривали, читали, становились лучше, спорили, бранили, притом обучаясь по его томам.

Интерес общественный, народный — это ведь тоже культурный фактор. Он как бы присоединяется к творению и, включаясь в его ткань, тоже светит потомкам.

Никуда не деться — открывая карамзинские главы о Мономахе, Батые, Куликовом поле, опричных казнях, избрании Годунова, самозванцах, сибирских казаках, мы уже не можем никак отвлечься от при сем присутствующих первых читателей: от арзамасских чествований, от рылеевского «Ну, Грозный! Ну, Карамзин!», от пушкинского посвящения на титульном листе «Бориса Годунова»...

Энергия их души и мысли будто запечатлелась между строками двенадцатитомника, и оттого это — памятник целой эпохи, нескольких культурных поколений, одна из ярчайших форм соединения времен: IX—XVII веков истории, XVIII—XIX веков историка, XIX—XX веков читателя.

«И поклон всему миру, не холдный, с движением руки навстречу потомству, ласковому или спесивому, как ему угодно...»

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. ФЕЛЬДМАН



ВСТРЕЧИ

В сентябре 1928 года старший оперативный уполномоченный отдела ОГПУ Михаил Федорович Фельдман (1899—1978) был рекомендован для работы в секретариате члена Политбюро, председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР Валериана Владимировича Куйбышева заместившего на этом посту Ф. Э. Дзержинского.

Михаил Федорович родился в семье железнодорожного кондуктора. В 1918 году вступил в Красную Армию, в 1919-м стал комсомольцем, в 1920-м — коммунистом. Прошел путь от красноармейца до комиссара военной школы, служил в ВЧК — ОГПУ. Годы работы Фельдмана заведующим секретариатом В. В. Куйбышева в ВСНХ, Госплане, Совнарком и Совете Труда и Обороны совпали с напряженным трудом Валериана Владимировича над составлением и воплощением в жизнь первых пятилетних планов.

Рассказы Валериана Владимировича в кругу друзей были застенографированы по просьбе Фельдмана — так возникла книга: В. В. Куйбышев, «Эпизоды из моей жизни» (Изд-во ЦК ВКП(б), 1935). Краткая биографическая справка о В. В. Куйбышеве на листке отрывного календаря, в которой Валериан Владимирович нашел много неточностей, послужила Фельдману поводом для архивных поисков. Их результаты легли в основу книги «Валериан Владимирович Куйбышев 1888—1935. Материалы к биографии. Период подполья» (Партиздат ЦК ВКП(б), 1936). Михаил Федорович продолжал изучать биографию В. В. Куйбышева до конца своих дней. В итоге им была создана биографическая хроника «День за днем», охватывающая весь жизненный путь Валериана Владимировича.

Кроме биографии, в архиве М. Ф. Фельдмана остались воспоминания, фрагменты которых, предоставленные его вдовой Валентиной Владимировной Васильевой, мы публикуем.

Меня встретил человек крепкого телосложения, широкоплечий, немного сутуловатый как бы несущий за плечами бремя долгого подполья и изнурительного труда. Седина не коснулась его темно-каштановой шевелюры. Одет он был просто: штатский светло-серый костюм с голубой прожилкой, косоворотка. На отвороте пиджака значок члена ЦИК СССР.

Я подал Валериану Владимировичу Куйбышеву вынутый из-за обшлага длинной кавалерийской шинели пакет с моим личным делом. Он быстро перелистал его и сказал:

— Это все мне уже известно мне доложили. Расскажите коротко о себе.

Выслушав меня, как-то очень просто и мягко сказал:

— Ну вот и познакомились теперь вместе будем работать.

Следующий день после нашей первой встречи с Валерианом Владимировичем был выходным и начался необычно. Рано утром зазвонил телефон:

— Говорит Куйбышев

Валериан Владимирович спросил, что я собираюсь делать и не смогу ли поехать с ним на дачу. Я с радостью согласился. Куйбышев сообщил свой адрес, телефон гаража попросил вызвать машину и заехать за ним. Жил он тогда в Варсонофьевском переулке, в доме № 4.

За завтраком одетый в знакомый мне по вчерашней встрече серый костюм, Валериан Владимирович сообщил, что взамен дачи в Серебряном бору ему предложили подмосковную дачу вблизи станции Красково по Московско-Казанской ж. д., которую он предполагает сегодня осмотреть. Попутно я узнал, что в связи с ремонтом кремлевской квартиры Куйбышев пользуется гостеприимством своего друга, старого чекиста Макса Дейча, но ему не хотелось бы долго обременять его. Валериан Владимирович

просил меня за время его поездки в Ленинград подыскать ему какую-нибудь временную квартиру.

Мы поехали в Красково. По пути заехали в ведомственный дом работников ВСНХ в Коптельском переулке, где Валериана Владимировича ждали его заместитель Валерий Иванович Межаук и ученый секретарь Константин Яковлевич Розенталь с женой.

Разместились в машинах и спустя полчаса уже въехали в ворота дачного поселка, только что застроенного Моссоветом недалеко от станции, в молодом еловом лесу вдоль дороги, идущей по краю обрыва. Над небольшой спокойной речушкой Пехоркой стояли пять рубленых двухэтажных дач, огражденных штакетником. Осмотрели первую дачу незамысловатой архитектуры, обшитую снаружи вагонкой. Внутри — обтесанный сруб, пахнущий смолой, между бревнами пакля, деревянные крашенные полы, печное отопление. Внизу большая комната с верандой, две маленькие комнатухи и подсобные помещения. На втором этаже тоже две комнаты и веранда, как и внизу. Дача Куйбышеву понравилась.

Венчала дом видовая площадка, откуда просматривались полотно железной дороги, луга, поля, пойма Пехорки, обросшая кустарником и ивами. Все это нравилось Валериану Владимировичу. Мы долго стояли на площадке и любовались великолепием осени.

Здесь он работал над составлением плана первой пятилетки, готовился к многочисленным докладам, решал вопросы растущей промышленности, прочитывал бесконечный ворох деловых бумаг, которые извлекал из всегда туго набитого портфеля.

Все просто до аскетизма. Единственной роскошью выглядел допотопный граммофон с ярко расцвеченной розово-голубой трубой, который я раздобыл на складах, с набором пластинок Апрельской фабрики. Как символ нового стоял отличный по тому времени радиоприемник московского завода типа «ЭЧС-1». Сейчас он стал экспонатом в московском Политехническом музее — первая веха советской радиотехники.

Куйбышеву в Краскове нравилось все: и сама бревенчатая уютная дача, и немудрящий уклад жизни в ней. Он любил прогулки по лесу и по берегам извилистой Пехорки, летом любил поиграть в волейбол, зимой — прокатиться на лыжах. Здесь ничто не мешало ни работе, ни отдыху, тем более что первое время на даче и телефона не было. Напряженная работа сменялась прогулками с фотоаппаратом. А дома на столе уже ждал урчащий самовар и простой обед или ужин. Валериан Владимирович любил зимой погреться у печного огня, беседовать или просто помолчать. Иногда мы засиживались допоздна и слышали стук колотушки сторожа, обходившего дачные участки.

А сколько здесь было теплых, дружеских и деловых встреч!

Приезжали из Москвы старые большевики и государственные деятели. Очень любил Валериан Владимирович «вторжение» веселой ВСНХовской молодежи: К. Розенталя, И. Краваля, Г. Смирнова, Б. Троицкого, А. Гайстера, В. Васютина и многих других. Особенно тепло относился к Константину Яковлевичу Розенталу и очень обрадовался, когда он с семьей стал соседом в Краскове. С его двойняшками Олежкой и Глебом и старшим сыном Игорем возился, затевал с ними игры, приговаривая «гоп, гоп». И стоило только Валериану Владимировичу приблизиться к их даче, как ребята выбегали к нему с радостными воплями: «Дядя Гоп идет!»

Удивительно, как этот занятой человек находил с молодежью простой, товарищеский язык, сам преображался в общении с нею, куда девалась его усталость!

Валериан Владимирович любил свой короткий досуг проводить за дружеской беседой, за деловыми разговорами. Здесь, если так можно выразиться, было продолжение «Делового двора». Встречи почти всегда возникали стихийно...

В Краскове тогда жил и Алексей Максимович Горький на даче, всегда переполненной приезжавшими из Москвы писателями, журналистами, деятелями науки. Кто только здесь не бывал! Алексей Максимович обладал даром искать и находить таланты.

Горький и Куйбышев были рады соседству, часто встречались на прогулках или у большого костра, разведенного на берегу Пехорки. Здесь собирались все жители дачного поселка, часто пели под аккомпанемент гармошки Семена Михайловича Буденного или вели неторопливые разговоры.

Алексей Максимович, пробыв долгие годы вдали от родины, как живительный воздух, впитывал вдохновенные рассказы Куйбышева о первой пятилетке. Говорил Валериан Владимирович весомо, убежденно, с цифрами из прошлого, настоящего и будущего нашей промышленности, рассказывал о подъеме ударничества, о волне нова-

торства, о научной организации труда, об изобретательстве и изобретателях. И тогда Горький поведал об изобретателе А. М. Игнатьеве, большевике-революционере, помощнике Л. Б. Красина по боевой дружине в 1905 году. Рассказал, как в 1918 году он познакомил Игнатьева с Владимиром Ильичем и предложил посетить Главное артиллерийское управление в Москве, где демонстрировался оптический прибор Игнатьева для корректирования стрельбы по воздушным целям. Владимир Ильич оценил оригинальное изобретение, дал ему высокую оценку, интересовался, есть ли у Игнатьева еще изобретения.

Алексей Максимович познакомил с Игнатьевым и Валериана Владимировича. Игнатьев рассказывал о своих боевых делах в 1905 году, о том, как ему приходилось помогать пополнять партийную кассу. Алексей Максимович заметил, что ему в тот период тоже приходилось добывать деньги для партийной кассы и за это не раз подвергаться преследованиям полиции.

— Ну а мне,— сказал Валериан Владимирович,— в то время студенту Медицинской военной академии в Петербурге, пришлось по поручению партии заниматься транспортировкой оружия с Финляндского вокзала...

В пору встречи с Куйбышевым Игнатьев работал над самозатачивающимися режущими инструментами, нашедшими широкое применение в промышленности. Первоначально это изобретение встретило серьезные затруднения и сопротивление некоторых специалистов. Потребовалось вмешательство авторитетных органов. Куйбышев назначил специальную комиссию для определения реальной ценности самозатачивающихся инструментов. Комиссия вынесла решение о целесообразности внедрения.

В 1933 году Куйбышев переселился на дачу в Морозовку, недалеко от станции Крюково (там находился дом отдыха ВЦИК), а Алексей Максимович — в Горки. Самым памятным в моих воспоминаниях о Морозовке осталась одна из прогулок с Валерианом Владимировичем. Как-то поздно вечером мы приехали на дачу, поужинали, спать не хотелось. Проиграли несколько пластинок, послушали радиопередачи, и Валериан Владимирович предложил прогуляться. Вышли. Была ясная звездная ночь. В тишине светились деревья, покрытые снегом. И Валериан Владимирович поразил меня рассказами о звездах. Казалось, рядом со мною идет профессор-астроном. На вопрос, откуда такие познания, объяснил, что в ссылке ему попался учебник по космографии, он его изучил и, увлекшись, прочел много книг по этому предмету.

Несмотря на то, что в Морозовку приезжали те же друзья и родственники, звучали те же песни, играли в те же игры, не было там той простоты и того очарования, что в Краскове. Горький, любуясь природой в Краскове, говорил: «Недаром — Красково!»

В Краскове в летние выходные дни округа оглашалась шумом и гамом, веселым смехом, стуком волейбольного мяча, воплями торжества той или другой команды. В игре принимали участие стар и млад. То и дело слышалось восторженное Валериана Владимировича: «А здорово мы им наклепали!»

Зачастую после игры мы пели революционные песни, которые так любил Валериан Владимирович. Была у нас своя запевала — Валя Васильева, Наркомпесня. Бывало, Валериан Владимирович говорил: «Споем «Дальневосточную». Наркомпесня, запевай!» — Валя запевала, а мы подхватывали. При всей своей одаренной натуре Валериан Владимирович не мог напеть ни одной самой простой мелодии, между тем замирал от восторга, когда слушал пение. Вот и говорил: «Ну запевайте, а я буду держать паузу».

К Валериану Владимировичу нередко приезжал художник Василий Семенович Сварог со своей милой женой. Обладая великолепным басом, Сварог пел под гитару арии из опер, романсы, песни...

Валериан Владимирович не питал особой привязанности к кремлевской квартире. Его беспокойная натура после тяжелого трудового дня требовала переключения. Он любил даже в самое позднее время, после вечернего или затянувшегося допоздна заседания выезжать за город.

Однажды мы очень задержались на работе. Освободились за полночь, Валериан Владимирович предложил поехать в Красково. Ехали в его машине с брезентовым верхом. Была зимняя ночь, шел сухой колючий снег, который с ветром проникал в машину. Мы изрядно продрогли. Посреди пути между Москвой и Красковым стоял трактор, всегда окруженный грузовиками и всевозможными повозками. Зашли погреться. В густом махорочном дыму стоял нестерпимый гвалт. Валериана Владимировича это не смущало, такие картины он часто наблюдал в свое время на сибирских трактах. Зака-

зали чай в традиционном большом чайнике. Вслушивались в шумную разногласицу. Закусив и согревшись, тронулись в путь. Это чаепитие всколыхнуло в Валериане Владимировиче целый рой воспоминаний о трактирах царской России в сибирских городах, в Петербурге и Самаре, где в конспиративных целях проходили партийные встречи, были явки...

Как-то я привез в Красково мелкокалиберную винтовку, патроны и мишени. С тех пор эта винтовка стала постоянным спутником Куйбышева на прогулках в Краскове и в отпусках. Найдя подходящую площадку и развесив мишени, он принимался за стрельбу. Стрелял так метко, что корректировать не приходилось, все пули ложились кучно, но желания охотиться на птицу или зверя у него не было.

Вспоминаю интересный эпизод. Однажды Розенталю и Кравалю пришлось поздно задержаться в кабинете Валериана Владимировича, который был на заседании в Кремле, и мы в ожидании его организовали из этой винтовки стрельбу. Для мишени приспособили имеющиеся в кабинете какие-то справочники промышленных и торговых фирм. За этим занятием нас и застал неожиданно вернувшийся Валериан Владимирович, обычно он звонил мне, когда выезжал из Кремля. Мы смутились в ожидании разноса за это несерьезное занятие, но Валериан Владимирович взял винтовку и показал нам класс стрельбы.

Как-то по пути в Красково Валериан Владимирович сказал, что он давно лелеет мечту провести отпуск в Карелии. О ней ему много рассказывали С. М. Киров, академик А. Е. Ферсман, рассказывал и М. И. Калинин, отбывавший там ссылку в 1904 году в городе Повенец, о котором в старину говорили: «Повенец — всему миру конец». Сейчас Повенец венчает Беломорско-Балтийский канал.

Сергей Миронович предложил избрать местом отдыха поселок Медвежья Гора, недалеко от одноименной станции Мурманской железной дороги, в 560 километрах от Ленинграда.

Я заранее готовился к предстоящему длительному путешествию. Упаковал всю собранную по Карелии литературу, географические карты, гранки статей Большой Советской Энциклопедии, членом Главной редакции которой был Куйбышев, материалы, которыми он собирался заняться во время отпуска, — наметки контрольных цифр на 1929—1930 годы. В это путешествие его жена Ольга Андреевна с нами не поехала.

Настал долгожданный день отъезда — 26 июня 1929 года. С огромным «бумажным» багажом и личными вещами мы отправились на Ленинградский вокзал.

Обычно Валериан Владимирович, приезжая в Ленинград, деятельно использовал каждую минуту — допоздна объезжал промышленные предприятия, проводил совещания, заседания, — а в этот раз неторопливая поездка по городу.

— Непривычно, но ничего не поделаешь, — сказал Куйбышев. — Отпуск есть отпуск.

И решил задержаться еще на один день. В предыдущие деловые посещения Ленинграда мы не находили времени на достопримечательности и сейчас, осмотрев все богатства Эрмитажа и окрестностей Ленинграда, находились под сильным новым впечатлением.

По пути в Петергоф, в машине, Валериан Владимирович рассказывал о своей влюбленности в этот город, еще со времен юности оставивший в его памяти много счастливых дней, вспоминал места, где жил и работал, бурные события прошедших лет.

Уже в поезде мы еще долго вспоминали все детали нашего путешествия по Ленинграду. Рано легли спать — к Медвежьей Горе подъехали в 5 часов утра. На станции нас встречали пограничники.

На Медвежке, так мы называли это место, поселились в новой крестьянской избе, еще пахнущей смолой. Изба состояла из двух комнат с большими сенями. Удобств никаких. В одной из комнат высилась русская печь, в красном углу между двумя окнами — деревянный стол, две вделанные в стену скамьи, несколько табуреток. В другой комнате — деревянная кровать, небольшой стол. В сенях находился какой-то хозяйственный инвентарь, большая кадка с водой. На стене — маленький ручной насос, воды нам не хватало, но мы поутру обливались по пояс, поливая друг друга из большой кружки. Все окна завешаны марлей, только так можно было спастись от комаров.

Здесь нас окружала первозданная природа и сопутствующая ей простота в жилье, быту и пище. Вставали рано, делали гимнастику, умывались, завтракали, купались, грелись на солнышке, а затем подолгу гуляли. Ложились поздно — это была пора белых

ночей, Валериан Владимирович, пользуясь «продленным днем», подолгу занимался делами, много читал.

По давно заведенной привычке, находясь в отъезде, он регулярно со свойственной ему пунктуальностью сообщал в письмах Ольге Андреевне свои впечатления от поездок. Я помню, как правило, Валериан Владимирович старался свои письма опускать в ящик почтового вагона, вот и тогда, преодолевая пески Медвежки, мы направлялись на станцию к вечернему поезду, идущему из Мурманска в Ленинград.

Здесь я позволю себе процитировать выдержку из письма Валериана Владимировича Ольге Андреевне (с ее любезного разрешения).

1 июля 1929 года, понедельник, утро, Медвежья Гора: «Приехали 29-го числа в 4... После обеда пошли с Мишей по какой-то дороге, решили идти, пока куда-нибудь не придем, наконец дошли до полотна жел. дор. и по полотну вернулись обратно, всего прошли верст 15, устали здорово, но в 9 ч. снова соблазнились путешествием, на этот раз верхами. Прodelали еще верст 15 и вернулись часов в 12 ночи. Спал на этот раз хорошо, но зато сегодня утром усталость такая, что отказался от утренней прогулки. После обеда пойдем куда-нибудь или поедем на мотоцикле (который Миша после больших трудов наладил, что-то капризничал)».

За время пребывания в Медвежке мы исколесили всю округу в радиусе 29—30 километров. Куйбышев подолгу бродил со мной лесом, по тропам, неизвестно кем протоптаным, неизвестно куда ведущим через болота, мхи. Карельская природа — суровая и дикая, отчетливо казалась нам особенно загадочной. Земля плодородная, черная, как сажа. Пески крупнозернистые, глубокие. Иногда мы шли молча по лесной тропинке среди величайших сосен без определенного направления, ни о чем не думая, прислушиваясь к лесным шумам. Часто тропа приводила нас в такую лесную глушь, куда едва проникал дневной свет. Кругом торчали сухие ветки, громоздились завалы сгнивших деревьев и сухого хвороста, пахло сыростью и гнилью, лес был наполнен сумраком.

Если лесные тропинки скрещивались или раздваивались, Валериан Владимирович, имевший богатый опыт таежных ссылок, всегда ножичком делал условные отметки на стволах деревьев, чтобы не заблудиться.

Среди кучно росшего леса иногда попадались совершенно высохшие стволы деревьев, которые стоило чуть потрясти, как дерево ломалось на звенья и падало, едва успеваешь отбежать. Мне это очень нравилось, и я часто продельвал этот эксперимент, но получил выговор от Валериана Владимировича за мальчишеские выходки.

В самых таежных местах, где, казалось, не ступала нога человека, встречались нам изыскательские партии. Начинались вопросы, рассказы...

Вспоминается такая встреча. Вышли однажды из темного леса на полянку, и совершенно неожиданно залаяла собака. Большая, черная, лохматая, увидев редкого здесь человека, она с добродушным лаем бежала нам навстречу. Обнюхав гостей, стала подвизгивать, приветливо махая пушистым хвостом. Впереди виднелась землянка, из которой на лай собаки показался коренастый старик. Длинная седая борода, морщинистое лицо с пронизательным взглядом. Тут же у землянки на обрубках дерева завязалось знакомство с жителем таежной Карелии — девяностолетним смолокуром. Старик охотно рассказывал про свою жизнь. Куйбышев интересовался его работой, и смолокур подробно рассказал о процессе смолокурения, о необходимости изменить его, так как при устарелом способе перегонки смолы не удается получить такой ценный продукт, как скипидар, — он улетучивается. Валериан Владимирович вникал во все детали.

Иногда мы ездили верхом. Валериан Владимирович научился хорошо владеть лошастью на фронтах гражданской войны, а я раньше состоял в конной разведке частей особого назначения (ЧОН). Лошадей нам давали в Медвежьей Горе в пограничном отряде...

8 июля Валериан Владимирович писал жене: «Лютот дожди. Если завтра не исправится погода, думаю съездить в Мурманск, посмотреть океан (хоть один раз в жизни надо же взглянуть на океан, хотя бы и северный). Вчера все же съездили верхом, проехали верст 12. Думаю и сегодня после обеда, несмотря на погоду и вопреки ей, съездить на мотоцикле в Повенец (городок на Онежском озере, 25 верст от Медвежки)... Из наших новостей наиболее крупной является установка в нашей хате радио. Слушаем Москву (Коминтерн), другие станции как-то не можем еще словить...»

И действительно, событием в нашей жизни стало появление радиоприемника, без которого мы были оторваны от всего мира, газеты к нам не доходили.

После почти двухнедельного пребывания в Медвежьей Горе Валериан Владимирович решил продолжить знакомство с северным краем и поехать в Мурманск.

Поезд мчал нас к Ледовитому океану. В пути всплыло в памяти Валериана Владимировича некрасовское стихотворение «Железная дорога». Он любил Некрасова, многие стихи помнил наизусть. Постоянная смена места жительства не давала ему возможности иметь свою, хотя бы маленькую библиотеку. Это стало возможным только с переездом Куйбышева в Москву, и им овладела неумная жажда книг, но не книжное накопительство: он охотно раздавал товарищам книги для прочтения и не сожалел, если их не возвращали. Эклибриса не имел, на прочитанной книге обязательно оставлял на форзаце пометку — галку. Никаких заметок на страницах не делал, но благодаря превосходной памяти всегда мог найти в любой прочитанной книге нужное место.

Особый интерес Валериан Владимирович питал к энциклопедиям. Возьмет том, чтобы найти какое-нибудь малоупотребляемое слово, и энциклопедия потом подолгу остается у него в руках. В Карелию Валериан Владимирович просил меня захватить все вышедшие тома Большой Советской Энциклопедии.

Особое место в библиотеке Куйбышева занимала поэзия. Он сам сочинял стихи в детстве, а потом в ссылках, публиковал их в газете «Приволжская правда» под псевдонимом Встречный. 1 ноября 1918 года в Самаре Валериан Владимирович выступил с речью в честь годовщины Октябрьской революции на открытии общегородского клуба коммунистов, а по окончании торжественной части на концерте самодеятельности прочел свои стихи.

Будучи председателем Самарского ревкома и членом реввоенсовета 1-й, а затем 4-й армии, Куйбышев не оставлял мыслей о культуре, о поэзии. Так, в 1918 году, в пору яростной борьбы, впервые в России, в типографии штаба 4-й армии в Самаре, печаталась в русском переводе лирическая автобиография Данте «Новая жизнь».

...Приехали в Мурманск, расположенный на берегу Кольского залива, тогда молодой невзрачный городок, родившийся из поселка.

Здесь Куйбышев побывал в краеведческом музее, ознакомился с состоянием молодого тралового флота, осмотрел рыбный комбинат. При нас прибыл с моря траулер с большим уловом трески. Куйбышев подробно знакомился с производственным процессом промышленного использования рыбных отходов. На следующий день были в Александровске, где осмотрели самую северную в мире биологическую станцию. Из Александровска на катере пытались добраться до заповедника на острове Кильдин, но по мере приближения к океану усиливался шторм. Громадные волны переклещивали через катер и рассыпались мелкими брызгами. Нас кидало, как щепку.

Валериан Владимирович сообщил Ольге Андреевне в письме 18 июля:

«Маршрут пока соблюдаем в точности. Были в Мурманске (осмотрели рыбные промыслы), в Александровске (осмотрели самую северную в мире биологическую станцию), поехали было на остров Кильдин, но когда выехали в океан, началась изрядная буря, к которой не была приспособлена наша моторная лодка. Пришлось вернуться. Океан все же видели. Не удалось только осуществить нашу мечту — искупаться в океане, так как все время была плохая погода, дождь, холод и т. д.

Сейчас мы уже миновали Медвежью Гору, где распрощались с сопровождавшими нас товарищами, и приближаемся к станции Кивач, где я и опущу это письмо в поезд, а сам останусь до следующего... чтобы осмотреть водопад и Кондопожскую бумажную фабрику...»

Водопад Кивач, воспетый Державиным, зачаровал Валериана Владимировича. Мы долго стояли, глядя, как вода, сползая с вышины, падает и разбивается о камни на миллионы брызг, блестя на ярком солнце алмазными осколками. Шел молевой сплав, и большие бревна рушились с шестнадцатиметровой высоты и, нырнув в воду, снова спокойно плыли дальше.

Возвращаясь из поездки по Карелии, Куйбышев остановился на сутки в Ленинграде, чтобы поделиться своими впечатлениями с Кировым. Встретились в Смольном.

Кабинет Сергея Мироновича, как вспоминается, был небольшой, уютный, обставленный скромной мебелью. Всюду на столах лежали образцы продукции ленинградской промышленности, куски различных минералов, добытых в недрах Кольского полуострова. Говорили о развитии хибинского химкомбината, об усилении изыскательских работ, о том, что нет такого места на советской земле, которое нельзя было бы поставить на службу народу.

Впоследствии в своей, как всегда, горячей речи на XVII партийном съезде Киров говорил: «...то, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, Макар телят не гонял, куда в царское время только в ссылку людей ссылали,— теперь там волей большевиков на базе природных богатств (апатиты, железо, молибден, слюда, торий, титан и др.), в полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий индустриальный центр заполярного круга».

Вернулся Валериан Владимирович в Москву и приступил к работе полный творческих замыслов, накопившихся за время отпуска.

Сейчас, перелистывая и перечитывая страницы докладов, речей из огромного наследия Куйбышева, я вспоминаю исключительную обстановку напряженного труда и обстоятельств, в которых он готовился к выступлениям, оснащая их убедительными аргументами, доказательными примерами, фактами, цифрами, сравнениями.

Обычно подготовка к программным докладом проводилась им тщательно, задолго и начиналась с освобождения его от всех текущих дел. Политбюро или Совнарком предоставляли ему для подготовки доклада рабочий отпуск.

Вспоминается 1930 год. Шла напряженная работа по подготовке к XVI съезду партии. В начале мая Валериану Владимировичу предоставили семидневный рабочий отпуск для подготовки докладов о работе ЦК ВКП(б) за период от XV до XVI съезда на Бауманской районной партийной конференции в Москве и на 2-й краевой партийной конференции в Нижнем Новгороде.

Куйбышев поехал готовить доклады в Красково, где с головой ушел в работу. Прошло немногим больше месяца, и он снова получил рабочий отпуск на семь дней для подготовки доклада на XVI партсъезде «О выполнении пятилетнего плана промышленности». Местом работы Куйбышев вновь избрал Красково.

Дом превратился в штаб. Валериан Владимирович, не отрываясь от стола, готовил тезисы, зачитывал и обсуждал их с товарищами, привлеченными к составлению доклада,— с Розенталем, Кравалем, Рониным, Смирновым, Троицким и другими.

Когда тезисы с учетом замечаний, внесенных при обсуждении, были готовы, каждый из участников получал свой раздел, все расходилось по комнатам и верандам и погружалось в работу. Законченные разделы передавались Куйбышеву, который окончательно редактировал доклад и материал тут же отправлял машинистке.

26 июня началась работа съезда. Иногда после вечернего заседания Валериан Владимирович выезжал в Красково отдохнуть и переночевать.

2 июля с отчетным докладом ЦКК выступил Г. К. Орджоникидзе. Со свойственной ему прямолинейностью он резко критиковал работу всех отраслей народного хозяйства и промышленности, критиковал отдельных, крупных в то время хозяйственников. Критика была живой, объективной, вскрывающей недостатки в работе промышленности.

Партийный съезд проходил в Большом театре. Я находился за кулисами и близко видел всех сидящих за столом президиума, среди них Куйбышева, внимательно, сосредоточенно слушавшего речь Орджоникидзе.

Все ВСНХовцы были подавлены. По окончании заседания Куйбышев сел в машину не рядом с шофером, как обычно, а сзади. Поехали в Красково. За всю дорогу Валериан Владимирович не проронил ни слова. На даче он отказался от ужина, выпил стакан крепкого чая, резко встал из-за стола и поднялся к себе в комнату.

Утром я увидел на стуле возле кровати записку, в ней Валериан Владимирович писал, что не мог уснуть всю ночь, просил не будить его, если заснет, давал указания о порядке рабочего дня, а конверт, лежащий под запиской, велел прочитать товарищам и спрятать в сейф.

Приехав в Москву, я собрал в кабинете Куйбышева тех, кому было адресовано письмо,— Розенталя и Кравала. Письмо выражало отношение Куйбышева к критике Орджоникидзе со всей свойственной Валериану Владимировичу объективностью, с полным отсутствием личной амбиции: «1) Устами Серго говорит партия, ее генеральная линия; 2) партия, как всегда, прага; 3) хозяйственники не должны превращаться в какую-то касту, они должны вместе с партией, помогая ей, вскрыть безбоязненно недочеты и впрягаться в работу; 4) хозяйственники должны самоочищаться и более смело пополнять свою среду свежими пролетарскими силами».

«Не надо допустить,— писал Куйбышев,— чтобы хозяйственники выступили с критикой доклада Орджоникидзе. Если вы согласны со мной, примите нужные меры... Не унывайте, друзья! Для дела рабочего класса важно не самочувствие хозяйственника, а успех продвижения вперед...» (Подлинник документа хранится в ЦПА ИМА.) Валериан Владимирович закончил письмо словами: «Я плохо написал. Но вдумайтесь, и вы поймете, что интересы партии требуют только такой реакции на доклад т. Орджоникидзе...»

Выступая на съезде — 7 июля на вечернем и 8-го на утреннем заседаниях — с докладом «О выполнении пятилетнего плана промышленности», Куйбышев никаких замечаний по поводу критики Орджоникидзе не высказал...

После съезда началась напряженная работа по выполнению его решений, направленных на усиление темпов индустриализации страны. Но выпадали дни и часы отдыха, это время Валериан Владимирович, как всегда, проводил в Краскове.

Запомнился один из таких дней. Солнечный, жаркий, летний. Валериан Владимирович в воскресенье позволял себе немного больше поспать. Вышел к завтраку хорошо отдохнувший, в приподнятом настроении. Он ждал приезда друзей: Розенталя, Краваля, Смирнова и Дейча. И когда они приехали, предложил устроить пикник в лесу. Начались сборы, уложили в рюкзак продукты... Ушли далеко в лес, разожгли костер, уютно расселись вокруг, говорили о делах, шутили, веселились. Валериан Владимирович попросил нас встать, провозгласил тост за успешное выполнение пятилетки и поблагодарил товарищей за помощь в подготовке доклада к съезду.

Публикация В. ВАСИЛЬЕВОЙ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ОВЧАРЕНКО



ЖИЗНЬ НАРОДНАЯ

Горьковские традиции в творчестве сибиряков

1

В 1930 году в статье «О литературе» М. Горький с полемическим заострением писал, что русская дооктябрьская литература «была по преимуществу литературой Московской области» и еще нескольких смежных с ней областей. В статье утверждалось, что «Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы, так же как Украина... поле наблюдений старых великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться».

Историки литературы могли бы возразить, что «старые писатели» отнюдь не проявляли равнодушия к жизни, протекавшей за пределами центральных областей России, и в меру своих знаний рассказывали о ней. Первыми, вынужденные обстоятельствами, заговорили о «местах не столь отдаленных» еще протопоп Аввакум и Александр Радищев. Пропутешествовав «на привязи» в течение трех лет из Москвы через Глазов, Березовские Починки, Вышний Волочек, Пермь, Томск до якутской слободы Амга, В. Короленко за четыре года пребывания в ней написал доставившие ему всероссийскую известность рассказы о якутских крестьянах, ленских ямщиках, сибирских каторжниках и местных крестьянах-правдоискателях («Яшка», «Убиец», «Сон Макара», «Соколинец», «Федор Бесприютный»). В 1888—1889 годах по путям переселенческого движения в Приуралье и Сибирь устремился Глеб Успенский. Он посетил Пермь, Тюмень, Томск, Тобольск, рассказав в цикле «Поездки к переселенцам» и в других очерках о горестях и лишениях, подстерегавших человека, ищущего счастья

на новых землях. Удручающе на писателя подействовали однообразие дальней дороги, обширность и пустынность вольных мест, время от времени оглушаемых «разбойничьим, могучим, грозным, даже просто ужасающим, беспощадным и немилосердно жестоким свистом». В 1890 году А. Чехов поехал через всю Сибирь, чтобы попасть на Сахалин и открыть его читающей России. Более сорока лет писал об уральской жизни Д. Мамин-Сибиряк, включив в литературу, по словам М. Горького, «целую область русской жизни», до него «не знакомую нам».

Конечно, обо всем этом М. Горький знал хорошо. Но к сибирским писателям он проявлял особенно большой, с годами все усиливавшийся интерес. Быть может, известную роль в этом играл тот факт, что его отец родился и до семнадцати лет жил в Сибири, а сам Алексей Максимович дружил со многими революционерами, не раз отбывавшими политическую ссылку за Уральским хребтом. Еще в молодости он познакомился с трудами сибиреведов Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, высоко оценил работы историка-демократа А. П. Щапова, «сына дьячка и (бурятской) крестьянки».

На Втором съезде писателей РСФСР в 1965 году Александр Смердов процитировал слова М. Горького, ставшие пророческими: «Сибири пора иметь не только новеллистов, но и писателей, работающих в крупных масштабах, у вас — сибиряков — от природы хорошие задатки, здоровая кровь... Если Сибирь в науке дала Менделеева, а в живописи Сурикова, то почему бы ей не дать такую же величину в литературе? Я думаю, что наш будущий крупный романист будет из сибиряков...»

Надо заметить, что М. Горький еще до

Октябрь делал все, чтобы облегчить приход в литературу «крупного романиста из сибиряков». Он благословил на литературный труд Вячеслава Шишкова, заботливо пестовал Всеволода Иванова, Александра Фадеева, Лидию Сейфуллину, Анну Каравану, Афанасия Коптелова, Ефима Пермитина, Нину Емельянову... Он не только умел увидеть и открыть писателя, но неумолимо помогал ему словом одобрения, советом, критикой.

По воспоминаниям Е. П. Пешковой, в октябре 1920 года, беседуя с В. И. Лениным, Алексей Максимович «горячо настаивал на необходимости поддержать начинающих писателей из народа и писателей разных народностей, указывая на выдающихся писателей Украины, талантливых писателей Татарии, говорил о писателях Сибири...»¹.

Максима Горького радовало, что советская литература сразу же «раздвинула» географические рамки. «Молодая наша литература при сравнительной слабости ее изобразительных средств,— заметил он в статье «О литературе»,— отличается широкою охвата действительности. Десяток лет — детское время! И все же за эти десять лет, тотчас после гражданской войны, молодежь наша дала множество книг, которые освещают жизнь даже самых темных и отдаленных от центров культуры „медвежьих углов“».

В последующие годы процесс, замеченный и энергично поддержанный М. Горьким, неостановимо набирал силу. Развивались младописьменные литературы народов Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири, Крайнего Севера, появились художественные произведения русских писателей на материале Дона, Поволжья, Оренбуржья, Алтая, Забайкалья, Дальнего Востока.

Ознакомившись с рукописью третьего тома «Тихого Дона» и оценив ее как «произведение высокого достоинства». М. Горький писал Александру Фадееву: «Я думаю, что у нас еще будут подобные ему (М. Шолохову.— А. О.) писатели уральские, сибирские и прочих территорий».

И они не заставили себя ждать. Примерно через полгода после того, как была написана статья «О литературе», М. Горький радостно констатировал в одной из бесед с молодыми писателями: «Сейчас появляется настоящая литература: есть сибирские писатели, уральские и другие». О том, с каким размахом расширились границы охвата ею действительности, можно судить даже по

названиям произведений, печатавшихся на страницах советских журналов в предвоенные годы: «Сквозь тайгу» В. Афанасьева, «Гуляй Волга» А. Веселого, «Цусима» А. Новикова-Прибоя, «Саранчуки» Л. Леонова, «Пустыня» и «На Востоке» П. Павленко, «Аэроград» А. Довженко, «Севастополь» и «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Колхида» К. Паустовского, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Падение Кимас-озера» Г. Фиша, «Обыкновенная Арктика» Б. Горбатова... Такова география.

Соглашаясь с каждым словом письма, признаем, однако, что послевоенные годы были тем не менее годами подлинно художественного открытия Сибири, осуществленного совместными усилиями русских, якутских, бурятских писателей (Г. Маркова, А. Коптелова, Н. Задорнова, С. Залыгина, В. Ажаева, Т. Семушкина, С. Сартакова, Вас. Федорова, Н. Шундика, А. Иванова, В. Шукшина, В. Астафьева, В. Распутина, В. Липатова, В. Чивилихина, А. Вампилова) и писателей, принадлежащих к так называемым малочисленным народам страны (Ю. Рытхэу, Г. Ходжера, В. Санги, Ю. Шесталова, С. Курилова).

«Сибирь,— писал Михаилу Шолохову один из сибиряков,— сказочно богатый край, где некогда медвежьи углы превратились в индустриально-промышленные города, которые выросли не только в непроходимой енисейской тайге, но и на вечной мерзлоте Заполярья. Сибиряки достойны высокой песни. И мы по-доброму завидуем, что такая песня сложена о Тихом Доне. И мы грустим, что такой песни еще никто не написал о могучем богатые Енисее»².

Говоря о создании после Великой Отечественной войны целостной и величественной картины Сибири, не хочу утверждать, будто начинать приходилось на голом месте. В фундамент здания, возводимого на наших глазах, в свое время положили камни многие выдающиеся русские писатели, даже такие как Л. Толстой и Федор Достоевский. Существенна лепта, внесенная П. Якубовичем (Л. Мельшиным), В. Богоразом (Таном), С. Елпатьевским, Н. Телешовым, В. Муйжелем, И. Бунинным, не говоря уж о самых непосредственных предшественниках современного отряда писателей — В. Шишкове с «Тайгой» и «Угрюм-рекой», Вс. Иванове с «Партизанами» и «Бронепоездом...», В. Зазубрине с «Двумя мирами», Л. Сейфуллиной с «Перегномом», А. Фадееве с «Разгромом» и «Последним из удэге». Это

¹ «В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма. Воспоминания. Документы». М. «Наука». 1969, стр. 430.

² Валерий Ганичев. Устремление вперед. М. «Современник». 1981, стр. 223.

благодаря их усилиям и непосредственной поддержке М. Горького — с его художественным пониманием мира, человека, труда — стало развеваться бытовавшее долгое время среди русской общественности представление о Сибири прежде всего как о «складочном месте российской драмы» (выражение В. Короленко), где живет одна «виноватая Россия» (Г. Успенский), где бескрайние, никем не заселенные просторы зимой придавлены лютыми морозами, а летом сотрясаются от разбойных посягательств, где черствое и жестокое коренное население влачит полуживотную жизнь, погруженное в косность и застой.

Но, развенчивая одну легенду, кое-кто из писателей, видимо, в противовес ей создавал другую — о сибиряках как людях, живущих своим «обществом», людях, отличающихся чувством собственного достоинства и особой сердечной отзывчивостью к чужому горю: убегающего из сыски революционера они чуть ли не на руках пронесут через тайгу, измученным переселенцам указывают, где найти незанятые земли получше; природа же сибирская так хороша, всякой живности и ягоды в тайге так много, что прямо снимай с себя все и живи Адамом. Эта легенда оказала влияние даже на тех, кто создавал первые книги о гражданской войне в Сибири.

В последующие годы творчество сибирских писателей развивалось и вглубь и вширь прежде всего благодаря неумолимости таких писателей, как Г. Марков, С. Сартаков, А. Смердов, А. Коптелов, Е. Стюарт, и идущей за ними младшей генерации прозаиков, поэтов, драматургов, очеркистов. С гордостью называя имена Л. Мартынова, А. Коптелова, С. Зальгина, Вас. Федорова, Гр. Федосеева, П. Проскурина, А. Иванова, А. Никулькова, начинавших литературную деятельность в Сибири, Александр Смердов в упомянутой уже речи на съезде писателей РСФСР говорил: «Конечно, и сейчас, когда весь мир видит эти большие сегодняшние и завтрашние горизонты Сибири, мы еще не можем назвать среди писателей-сибиряков и всех так или иначе творчески связанных с Сибирью литераторов романиста такой величины, как предвещал Горький. Но если мыслить наш сегодняшний литературный процесс как коллективное творческое усилие талантов, объединенное и направляемое общностью художественных, идейных, жизненных истоков и целей, то можно сказать, что этот горьковский завет обретает ныне вполне реальное воплощение».

Действительно, среди тех, кто художест-

венно открывал Сибирь заново, долгое время не было талантов яркой, впечатляющей силы. Произведения сибиряков привлекали внимание читателей самой свежестью материала, новым его освещением. Но затем стали загораться и подниматься все выше по-настоящему крупные, чистой пробы таланты — один, другой, третий...

Из их романов, повестей, рассказов, пьес, стихов, взятых как целое, перед нами вырисовалась Сибирь подлинная с ее действительно сложной историей, с ее бескрайними лесами, бесчисленными озерами и реками, с ее многоязычным населением, таким неоднородным не только потому, что в Сибирь всегда ссылали людей, «наскочивших на грех», враждебных царским властям, неудобных деревенскому миру, но и потому, что тут, оказывается, действовали те же, что и во всей России, законы общественного развития, разделявшие людей на непримиримые классы и социальные группы. Одним из первых это попытался показать М. Горький в своеобразном микроэпосе — «Рассказе о необыкновенном» и в серии публицистических статей. В 1928 году аноним, укрывшийся за псевдонимом Сибиряк, написал в обширном послании М. Горькому: «Народные массы шли за большевиками благодаря провокации в тылу Колчака таких героев, как пресловутый Анненков. Ему бы большевики должны поставить памятник, так как он и ему подобные завоевали Сибирь для большевизма». Подчеркнув последние слова, Горький ответил: «Если допустить, что это «истина», так это будет истина только эсеровской фабрикации, а эсеры, кажется, даже и сами убедились, что они хотя и обильно, а все-таки плохо фабрикуют „истину“».

Сибирь не знала крепостного права, не знала «барского дома», но, как и везде, жизнь здесь раздиралась противоречиями, потому что в Сибири тоже были богатые и бедные. Вместе с Транссибирской магистралью возникали железнодорожные депо, мастерские, рабочие поселки, а вдоль дороги, как грибы, росли фабрики и заводы. Богатства, лежащие почти на поверхности, притягивали лихоимцев со всех концов России, авантюристов всех стран. Неспроста перед первой мировой войной в Омске развевались консульские флаги Дании, Швеции, Англии, Германии, США... Запах огромных прибылей разжигал аппетиты и страсти беспримерные, порождая неисчислимые драмы. Ограбить человека, чтобы стать богаче, убить, поджечь, вступить в бесчестную сделку с самим чертом не боялись ни русские купцы, ни пытающиеся укоренить-

ся на сибирских землях английские, французские, японские и американские капиталисты. Не остается в стороне и деревня: те, что побогаче, стремятся поднять под себя тех, что победнее, обирают охотников, рыболовов, сплавщиков леса, превращают переселенцев в своих бесправных работников, беззащитно грабят инородцев, любимы путями увеличивают капиталы. В романе «Сибирь» Г. Маркова высланный из Саратова в Нарым рабочий Шустов говорит Поле: «Обокрасть народ, выхватить у него то, что принадлежит ему по праву и без всяких сомнений! И так всюду, по всей России! Ты думаешь, почему мы на заводе восстали? Замучили хозяева! Обсчитывают, штрафуют, шагу не дают ступить... И тут, у черта на куличках, та же самая жизнь».

Но «недостаточные» люди не принимают безропотно сваливающуюся на них тягота жизни еще и потому, что Сибирь не просто никогда не знала крепостного права — она не терпела и таких его порождений, как угодность и пригнетенность. Даже самому бедному человеку здесь всегда было куда уйти, а тайга позволяла не умереть с голоду. Огонь вольнолюбия у сибирского труженика не гас, поддерживаемый, в частности, все увеличивавшейся массой ссыльных революционеров ленинской школы. Гордость, независимость, самостоятельность, чувство собственного достоинства, присущие сибирякам, ускорили здесь рождение подлинно революционного отряда, осознающего себя неотъемлемой частью единого революционного народа России. Коммунистка Катя Ксенофонтова из романа «Сибирь» пишет в годы первой мировой войны из Томска брату: «Если свести все мои впечатления к одному итогу, то скажу вот что: народ в Сибири жаждет революции, ждет ее и, несомненно, поддержит нас».

Художественному выявлению глубинных закономерностей, определяющих сущность дооктябрьской жизни Сибири, всей России, посвящены лучшие романы Георгия Маркова, Афанасия Коптелова, Сергея Сартакова, Николая Задорнова.

2

Турецкий критик Рауф Мултулай остроумно заметил, что в классической русской литературе Сибирь часто «завершала последнюю страницу», заключала развитие сюжета (Нехлюдов едет в Сибирь, туда же отправляют многих героев Достоевского). Он писал: «...изменение этой ситуации знаменательно и для Октябрьской революции, и для порожденной ею литературы; возник новый взгляд на Сибирь, увиденную нами

прежде всего благодаря романам Георгия Маркова — глазами революционеров». И вот конкретно о романе «Сибирь»: это «роман классического типа, действие в нем разворачивается медленно, события развиваются постепенно. Но персонажи романа, даже обрисованные несколькими штрихами, — живые и одухотворенные люди. Прекрасный фон романа, его атмосферу создает сибирская природа, которую смело можно назвать одним из персонажей книги. Мы узнаем о новых краях и новом народе, живущем в незнакомых нам климатических условиях; читая «Сибирь», каждый человек ощущает, что его затронули «славянские заботы»... Из романа «Сибирь» мы узнаем, как народ, живущий в темноте ночи, начал подниматься к свету». Турецкий критик безошибочно определил центральную тему творчества Георгия Маркова: народ, поднимающийся к свету, создающий новый мир.

«Подлинный художник, — заметил С. Наровчатов в статье, посвященной семидесятилетию со дня рождения писателя, — творит свой мир, свою страну. Большой мир открывается перед читателями Георгия Маркова. Этот мир населен яркими и красивыми, мужественными и человеческими людьми, в нем бушуют сильные страсти, сталкиваются различные жизненные представления, возникают важные нравственные проблемы, решая которые растут и крепнут герои писателя.

Через все творчество Георгия Маркова проходит тема величия советского человека, его духовной красоты и силы.

«Страна» Георгия Маркова — это прежде всего бескрайние просторы Сибири, края, где он родился, вырос, сформировался как человек и писатель. «... «Строговых» и «Соль земли», — признается сам Георгий Мокеевич, говоря об этих первых своих крупных вещах, — я не смог бы написать, если не провел бы детство и юность в тайге, если в течение всей своей сознательной жизни не принимал бы непосредственное участие в социалистическом преобразовании Сибири, если бы систематически не бывал у охотников, рыбаков, рабочих, колхозников, ученых, ведущих свою созидательную работу в самых разнообразных местах моего родного края».

Прибавим к этим словам Георгия Маркова его признание в беседе с В. Ганичевым:

«— У таежного костра я впервые услышал и образное слово и почувствовал настоящую фантазию, увидел людей, которые произвели на меня сильное впечатление и которым захотелось подражать. Это были мужественные люди, с точным и вер-

ным глазом, твердой рукой, испытанные люди, которым в тайге ничего не страшно. Жизнь среди людей, уверенных в своем деле, готовых в любой миг выручить друг друга в беде, фантазеров необузданных, рассказчиков-живописцев была первой моей художественной школой. Возьмите у меня это из биографии, что в ней останется?

— И «Строговых» не было бы...

— Ни «Строговых», ни «Сибири» не было бы. Я считаю эту среду тем самым ядром, без которого и моего творчества не было бы. Все развивалось из этого ядра».

Роман «Строгов», принесший автору всеобщую известность, писался десять лет. Первая книга его, начатая в 1936 году, увидела свет три года спустя в Иркутском областном издательстве. По просьбе Гослитиздата рукопись читал И. Бабель. Он пригласил молодого прозаика к себе и долго говорил с ним о Сибири, о технике писания романов, об опасности книжности, о том, что напрасно иные редакторы каждому молодому прозаику уныло твердят одно и то же: начинать надо с рассказов, так и Горький начинал; твердят, нимало не задумываясь над тем, что именно Горький как никто другой старался поддержать тех, кто начинал с романов, что есть прозаики, чей психологический склад тяготеет к новеллистике, а есть такие, у которых весь строй души — в романе, в романном мышлении.

Вторая часть «Строговых» увидела свет в 1946 году в том же Иркутске. Два года спустя роман вышел в Москве и, таким образом, стал событием уже послевоенной советской литературы. Он привлек внимание читателей широким панорамным изображением сибирской жизни на протяжении почти трех десятилетий, включая первую русскую революцию, первую мировую войну, революцию 1917 года и гражданскую войну.

Продолжая традиции, заложенные в советской литературе романами и повестями Всеволода Иванова Владимира Зазубрина и в особенности Вячеслава Шишкова, автор «Строговых» вместе с Н. Задорновым, С. Сартаковым и другими художественно открывал Сибирь во всем многообразии ее географического, этнографического, исторического, социального, политического, психологического бытия.

«За четыре десятилетия активной творческой деятельности, — писал о Г. Маркове болгарский «Литературен фронт», — он создал яркую художественную летопись своего края, вступив в открытый спор не только с дореволюционными писателями, но и в творческую полемику со своим люби-

мым учителем Вячеславом Шишковым. Сибирь у художника не дремлющая и спящая, а несказанно красивая, суровая и богатая, величавая и могучая своими преданиями и легендами, своим настоящим и будущим»³.

Роман «Строгов» показал, что сибирская жизнь, взятая в совокупности ее потоков, при кажущемся резком отличии от жизни центральной России определяется теми же глубинными социальными закономерностями. Классовые противоречия в Сибири не были, может быть, столь запутанными, как в средней России, но и здесь местные богатей ловко расставляли долговые сети односельчанам и пришлым. Вспомним, как еще во второй половине прошлого века купец Федот Кузьмин сделал своим пожизненным батраком Захара Строгова, наняв пачечником за три рубля серебром и пять колодок пчел. Захватив лучшие земли, кулаки пытались лишить волченорцев их общего достояния — кедровника, а затем и всей юксинской тайги, посягая на все, чем лес и недра одаривали людей, спасали их от голодной смерти. Лучшие страницы в романе «Строгов» связаны как раз с исполненной острого драматизма борьбой волченорцев, возглавляемых Матвеем Строговым, против деревенских богатеев за общественный кедровник.

Автору «Строговых» удалось создать галерею запоминающихся характеров. Более того, как отмечалось в одном итальянском журнале, «совокупность персонажей, ситуации и исторической атмосферы в романе образует широкую и точную картину сибирской земли и ее людей».

Вряд ли было бы можно утверждать, будучи все, о чем рассказывалось в романе «Строгов», являлось для советского читателя совершенно новым. О жестоких убийствах на сибирских дорогах, например, было известно и до его появления; о стычках в сибирских городах рабочих с черносотенцами в 1905 году тоже писалось раньше, например в «Рассказе о необыкновенном» М. Горького, как и о Ленском расстреле в «Угрюм-реке» Вячеслава Шишкова.

Заслуга Георгия Маркова заключалась в том, что он показал взаимосвязь всех событий и явлений на глубокой местной основе. Писатель свидетельствует: революция 1905 года в Сибири — результат того, что для нее существовали объективные социально-экономические предпосылки. Боль-

³ Приведено в подборке «Художественная летопись Сибири. Творчество Георгия Маркова в критике разных стран» («Иностранная литература», 1981, № 6, стр. 252). Отдельные свидетельства иностранной прессы, приведенные здесь, цитируются нами и далее.

шинство мужиков поднялись на борьбу с Колчаком не только потому, что бесчинствовали карательные отряды, но, главное, потому, что не было иной возможности вырваться из кабалы, в которой сибирское крестьянство все более увязало по мере развития капиталистических отношений к востоку от Урала. Закономерность прихода в Сибирь советской власти художественно убедительно показал в «Строговых» Георгий Марков.

Тема революции в романе «Строговы» связана с другой, развиваемой параллельно темой — рационального, хозяйского использования несметных богатств, заключенных в сибирских кладовых. Природные богатства Сибири должны принадлежать всему народу — вот еще одна тема, проходящая через роман, но как бы вторым планом. Разрешение ее возможно лишь на основе предварительного коренного преобразования социальной основы существующего общества в целом, то есть социалистической революции. Эта тема становится главной в следующих романах Георгия Маркова — «Соль земли» (1954—1960) и «Отец и сын» (1963—1964).

Описываемые в романе «Соль земли» события происходят года через два после окончания Великой Отечественной войны. Страсти разгораются вокруг проблемы — по каким направлениям должно пойти экономическое развитие Сибири? Спорят не одни руководители края. Спорят партийные работники, спорят ученые, спорят простые люди — охотники, животноводы, лесоводы, старики и молодежь. Афанасий Федотович Чернышев, лесовод, не называющий кедр иначе как королем лесов, выступает энтузиастом лесного хозяйства, посылает в обком свои соображения о достоинствах кедра как строительного материала и как источника ценнейшего масла. Мирон Дегов требует все лучшие земли распахать и отдать под лен. Влюбленный в тайгу и таежную живность Михаил Лисицын доказывает, что надо сохранить главную часть Улулюля как заповедник, где парует птица, и, соответственно, развернуть птицеводство. К нему присоединяется жена Максима Строгова, мечтающая выстроить у Синего озера здравницу для больных ревматизмом и профилактические санатории.

Молодой геолог Алексей Краюхин, получив по наследству от отца карту улулюльской тайги с пометками о полезных ископаемых, вступает в конфликт с собственным научным руководителем, крупнейшим ученым, утверждающим, будто на террито-

рии Улулюля палеозой погружен на недосягаемую глубину, третичные же отложения не содержат ни каменного угля, ни металлургических рудообразований в промышленных количествах. Юноша уходит из научно-исследовательского института, устраивается учителем географии в сельской школе, отдавая свободное время беседам со стариками и собственным геологическим изысканиям. Ему помогают школьники, местные жители, среди них — Михаил Лисицын, его дочь Уля и пришедший посмотреть перед смертью на родные места почти столетний старик Марей Гордеевич, в прошлом каторжанин, от которого в давние-предавние времена началась деревня Мареевка.

Главные дела в романе «Соль земли» вершатся детьми Матвея Строгова. Один из сыновей Матвея, Артем, работает секретарем Притаежного райкома партии, другой, Максим, возглавляет промышленный отдел обкома; дочь Матвея Марина — кандидат наук, работает в НИИ. Глубже других разработан образ Максима Строгова — человека острой, непокойной мысли, чуткого партийного организатора. Именно ему столь многим обязан Алексей Краюхин, сумевший доказать правоту своих научных предположений, которые открывают перспективу могучего промышленного развития всей Сибири.

Конечно же, автора можно было бы упрекнуть в том, что этот роман написан недостаточно лаконично, что в конфликте Марины Строговой с первым ее мужем Бенедиктиным чересчур много банального. И еще на один недостаток указал сам автор. «При обсуждении «Соли земли» в рукописи, — рассказывал он мне в июле 1980 года в Дубултах, — на роман навалились геологи, разделявшие идею о глубинном, недоступном залегании палеозоя в Сибири. А историки среди них один член Академии педагогических наук, утверждали, что я односторонне подошел к изображению староверческих скитов. И хотя я сам помнил таких, приезжал с отцом к ним сдавать пушнину, все-таки дрогнул под напором, уступил в том и в другом. А потом нашел исторические документы, подтверждающие мой взгляд. Геологи тоже пересмотрели многое в своих представлениях о Сибири. В новом романе вернусь к этим вопросам, но не они составят главное в нем...»

Хотя начало того, что мы условно называем новым сибирским романом, во многом связывается с именем Георгия Маркова, следует еще раз подчеркнуть, что его ро-

маны всегда имели определенный литературный контекст. К созданию больших синтезирующих произведений на сибирском материале одновременно с ним или даже раньше его приступили Афанасий Коптелов, Николай Задорнов... Роман о возрождении алтайского народа «Великое кочевье» Афанасий Коптелов закончил в 1935 году, а шесть лет спустя увидел свет его роман о шахтерах Кузбасса — «На горах». В 1939 году Алексей Кожевников издал роман «Брат океана», а в 1950-м — «Живую воду». Первая книга «Амура-батюшки» Николая Задорнова появилась в 1941 году. Популярность у советских читателей завоевали вышедшие сразу после войны романы «Али-тет уходит в горы» Тихона Семушкина, «Далеко от Москвы» Василия Ажаева, «Даурия» Константина Седых.

Пророческие слова Ломоносова о том, что «русское могущество прирастать будет Сибирью», мы без колебаний распространяем и на область духовной жизни. Во всяком случае, что касается исследуемой нами сферы, то сразу же после войны в общесоюзную литературу один за другим вошли писатели-сибиряки С. Сартаков и Вас. Федоров, С. Залыгин и А. Волошин, В. Астафьев и В. Чивилихин, В. Липатов и А. Иванов, В. Шукшин, еще позднее — В. Распутин, А. Вампилов...

Не все и не сразу оценили вклад этого отряда в нашу литературу. Возможно, потому, что настоящий успех приходил ко многим писателям постепенно. Скажем, роман «Тропы Алтая» не позволил ни критикам, ни читателям почувствовать подлинные размеры дарования С. Залыгина, а в первых повестях и рассказах В. Астафьева рецензенты находили куда больше недостатков и просчетов, чем достоинств. И если недоверие все же не сломило усилий этих писателей, то, кроме всего прочего, благодаря и тому, что высоко поднимали современное «сибирское слово» такие романы, как «Строговы», «Хребты Саянские», «Амур-батюшка».

Успех сибирских романов кое-кто попытался объяснить тем, что в них рассказывается, в общем-то, о мало кому по-настоящему известных землях и людях, находящихся за хребтом Урала. Тем и интересны.

Определение «региональная литература» любят за рубежами нашей страны. Оно давно бытует и в немецком, и во французском, и в американском литературоведении. К региональной литературе (то есть к литературе, замкнутой определенными географическими, этническими рамками и ставящей превыше всего интересы региона,

противопоставляя его всему остальному и не считаясь при этом ни с классовыми, ни с сословными, ни с какими иными чаяниями социальных групп) многие зарубежные ученые относят целую группу писателей-южан во главе с У. Фолкнером в США, писателей Прованса, Вандеи, начиная с Мистрала и кончая Э. Базеном — во Франции, видных немецких писателей, включая Ф. Ройтера и Т. Фонтане — в Германии.

В беседе с ответственным представителем издательства «Харпер энд Роу» на мой вопрос: «Почему в США не издаются романы и повести о Сибири?» — последовал ответ: «Мы не уверены, будут ли эти явления региональной литературы читаться в нашей стране». Между тем даже бывший корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» Г. Смит, издавший книгу «Русские» с целью доказать, что не питает симпатий ни к нашей стране, ни к нашему народу, ни к нашей культуре, однажды в припадке странной откровенности написал, что среди произведений, заслуживающих серьезного внимания американской общественности, есть такие, которые составляют как бы «хребет советской литературы — советские вестерны»: героические сказания о том, как новый мир пробивает себе дорогу в Сибири.

Всякая аналогия хромает, но удачно найденная или подсказываемая позволяет более отчетливо выявить отдельные стороны того, что сопоставляется. В данном случае хочется сопоставить ныне широко известные во всем мире произведения У. Фолкнера (со знаменитым «Особняком» в центре) и книги советских писателей о Сибири. Хочется еще и потому, что с первого взгляда в них много настолько похожего, что невольно возникает мысль о влиянии американского романиста на создателей Сибириады. С прямым вопросом я однажды и обратился к автору «Строговых» и «Сибири». Он ответил: «Над «Строговыми» я начал работать, когда мне было двадцать три — двадцать четыре года. К тому времени я знал европейскую литературу, читал американских писателей. Кого? Не Фолкнера, конечно. Читал прежде всего Джека Лондона. Но, кажется мне, влияние на меня как писателя он не оказал».

В северных рассказах Джека Лондона, в повествовании Уильяма Фолкнера о Йокнапатофе и в произведениях советских художников, пишущих с Сибири, много жесткого и жестокого. Деревенский кровосос Демьян Штычков избивает свою первую жену так, что она кончает петлей, вторую доводит до того, что та бросается в прорубь (одна из сильнейших сцен в романе «Строговы»).

Много страниц в произведениях отводится описанию то беспримерных загулов, развратных оргий, устраиваемых сибирскими богачами, то смертей от голода в тайге приискателей, беглецов с каторги (заплутавших в тайге, неизвестный золотискатель, когда у него кончились все припасы, кончает с собой последним зарядом в романе «Строговы», с чего и завязывается повествование). Стремящийся любой ценой разбогатеть и выйти в купцы Зимовской и его жена Василиса убивают за катеринку Захара Строгова; охотящийся за золотом и драгоценностями, запрятанными отцом в улюкьской тайге, Станислав Тихомиров ставит в лесу самострел на Алексея Краюхина («Соль земли»); братья-скопцы Агап, Агей и Агафон убивают с целью грабежа и спускают вместе с лошадей и санями в полынью Никифора — единственного наследника Епифана Криворукова; крестьянка Зинаида Новоселова убивает полицейского Карпухина, «изнуренная гнусными домогательствами наглеца и развратника в полицейских погонах», как сказано в большевистской листовке («Сибирь»). Все это — старое, прошлое — не уступает в своей свирепости тому, о чем рассказывает американский романист, изображая жизнь в Йокнапатофе.

Немало сходного во многом другом. И там и тут очень суровая земля. И там и тут под стать земле, сильные, тяжелого замеса люди; почти в каждом есть что-то густое, устоявшееся, неуступчивое и неодолимое. Живут они по своим неписаным, но непрекаемым законам и обычаям. Суровы и общественные и семейные нравы. Мужья круты с женами, детей воспитывают в строгости. Но по мере более глубокого погружения в сибирский мир обнаруживается, что большая часть его — люди тяжелого, но честного труда — сохраняет в себе и доброту, и потребность жить достойно, и верность данному слову. Честные сибирские труженики проявляют редкостную сноровку, ловкость, храбрость, предусмотрительность и осторожность, помогая ссыльному революционеру-большевику Ивану Акимову бежать из Нарыма через Томск в Стокгольм (в данном случае Г. Марков открыл реально существовавший «подлинный коридор», организованный большевиками; замыкающим в цепи людей, помогавших беглецам, был отец писателя). Когда же герои романа, движимые чувством справедливости, втягиваются в борьбу с царским самодержавием, в их душах обнаруживается удивительная человечность, переливающаяся через край, согревающая и читателя. Сталкиваясь с самыми страшными картинами жизни, они не

позволяют себе утратить надежду, ибо понимают, верят в пророческие слова М. Горького: «...несмотря ни на что, со временем люди будут жить как братья». В этом коренное отличие сибирских романов от американских вестернов.

Как бы ни был талантлив писатель, каким бы художественно совершенным ни являлось созданное им произведение, воздействие его на читателя в конечном счете определяется силой заложенного в нем внутреннего потенциала человечности. Он, этот потенциал, слагается из внутренней сущности персонажей, из их взаимоотношений, исканий, силы переживаемых ими чувств и страстей, из взгляда писателя на все изображаемое, из того, что Аристотель назвал загадочным словом «катарсис» — очищение, обновление души в результате соприкосновения с миром художника. Неотъемлемой составной частью потенциала человечности служит ощущение героями и их творцом обнадеживающей перспективы развития жизни, умение заглянуть в ближайшее и отдаленное будущее государства и человечества.

Чуть выше я цитировал слова Г. Маркова о том, что он не чувствует на своем творчестве влияния Дж. Лондона. «А вот под силой и обаянием Вячеслава Шишкова первоначально находился, — признавался писатель. — Но поскольку он видел в Сибири прежде всего зверства, насилия и недооценивал ее положительные начала, вскоре начал вступать с ним в спор».

По-новому ставя главную тему Д. Мамина-Сибиряка, В. Шишкова и других своих предшественников, показывая, как бешеная погоня сильных людей за наживой опустошает их духовно, как нередко разоряются и гибнут крестьяне, охотники и старатели, попавшие в жестокую кабалу к купцам, ростовщикам, жулакам, новое поколение советских писателей стремилось воссоздать картину социального пробуждения трудовых слоев Сибири, приобщения их к революционному движению, возглавляемому ленинской гвардией. Процесс очень непростой, впервые, пожалуй, запечатленный в судьбах Матвея Строгова, деда Фишки («Строговы»), Порфирия Коронотова («Хребты Саянские»).

Оттого что автору романа «Сибирь» удалось показать жизнь действительно во всей сложности и противоречивости, особенно впечатляющим выглядит скачок, совершаемый сибирским крестьянством в годы первой мировой войны. Счастливая идея показать его через восприятие несибирячки

Кати Ксенофонтовой, юной революционерки, остро замечающей все в непривычной для нее среде, дает большой художественный эффект. Вместе с Катей Ксенофонтовой встречаясь с сибирскими крестьянами в годы мировой войны, мы почти физически ощущаем, как, по словам Степана Лукьянова, коренное с места сдвинулось, с какой фантастической быстротой, говоря словами большевика Ивана Акимова, народ поднимается до высот революционной науки и борьбы.

Мысли о будущем лежат в основе и подоснове всех произведений Георгия Маркова. В романе «Сибирь» профессор Венедикт Петрович Лихачев, этот родной брат профессора Вихрова, энтузиаст, человек целеустремленной любви к земле, неуступчиво принципиальный при решении самых трудных проблем, приводит слова Ломоносова о значении Сибири в будущих судьбах России. Он понимает, что подлинное будущее принесет революция, возглавляемая большевиками.

И сам роман свидетельствует, что весь ход жизни идет как раз в этом направлении. Произведение заканчивается изложением основных тезисов многотомного сочинения Лихачева «Сибирь». Профессор надеялся обобщить результаты своих многолетних исследований любимого края. Смерть оборвала работу в самом начале. Из неосуществленной книги приводятся черновые наброски первых семи страниц. Один из главных героев романа и его автор встают перед нами как подлинные хозяева земли мыслящие всеохватно и пронзительно, относящиеся к ней мудро и рачительно. «Да, это мои мысли, вложенные в уста Лихачева. Это — итог моего личного изучения Сибири, ее геологии, природных богатств, истории их исследования», — скажет позже Георгий Марков.

Роман «Сибирь» написан «убористее», эконочнее, чем прежние произведения автора. Более десятка героев проходят через него. Автор сумел наделить каждого неповторимым обликом. «Все они равны, но каждый интересен по-своему, — восхищался рецензент на страницах братиславского журнала «Словенске погляды» — Так их мог изобразить автор, который в совершенстве знает тайгу, сибирскую деревню и сибиряков. Знает их речь, образ мыслей».

Многочисленные рецензенты отмечали, что в этом романе особенно чувствуется влияние Горького. Традицию великого писателя автор «Сибири» стремится развивать, в частности, рисуя своих правдоискателей,

акцентируя внимание на особенностях философского постижения ими мира, — профессора Лихачева, Окентия Свободного... Автор рассказывал, что испытал истинное наслаждение, когда у него в «Сибири» написался Окентий — «такой старик был; правда, подлинная его фамилия Лисицын. И вот когда я написал его и почувствовал, что правдиво и что сказал то, что хотел, я испытал счастливые минуты. Я понял: этот образ необходим в романе. Без Окентия не понять духовные искания крестьянства того времени». Сам принцип введения многих из таких «реальных людей» в произведение заставляет вспоминать то автобиографическую трилогию, то «Жизнь Клима Самгина» Горького. Попутно замечу, что в основе своей философия Лихачева смыкается с философией Окентия Свободного, а главный принцип ее: человек может стать бесстрашным богатырем, которому подвластно самое неподвластное, — с центральной идеей поэмы «Человек» М. Горького.

Примечательно то, что в творчестве писателя величайшие просторы Сибири не подавляют человека, а, наоборот, укрупняют его: богатырский край для богатырей. Монументальная картина в конце романа и предопределяет название произведения — «Сибирь». Скажем словами Кати Ксенофонтовой: «Все здесь обширное, могучее, крепкое и какое-то по-настоящему величественное»...

Прямо или художественно опосредованно основные темы и проблемы века, волнующие Георгия Маркова, сконцентрированы в новом романе «Грядущему веку» («Знамя», 1981 № 3, 1982, № 12). Описываемые события происходят в наши дни. Место действия — Сибирь, наша страна, Европа, мир. Главный герой — первый секретарь Синегорского обкома партии Антон Васильевич Соболев. Перед тем как занять этот пост, он учился в Москве, был на дипломатической работе, колесил по свету, встречался с людьми разных классов, сословий, положений, включая и мультимиллионеров. Но душой всегда оставался в родном сибирском Ромашкине. Он полюбил его и Москву раз и на всю жизнь.

Не скрывая несовершенных сторон нашего общества, рисуя и отрицательные фигуры, все еще нередкие в жизни, писатель выдвигает на первый план людей положительных, страстно заинтересованных в успехах своей страны. Рядом с образами Антона Васильевича Соболева и его жены Лены встают колоритные фигуры председателя ромашкинского колхоза Спиридона Сорокина, почти семидесятилетнего рыцаря земли и

солнца Софронникова, писателя Демьяна Ермолаевича Угрюмова-Вьюжного и других. Все они люди крепкие, сильные, энергичные, углубленные в повседневные заботы о нашем общем деле. Ознакомившись, например, с планом предстоящей мелиорации областей, Сорокин начал поход против его опасных несовершенств. Он приходит к заключению, что дело это начинают «не с того конца», в результате чего «как бы не ударила такая мелиорация поперек хребта», и начинает добиваться пересмотра присланного из Москвы плана.

Геолог Софронников внутренне близок ему и неукротимостью духа, и заботливым отношением к земле, на которой живет, и уверенностью, что все на ней надо делать не абы как, а с умом и вниманием, ибо все в природе, в мире, во вселенной взаимосвязано. «Два объекта интересуют меня всю жизнь, товарищ начальник,— говорит он Канатчикову.— Один из них — солнце, второй — земля». И когда Канатчиков спрашивает, что заставляет его «проситься в группу, на квадрат», Софронников отвечает:

«— Ах, милый человек. Это в двух словах не объяснишь. Прошу поверить мне... Убытка не принесу, а если успех будет, весь он без остатка будет общим. Личной корысти в этом ни капельки нет. Мне не надо ни дома под железной крышей, ни пестрой коровы с теленком... Поздно имуществу обрастать. Всю жизнь бежал от него, чтоб не стать рабом вещей.

Софронников погладил длинную бороду, кинул на начальника нетерпеливый взгляд. «Трусишь! А ведь ты молодой! Ты должен рисковать. Риск — удел по-настоящему молодых. Молодых душой», — говорил этот взгляд».

Как всегда у Георгия Маркова, рельефны картины сибирских просторов, рек, тайги. Вот герои вместе с итальянкой Элеонорой совершают прогулку на катере по Тулыму: «Правый берег был распахнут до самого горизонта. Залитые розово-золотистым предвечерним светом солнца бескрайние луга, изредка поросшие мохнатыми ивами, очаровывали своим спокойствием и простотой. А левый берег на этом плесе не меньше, а может быть, и больше манил и завораживал своей загадочностью и полной противоположностью берегу правому. Тремя мощными террасами, заросшими темными хвойными лесами, он поднимался в небо, насупившись, величаво молчал, отторгая даже солнечные лучи, которые разливались по речной глади, превращая ее в золотую дорогу между берегами».

В центре внимания писателя опять-таки

заботы текущих дней, проблемы нашего века, волнующие автора не одно десятилетие. Писатель берет главное звено, которое определяет их решение, и художественно убедительно показывает, какую напряженность, какой острый драматизм несет порой такое решение. Отменно в этом отношении написана глава, рассказывающая о беседе Соболева с Угрюмовым-Вьюжным о рукописи его последнего романа. Беседу несколько раз прерывают совершенно неотложные телефонные звонки, с впечатляющей силой доносящие до читателя весь размах, всю важность, трудность дел, непрерывно решаемых на уровне райкомов и обкомов.

В последние тридцать лет многие писатели брались за изображение руководящих деятелей советского общества. Чаще всего воссоздавались фигуры изживающих себя руководителей в их конфликтах с людьми, идущими им на смену. И так выходило, что и у В. Овечкина, и у Ф. Панферова, и у В. Кочетова, и у Ф. Абрамова, и у Н. Шундика, и у многих других образы первых получались намного ярче образов вторых. Георгию Маркову и тему эту, и связанные с нею конфликты и образы удалось повернуть к читателю сугубо позитивной стороной. В результате характер того же Соболева завязан так, что может перерасти в тип как явление эпохи.

Роман «Грядущему веку» возводится на фундаменте предшествующего творчества писателя, с постоянной оглядкой на лучшие достижения литературы прошлого — неспроста в нем с восхищением говорится о «Войне и мире», «Анне Карениной» Льва Толстого, «Тихом Доне» Михаила Шолохова. Жизнь наша рассматривается в нем с самых различных точек зрения, показывается через восприятие то рядового колхозника, то ответственных работников Госплана или министров. Всю авансцену романа занимает наша сегодняшняя жизнь, в глубинах произведения прошлое и современность выступают в неразрывном единстве да еще освещенные светом отдаленной перспективы.

По опыту жизни, социальному положению, профессиональным навыкам герои нового романа Георгия Маркова — люди, мыслящие конкретно и социально определенно. Для них принцип классового, партийного подхода ко всем явлениям жизни столь же естествен, как дыхание. И именно это позволяет им воспринимать мир с предельной углубленностью. Конкретно и значительно все, что говорят Соболев, Софронников или Спиридон Сорокин. Разве может кого-то

оставить равнодушным его утверждение, что в Сибири воды совсем не так много, как постоянно утверждается? Слова вице-президента Академии наук тоже одновременно конкретные и глобальные. «Берегите воду,— говорит он Соболеву.— Ее не так много, как нам кажется. Она поддерживает сейчас тот уровень взаимодействия частей природы, который обеспечивает жизнь. Всякое нарушение этого равновесия опасно. Проблема эта и теоретическая и практическая. И не забудьте о ваших торфяниках. На территории Синегорья лежит сундук с сокровищами национального значения. Пока о нем мы мало знаем, но пробьет и его час. Учтите, торфяники пока заводнены и все еще растут. Не рискуйте их без надобности или, что еще хуже, неумело, скоропостижно осушать. Они пронизаны смоляными веществами, склонны к самовозгоранию и могут превратиться при легкомысленном отношении к делу в пороховой погреб гигантского масштаба. Уверен, что вы доживете до того дня, когда они потребуются Родине для ее больших нужд».

В день, когда Георгию Маркову исполнилось семьдесят лет, Павло Загребельный написал на страницах «Литературной газеты» слова, которые хочется привести здесь: «Свыше сорока лет, начиная от появления первых глав романа «Строговы», создает Георгий Марков неповторимый художественный эпос Сибири, называет на золотую нить новые и новые драгоценные жемчужины: «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь». Читая эти романы, которые как бы продолжают друг друга («Строговы» и «Соль земли» связаны даже общими героями), невольно вспоминаешь слова Горация об удовольствии перечитывать особо понравившиеся творения. Сила и мощь родной земли писателя сливаются в этих книгах с величием и мудростью людей, живущих на ней, и мы присутствуем при рождении подлинного чуда искусства: героем книг становится не только человек, но и его великая земля — Сибирь, исполненная мощи, тайн, красоты, богатств и надежд».

3

В связи с поставленной темой я останавливаюсь здесь лишь на самых крупных произведениях Сергея Павловича Залыгина — «Тропах Алтая», «На Иртыше», «Соленой Пади», «Комиссии». Мне кажется, в этих произведениях, посвященных человеку, тесно связанному с сибирской землей, с природой, развернулся по-настоящему художественный талант писателя; именно

они выдвинули Сергея Залыгина в первый ряд советских прозаиков. «Это действительно большой писатель, из-под его пера выходят живые люди с кипучей кровью, их страсти задевают и волнуют нас, проблемы, которые стоят перед ними,— это и наши проблемы; и характерно — писатель все время в поисках, в движении, в раздумьях», — писал критик Ю. Андреев.

Силы свои в литературе Сергей Залыгин попробовал еще до войны. А его «Северные рассказы» публиковались в 1944—1947 годах в «Омском альманахе» и «Сибирских огнях». Первый роман «Тропы Алтая» вышел за два года до пятидесятилетия писателя. До этого С. Залыгин прошел большой жизненный путь. Был инженером-мелиоратором, гидрологом, извездил Сибирь вдоль и поперек, вел научные исследования, выступал как публицист, поднимая острые проблемы использования богатейших ресурсов Севера.

В романе «Тропы Алтая», посвященном, по определению самого автора, труженикам науки черновой, повседневной, не сопровождающейся громкими открытиями, но единственно подготавливающей их, этот публицистический опыт сослужил ему добрую службу. «Я думаю, вы понимаете, — скажет он впоследствии в беседе, — насколько сложно, прекрасно, опасно, ответственно — возделывать землю. В «Тропах Алтая» я пытался начать такой разговор, но у меня тогда был опыт не очень значительный и рассуждения получились, может быть, немножко умозрительными».

Писатель вложил в роман свои жизненные наблюдения. Вообще «Тропы Алтая» — наиболее «личное» его произведение в том смысле, что автор поставил в нем проблемы, волнующие Сергея Залыгина, ученого — мелиоратора и гидролога. Писатель щедро раздает героям собственные размышления о природе, географии, лесах, полях... Роман привлек внимание читателя и этими проблемами, и внутренним повествовательным запалом, и страстностью споров, которые ведут герои о доброте, честности, справедливости, и самим материалом, и описанием природы Алтая.

По-новому социально и философски ставится в романе вопрос об отношении к природе, которое понимается как выражение социалистической или несоциалистической сущности человека; здесь ответ на вопросы: каков ты человек? каков ученый? что о себе думаешь? Именно это — показать, как выявляется социалистическая сущность человека в деле, и стремился автор «Троп Алтая», создавая образы Рязанцева, Верши-

нина-младшего, старого сибиряка Ермила Фокича Шарова, влюбленного в работу мараловода. Каждая глава романа имеет своего центрального персонажа, что позволяет читателю пристальнее присмотреться к нему и вместе с тем увидеть одно и то же событие с разных сторон, глазами разных людей. Хотя и мешает это писателю показать героев в росте, развитии; он лишь как бы выявляет их сущность в момент встречи с читателем. Такая манера повествования не позволяет по-настоящему заглянуть в будущее героев.

В книге «Человек на земле» Вс. Сурганов вычертил интересную кривую углубления Сергея Залыгина в деревенскую жизнь на протяжении более двадцати лет. В 1953 году в качестве корреспондента «Правды», а затем «Нового мира» писатель отправился на берега Иртыша, а в следующем, 1954 году выступил с принесшей ему всесоюзную известность серией очерков «Весной нынешнего года». С высоты текущих дней, их проблем Сергей Залыгин обратился к прошлому, написав повесть «На Иртыше», потом заглянул еще глубже — во времена борьбы с Колчаком в Сибири, в результате чего возник роман «Соленая Падь», а чуть позже написал о периоде, предшествующем революции, изобразив его в романе «Комиссия». Такой «обратный ход» дал писателю определенные преимущества по сравнению с его предшественниками, но был чреват некоторой опасностью непропорционально гипертрофировать какие-то частные явления того времени, не имеющие столь решающего значения, как может показаться сегодня. В названных произведениях Сергея Залыгина отчетливо звучат чувства и убеждения, о которых он сам в 1969 году сказал так: «Тема деревни — нечто более закономерное для меня (нежели тема городской жизни. — А. О.), у меня есть ощущение обязательности по отношению к ней. Я получил сельскохозяйственное образование, изучал производственную сторону деревенской жизни... Дальше: я чувствую корни своей нации именно там — в деревне, в пашне, в хлебе самом насущном. Еще дальше: видимо, наше поколение — последнее, которое своими глазами выдало тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без малого все и каждый. Если мы не скажем о нем и о его решительной переделке в течение короткого срока — кто же скажет?»

Повесть «На Иртыше» вызвала длительные острые споры как в критике, так и среди читателей. Кое-кому из критиков казалось, что автор стремится переосмыслить историю коллективизации, вступая в спор с

самим Михаилом Шолоховым, но кладет в основу сюжета совершенно нетипичный случай.

Образцового крестьянина-середняка Степана Чаузова, вступившего в колхоз и начинающего трудиться в нем не за страх, а за совесть, по чистой случайности объявляют «носителем индивидуализма и собственничества» и «за болото» ссылают, то есть поступают так, как поступали в 1931 году с кулаками. Виною тому чересчур ортодоксальный руководитель Корякин («И давно он задумал жизнь эту на другой лад повернуть, и нету слова того, чтобы Корякину стало поперек: он враз перешагнет»). Эта, по определению А. Макарова, «самобытная фигура тех лет», человек из тех, что, «будучи сами порождением деревни... уходя в город, становились непримиримыми противниками устоев старой деревенской жизни и не останавливались ни перед чем, чтобы разметать ее сразу дочиستا».

Сила писателя в том, что он далек от прямолинейного изображения характеров, видит зерно правды в речах крестьян, но не отбрасывает напрочь и беспокойство Корякина. Чаузова со всей семьей ссылают — критики на этом основании пытались сделать далеко идущие выводы о том, будто автор считает, что коллективизация подрезала пол корень главную производительную силу деревни — умного, хозяйственного мужика. Эти выводы не только не вытекают из произведения, а прямо-таки идут вразрез с основным пафосом.

Страницы, посвященные спорам крестьян о новой жизни, новой власти, подводят читателя к неколебимому убеждению: мужики озабочены не тем, быть или не быть колхозной жизни, а тем, как «коллективность осуществить практически, как ее организовать» так, чтобы она «правильная была, без порчи...».

Валентин Овечкин писал Александру Трифоновичу Твардовскому о повести «На Иртыше»: «Маленькая вещь, а мыслей много возбуждает, тема большая».

Справедливости ради следует сказать, что некоторые из вопросов, жарко обсуждаемых колхозниками (например, вопрос о взаимоотношениях руководителей колхозов и руководимых, отношение к планам посева, спускаемым сверху, или, как говорится в повести, добровольно-принудительно), подсказаны писателю последующими этапами колхозного движения, трудностями его развития, не раз отмечавшимися в партийных документах. Это призывало повести в момент ее появления дополнительные

ную остроту звучания, вызывая, однако, критические упреки в нарушении принципа строго исторического изображения нашей действительности. В целом же повесть справедливо оценивалась как несомненное достижение литературы, как крупное художественное явление.

В отличие от повести «На Иртыше», созданной преимущественно по личным наблюдениям, оставшимся в памяти со времени коллективизации роман «Соленая Падь» возник на основе глубокой и всесторонней работы над реальными историческими документами. «В свое время при изучении материала, — рассказывал мне автор, — я законспектировал более 100 тысяч страниц разных книг и документов, прочел более двух тысяч газет того времени» Около 200 реальных документов либо целиком, либо в виде цитат, либо художественно трансформированными вошли в произведение, придав повествованию иллюзию абсолютной достоверности, усиливаемую еще тем, что почти все описываемые в романе события гражданской войны в Сибири строго датируются писателем. «„Соленую Падь“ я переписывал раз семь-восемь...» — признавался автор в беседе с Л. Лазаревым.

Гражданская война в Сибири... О ней писали Вячеслав Шишков и Всеволод Иванов, Владимир Зазубрин и Павел Дорохов. О ней «Рассказ о необыкновенном» М. Горького и признанный советской классикой роман «Разгром» Александра Фадеева. Написанные по горячим следам событий, многие произведения о гражданской войне в Сибири воспринимались читателями почти как документальные, ибо создавались или прямыми участниками событий, или по свидетельствам современников. Порой даже в самых глубоких из них акцентировалось внимание на элементах стихийности, партизанщины в великом движении, что, соответственно, вызывало другую крайность: осознанная борьба за советскую власть изображалась чаще всего как результат напора со стороны партийных функционеров. При этом вольно или невольно приуменьшалась и самостоятельность сибирского крестьянина, отмеченная в свое время В. И. Лениным, и недооценивался тот факт, что процесс соединения революционной энергии народных масс Сибири с революционной сознательностью вызывал цепную реакцию — поворачивая штыки против Колчака, за советскую власть, трудящиеся Сибири неизбежно приходили тем самым и к социализму. А происходило это потому, что лучшие из них задолго до появления Колчака, еще

в окопах первой мировой войны, приобщились к социалистической пропаганде или были подготовлены кипением классово-борьбы в стране к восприятию идей социализма, тем более что, имея некоторое специфическое своеобразие, классовая борьба в Сибири развивалась все-таки по общим законам.

С такой идеологической высоты попытались посмотреть на жизнь Сибири писатели Георгий Марков, Сергей Сартаков, Константин Седых, Николай Задорнов, Сергей Залыгин.

Думается, справедливо будет сказать, что более широкий угол зрения позволил Сергею Залыгину глубже взглянуть на действительность, изображавшуюся его предшественниками, и поэтому во многом по-новому показать ее, нарисовать более объемно, многослойно образ народа, борющегося за утверждение советской власти.

По воспоминаниям А. Кондратовича, в беседе с Сергеем Залыгиным его роман Александр Твардовский назвал очень хорошим, так пояснив автору свою оценку:

«— Ведь о гражданской войне вообще и в частности в Сибири много написано до вас. А вы не повторились, сказали свое, и очень существенное, слово. Может, я ошибаюсь, преувеличиваю достоинства романа, но мне кажется, что в нем впервые широко дана народная философия революции, то, как народ понимал революцию. И потому меня в вашем романе несколько не утомляют бесчисленные разговоры мужиков — наоборот, я их читаю с наслаждением и громадным интересом, многие из них прекрасны. А как вы начали роман великолепно. С первых сцен, когда Мещеряков освобождает Власихина от смерти и происходит стычка его с Брусенковым, мы еще не знаем, как дальше пойдет дело, кто будет прав, Брусенков или Мещеряков, но мы уже полюбили Мещерякова, он уже нам нравится. И тут начинает действовать один из законов искусства, мы уже можем многое простить обаятельному человеку — и то, что он неожиданно загулял, и его роман с прасолихой при верной жене, и всякое другое, как прощают человеку, когда его любят. Это очень хорошо. А что было потом с Мещеряковым? Ведь это, кажется, партизанский командир Мамонтов?»

— Не совсем так, — отвечает Сергей Залыгин, — в Мещерякове есть черты и других людей. Но много и от Мамонтова, так что в известной мере он прототип Мещерякова, но с этой оговоркой...»

Сущность конфликта сводится к вопросу о том, какой должна быть новая, советская

власть, какими методами дозволено пользоваться ее представителям, как должны строиться взаимоотношения между руководителями и руководимыми, наконец, какой ценой предстоит советской власти утвердиться. Брусенков отождествляет собственное мнение с мнением народным, утверждает, что революция не должна считаться ни с какими жертвами.

В критике доказывалось, что безудержный отрицатель, фанатик разрушения Брусенков отнюдь не чистая выдумка писателя, он несет в себе определенную жизненную правду, воплощает черты тех людей, что явно переоценивали силы контрреволюции и недооценивали творческий, созидательный потенциал народных масс, не доверяли их разуму и их революционному инстинкту. Другой вопрос, был ли конфликт между такими людьми, как Брусенков, и всей массой, борющейся за торжество революции, настолько значительным, что чуть ли не отодвигал на второй план все остальное? Иначе говоря, не нарушается ли писателем принцип исторически-конкретного изображения действительности?

Конечно, в разгар гражданской войны существовали и брусенковские, например инициаторы «расказачивания» на Дону или «революционеры из страха» перед деревней вроде Троцкого или Зиновьева, которые «власти хотели, больше ничего». Но на этом основании конфликт с ними делать чуть ли не равным конфликту между красными и белыми значит неимоверно преувеличивать и их реальные силы, и их влияние на ход народной революции. Большинство исторических фактов не подтверждают варианта, предложенного Сергеем Залыгиным. Но это не должно помешать нам увидеть несомненные и крупные достоинства «Соленой Пади».

Валентин Овечкин в начальной части романа находил элементы стилизации, замедленность в развитии характеров, зато вторая ему понравилась и тем, что «намечалось развитие сильных характеров, ведущее к сильным столкновениям», и тем, что «характеры — не простые, сложные, интересные, не сразу раскрываются». Он уловил здесь тенденцию, которая вслед затем мощно проявится в литературе второй половины 60-х—70-х годов.

«Как и в повести «На Иртыше», сюжет «Соленой Пади», — утверждает Л. Теракопьян, — повернут в грядущее. Главным предметом исследования становится то, что будет жить, получит продолжение, конфликты, завязанные этим временем, но порой не до конца решенные им». Здесь одно из

очень важных наблюдений о поливалентности повествования в произведениях Сергея Залыгина, той поливалентности, которая позволила улавливать в них иллюзии, провидеть аналогии, рассматривать их как некий отклик на злободневные проблемы, волновавшие советских людей в годы написания произведения.

Неколебимая вера в творческие силы народа, органическое чувство собственной ответственности перед революцией, твердое убеждение в том, что революция творится ради действительного счастья народа, наконец, сугубо хозяйственное, бережное отношение ко всему большому и малому, определяют мысли и поступки главного героя романа Мещерякова, создаваемого писателем с нескрываемой любовью и восхищением. Автор наделил его лучшими чертами характера, поступками и мыслями, какие только могут проявиться у талантливого человека из народа.

Симпатии писателя к Мещерякову отнюдь не приводят к идеализации героя. Об успехах и слабостях Мещерякова писатель умеет рассказать именно как о промахах, ошибках или вынужденных обстоятельствах проступках талантливого, внутренне честного, чистого и потому заслуживающего снисхождения человека.

В художественном отношении Мещеряков — лучший после фурмановского Чапаева образ народного командира, выдвинутого крестьянством в годы гражданской войны. Образ народа в романе дан Сергеем Залыгиным объемом, многослойно, стереоскопически. Это позволило чешскому критику Ярославу Секере определить «Соленую Падь» как «высокоиндейный роман и роман идей».

В повести «Комиссия», по времени действия предшествующей «Соленой Пади», но написанной после «Южноамериканского варианта», Сергей Залыгин показывает жизнь в еще более сложном и многозначном варианте. Жители сибирской деревни Лебяжка осенью 1918 года много спорят о той новой власти, ради которой совершилась революция, и самой революции, о том, ради чего она начата. Большинство сходится на том, что новая власть должна «поставить жизнь на место, а то и поздно будет, рассыплется и разорится она вконец, порушится единство ее с землей, земля — это будет одно, а жизнь на ней — что-нибудь совсем уже другое», сделать же это можно лишь на основе новой государственности, исходящей из принципа «государства не может быть без народного разума, а народа — без государственного». Государственность же должна

руководствоваться идеей бережения людьми всей природы и земли, на которой они существуют, и — уважением к мужику как к началу всех начал.

Не следует забывать, что все герои «Комиссии» — мужики, крестьяне. Поэтому и о власти они судят со своей позиции, что не мешает высказывать самые несхожие мнения. Вопросы ставятся глубоко, действительно каждый раз с желанием дойти до корня.

Можно спорить о том, насколько органично вошли в роман сказки, легенды, предания, связанные с основанием Лебяжки, несомненно, однако, что вместе с реальными сценами крестьянского труда, описаниями крестьянских забот, а также сибирскими пейзажами они придают «Комиссии» неповторимую поэтичность, превращая ее в энциклопедию жизни, запечатлевшую, между прочим, то, что получило название митингового периода в истории нашей революции. В Сибири он проявился по-своему, что и отразил Сергей Залыгин, взяв для изображения канун начала гражданской войны в этом регионе страны.

Воссоздание народного многоголосия — сильная сторона произведений «На Иртыше», «Соленая Падь», «Комиссия». Автор ими непосредственно продолжает лучшие традиции советской литературы, идущие от произведений М. Горького, М. Шолохова, А. Толстого. Польский критик Здислав Романовский заметил, что Сергей Залыгин в «Комиссии» как бы продолжает главную мысль «Сибири» Георгия Маркова.

4

«Сергей Сартаков до глубины души и навсегда «сибиряк». Почти все книги его о Сибири. В них читатель найдет поэтическое описание суровой и прекрасной природы. Но не только красотой и несметным богатством земли славен тот край. В Сибири и люди особой закалки. Писатель знает и любит их, сильных, гордых, отважных. И вместе с тем простых, понимающих и знающих цену шутки, меткого слова. Они — герои книг С. Сартакова». Эти верные слова были сказаны Марией Прилежаевой прежде всего в связи с «Хребтами Саянскими».

Невозможно двумя-тремя фразами охарактеризовать фундаментальный роман, принесший автору широкую известность. В центре произведения судьбы нескольких рабочих семей — Порфирия и Лизы Коронотовых, Ивана и Груни Мезенцевых, Филиппа и Агаши Чекмаревых и других. Но именно в центре, а от него разбегаются лучи, нити, дороги во все стороны Сибири —

в единстве ее прошлого, настоящего и будущего; представлена она глубоко, объемно, со своим бытом, нравами, обычаями, песнями, легендами, поверьями, экономикой и географией, природой и атмосферой, запахами земли, сиянием солнца, чистотой снегов, непроглядностью ночей, лютостью морозов. Более ста персонажей приносят с собой в произведение множество сюжетных линий. Одна из них, наиболее плодотворная, связана с деятельностью революционера-ленинца Михаила Лебедева, другая — с горестно-величавой судьбой Павла Бурмакина, третья — с трагедией переселившейся в Сибирь семьи Фесенковых... Эти линии органически связаны с повествованием о жизни и судьбе Порфирия Коронотова, его семьи, всех, выковывающих из него революционера, позволяя нам уподобить это повествование Енисею: в мощном беге своем к океану он подхватывает по пути множество рек, становясь все полноводнее и несокрушимее.

«По впечатлениям юности, — рассказывал мне Сергей Сартаков, — я начал писать мой исторический роман «Хребты Саянские». В основу его легла невыдуманная встреча в тайге с Порфирием, будущим героем книги, встреча, которая потрясла меня, тогда еще четырнадцатилетнего парня, на всю жизнь да, собственно, впоследствии сделала литератором». Кто знает, не забрось однажды судьба юного сибирского охотника и шишкобоя на сиротливую зимовьюшку в толще Саян, возможно, и не было бы писателя Сергея Сартакова. Чтобы из перенасыщенного раствора вырос кристалл, нужна песчинка. Роль такой песчинки в судьбе будущего автора «Хребтов Саянских» и сыграла встреча с человеком по имени Порфирий, который, узнав, что у его жены Лизы ребенок не от него, а от другого, ушел из Нижнеудинска в тайгу и прожил там больше двадцати лет.

Сама по себе необычная, эта история еще больше поразила будущего писателя, когда ему удалось выяснить, что собственной вины у Лизы перед мужем не было. И что после его ухода она в поисках куска хлеба оказалась на строительстве железной дороги, познакомилась с подпольщиками, за разбрасывание листовок попала в тюрьму и в 1906 году была расстреляна карательным отрядом генерала Меллера-Закомельского.

Погрузившись в изучение архивных материалов, Сергей Сартаков почувствовал неограниченный простор для изображения всех сфер городской и деревенской жизни Сибири, всех пластов ее, всех социальных групп, для художественного воспроизведе-

ния того, что удерживала его память еще от поры, когда семья жила в Омске (С. Сартаков родился 13(26) марта 1908 года — сегодня ему ровно семьдесят пять!), а отец работал стрелочником, проводником вагонов, осмотрщиком, сцепщиком их. Позже они переехали сначала в Нижнеудинск, а потом поселились в глухом таежном местечке, состоявшем всего из четырех дворов. В юности (до переезда в Минусинск в 1928 году) Сергей Сартаков перепробовал множество профессий. Позднее, после того как отслужил в рядах Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, он окончил финансово-экономические курсы и поступил на работу в трест Севполярлес, извездил всю Восточную Сибирь, общался с сотнями людей, обогащавших его все новыми знаниями. Значительнейшую часть своих наблюдений он и вложил в роман «Хребты Саянские», над которым проработал в общей сложности восемнадцать лет.

Роман «Хребты Саянские» при всей поэтичности выткан из суровой пряжи; он документален не только там, где повествует о реально-исторических событиях, например о русско-японской войне, о революционных событиях на Транссибирской магистрали или о карательной экспедиции Меллера-Закомельского, но и в описаниях, скажем, тайги, как она запечатлелась в русском фольклоре. Нетрудно установить, что прототипом сибирского городка Шиверска, где разворачивается главное действие романа, послужил Нижнеудинск, а многие из описываемых событий переносятся сюда из Омска, Красноярска, Читы. Достоверность описания реальных гор, рек, озер, лета, осени, зимы, весны в Саянах не мешает, а помогает писателю достигать неподдельной поэтичности. Этому способствует также художественная обработка многих оригинальных легенд, вводимых в повествование: они придают книге глубину и многозначность, ибо почти все несут в себе философский подтекст, а то и поднимаются до значения символов. И, всегда согретые лирическим дыханием автора, утепляют повествование, что так необходимо, когда изображается жизнь суровая, сопровождающаяся ожесточенной борьбой.

Параллельно с работой над романом «Хребты Саянские» Сергей Сартаков (и это его особенность как писателя, заявляющего: «Люблю работать на параллелях») создавал произведения о людях наших дней: цикл рассказов об Алексее Худогонове (1945), повести «По Чунским порогам» (1946), «Журавли улетают на юг» (в первом издании вышла под названием «Плот идет на

Север», 1949), рассказы, составившие сборник «Село далекое» (1947). Три года спустя после написания названного цикла рассказов об Алексее Худогонове автор вернулся к нему, расширил повествованием о Катюше Худоговой, превратив его в повесть в рассказах «Каменный фундамент» (1950), разветвляющуюся как четырнадцать тематически и сюжетно связанных между собой новелл. Одновременно, увлекшись театром, он пишет несколько пьес («Хребты Саянские», «Песня над рекой» и другие). Иначе говоря, образ нашего современника создается писателем в прямых внутренних переключениях, притяжениях и отталкиваниях с образами тех, кто совершил социалистическую революцию и утвердил в России новое общество.

Путь человека к высокому званию рабочего Сергей Сартаков стремится изобразить, рисуя героев, которые любят свое дело до самозабвения, стремятся достичь совершенства, превращая свой труд в искусство. Можно сказать: у них горьковское понимание своего значения в жизни!

Читая рассказы 40-х годов, ощущаешь напряженный рост художественного мастерства писателя. Как по ступеням лестницы, он поднимается к двум своим этапным произведениям — роману «Ледяной клад» и трилогии «Барбинские повести». В сущности, взятые в единстве с предшествующими рассказами и повестями, они представляют собой развернутое повествование о советском рабочем в эпоху перехода страны к зрелому социализму. «Проблема «человек и его дело», — отмечала болгарская исследовательница К. Топчиева, — ключевая проблема произведений на рабочую тему. Активное отношение к своей работе, творческое стремление глубоко овладеть ее спецификой, тесная связь с достижениями современной науки — вот что характерно для сегодняшнего рабочего. Таков герой повести «Право выбора» М. Колесникова, таков Костя Барбин и его товарищи в «Барбинских повестях» С. Сартакова. В том же плане решается основная нравственная проблема и в повести «Сказание о директоре Прончатове» В. Липатова».

В «Барбинских повестях» Сергею Сартакову удалось создать образ нравственно и физически здорового, удивительно непосредственного человека, у которого силушка по жилочкам так и переливается. Он жизнерадостен, самоуверен и оттого, что имеет работу по душе, и потому, что его сила ему в радость.

Когда автор «Барбинских повестей» познакомил меня с письмами, полученными от

читателей, мне бросилось в глаза то, что читатели обращались не к автору, а непосредственно к самому Косте Барбину. Они поверили сразу в его существование, считали его автором повестей. «Бывает и так,— писала Н. Гавричева из Москвы,— прочтешь книгу — и захочется сказать автору «спасибо». Но то, что я испытываю сейчас, это впервые: мне мало сказать Вам «спасибо», хочется найти слова еще лучше и благодарнее. Я совершенно ничего не знаю о Вашей жизни и не хочу интересоваться Вашей биографией, для меня Вы так и останетесь Костей Барбиным. Хочу признаться, что я Вам завидую: как Вы любите Енисей, Машу, правду. Читаю и всему, всему верю, а на душе так, будто очень хорошо поговорила с человеком, который так же хорошо тебя понимает. Для меня теперь красивее и интереснее Енисей ни одной реки не существует...»

В принципиальной полемике с произведениями, в которых в той или иной степени проявились тенденции дегероизации, создавал свои «Барбинские повести» Сергей Сартаков. Отвечая тем, кто вдруг усомнился в героических началах нашей жизни, крупнейший советский скульптор Е. Вучетич говорил: «Прелесть и красота нашей жизни и заключается в том, что нам не нужно придумывать людей, в которых воплощен нравственный идеал эпохи. Люди эти постоянно возникают перед нами в трудовых буднях советского народа». Углубившись в наши будни. Сергей Сартаков открыл характер человека эпохи постепенного перехода от социализма к коммунизму, характер Константина Барбина. В него писатель вложил свои наблюдения, накопленные за более чем десятилетнюю жизнь и работу на Енисее. Уже тогда, по его словам, у него стал «складываться собирательный образ молодого матроса. образ, в котором собственной писательской выдумки было очень немного. Это скорее походило на последовательный подбор по порядку отдельных листков, развеванных порывом речного ветра. Соединились они все вместе, и получилась цельная рукопись жизнеописание вступающего на самостоятельный путь славного, честного, рабочего парня не просто типичного — во множестве типичного».

Демагогическим рассуждениям о якобы присущей советской литературе боязни критических нот Сергей Сартаков противопоставил в третьей части цикла принципиальный и мужественный рассказ об отрицательных явлениях, которые еще обременяют новое общество. Он нарисовал отталкивающий образ инженера Владимира

Мухалатова, хитрого, циничного современного Растиньяка, порожденного упрощенным пониманием требований, предъявляемых к человеку эпохой научно-технического прогресса. Всей художественной логикой «Барбинские повести» утверждают читателя в том, что социалистический строй требует непримиримой борьбы с мухалатовыми. Герой «Ледяного клада» Николай Цагеридзе называл это активной честностью строителей и защитников нового мира. «Есть честность пассивная,— размышлял он.— Человек живет и держит себя строго в рамках и границах норм установившейся общественной морали. И есть честность активная. Она сама для себя добровольно поднимает эти нормы и создает новые нравственные законы, суть которых — человек готов сделать не только то, что он обязан сделать. Он готов отдать всего себя, если это нужно, если это полезно обществу, народу». Такая честность и определяет непримиримость положительных героев Сергея Сартакова ко всему антиобщественному, подлому — к шкурничеству и карьеризму, тщеславию и беспринципности... Она и есть та доминанта, на развитии которой писателем созданы характеры Кости Барбина, Маши Терсковой, академика Рощина. Она и кристаллообразующее начало образа главного героя романа «Философский камень», признаваемого критиками лучшим созданием Сергея Сартакова.

Этим романом (над ним автор работал с 1956 по 1970 год) завершается в творчестве писателя целостное повествование о России начиная, по крайней мере, с 1892 года и кончая современными днями. В центре романа «Философский камень» все тот же человек революционной мысли и действия, стойкий и отважный борец. Время действия — с конца гражданской войны в Сибири до гражданской войны в Испании. Описываемые события происходят в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве и за пределами нашего государства. Главный герой — Тимофей Бурмакин, сын Павла Бурмакина, запомнившегося нам по роману «Хребты Саянские».

«Философский камень» — произведение сурово-драматическое, поскольку в высшей степени драматична судьба Тимофея Бурмакина и будущей жены его Люды Решиковой. Образы их выписаны с предельной отчетливостью. Психологически они разработаны глубже, чем другие персонажи в предшествующем творчестве писателя. Уже из названия романа следует, что речь идет о попытке героя проникнуть в основу основ, разгадать пружины, движущие миром, отыс-

коть наконец тот «философский камень», что являлся заветным для тысяч ученых на протяжении веков. Тимофей Бурмакин с сибирским упорством движется к поставленной цели, не теряя ее из виду и тогда, когда собственная жизнь осложняется до предела.

Написанный остро, занимательно, с искусным использованием элементов детектива, «Философский камень» вместе с тем, говоря словами его автора, «не только роман действия, или, как принято говорить, «событийный», но и роман мировоззренческих, серьезных философских исканий». Он избилует диспутами героев на философские темы, размышлениями в форме писем или внутренних монологов героев, прямыми столкновениями разных точек зрения. Жизненное кредо борцов за социалистическое общество формулирует Тимофей Бурмакин: «Нет, не дано человеку безвольно отдаваться течению времени. Не дано ему права перекладывать свои обязанности на кого-либо другого, пока он способен выполнять их сам. Ты малая частица в круговороте жизни, но вместе с тем ты главная его основа. Потому что жизнь — это движение, развитие, извечная борьба добра со злом, в которой нельзя отступить ни на шаг, не предавая тем самым весь смысл человеческого бытия».

Нельзя не порадоваться авторской удаче в главном и нельзя не согласиться с мнением писателя, выраженным в словах: «Теперь, когда закончен и опубликован роман «Философский камень», начатый в 1956 году, а задуманный много раньше, мне кажется, что именно он с наибольшей отчетливостью передает мои взгляды на жизнь, на смысл человеческого бытия на планете, имя которой столь величественно — Земля, и которая может стать еще величественнее и прекраснее, когда люди, уничтожив классовые различия, станут единой коммунистической семьей всех народов, ее населяющих».

В историко-революционном романе «А ты гори, звезда» (1974) Сергеем Сартаковым изображается Россия на протяжении двадцати лет жизни — с 1892 до 1913 года. Центральная фигура героя — профессионального революционера Иосифа Федоровича Дубровинского (Иннокентия) — позволяет писателю нарисовать в произведении самые разные географические и социальные слои (курские деревни, пораженные страшным голодом 1892 года, первые марксистские кружки, возникающие в Курске, Орле, Калуге, знаменитый московский «Рабочий союз»), дать описание жизни марксистов, отбывающих ссылку в Вятской губернии,

развернуто показать, как претворялся в жизнь ленинский замысел создания могучей партии революционного пролетариата России с помощью общерусской марксистской газеты «Искра». Политическая борьба становится не только атмосферой, но и главным действующим лицом романа. Астрахань, Саратов, Орел, Курск, Москва, Петербург, Кронштадт, Финляндия, Женева, Лондон, Париж, Давос, Туруханск... На страницах романа автор выводит десятки, если не сотни людей всех классов и сословий: здесь и измученный голодом и холодом дед Андрей Дилонов, и глумящийся над «недоимщиком» старшина Польшин, и лощеный палач в белых перчатках Зубатов, и царские министры Сипягин и фон Плеве...

Нарисованные писателем картины жизни народной — курских, вятских крестьян и астраханских, петербургских рабочих — показывают неминуемость борьбы между низами и верхами. Тщательно изучив мемуарную литературу, архивные документы, относящиеся к истории первых марксистских кружков в России, их деятельность, Сергей Сартаков воссоздает образы зачинателей: петербургского рабочего Василия Сбитнева (заставляющего нас вспоминать одновременно Ивана Бабушкина, Василия Шелгунова и Михаила Калинина), автора бессмертной песни «Смело, товарищи, в ногу» Леонида Радина, профессиональных революционеров Михаила Владимирского, Дмитрия Ульянова...

Развенчивая легенды о жизни ссыльных марксистов, создававшиеся ренегатами вроде Н. Бердяева, С. Булгакова и выдававшиеся за подлинную правду, скажем, в очерках «В плену», в романе «Пруд», в рассказе «Новый год» Алексеем Ремизовым, Сартаков рисует эту жизнь как подлинно героическую

Изображение жизни замечательного революционера Дубровинского позволило Сергею Сартакову открыть перед современными читателями широкое окно в революционное прошлое, помогающее увидеть глубинные истоки героизма, мужества, творческой неистощимости и дерзания, исторического оптимизма, отличающих и ныне строителей и защитников социализма. Можно без труда обнаружить немало черт, сближающих того же Костю Барбина с молодым Дубровинским. Загнанный шестой раз царизмом в ссылку, теперь уж на самый край земли, в Туруханск, сжигаемый туберкулезом, Дубровинский до последнего дня своей жизни оставался воином.

Романами «Философский камень», «А ты гори, звезда» Сергей Сартаков соединил все

написанное им в единое полотно, дающее стереометрическое и стереоскопическое изображение России в тот исторический период ее бытия, когда она, поднимаясь на новый этап своего развития, открывает путь к подлинному счастью для всего человечества.

«Однажды,— рассказывал мне К. Я. Горбунов,— на Малой Никитской, проводив гостей, Алексей Максимович Горький подошел к висевшей на стене географической карте нашей страны, провел рукой, начиная с южных среднеазиатских республик, Казахстана, продолжая Алтаем, Сибирью и кончая Чукоткой, обернулся ко мне и сказал: «Вот стратегические наши ресурсы, наше будущее... Казахстан, Сибирь, Дальний Восток... Анафемски заряжены эмоциональной энергией люди там — каждый то поэт, то

сказитель. Вот где неисчерпаемые духовные силы, что хлынут к нам потоком».

Пророчество М. Горького сбылось. Вот уже какое десятилетие богатства советской литературы прирастают Сибирью, как и Средней Азией и Дальним Востоком. Это осуществляется усилиями русских, якутских, бурятских, чукотских, алтайских и других писателей. Приходят все более талантливые художники, демонстрируя неисчерпаемость той золотоносной жилы, которая обозначена емким словом «Сибирь».

Ныне, в сто пятнадцатую годовщину со дня рождения Горького, мы с благодарностью вспоминаем о той огромной роли, которую он сыграл в деле воспитания не только отдельных писателей, но целых литературных отрядов. Он открывал огромные творческие континенты — Сибирь литературная была одним из них.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Шаталин. В лаборатории великого художника.— **Адольф Урбан.** Голоса пятнадцати столетий.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Лобачев. История среди нас.— **Ю. Орфеев.** Ложные метафоры и компьютер.

Литература и искусство

В ЛАБОРАТОРИИ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА

М. Горький. Полное собрание сочинений. Варианты к художественным произведениям. М. «Наука». Тт. 1—10. 1974—1982.

В предисловии к «Сборнику пролетарских писателей» Горький писал: «Литератор должен знать все или по крайней мере возможно больше». Сверх этого литератор «должен уметь выбрать из хаоса впечатлений, из пестрой путаницы чувств объективное, общезначимое, типичное, должен уметь отбросить в сторону узколичное, субъективное как неустойчивое, постоянно изменяющееся и скоропреходящее бесследно». Если человек «сумеет сделать первое, он создаст произведение художественное и социально важное; если он не сможет сделать второго, он напишет анекдот, лишенный социально-воспитательного значения».

Этим принципам Горький следовал на протяжении всей творческой деятельности. Убедительное доказательство тому — издающееся теперь полное собрание сочинений М. Горького. В это собрание включен многотомный раздел «Варианты к художественным произведениям». И читатель получил еще одну возможность убедиться в том, как много знал Горький, как умел отображать объективное, общезначимое, типичное, отбрасывая узколичное и субъективное.

Полное собрание сочинений М. Горького состоит из художественных произведений, литературно-критических и публицистических статей, писем. Художественные произведения — 25 томов — дополняются вариантами к ним, которые планировалось уместить в 8 томах (издано же 10).

Издание собрания сочинений всегда событие. Особенно если оно полное и академическое, а его автор — великий писатель. Всесторонняя оценка нового собрания сочинений М. Горького — дело будущего, дело

специалистов многих и разных литературоведческих профессий. Здесь разговор лишь о «Вариантах к художественным произведениям». Разговор, разумеется, не претендующий ни на исчерпывающую полноту, ни на непогрешимость выводов.

В «Вариантах...» помимо черновых или ранних редакций известных произведений публикуются еще и заметки, наброски, черновые записки к незавершенным вещам. У читателя есть возможность проследить последовательность изменений, вносимых автором в тексты — от черновых рукописей до последних авторизованных публикаций. Есть варианты в одну или несколько строк. Есть варианты, для публикации которых понадобилось несколько томов.

В «Песне о Буревестнике», например, зафиксировано одно-единственное исправление (во фразе «То крылом волны касаясь» выделенные слова поменялись местами). Окончательная редакция «Дела Артамоновых» занимает немногим более 300 страниц, варианты — в два раза больше. Для публикации черновых рукописей и редакций, набросков и заготовок к «Жизни Клима Самгина» понадобилось несколько тысяч страниц...

Нужно ли говорить, каков характер и объем работы, проделанной текстологами, этими незаметными чернорабочими науки! Понадобился целенаправленный многолетний труд нескольких поколений ученых-горьковедов, прежде всего сотрудников созданного вскоре после кончины великого писателя уникального учреждения Архив А. М. Горького.

Ведь «Варианты...» отнюдь не конгломе-

рат архивных материалов. Там, где это диктуется необходимостью, публикации сопровождаются обширными пояснениями. Сопоставление вариантов стало поводом для углубленного анализа устоявшихся в горьковедении точек зрения, критической оценки их.

Молодому Горькому долго приписывались стихотворения «Не браните вы музу мою...», «Я плыву, за мною следом...», «Тому на свете тяжело...». В первом томе «Вариантов...» И. А. Ревякина, ссылаясь на А. В. Лосева, сообщает: автор этих стихотворений — поэт-самоучка И. Морозов.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако составители «Вариантов...» установили нечто большее. Названные стихотворения действительно сохранились в бумагах М. Горького, переписанные его рукой. Оказывается, и в этом случае перед нами варианты, а не копии — настолько значительны изменения, внесенные М. Горьким в первоначальный текст. И такие события случаются в тиши текстологических разысканий!

Изучение черновых набросков и окончательной редакции второго варианта «Вассы Железновой» обнаруживает направление авторской правки: М. Горький последовательно снимает подробности и детали, свидетельствующие о большом богатстве героини пьесы: и с к л ю ч и т е л ь н о е переводится в ряд обычного, купчиха средней руки более, чем купчиха-миллионерша, подходила для анализа глубинных противоречий эпохи упадка русской буржуазии.

Свод вариантов и редакций, наброски и записи часто представляют возможность поновому взглянуть на творческую историю, идейно-тематическую основу широко известных произведений писателя. По сути, здесь кладется начало историко-литературному изучению впервые публикуемых материалов. Особенно это касается разделов, посвященных творчеству М. Горького советской эпохи. Именно здесь опубликована большая часть неизвестных читателям предварительных редакций. Они демонстрируют движение мысли писателя, поиск адекватного выражения замысла, углубление, совершенствование самого замысла.

Один из примеров этого — анализ черновых и белой редакций «Дела Артамоновых». Существенным доработкам подвергся образ Ильи Артамонова — старшего. Вычеркивались, например, упоминания о его развязности, грубоватой крикливости, хвастовстве. Иначе изображаются его взаимоотношения с горожанами Дремова, меняется его взгляд на дворянство. По-другому — трагичнее — выглядит сцена смерти Ильи. Из-

менились образы представителей второго поколения Артамоновых. Возросла роль Тихона Вялова и членов семьи Морозовых.

Оказывается, убедительное завершение истории артамоновского рода найдено Горьким на последнем этапе работы — при создании уже третьей редакции повести. Прежде Яков — лишь эпизодический персонаж, позднее он окажется важнейшим образом, необходимым для понимания центральной идеи произведения. Значителен вывод, к которому подводят читателя авторы комментариев: «Именно в Якове выявляется с наибольшей силой нарастание, усиление страха Артамоновых перед революцией... Если Петр замечал в рабочих прежде всего утрату крестьянских черт, то Яков, наблюдая рабочих, всегда испытывал «темное чувство страха». Именно об этот страх разбивается философия паразитического покоя, которую создал для себя Яков Артамонов. Страх приобретает у него характер кошмарных видений».

Заметки, наброски, черновые записи, особенно в томах, охватывающих период с 1917 по 1936 год, часто сопровождаются пометой «Публикуется впервые». Видишь, как Горьким движет потребность заново разобраться в противоречивых событиях начала гражданской войны. Обращаешь внимание на то, как Горькому важно с максимальной точностью охарактеризовать свои колебания в оценке крестьянства в социалистической революции; оглядываясь на прошлое, великий писатель стремится к критическому осмыслению своих ошибок, а не к поискам смягчающих обстоятельств или обтекаемых формулировок. Именно это со всей очевидностью доказывают публикуемые черновые записи и наброски мемуарного характера. Велик диапазон черновых записей М. Горького. Подробности общественной жизни России накануне, во время, в первые после Октябрьской социалистической революции годы. Быт эпохи. Размышления о собственном творческом пути, о развитии современной художественной литературы. Зарисовки, беглые обозначения жизненных ситуаций, конфликтов, индивидуальных черт характеров, запись выразительных речений всего того, что нельзя придумать, что возможно только посмотреть или подслушать в действительности... В одних случаях — запись нескольких слов, нужных, чтобы возбудить художественное воображение. В других — совершенная прозаическая миниатюра, способная выдержать самую пристрастную критику. Сквозь понятные автору исправления, вычеркивания, недомолвки проступает мощь

художественного таланта: в наблюдательности, обрисовке явлений, оригинальности и глубине суждений, наконец, юморе — то беззлобном и мягком, то переходящем в уничтожающий сарказм.

Эти художественные компоненты — чаще всего в совокупности — наличествуют во всех мало-мальски развернутых записях, в россыпи заготовок, часть из которых помещена в шестом томе «Вариантов...». Например:

«— Что такое — кулак? Пальцы не сожмешь — ничего не возьмешь! А на ладонь тебе — того положат, чего прежде погложут.

Так как это не по силам, то кажется, что это неверно.

Молот оказался тяжелее шашки.

Государство строят молотом.

Далеко не зря дураки угодны богу»...

Часть черновых записей объединена под условным названием «Наброски к портретам, зарисовки». Среди других — записи о Ю. Айхенвальде, А. Белом, А. Блоке, Вяч. Иванове, Л. Рейснер, Е. Чирикове, К. Чуковском, С. Юшкевиче, А. Яблоновском. Со многими М. Горького связывало личное знакомство, с некоторыми шла непрекращающаяся борьба. Заметки получились меткими, страстными, классово беспощадными.

Чтение книги Я. Курека «Грипп свирепствует в Направе» побудило Горького к размышлениям о важных и близких ему проблемах художественного творчества:

«Ялю Курек рассказал о жизни польской

деревни вполголоса, но очень пронзительно. Отличный писатель. Не «спекулирует» на страданиях людей, предоставляя... это политикам. Да, очень оригинальный писатель, хотя о... страдании человеческого... писать легко и почти все пишут... неплохо. Гаргантюа, Пантагрюэль, Тиль Уленшпигель, Кола Брюньон. Тартарен — не так популярны, как страдальцы. Вс. Иванову «Факир» не удался, а по началу можно было думать, [что] это будет веселая книга»...

Составители и редакторы полного собрания сочинений М. Горького проделали большую работу. Согласимся с мнением редакционной коллегии: публикацией черновых рукописей «работа ученых над ними, их осмыслением не завершается, а, напротив, получает, наконец, прочную научную основу». Согласимся, внося необходимую поправку: слова эти, сказанные по поводу «Жизни Клима Самгина», относятся ко всему массиву «Вариантов к художественным произведениям».

Работа мысли гениального писателя — неведомый миру труд. Благодаря изданию «Вариантов...» все, кому дорого и близко творчество великого писателя XX столетия, основоположника советской литературы, получили доступ в его творческую лабораторию.

Богаче стал мир социалистической культуры.

М. ШТАЛИН.

Баку.



ГОЛОСА ПЯТНАДЦАТИ СТОЛЕТИЙ

Средневековая армянская поэзия. Перевод с армянского. Составление и примечания Левона Миртчаня. М. «Художественная литература». 1981. 399 стр.

Наапет Кучак. Сто и один айрен. Ереван. «Айастан». 1975. 269 стр.

Григор Нарекаци. Три главы из «Книги скорбных песнопений».

Перевод с древнеармянского Леонида Миля. «Дружба народов», 1982, № 2.

Саят-Нова. Стихотворения. («Библиотека поэта». Большая серия). Л. «Советский писатель». 1982. 207 стр.

Еще в самом конце XIX века было обычным такое мнение: «То, что осталось от древней литературы армян, не в состоянии служить отражением духовной жизни этого народа. Это литература по преимуществу церковная... Она сурова и однообразна». Но вот в 1916 году вышла известная антология В. Я. Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» где в предисловии поэт писал: «Средневековая армянская лирика есть одна из замечательных побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира». Брюсов утверждал, что знакомство с ней для каждого образованного человека так же обязательно,

как знакомство с «Божественной комедией» Данте и драмами Шекспира.

Этой антологией, собственно, и началось открытие затонувшего материка культуры, которую с полным основанием можно назвать великой.

Если вести летосчисление армянской поэзии со времен создания армянского алфавита (405—406) Месропом Маштоцем, она ныне насчитывает уже более пятнадцати веков. Корни ее и того глубже — в народных песнях и языческих мифах дохристианской эпохи. Антология Брюсова была первым удачным опытом знакомства русского читателя с армянской поэзией. За

ней последовали «Антология армянской поэзии» (М., 1940), «Армянская средневековая лирика» (Л., 1972), двухтомник «Армянская классическая лирика» (Ереван, 1977), «Из западноармянской поэзии» (Ереван, 1979), «Поэты Армении» (Л., 1979) и множество «персональных» сборников. Особенно щедро издавалась поэзия Армении в последние годы. Сегодняшний читатель уже достаточно обстоятельно может вникнуть в ее историю, держа перед глазами лица и целые эпохи. Многие стихотворения существуют в разных переводах. Хорошим путеводителем по армянской поэзии на русском языке стал труд Левона Мкртчяна «Родное и близкое» (М., 1978).

Недавно увидевшая свет антология «Средневековая армянская поэзия» по традиции открывается народными песнями — трудовыми, любовными, обрядовыми, колыбельными, плачами и заклинаниями. Это и в самом деле почва поэзии — жизненный уклад, верования народа, круг его интересов, чувств, волеизъявлений. Сколько тут характерного, неповторимого, самобытного — от напева пахаря до песен изгнания, отражающих исторические судьбы многих поколений армян. Брюсов писал, что древние армянские песни похожи на тонко обдуманные создания поэтов позднейших эпох. Их отличает изощренность формы, изящество и благородство чувств.

Письменная литература, начинающаяся в V веке, была первоначально по преимуществу переводной. Духовные стихотворения по мотивам Библии должны были соответствовать церковным канонам. Однако их создатели часто вкладывали в эти стихи столько личного чувства, находили такие образы, которые делали их истинно оригинальными и поэтичными.

Величайший поэт средневековой Армении — Григор Нарекаци (951—1003), ученый монах из монастыря Нарек. Его «Книга скорбных песнопений» состоит из 95 монологов, обращенных к богу и богородице, и насчитывает более 10 тысяч строк. Религиозная духовность, однако, не лишила его поэзию конкретности и необыкновенной страстности, ибо жил Нарекаци в бурную эпоху крестьянских восстаний и, возможно, сам был причастен к ересям тондракийцев, выступивших против церковных обрядов и сословного неравенства. По крайней мере его отец, известный богослов Хосров Андзеваци, был проклят как еретик.

Скорбные песнопения Нарекаци поражают земной мощью в обличении пороков. Вся его книга — это «страстей противоборных столкновение». Он хорошо знает при-

роду человека и противоречивую сущность мира. «Ведатель страстей людских», он сам постиг все превратности жизни:

Ту чашу, что была мне суждена,
В течение жизни я испил до дна.
Познал я все: сомненье и смятенье,
Срам непостижный, вечное презренье,
Позор, бесчеловечное гоненье.
Днем не было еды, а ночью сна,
И не было в пути мне озаренья!

(Перевел Н. Гребнев)

Нет такого греха, которого не приписал бы себе Нарекаци. Он составляет своеобразный словарь человеческих пороков: «Я доброволец в проклятом стане грехов... я мучитель, я изверг, я лютый зверь; я заблудший глупец; я душа, в которой таится гниль; я гнусный скрыватьник, я гонимый блудник; я промотавшийся скопидом; я ростовщик-должник; я — спившийся пономарь...» И так на протяжении многих страниц и целых глав — с неослабевающей энергией саморазоблачения. Энергия его самоанализа, глубина проникновения в раздвоенное сознание в чем-то сопоставима с могучей мыслью Достоевского. По бесстрашию саморазоблачения он как бы предвосхищает Жан Жака Руссо.

В себе самом Нарекаци обнаруживал двойственность человеческой природы вообще: вечное стремление к добру и цепкости, трудную искоренимость пороков. Приняв грехи мира, он берет на себя и смелость говорить от его имени почти на равных с небом. Нарекаци хлопочет не только о личном спасенье — он жаждет спасти весь мир, просит для своих песен благословения, чтобы их глагол, дойдя до людских душ, вел к возрождению, был бы опорой, надеждой, врачеваньем:

И если груз грехов неисккупленных
Потянет в пропасть грешника, пусть он
Всей сутью слов, Тобою мне внушенных,
Спасен навечно будет и прощен.
И если где-то грешник есть, который
Не минет сатанинской западни,—
Дозволь, чтоб труд мой был ему опорой,
И сам безумца светом осени.

(Перевел Н. Гребнев)

Молитва начинает походить на требование! Нарекаци хотел бы выговорить могущественное, богоравное слово: «Пусть дух господень в нем соединится со скудным вдохновением моим». Ищет слова деятельного, просветляющего, способного открыть истину во всей ее ослепительной и вечной красоте, слова, побуждающего к совершенству: «Ты, как светильник многоответвленный, увенчан головою, человек, затем, что бы из праха сотворенный свой образец не забывал век».

Поэт доискивается причин, почему так

искажен облик человека, отчего он «покрыт скверной». Человек сотворен прекрасным, а живет во грехе и в ужасном мире. Нарекания не находят ответа на свои вопросы. Но поставлены они гуманистом, отдающим себе отчет в великом назначении человека. Вопреки религиозному обрамлению глава 56 похожа на своеобразный антропологический очерк, в котором запечатлелись естественнонаучные представления той эпохи о человеке.

В конечном счете все песнопения Нарекания обращены к людям. Это прямой диалог с ними. Для утешения, врачевания и просветления их духа они написаны:

Писал для тех, кто в жизнь едва вступает,
Как и для тех, кто пожил и созрел,
Для тех, кто путь земной свой завершает
И преступает роковой предел.
Для праведных писал я и для грешных,
Для утешающих и безутешных,
И для судящих, и для осужденных,
Для кающихся и грехом плененных...

(Перевел Н. Гребнев)

Одним словом — для всех. Недаром книга Нарекания стала народной книгой. Считалось, что одно ее присутствие в доме или под подушкой у больного способно было принести благоденствие и исцеление.

Написана «Книга скорбных песнопений» не только человеком умным, наблюдательным и одаренным, но и необыкновенно страстным. Длинные монологи произносятся на одном дыхании. Богатейшие синонимические ряды доносят множество оттенков мысли стремительно развивающейся, идущей в глубь темы. Словарь Нарекания разнообразен и богат. Поэт не пренебрегает словом простым и даже грубым, ситуациями предельными. «Нарекания не знает запрещенных стилистических пластов» (Левон Мкртчян). Его проповеднический пафос и страсть родственны писаниям огнепального протопопа Аввакума.

Русский читатель только начинает по-настоящему открывать Нарекания. Стилизованные под русский фольклор отрывки в переводе Брюсова не были адекватны оригиналу. Еще в 1968 году Левон Мкртчян писал лишь о готовящихся новых переводческих работах. Сегодня мы уже можем сравнивать разные результаты, достигнутые переводчиками Н. Гребневым, В. Микушевичем, Л. Милем. На мой взгляд, особенно удачны экспрессивные и поэтические интерпретации Н. Гребнева. Будем надеяться, что не за горами и полное научное издание Нарекания, скажем, в серии «Литературные памятники» или «Библиотека поэта».

В антологии «Средневековая армянская поэзия» более трех десятков имен. Начало

свое она ведет от антологии Брюсова. От издания к изданию совершенствовались переводы. Неудачные заменялись более удачными. Вольные — строгими. Буквалистские — поэтичными. Иными словами, как и всякое художественное творение, антология жила сложной жизнью, постепенно расширяя свой состав. Росло и количество переводимых стихотворений.

Особенно примечательны новые переводы из Фрика, поэта рубежа XIII—XIV веков, о котором никаких сведений не сохранилось. Это поэт сильного критического пафоса. Сквозь изначальную религиозность тут пробивается скепсис. Фрик не скрывает, что, «слуга нелицемерный», он дерзнул спорить с богом. И спорить резко, ссылаясь на многие несовершенства «творения бо- жия»:

Тот жив, хоть умереть мечтает,
Другому б жить — он умирает.
Старуха дряхлая живет,
Отроковица угасает.

Жизнь одному кошель раздула,
Другому лишь суму швырнула,
У одного — табун коней,
А у другого нет и мула.

(Перевел Н. Гребнев)

Еще Брюсов оценивал средневековую армянскую поэзию по высокой и строгой шкале, прилагаемой и к общеизвестным европейским образцам. «Жалобы» Фрика и по сути и по аналогии с переводами И. Эренбурга из Франсуа Вийона напоминают «Балладу поэтического состязания в Блуа» и «Балладу истин наизнанку», порожденных столь же сильным, хотя и целиком светским скепсисом и вольномыслием.

Иногда иноязычный поэт идет к читателю очень долго. Так было с Наапетом Кучаком. Внедрение его в русскую поэзию — сюжет, полный драматизма. Кучака начали переводить раньше других армянских поэтов, еще до выхода брюсовской антологии. Но это были переводы, далекие от подлинника, изобилующие сентиментальной риторикой. Переводы самого Брюсова были точны, но несколько суховаты и немногочисленны. Еще меньше — всего семь стихотворений — перевел Ф. Сологуб, перевел свободно и поэтично. Дальше длинная полоса проб и неудач. «Русский» Кучак, с учетом, конечно, брюсовской антологии, в полный голос зазвучал только в последние десятилетия в переводах В. Звягинцевой, Н. Гребнева, А. Кушнера, В. Микушевича...

Образцовым изданием стала книга «Сто и один айрен» (Ереван, 1975), в которой даны армянский текст, русский поэтический перевод и приложен подстрочник, так что читатель не обязан верить переложению.

нию, но может при желании ознакомиться с подлинником. Однако это издание труднодоступно и включает сравнительно небольшое количество стихотворений. В антологии «Средневековая армянская поэзия» их чуть ли не вдвое больше. Включены новые переводы, исправлены некоторые старые.

Кучак — поэт армянского Возрождения. Поэт, для которого мир открыт всеми своими красками. Мир чувств, мир природы и любви, жестокий и радостный, скупой и щедрый, серьезный и усмешливый. Ничто человеческое Кучаку не чуждо. Любовь его земная, дерзкая, открытая. Чувственная, но не грубая. Тут и почти молитвенное поклонение возлюбленной, и восторг перед красотой обнаженного тела, тут исполненные лукавства игры двоих:

Пред тобою я, мой желанный,
скатерть белую расстелю,
Куропатку с кожей румяной
соком сливовым оболью
И напиток хмельной и пряный
из кувшина в две чаши налью.
Я надену наряд тонкотканый,
чтобы ты, как за дымкой туманной,
Видел белую грудь мою.

(Перевел Н. Гребнев)

Любовь эта иногда с резкими перепадами, богатая оттенками, психологически сложная. Любовь-счастье и любовь-страдание, любовь-тайна, любовь-соблазн, любовь-игра, любовь-разлука... Ее можно дерзко добиваться, расстегивая на груди платье или насильственно вырывая первый поцелуй, чтобы второй был добровольным. Но и благородно отступить: «Ведь любовь по принуждению не считается любовью». За нее можно поплатиться самым прозаическим житейским образом: «Я избит из-за тебя так, что обнажились кости». И обрести ее с непринужденной легкостью: не надо платы — «если любишь горячо — утолю твою желанье». Потерять с болью: «На костях моих нету тела, есть лишь пепел в сердце моем». Самоотверженно и горестно простить измену:

Милый мой,
мне принесший зло,
Свет мой ясный,
быстрей — в седло.
Скройся прочь,
чтоб мое проклятье
Поразить тебя
не могло!

(Перевел Н. Гребнев)

Кучака называли поэтом любви. И это действительно так. Но есть в его стихах и другой план. Голос его сердца был голосом человека, освобождающегося от церковных догм, осознающего себя свободной личностью, человека сложной эмоциональной организации, не стесняющегося этой сложно-

сти. В его любви «соседей», как в миндале, горечь сладкая, горькая сладость». Кучак уже не верит в первородную греховность плоти. Не возводит любовь к абстрактному божественному началу. Она естественна, свободна и сама по себе — великое благо:

Ты — красива, ты — молода,
и твои поцелуй сладки,
Ты — как море, а море всегда
исцеляет от лихорадки.

(Перевел Н. Гребнев)

Если же она и приносит страдания, то не греховностью, не ущербностью, а из-за общего неблагополучия в мире: «Счастья нет ни в любви, ни в страсти и, наверное, нет ни в чем». Поэту мешают «цари, князья, врата закона, властители земли» и поставленные ими «злые начальники». Мешают соглядатаи, глупцы, клеветники, сплетники.

Кучак учит сдержанности, мудрости, мужеству в бедствиях, ибо «не имеет плач цены нигде во всей вселенной». И если существует у человека душа, то она вложена в тело, «как в перстень самоцвет», улыбаются этот великий жизнелюб.

Третья вершина древней армянской поэзии — Саят-Нова (1722—1795). Армянин по происхождению, он писал стихи на армянском, грузинском и азербайджанском языках. Так что три народа Закавказья по праву считают его своим поэтом. В антологии представлены только переводы с армянского. Что касается однотомника «Библиотеки поэта», то это практически — полное собрание его стихотворений. Оно стало возможным благодаря усилиям нескольких поколений переводчиков от Брюсова до наших дней. Для нового издания Саят-Новы 20 стихотворений переведены впервые, около десятка — заново.

Саят-Нова тоже певец любви, но любви трагической, неразделенной, безнадежной. Он не только писал стихи, но и исполнял их в сопровождении чонгури, подбирая мелодию. Он был ашугом. Его стихи, по-восточному пышные и красочные, исполнены пылкой страсти, преклонения перед возлюбленной, что выражено в традиционных образах-гиперболах: «косы милой — мед, что фисташка — рот»; «рука — самшит, а пальцы — воск»; благоуханная, как «сад роз»; как «шербет, сладчайший для гортани»; «ярче сбруи золотой в своих камнях»; «трон павлиний, что воздвиг великий шах»; «дивный жемчуг», «вся — огонь», «отблеск рая»...

Скажу — ты шелк, но ткань года погубят;
Скажу — ты тополь, — тополь люди срубят;
Скажу — ты лань, — про лань все песни
трубят.

Как петь? Слова со мной в раздоре,
прелесть.

Скажу — цветок,— гора взрастила,
скажут;
Скажу — алмаз,— земная жила, скажут;
Скажу — луна,— ночей светило, скажут.
Ты солнца свет таишь во взоре, прелесть.

(Перевел М. Лозинский)

При всем том стихи Саят-Новы не застывшие метафоры условного чувства. В полной мере оправдана характеристика его поэзии, данная в свое время Брюсовым: «...какое неисчерпаемое разнообразие сумел вложить поэт в эту кажущуюся однотонностью! Он почти везде говорит о любви, но как разноцветны оттенки ее в различных стихотворениях, все эти переходы от тихой нежности к пламенной страсти, от отчаяния к восторгу, от сомнения в самом себе к

гордому самосознанию художника!.. Но как в то же время остры, глубоки и сочны в песнях Саят-Новы эти «оттенки»: их воспринимаем как самые яркие цвета, с которыми не могут соперничать никакие мазки менее удачливых (скажем прямо: менее гениальных) поэтов, накладывающих краски слишком густо».

Саят-Нова блистательно завершил целую литературную эпоху и стоял у истоков новой армянской поэзии, не менее богатой, чем древняя, о которой изданные в последние годы книги дают широкое представление. Оттого прежде всего, что уровень русских переложений и интерпретаций очень высок, что стих звучит раскованно, легко и естественно.

Адольф УРБАН.

Ленинград.



Политика и наука

ИСТОРИЯ СРЕДИ НАС

Н. К. Гаврюшин. Сокровища у порога. М. «Просвещение». 1982. 128 стр.

Памятники науки и техники. М. «Наука». 1981. 215 стр.

Первый выпуск ежегодника «Памятники науки и техники» и книга одного из авторов и научных редакторов этого сборника Н. Гаврюшина «Сокровища у порога» посвящены вопросам выявления и сохранения исторических и культурных памятников, их значению в эстетическом и патристическом воспитании. Правда, в «жанровом» отношении книги эти разнятся: если ежегодник — издание научное (его вдохновитель — Институт истории естествознания и техники АН СССР), то «Сокровища у порога» — работа популяризаторская. Но проблематика у них общая, и выход в свет столь различных, но посвященных одной теме книг, на мой взгляд, симптоматичен: проблема сохранения и использования памятников истории и культуры требует строгого научного подхода и в то же время общеинтересна и общезначима. Новая научная информация, новая мысль здесь нуждаются в быстрой популяризации.

Для авторов рассматриваемых книг история науки и техники теснейшим образом связана с общим историко-культурным процессом.

Статья А. Боголюбова в ежегоднике трактует памятники архитектуры как чудо строительной механики. Чудо прежде всего потому, что древние сооружения не столько просчитывались, сколько создавались по опыту и интуиции. Это памятники науки, которая, собственно, и возникала-то

в процессе строительства, а не предшествовала ему. В результате зодчество оказывалось сродни профессиям первопроходческим, испытательским — такими в средние века были занятия географией, химией..

В статье, например, упоминается знаменитая самаркандская мечеть времен Тимура — Биби-ханым. Она начала разрушаться сразу же после окончания строительства, а затем сильно страдала при землетрясениях. Сейчас ее восстанавливают. Даже не так: не только восстанавливают, но и создают то, что в свое время не удалось зодчим Тимура (у которых не было, скажем, железобетона) и осталось лишь в их проектах. Может, стоило сохранить развалины мечети как невольный памятник непрочности империи Тимура? Ведь Биби-ханым была последним, самым грандиозным и самым несостоятельным зодческим предприятием легендарного тирана. Придворные его поэты явно перестарались, слишком настаивая на тождестве купола мечети небу, ее арки — Млечному Пути... Между тем создатели Биби-ханым допустили явные просчеты по части механики. Не без резкого нажима (голова летели!) архитекторы совершили насилие над своей практической наукой, а интуицию заставили молчать: здание строилось по отработанным канонам, но в неизведанных размерах; кроме того, строителей торопили и они, как установлено, халтурили при кладке; мечеть была обречена. Современная

реконструкция как бы делает возможным невозможное. В конце концов это может быть по-своему интересным: восстановительные работы как бы приводят к общему знаменателю реальный вид памятника и его славу литературную и изустную.

Не разбирая подробно этот любопытный случай из реставраторской практики, обращу внимание читателей на другое: вот какой неожиданный информационный поворот дает историко-научный и историко-технический комментарий к памятнику. Решающий штрих получает и портрет заказчика Биби-ханым. В городе, где от времен Тимура сохранились памятники просто Удивительные по искусности архитектуры и стойкости в веках, штрих особенно разительный.

Как замечает в своей книге Н. Гаврюшин, «есть глубокая внутренняя связь между широко распространенной идеализацией исторической личности, воплощающей для народного сознания образ Родины, ее силы, могущества и красоты, и личностным началом краеведческой деятельности». Выразительный исторический памятник неизбежно обрастает плотным слоем легенд — быстрее, чем кладка покрывается патиной. И непременно с участием известных в истории персонажей. Имя реальное, но не слишком знаменитое, заменяется на более привычное. Козни и подвиги приписываются лучше запомнившемуся (из-за избирательности исторической народной памяти) лицу, подобно тому как приписывались Пушкину все популярные — крамольные и фривольные — стихи его времени. С легкой руки Лермонтова старинная башня «в глубокой теснине Дарьяла» связана в нашем сознании с царицей Тамарой, а не с царицей Дарьей, к которой вообще-то относится рассказанная поэтом легенда. Сливаются в одну фигуру Владимир Святой и Владимир Мономах. Иван Грозный в фольклорном варианте отвечает как за свои грехи, так и за грехи предков (впрочем, сам тому виной), а Петр I пожинает не только свою славу. Здесь, я бы сказал, идет процесс не идеализации, а типизации. Историческое народное мышление склонно к легендарности. Легенда объясняет белые пятна в истории. Она приближает знаменитые исторические лица к местным событиям, обычаям, достопамяностям.

Сохранение и изучение памятников старинны чем полнее, тем историчнее. И личностный момент здесь крайне важен. Это не значит, что научный подход должен развевать легенды. Научная история и история

фольклорная соотносятся подобно литературному оригиналу и экранизации: они вполне могут сосуществовать, не надо только, чтобы одно подменяло другое.

Сколько памятников, столько и вариантов легенды. Вот, например, случай, когда легенда вроде бы и не имеет личного отношения к памятнику. Есть в Воронеже сквер, где до войны еще был поставлен памятник поэту-воронежцу Ивану Саввичу Никитину (поэт изображен сидящим в грустной думе). Рассказывают, как во время оккупации города гитлеровцы вели через сквер арестованного подпольщика. Немецкий офицер говорил ему, что-де совершенно ни к чему продолжать борьбу, «новый порядок» нерушим и вон даже ваш Никитин скорбит над нашими могилами — в сквере тогда действительно хоронили фашистских офицеров. «Нет, — отвечал подпольщик, — не о том он печалится. А что мало, мало еще их здесь зарыто!» Не будь эпизод так крепко привязан к известному в городе памятнику, он не сохранился бы в народной памяти.

О местных преданиях, ратуя за их сохранение, Н. Гаврюшин замечает: «Можно просто-напросто начать записывать «бабушкины сказки». В девяти случаях из десяти они, помятое дело, окажутся общеизвестными или даже вовсе книжными. Но вдруг одна прозвучит не совсем обычно».

Н. Гаврюшин посвящает целую главу понятию «эстетика истории». Эстетика научного и фольклорного толкования памятников различна, но если фольклорная традиция уходит глубоко в века, то научная складывается на наших глазах. Автор подчеркивает такой важный эстетический элемент, как историческая перспектива, умение чувствовать ее. Проявляться и развиваться это чувство может по-разному. Н. Гаврюшин показывает различные его ипостаси — и прислушиваясь к старым названиям улиц, вникая в их происхождение, и разбирая семейный архив, и доказывая возможность личного отношения к такому новому типу памятнику истории, как, скажем, паровоз (паровозы все чаще становятся «на вечный прикол», и в ежегоднике «Памятники науки и техники» есть даже специальная статья о том с фотографиями паровозов-памятников разного рода).

Расширение каталога достопамятностей за счет объектов нового типа — дело особенно сложное эстетически. Н. Гаврюшин приводит в своей книге выдержку из статьи В. Мурзаева, опубликованной в журнале «Экскурсионный вестник» за 1914 год, где говорилось: «..несомненно, что

каждая экскурсия, связанная с производением рук человеческих... имеет и... эстетическую сторону... громады машин, колоссальное маховое колесо, грохот и шум фабричного улья не должны заслонять перед нами искания красоты... Мрачные тусклые окна фабричного корпуса, увенчанного гигантскими трубами, производят на нас днем впечатление тяжелого гнетущего труда и страшного утомления. Наоборот, ночью на фоне бархатного неба темные силуэты тех же зданий с яркими, словно воспаленные глаза чудовища, огнями окон пробуждают в нашей душе настроение бодрости, подъема, жизнерадостности и смутное ощущение красоты жизни и борьбы».

Ныне, когда старинные заводы и фабрики, различные технические сооружения смело и настойчиво вводят в список достойных увековечивания, эти размышления удивительно актуальны. Речь, по сути, идет о том, что для восприятия промышленной старины, для того, чтобы сохранение памятников истории техники стало по-человечески понятной традицией, необходимо включить сопереживание эмоциональное — одним научным комментарием не обойдешься. А как это сделать? Здесь, наверное, может прийти на помощь фольклорная история — заводские, фабричные легенды, песни (даже «Кирпичики» могут пригодиться, если с умом применить). Или такой, положим, ход, найденный стихийно, вовсе не для увековечивания памятников, но применимый, по-моему, как раз в промышленном краеведении. Многие, думаю, помнят характерный до недавнего времени силуэт горно-обогатительной фабрики: от одного корпуса к другому идет закрытая наклонная галерея. По ней движется транспортер с рудой. Уже лет пятнадцать назад стала вводиться новая технологическая схема, при которой наклонные галереи оказались попросту не нужны. Оставалось забить их намертво — и все. Но на Оленегорском горно-обогатительном комбинате, в тундре, за Полярным кругом, решили иначе. Используя даровое, лишнее, так сказать, фабричное тепло, устроили в галерее оранжерею. Никому теперь не нужный мрачный тоннель обернулся многоступенчатыми «садами Семирамиды».

С другой стороны, памятники науки и техники вводятся как бы внутрь уже сложившегося списка историко-культурных достопамятностей. Скажем, коллекции холодного оружия есть во многих отечественных музеях. В новом ежегоднике они трактуются как изделия, раскрывающие уро-

вень развития практических знаний о свойствах металлов, а следовательно, и как часть предыстории физики металлов, диэлектриков, полупроводников. Представляет, что за великолепный контраст может дать комментарий такого плана рядом с романтической, личностной историей какой-нибудь «сабли Наполеона»?.. А вот как рассказывается в «Памятниках науки и техники» о знаменитом Большом колоколе Саввино-Сторожевского монастыря, что под Звенигородом. Авторы статьи В. Кондрашина и Т. Шашкина начинают со свидетельства двухсотлетней давности, принадлежащего библиотекарю Академии наук Бакмейстеру: «Колокол этот уже из-за своего веса и величины достоин всяческого внимания. Замечательный колокол в Эрфурте... и вполнину не так тяжел». Однако свойственное человеку романтическое удивление творением, замечательным по величине, получает в статье и специальную трактовку. Оказывается, от веса колокола зависит его нижний, основной, тон. А красота и певучесть звука связаны с точностью найденных вековым опытом геометрических пропорций, а также с определенным соотношением меди и олова...

«На наш взгляд, плодотворным будет то направление изучения, каталогизации и демонстрации памятников,— пишет в ежегоднике П. Боярский,— которое максимально сблизит и объединит в специфические группы памятники науки с памятниками техники. При таком подходе можно будет проследить новые, ранее не изученные взаимосвязи и взаимодействия науки и техники, а также истоки превращения науки в непосредственную производительную силу в период современной научно-технической революции». Далее выделено: «...памятники науки и техники должны быть признаны одной из основных категорий памятников истории культуры». Я бы сказал: цивилизации. Энциклопедии, в том числе и БСЭ, определяют это слово как синоним «культуры». По-латыни же «цивилизация» — «гражданственность». Хорошее, емкое слово. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона автор статьи «Цивилизация» отмечает интересное обстоятельство: «В общем, можно сказать, что большинство писателей, касавшихся цивилизации, видели в ней высшее состояние человека и подвели под понятие цивилизации преимущественно те стороны человеческого развития, которые данный писатель считал самыми важными». Занимаясь памятниками цивилизации, мы неизбежно уточняем ее принципиальное определение, ее понимание. И ка-

тегория памятников науки и техники ставит здесь важнейший акцент, подчеркивая линию развития практических умений человека и одновременно сопрягая в себе вполне утилитарные функции и духовную наполненность. Ибо отвлеченный эстетизм — столь же симптоматичная черта деградации цивилизации, как и убогая функциональность.

Не случайно и в «Памятниках науки и техники» и в книге Н. Гаврюшина с особенной любовью говорится об одной достопримечательности с редкой счастливой судьбой. Водонапорная башня в городе Николаеве стала в 1907 году первым сооружением, созданным по принципу тех ажурных конструкций, что представил инженер В. Г. Шухов на Нижегородской промышленной выставке. Младшая, более высокая сестра Николаевской башни — Шуховская радиотелевышка на Шаболовке общеизвестна. Николаевская водонапорная менее знаменита, но не менее совершенна. Взорванная фашистами при отступлении, она оказалась настолько «вечным» сооружением, что не погибла. Ее даже не пришлось восстанавливать, а надо было только поставить, поднять. В начале 50-х годов замененная новыми, современными объектами системы водоснабжения, башня перестала выполнять свои служебные функции, но николаевцы сохранили ее красоты ради.

История этой башни наводит и на такую мысль. Уникальное водонапорное сооружение как-то очень к лицу Николаеву, городу совершенно необычному по планировке. Улицы абсолютно прямые, длинные — с трехзначной нумерацией, — широкие, как столичные проспекты. Их перекрестки создают огромные площади. Ни единого переулка... Эта особенная красота была продиктована назначением Николаева — он строился как город судостроителей, по улицам его возили мачтовый лес. Отчаянно строгий, полный света рабочий Николаев и башня Шухова с ее воздушной геометрией и инженерной красотой — в одной архитектурной тональности. Думается, что вообще памятникам нетрадиционным — техническим, промышленным, хозяйственным — так сказать, легче жить, если их судьба, их сохранность будут неизменно увязываться с общим историческим, архитектурным, природным контекстом.

Приведу пример уже существующей идеи такого рода. В № 1 (3) за 1981 год альманаха «Памятники Отечества» есть заметка архитектора-реставратора Владимира Кузнев-

цова «Дединово» с проектом села-заповедника. Подмосковное село на Оке Дединово привлекло реставраторов сначала теми памятниками, что традиционно берутся на учет. В селе четыре большие церкви разных архитектурных эпох — целая коллекция.

Дединово, что протянулось вдоль Оки на семь верст, издревле принадлежало московским великим князьям, потом царям. Но от казны сполна откупалось ценными сортами рыбы, водившейся в Оке. Оказавшись относительно независимыми, дединовцы на заливных лугах пасли знаменитые молочные стада, бойко торговали на важнейшем водном пути (и сегодня еще дединовцы плавают на челнах, которые сродни насадам — одноподеревкам, ходившим из варяг в греки). На здешней верфи строился первый российский военный корабль «Орел». В генах дединовцев есть память о новгородцах, сосланных в село в XV веке, — людях самостоятельных, предприимчивых, легких на дальние дороги, детей одного из цивилизованнейших городов Руси. От новгородской традиции и оригинальное построение улиц, деление села на Верхний и Нижний концы, своеобразная планировка дворов и хозяйственных построек, богато украшенные резьбой двухэтажные дома с высочайшим подклетом. В начале века в селе была больница — из лучших в России. Четыре школы, театр при одной из них. Четыре молочных завода, один кожевенный... А каждый из дединовских храмов как бы подчеркивал очередной экономический взлет села. Вышедшая в люди семья ставила миру церковь. Так что храмы здешние не только памятники архитектуры, но и своеобразные свидетельства использования мощных производительных сил Нечерноземья.

Не все, но многое из дединовской старины пока сохранилось, и даже не слишком приметное на взгляд неспециалиста старинное заводское здание могло бы по-новому заиграть в атмосфере села-заповедника.

Ныне в Дединове два передовых в области хозяйства — совхоз и колхоз. Заповедная старина вполне резонно бы продолжалась меняющимся днем сегодняшним.

Пока село-заповедник — это мечта, проект. Хотя идея памятников самого разного типа, собранных в кулак, идея изучения и сохранения русской истории и культуры в ее своеобразной целостности, неразрывности прошлого и современного, — идея эта, как видим, имеет уже и свою литературу. Дело, как говорится, за малым...

В. ЛОБАЧЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЮДИЛА ГУРЧЕНКО. Мое взрослое детство. М. «Молодая гвардия». 1982. 285 стр.

Помню, едва только появились книжки «Нашего современника» с «Моим взрослым детством» — вокруг них сразу разошлись широкие круги жадного читательского интереса. Журналы читали в метро и магазине, занимали очереди в библиотеке. Был в этом, наверное, и эффект неожиданности: надо же, такая известная актриса, оказывается, прозу пишет, почитаем, почитаем... Было и естественное радостное удивление, какое вызывает всякий талантливый дебют.

И вот журнальный вариант стал книжкой. По общему впечатлению — вещь стала композиционно стройнее: ушли какие-то излишние подробности и налет экстравагантности, ощущаемый прежде в некоторых сценах, исчезла запальчивость интонации. Перед читателем повесть (все-таки повесть, думаю, хотя обозначения жанра нет ни на титуле, ни в выходных данных) о военном детстве. Есть немного жизни и довоенной что-то вроде счастливого сна, до предела заполненного папой — своеобразным и одаренным человеком, которому, собственно, и посвящена книга. И целый период, значительная часть жизни, от послевоенной юности героини до наших дней. Здесь все скупое, экономно, удивительно достоверно: автор рассказывает о радостях и болях, пережитых на нелегком актерском пути, о труднообъяснимой диалектике поражений и побед, о своей прекрасной и тяжелой (не потому, что требует всех твоих сил, а потому, что никогда не можешь быть уверен в успехе) профессиональной работе. Работе, полной творческих открытий, но и сомнений и неизбежной горечи неудач.

Всегда есть свои приметы у прозы, написанной поэтом или живописцем. «Мое взрослое детство» — читатель это отчетливо чувствует — написано актером и режиссером. Читаешь и, как на сцене, видишь перед собой героев. Видишь и слышишь. Со всеми особенностями речи и интонации, мимикой и жестами. А за ними — очень четкая психологическая пластика характера. Скажем, так:

«В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму: «Дочурка! Якеи рыбки! Я же такъв зроду не видев. Якая прелес...» Мама всегда портила ему настроение: «Марк, ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге... Хуже Люси...» «Лёличка, ну яких сорок? Ще нема сорок, за чем человеку зря набавлять?» И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину спину: «Во — яга! Мамыньки родныи... Ничего, дочурочка, зато папурик в тебя самый лучий!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный! Я обнимала его и прижимала его голову к своей...»

Несколькими строками переданы и настроения, и характеры, и даже отношения между героями. Так написана вся повесть.

Читая «Мое взрослое детство», начина-

ешь ощущать, в чем именно проявляется профессиональная актерская память. В чем же? Думаю, в количестве самых точных подробностей и достоверных деталей, которые она сберегла, сохранила актрисе с самого раннего детства. И, может, эта память есть весомая составная сложного, не поддающегося разложению понятия актерский талант? Одна деталь в повести показала мне очень характерной в этом плане. Вот Л. Гурченко с болью вспоминает, как жестоко и несправедливо обидела отца. Тогда ей казалось, что она поступила правильно и даже смело, рубанув «правду в глаза». И она готова понести за это любое наказание. Но наказания не последовало. Папа «стоял с беспомощной улыбкой, глядя в пол. Потом улыбка исчезла, и он стал смотреть мне в глаза. Долго-долго... Он смотрел на меня спокойно. Но какая же борьба, какая сила, какие жернова воротились внутри...» «Этот взгляд меня преследует всю жизнь», — признается героиня книжки. Думаете, это гипертрофированное раскаяние? Ничего подобного! Дальше идет такая фраза: «Мне никогда еще, ни в одной роли не удалось достичь того состояния душевной борьбы, когда лицо внешне спокойно, а взгляд может перевернуть, сломать, уничтожить». Нет-нет, здесь не дочерняя жестокость и не равнодушие. Это цепкая чуткая память сфотографировала, «запомнила впрок» тончайшие переплетения внешнего и внутреннего. Опыт этот был оплачен стыдом и болью. И теперь он «пошел в работу», в творчество, предостерегая и обогащая эмоционально, нравственно кого-то другого. Так вот смело, уверенная, что ее поймут правильно, делится Л. Гурченко своим самым сокровенным.

В искренней, доверительной раскрытости книжки, думаю, вообще один из секретов ее обаяния. Автор сумела найти для такого разговора точную интонацию. Иногда с улыбкой и юмором, иногда с насмешкой и иронией, то сожалея, то радуясь каким-то событиям, рассказывает она о трудном и голодном детстве, об издержках своего военного воспитания, о том, какой несчастной и бессмысленной становится жизнь без полноценной работы, о странных парадоксах успехов и неудач, о том, как трудно бывает сохранять мужество, когда на тебя обильно сыплются житейские невзгоды... А потом — другая полоса. Ты упоенно и счастливо работаешь, вокруг — талантливые, доброжелательные люди. Тебе радостно и интересно с ними рядом.

Мы читаем, слушаем, смотрим, сопереживаем всё с полюбившейся нам героиней и думаем, что Людмила Гурченко обязательно напишет еще не одну книгу, что она уже не сможет не писать. И следующая ее вещь, конечно, будет совсем не похожей на первую. Она будет нести в себе новый зрелый опыт актера и человека, вдумчиво размышляющего о своем времени.

Г. Петрова.

★

ОБОДИЯВ ШАМХАЛОВ. *Время говорить. Стихи. Перевод с аварского. М. «Советский писатель». 1982. 111 стр.*

«Я помню, любил говорить ты, отец...» — это строки посвящения, предвещающие книгу стихов аварца Ободиява Шамхалова. «Плачем по отцу» начинается поэт свой лирический рассказ. Это цикл стихов, в котором каждое стихотворение вбирает тему предыдущего, усиливает его мотивы. Цикл — прочувствованное слово о смысле и красоте пребывания человека на земле. Земля — все-му начало.

Все корни наши налитые — в ней,
 Все наши судьбы золотые — в ней,
 Все наши кости молодые — в ней,
 Все наши годы, дни былые — в ней,
 Начала все, узлы крутые — в ней,
 Все подвиги людей святые — в ней...

Перевод «Плача по отцу» отчетливо доносит традиционность поэтики Шамхалова, фольклорную основу художественных приемов, обращений. По своему отцу, умершему внезапно, вдали от семьи, высоко в горах, «под белым звездопадом», скорбит поэт, и его лирическое «я» равноправно вступает в живой диалог поколений. Вступает с тем, чтобы не только принять на себя отцовскую ответственность за жизнь, овладеть богатствами народного опыта, но и чтобы прибавить к нему свое слово. Потому отечественные веками поэтические формы Шамхалов стремится насытить современным знанием «о доблестях, о подвигах, о славе». Любовь и гнев, дружбу и вражду, скорбь и блаженство, упоение трудом и упоение красотой — все поэт должен принять открытым сердцем, испытать исчерпывающе, до превращения в золотые крупички духовного опыта. «Чтоб в вечности не канул миг...» Поэт неустанен в выполнении этой высокой программы. В его стихах пережитое выступает цельно, без недомолвок, в скрепленной непосредственным чувством образности.

Разговор поэта с читателем — это стремление нацелить собеседника на соратничество, на самостоятельный духовный поиск. «Не спрашивайте меня о том, что такое жизнь...» И тем не менее стихи Шамхалова помогают нам взглядываться, вчувствоваться, вдуматься в мир. Лирические ощущения поэта богаты оттенками, развитием, что позволяет читателю вновь, свежо воспринять даже знакомые по жизни и поэзии картины:

Мать готовит хинкал, утопая в кизячном
 Я гляжу на нее, словно вспомнить хочу,
 да не вспомню
 В этом облике смутном — молодую
 хозяйку в дому,
 В этих жалких словах — властный голос,
 скликающий к полдню.
 В колыбели моей спят в обнимку дрова
 с кизяком.
 И капель с потолка наполняет
 мгновеньями чашу,
 словно сытые дети, мыши воятся
 за сундуком.
 С колокольцем в руке мальчик в саклю
 врывается нашу.

«В школу, в школу пора!» — верещит
 ледяной колпачок...

В лирике Ободиява Шамхалова мы встречаемся с личностью душевно зоркой. В работе поэта нашло отражение многообразие поисков и обретений современной северокавказской поэзии.

Ирина Шевелева.

★

Ю. ДМИТРИЕВ. *Леонид Утесов. М. «Искусство». 1982. 206 стр.*

Книга Ю. Дмитриева вышла в свет после смерти Леонида Осиповича Утесова. Он читал ее верстку и не скрывал, что с нетерпением ожидал выхода монографии. Тут не было тщеславной гордости, для него издание такой книги означало утверждение дела, искусства эстрады, которому он верно и последовательно служил более полувека. «Во всяком случае, — не раз говорил он, — эстрада не должна быть падчерицей. Ее необходимо воспринимать в искусстве как равную среди равных».

Однажды Утесов заметил, что без песен человечество было бы несчастным, ибо любой народ, слагая их, выражает свое горе, свою радость, свои печали, свое торжество. В тех песнях, которые он сам пел, мы находим столь яркое выражение этих чувств! Именно эти песни из репертуара Утесова приближаются к народным. Большинство из его, казалось бы, «старых» песен звучат и сегодня так же свежо, бодро, радостно, как много десятилетий назад.

Песня сопровождала Утесова всю жизнь. Он был организатором эстрадного оркестра и страстным пропагандистом песни. Об Утесове можно с полным правом сказать — «песней мобилизованный». Было время, когда ему приходилось прорываться сквозь заслоны невежия, недоброжелательства, снобизма, а зачастую простого непонимания того нового, что с такой решимостью он утверждал на советской эстраде.

Утесов как певец не претендовал на исполнение оперных партий или классических романсов. Да и баритон его был довольно ограниченного диапазона. Но тепла и обаяния, с которым он пел, хватало на целый театральный коллектив. Это удивительное свойство артиста объяснялось тем, что, как пишет Юрий Дмитриев, «он, так сказать, пропускать песню через себя, и она звучала у него как личное восприятие того, о чем он повествовал».

В рецензируемой книге Утесов предстает как актер-гражданин. Еще в годы гражданской войны он разъезжал в вагоне, на котором выделялась кумачовая надпись: «Первый коммунистический агитпоезд». Прошли годы, новые военные испытания нависли над нашей страной, и снова Утесов на переднем крае. Вместе со своим оркестром он побывал на многих фронтах. Если говорить об этом насыщенном периоде творчества Утесова и его оркестра, то главное внимание было сосредоточено на создании такого репертуара, который воспитывал ненависть к врагу, мужество, боевую дружбу — то, что помогало преодолевать трудности войны. В день победы — 9 мая 1945 года — утесовский оркестр выступал на открытой эстраде в Москве на площади Свердлова.

Кончилась война, и Утесов снова ощущает себя мобилизованным для новых творческих свершений. Он создает программы, в которых главной темой становится трудовой подвиг советского человека. Популярность песен в его исполнении все возрастает. Известно, например, что во время своего космического полета Ю. А. Гагарин

слушал его песни, и артист, узнав об этом, был горд и счастлив.

Завидная судьба Утесова состояла в его слитности с массами. Читатель найдет в книге немало примеров, рассказывающих о трогательном отношении к артисту зрителей и слушателей. В сознание людей он вошел как народный песенник. Характер демократического искусства, которое принес Леонид Утесов на советскую эстраду, соответствовал нашей эпохе, молодой и кипучей стране энтузиастов. Маризтте Шагинян удалось удивительно точно высказаться об Утесове как значительном явлении в искусстве. «Жизнь его,— писала она,— постоянное служение радости народной, созданию у народа светлого, доброго настроения, помощи и облегчения ему всюду в часы отдыха и работы, в окопах Отечественной войны, на полевых станах и у станков,— несение народу той песни, с которой «никогда и нигде не пропадешь». Леонид Утесов — народный музыкант».

О народном музыканте-песеннике с добрым чувством написана книга Юрия Дмитриева.

Дм. Брудный.

★

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ. Готовность № 1. О Н. Г. Кузнецове. М. Политиздат. 1982. 128 стр.

Редкая человеческая жизнь похожа на прямую линию. И уж совсем не похожа на нее судьба военного моряка Николая Герасимовича Кузнецова, который однажды в письме другу, вроде бы подшучивая над собой, подсчитал некоторые «приливы и отливы» своей морской биографии: контр-адмиралом был два раза, вице-адмиралом — три, дважды — адмиралом и Адмиралом Флота. Этот перечень далеко не полон: был, например Кузнецов и альмиранте — так без соответствующего приказа, но от всей души и с большим основанием называли его, тогда еще капитана 1-го ранга, моряки республиканской Испании, которым он помогал в борьбе против франкистов и фашизма.

Однако при всех поворотах судьбы в характере этого человека не менялось главное — самоотверженная верность своему гражданскому и воинскому долгу. И в этом смысле жизненный путь Кузнецова на диво прям — от тех дней, когда выходец из северной деревни, сделавшийся курсантом военно-морского училища, впервые стал в строй, до того драматического момента, когда весь руководимый им, наркомом ВМФ, советский военный флот ночью сорок первого года в полной боевой готовности встретил удар врага. «Не были потеряны в тот день ни один корабль, ни один самолет, не был допущен на наше побережье ни один десант, не была взята врагом с моря ни одна база...» — с законной гордостью за военных моряков и своего героя пишет Владимир Рудный в биографической книге о Кузнецове.

Рассказывая о перипетиях службы Николая Герасимовича в начале 30-х годов, автор книги замечает: «Может быть, казенно

звучат для постороннего уха термины: «личный состав», «боевая подготовка», «борьба за живучесть» (корабля.— А. Т.). Но в этом гарантия жизни корабля, жизни флота, а случится, и всей страны — так начинается готовность». Умение обеспечить ее, пробудив в подчиненных желание работать, создав дисциплину без «рыка и крика», воспитав в людях столь свойственную ему самому высочайшую добросовестность, способность к честной самооценке, смелость в признании своих ошибок, позволяющую извлечь из них драгоценный урок на будущее, — это замечательное качество проявилось в Кузнецове уже в то время, когда он занимал еще довольно скромные должности в масштабах флота, и осталось характерным до последних дней службы. Недаром, был ли он старшим помощником или командиром крейсера, командующим Тихоокеанским флотом или наркомвоенмором, «баковый вестник» — корабельная молва — отзывалась о нем с неизменным уважением и теплотой, поддерживая и укрепляя создаваемую Кузнецовым атмосферу всыскательного боевого товарищества.

Коллектив добросовестных людей — таков был служебный идеал Кузнецова, и ему в значительной степени, несмотря на сложность обстановки, удалось приблизиться к этому идеалу, опираясь на знания и труд многих и многих военных моряков, находившихся в самых разных чинах и званиях. И эта Кузнецова и их общая заслуга навек запечатлена в военной истории, в скупых строках приказа, отданного на основе точного и прозорливого анализа реальной ситуации, согласно которому в два часа сорок минут 22 июня 1941 года наш флот перешел на высшую степень готовности. (А уже менее чем через полчаса черноморская эскадра уничтожающим огнем встретила вражеские бомбардировщики, рассчитывавшие на полную внезапность своего налета!)

«С первого утра войны и на долгие годы жизнь связала меня с флотом, с его людьми разных поколений, с его летописью, — пишет автор книги. — С кем был потом я ни разговаривал... каждый возвращался к кануну войны и к ее началу. Особенно после катастрофы в Пирл-Харборе, когда японская авиация внезапным ударом разгромила беспечно сосредоточенный в главной базе тихоокеанский флот США. Нам было тяжело, очень тяжело, но с нашим флотом этого не случилось».

Владимир Рудный давно и хорошо известен читателям своими книгами о подвигах советских моряков в годы Великой Отечественной войны — «Гангутцы», «Действующий флот», «Истинный курс». Его новая работа, выпущенная Политиздатом в серии «Герои Советской Родины», насыщена множеством фактов, собранных автором воспоминаний и письменных свидетельств соратников Н. Г. Кузнецова. Но, конечно, книга эта далеко не исчерпывает тему. Жизнь выдающегося советского флотоводца достойна нового, еще более обстоятельного и глубокого повествования.

А. Турков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. 119 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. 80 стр. Цена 10 к.

В. И. Ленин. Последние письма и статьи. 62 стр. Цена 5 к.

В. Зоц. Культура. Религия. Атеизм. 158 стр. Цена 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Каладзе. От неба к небу. Стихи. Перевод с грузинского. 184 стр. Цена 1 р.

Б. Никольский. Формула памяти. Роман и рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 40 к.

Н. Оттен. Дань. Невымышленная повесть. На заре прекрасной юности... Повесть. 303 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Приставкин. Солдат и мальчик. Повести. 351 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Глазами друзей. Зарубежные писатели о Советском Союзе. 430 стр. Цена 3 р. 60 к.

Н. Лесков. Очарованный странник. Повести и рассказы. 349 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Островский. Как закалялась сталь. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 70 к.

Польская романтическая поэма XIX века. Перевод с польского. 343 стр. Цена 1 р. 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Аисты. Рассказы чешских и словацких писателей. 159 стр. Цена 75 к.

Г. Матовсян. Твой род. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 478 стр. Цена 2 р.

В. Распутин. Век живи — век люби. Рассказы и очерки. 285 стр. Цена 1 р.

В. Семин. Плотина. Романы. 526 стр. Цена 2 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Г. Валиков. Дорога на Радонеж. Книга стихов. 80 стр. Цена 45 к.

В. Иванов. Русь изначальная. Роман в 2-х томах. Т. 1. 430 стр. Цена 1 р. 90 к. Т. 2. 445 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Филиппович. провинция. Хроника одного дня. Предисловие В. Астафьева. 268 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Александрова, В. Левшин. Искатели необычайных автографов, или Странствия, приключения и беседы двух дипломатиков. Фантастическая трилогия. 399 стр. Цена 1 р.

Н. Богданов. О смелых и умелых. Рассказы и повесть. 590 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Хотомская. Стоножка. Стихи и сказки. Перевод с польского 96 стр. Цена 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Адамович. Хатынская повесть. О войне и о мире. Повесть, публицистика. 320 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. Пармузин. До особого распоряжения. Роман-хроника. 479 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Соколов-Уянец. Моя суровая звезда. Стихи. 45 стр. Цена 20 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Боровиков. Алексей Толстой. Очерки. («Писатели Советской России») 158 стр. Цена 25 к.

Г. Державин. Стихотворения. Составление, вступительная статья Е. Лебедева. 256 стр. Цена 65 к.

В. Петонов. Стальная тетива. Стихи и поэмы. Перевод с бурятского. 143 стр. Цена 65 к.

Г. Ходжер. Пустое ружье. Повести и рассказы. 317 стр. Цена 1 р. 50 к.

«РАДУГА»

О. Орлинов. Река Надежда. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 204 стр. Цена 1 р. 30 к.

К. Сакони. Дивное лето. Рассказы. Перевод с венгерского. 191 стр. Цена 1 р. 10 к.

Современный польский детектив. Перевод с польского. 590 стр. Цена 3 р. 60 к.

Современный чехословацкий детектив. Перевод с чешского 464 стр. Цена 2 р. 80 к.

Три французские повести. Перевод с французского. 392 стр. Цена 2 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Макаров. Много дней без дождя. Повести. «Московский рабочий». 224 стр. Цена 85 к.

Самотлор. Сборник прозы и стихов. Составление Г. Сазонова. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 224 стр. Цена 60 к.

Г. Табидзе. Лирика. Перевод с грузинского. Составление и предисловие Г. Маргвилашвили. Тбилиси. «Сабчота Сакартвело». 254 стр. Цена 1 р. 20 к.

Таймырские сказы. Перевод с долганского. Составление и предисловие П. Ермокова. Красноярск. Книжное издательство. 159 стр. Цена 85 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 28.12.62. Подписано к печати 23.02.63. А 04016.
Формат бумаги 70×108/16. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.) Цена 1 р. 20 к. Зак.4420.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 3, 1—272.